



# НЕВА

11  
2018

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

**Ирина КАРПИНОС**

Стихи • 3

**Борис ПОНОМАРЕВ**

Плюсquamфутурум, или Россия-2057. Роман • 7

**Владимир ШЕМШУЧЕНКО**

Стихи • 105

**Дмитрий ТАРАСОВ**

«Митина любовь». Рассказ • 109

**Михаил СИНЕЛЬНИКОВ**

Стихи • 128

**Владимир КАНТОР**

Похороны деда Антона. Новелла • 132

**Ольга АНДРЕЕВА**

Стихи • 144

**Евгений ПОПОВ**

Стихи • 148

### ПЕРЕВОДЫ

**Уильям ШЕКСПИР**

Избранные сонеты. Перевод *Нины Сапрыгиной* • 152

### ПУБЛИЦИСТИКА

**Владислав БАЧИНИН**

Атомный поворот и теология атомной бомбы • 158

## КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

### К 100-летию А. И. Солженицына

**Вячеслав ВЛАЩЕНКО**

Александр Солженицын и Варлам Шаламов  
*Свет живой истины и трагический мрак  
мертвой правды* • 170

**Андрей КРАСНОВ**

Из неизвестной истории Красного Села  
*(Как была обретена красносельская святыня)* • 210

## ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

**Правда художественная и историческая.** *Сергей Страшнов.* «Зажжется искусством моя нестерпимая быль». **Территория памяти.** *Елена Воскобоева.* Евгений Шварц — фельетонист. **Книжный остров.** *Публикация Елены Зиновьевой* • 219

## ПИЛИГРИМ

**Архимандрит Августин (НИКИТИН)**

На Иордан. *Часть 2* • 241

---

*Издание журнала осуществляется  
при финансовой поддержке Министерства культуры  
и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации.*

*Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы»  
запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать  
на почтовый адрес журнала  
(191186, Санкт-Петербург, а/я 9).*

*Рукописи не возвращаются и не рецензируются.*

---

Главный редактор  
**Наталья ГРАНЦЕВА**

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**Александр Мелихов** (зам. главного редактора). **Игорь Сухих** (шеф-редактор гуманитарных проектов). **Ольга Малышкина** (шеф-редактор молодежных проектов). **Елена Зиновьева** (редактор-библиограф). **Наталья Ламонт** (редактор-координатор).

---

Дизайн обложки **А. Панкевича**  
Макет **С. Булачевой**  
Корректор **Е. Рогозина**  
Компьютерный набор **Л. Жуковой**  
Верстка **Д. Зенченко**

## Ирина КАРПИНОС

### ВЕНЕЦИАНСКОЕ

В Серебряном веке, коротком и ярком,  
поэты любили в Венецию ездить,  
и с чашечкой кофе сидеть на Сан-Марко,  
и в небе полуночном трогать созвездья.

Венеция рядом с времен Сансовино:  
крылатые львы и певцы-гондольеры.  
Поэты пируют, поэты пьют вина,  
поэтов еще не ведут на галеры.

И Блоку покуда не снятся двенадцать,  
и пуля не скоро убьет Гумилева.  
Поэты еще не отвыкли смеяться  
и верят в могущество вешего слова.

Не пахнет войной голубая лагуна,  
собор византийский с квадригой прекрасен,  
еще не задернули занавес гунны,  
и хмель венецийский еще не опасен.

И можно до слез любоваться Джорджоне  
и долго бродить по Палаццо Дукале,  
стихи посвящать беглым ветреным женам,  
катать их в гондолах, купать в Гранд-Канале...

Поэты в Венеции пьют на пьядетте,  
война мировая вдали, как цунами.  
Запомните лица их в огненном цвете!  
Все кончится с ними. Все кончено с нами.

---

Ирина Карпинос родилась и живет в Киеве. Окончила Литературный институт в Москве. Поэт, прозаик, автор-исполнитель песен. Член Союза театральных деятелей и Межрегионального Союза писателей Украины. Лауреат международных литературных премий. Пишет на русском языке. Автор четырех книг прозы и четырех поэтических сборников. Публиковалась в литературно-художественных журналах и альманахах: «Радуга», «Слово/Word», «Сталкер», «Юрьев день», «Соты», «Эмигрантская лира», «ЛитЭра» и др. Книга стихотворений «Перевернутый мир» (2016) удостоена премии им. Максимилиана Кириенко-Волошина (премия учреждена Национальным Союзом писателей Украины) за лучшую поэтическую книгу 2016 года, изданную в Украине на русском языке.

### **ЛУНА И ГРОШ**

Мы родились в двадцатом веке,  
совки, поэточеловеки,  
и пьем, не чокаясь, до дна  
за участь, что на всех — одна...

Эпоха нас не закалила,  
кровь ближних не опохмелила,  
стоим на ледяном ветру  
у края в черную дыру...

Повремени еще, мгновенье,  
покуда догорят поленья  
всех наших помыслов и слов,  
летучих золотых ослов...

Куда нас молодость водила,  
каким залетным был водила!  
Кто ляжет рядом — тот хорош,  
вся наша жизнь — луна и грош...

Свеча горела, до упаду  
плясали мы свою ламбаду  
и гибли в долбаном бою  
за рифму — родину свою...

В конце времен мы дали слово,  
что сочиним многоголовый  
молитвоблуд — наш пропуск в рай.  
Петр, кого хочешь, выбирай...

### **ВТОРАЯ РЕЧКА**

По улицам шатался, как Гомер,  
и изучал науку расставанья,  
шум времени, бессонницу, скитанья  
с безмерностью поэта в мире мер.

Владивостокский пересыльный пункт.  
В бараке лагеря «Вторая речка»  
под разговор о Данте бесконечный  
уходит жизнь... Нет больше сил на бунт...

А далеко на западе жена  
идет под снегом в траурном костюме  
и говорит: «Сегодня Ося умер.  
Отмучился. Так радуйся, страна!»

Ох, сколько зим прошло! Могилы нет.  
Есть улица, не в Питере — в Варшаве.  
Но юбилеи празднуют в державе,  
поэта убивавшей много лет.

Он умирал, шутник, гордец и враль,  
так далеко от нищенки подруги!  
Под Новый год, под завыванье вьюги...  
Вторая речка... Вечная печаль...

### **НА МЕДЛЕННОМ ОГНЕ**

Где вы были до тринадцатого года?  
Пили водку и горилку, аки воду,  
нагревалась кровь на медленном огне,  
проливалась только истина в вине...

Жили-были, пели-пили, не тужили  
и бродячую беду приворожили,  
и теперь она на медленном огне  
души грешные пытается при луне...

Где вы были до семнадцатого года?  
Убивали, суп варили из народов,  
закипала кровь на медленном огне,  
ангел смерти проносился на коне...

И с тех пор у нас на площади центральной  
отпеванья, отпеванья, отпеванья...  
и язычество на медленном огне  
жертвы требует в родимой стороне...

И покуда не найдется отворота,  
души будут изгоняться за ворота  
и гореть на клятом медленном огне...  
Слышишь реквием? Он по тебе и мне...

### **НА КРАЮ**

Сирота — вот и найдено слово,  
сирота среди мира пустого,  
позади — разноцветный обман,  
впереди — только черный туман...

На краю провороненной жизни,  
в эпицентре бродячей отчизны  
сердце режет и глуше стучит,  
дней, часов не осталось почти...

Я тебя никогда не забуду...  
и никто не увидит оттуда,  
как моя погорелая жизнь  
на промерзшей дороге лежит...

И не встать, и не выразить боли  
в бесприютной сиротской юдоли,  
не нащупать у пропасти дна...  
пей до дна... жизнь одна... смерть одна...

Я — невидимый призрак, когда-то  
сочинявший плохие баллады  
о безмерной бессмертной любви  
на ветру... на краю... на крови...

Я неслась по болотистым кочкам,  
чья-то женка, любовница, дочка,  
и летела сквозь небо звезда  
в никогда, никому, никуда...

\* \* \*

Последнее пристанище — стихи:  
приют, надежда, гибель, воскресенье,  
отмоленные наконец грехи  
и чье-то безымянное спасенье...

Я — каторжник, я — полупроводник,  
такая вот сизифова работа:  
услышать звон и записать в дневник  
потерянные разумом частоты...

В такую ночь ты с Богом визави  
и тет-а-тет передаешь молитвы —  
и храмы вырастают на крови,  
и перемирие дольше длится в битвах...

И можно наконец уже уснуть  
и видеть сны, по-гамлетовски, в лицах,  
и все долги, и всю вину вернуть,  
и вовремя с ушедшими проститься...

Почто живу и что такое жизнь,  
кого люблю, когда уж нет любимых?  
Какие на рассвете миражи  
неузнанные проплывают мимо?

Мне снится мама в ледяном гробу...  
Нет, это я — и сон все длится, длится...  
Кому повем свою тоску-журбу?  
Я просыпаюсь... иней на ресницах...

---

---

Борис ПОНОМАРЕВ

# ПЛЮСКВАМФУТУРУМ, ИЛИ РОССИЯ-2057

Роман

Одно я скажу правдиво: я буду писать лживо... я буду писать о том, чего не видел, не испытал и ни от кого не слышал, к тому же о том, чего не только на деле нет, но и быть не может. Вследствие этого не следует верить ни одному из следующих приключений.

*Лукиан из Самосаты. Правдивая история*

...Сия рукопись, как то видно из заглавия, есть запись разговоров во сне. В этих рассказах имеется и такое, что стоит послушать, а коли что окажется и не так, то отнеситесь к этому как к сонному бреду и не посетуйте на него.

*Оросиякоку суймудан  
(Рассказ сонных видений о России),  
японская рукопись XVIII века*

## Калининград

Небо было розовым, вода — бурой, воздух — холодным, а время — предрассветным. Я, вечный студент и вечный странник двадцати семи лет от роду, сидел на бетонных ступенях лестницы, спускавшейся к реке, и вокруг меня был Калининград. В метре передо мною флегматично и невозмутимо текла Преголя, а за моей спиной уходило в небо здание бывшей Кёнигсбергской биржи. Штукатурка стены была рыхлой от речной сырости.

Прошлым вечером я даже не мог представить, что через десять часов окажусь на берегах реки в глубоком разочаровании. Я отправился в гости к знакомой переводчице с намерениями амурного толка. Зная ее характер, и трезво оценивая себя, проще было бы сразу идти домой. Вначале мы весело проводили время, распивая коньяк, шутя и беседуя. Увы, в пятом часу утра, в тот самый момент, когда я уже готовился обнять даму за плечо, прекрасное создание с черными волосами сказала мне, что от-

---

Борис Александрович Пономарев родился в 1988 году в Калининграде. В 2005 году получил гран-при регионального литературного конкурса для детей и юношества «Янтарное перо». В 2018 году окончил Санкт-Петербургский институт культуры и искусств. Публиковался в разделе «Научная фантастика» журнала «Химия и жизнь» в 2015 и 2016 годах. Участник XVIII Форума молодых писателей России.

правляется спать, и если я хочу, то могу допить коньяк и постелить себе в гостиной на диване. Глубоко разочаровавшись в собственных способностях дамского угодника, но все еще сохранив чувство собственного достоинства, я попрощался и, взяв с собой бутылку с остатками коньяка, направился к реке любоваться красками предрассветной зари.

Что-то было неладное в моей жизни. Она совершенно не двигалась, а если это все-таки происходило, то результат чаще всего разочаровывал меня. Не получалась учеба: за неполные девять лет я поступал три раза в университеты и один раз в колледж. К сожалению, природная лень перетягивала чашу экзаменационных весов, и я раз за разом покидал стены учебных заведений. Не ладилось с карьерой: все те поденные, без трудовой книжки, работы со скудными зарплатами вызывали у меня лишь отвращение и пожелание скорейшего разорения для фирм. И что сейчас было обиднее всего, совершенно не ладилась личная жизнь: с положением двоечника без нормальной работы я еще мог смириться, но женский подчеркнуто унижающий отказ бил ниже пояса почти в прямом смысле.

Вздохнув, я взял в руку бутылку коньяка, желая поставить точку в сегодняшней ночи и возвратиться домой, пусть без щита, но и не на щите. Мне было очень грустно от ощущения того, что жизнь, подобно этому рассвету, проходит мимо меня.

— Доброе утро, — внезапно сказал кто-то.

Я оглянулся. Наверху лестницы, в нескольких метрах от меня стоял очень высокий мужчина, одетый с головы до ног в одежду черного цвета. Незнакомец с тонкими, аристократическими чертами лица, выглядел не просто элегантно, но подчеркнуто элегантно. Светлые волосы были подстрижены столь аккуратно, будто незнакомец только что вышел из лучшей в городе парикмахерской. Его безупречное черное однобортное пальто и черные брюки из какой-то очень дорогой ткани дополнялись такого же цвета идеально вычищенными полуботинками, всем своим видом словно бросающими вызов окружающей октябрьской сырости и прошедшим ливням. В руках он сжимал черный кожаный саквояж. Определить его возраст было затруднительно; я бы предположил, что незнакомцу было от тридцати пяти до сорока пяти лет.

— Доброе утро, — несколько настороженно ответил я. Почему-то моя память немедленно извлекла из своих архивов воспоминание о том, как давным-давно на втором курсе своего первого университета я и трое моих друзей пили красное вино в уютном палисаднике, из которого нас откровенно хамским образом выгнал жилец с первого этажа.

— О нет, я не буду протестовать по поводу распития спиртных напитков в общественном месте, — прекрасно поставленным голосом сказал незнакомец, спускаясь по лестнице. Безукоризненное произношение Человека в Черном почему-то показалось мне таким же пугающим, как и его идеальный костюм. — Нет ничего плохого в том, что человек, встретивший столь прямолинейный отказ со стороны дамы, будет испытывать некую потребность в коньяке.

— Однако должен сказать, что меня определенно пугает ваша осведомленность...

— Пусть это пугает вас меньше всего, — сказал Человек в Черном. — Я не читаю мысли людей без приглашения. Ваши же были, фигурально выражаясь, просто на виду...

Я внимательно посмотрел на моего собеседника. Наверное, я зря выпил столько коньяка. Скорее всего, белая горячка приходит к интеллигентам именно в виде столь безупречно одетого и прекрасно воспитанного джентльмена, который словно только что вышел из палаты лордов.

— ...Однако я замечу, — тут же продолжил он, — что *delirium tremens* проявляется спустя два-три дня после прекращения обильного и длительного употребления го-



рячительных напитков, а не сразу же после бутылки коньяка, да еще разделенной на двоих. Помимо этого, галлюцинации при этом драматическом состоянии носят совершенно иной характер.

— Я тоже об этом подумал, — сказал я, — но в таком случае у меня не остается никаких предположений о том, кто же вы.

Человек в Черном хмыкнул, немного приподняв левую бровь, но ничего не сказал.

— Впрочем, возможно, вы дьявол?

— Упаси боже, — негромко сказал Человек в Черном, улыбаясь одной половинкой лица. — Здесь есть небольшое затруднение. К моему глубокому сожалению, я не могу подобрать должной метафоры для того, чтобы пояснить, кто же я, поскольку нормальное человеческое сознание попросту не располагает таким образным рядом. Как следствие, сказанное мною будет весьма затруднительно осмыслить без каких-либо пагубных последствий для этого самого сознания.

Человек в Черном снова дипломатично улыбнулся половинкой лица.

— Этот разговор, — продолжил он, — хорошо вести в джентльменском клубе, у растопленного камина, с чашкой кофе в руке... А здесь от реки тянет утренней сыростью, и обстановка не столь располагает, как хотелось бы, поэтому давайте просто перейдем к делу.

— Полагаю, что вы сегодня не заняты? — спросил он. Этот вопрос был задан словно невзначай.

Я коротко кивнул, не вдаваясь в подробности. В прошлом месяце я пересдал на осенней комиссии экзамен по социологии и теперь мог позволить себе немного расслабиться до декабря. Что же касается книжного магазина, в котором я работал все лето, то, к моему сожалению, он закрылся еще в августе, и новой работы с тех пор я не нашел. Таким образом, я более чем располагал своим временем.

— Превосходно. Вам не кажется, что ваша учеба в университете несколько подзатынулась?

— К сожалению, у меня не ладится вся моя жизнь, так что мне больше ничего не остается делать, — ответил я истинную правду. — На учебе хотя бы весело.

— Этот ответ уже ближе к тому, что я ждал, — снова чуть улыбнулся мой собеседник. Меня немного насторожила его улыбка. В ней крылся какой-то подвох. — Так вот, я предлагаю вам учебу в куда как более жизненных университетах. Я хочу предложить вам одно путешествие, — сказал он, чуть помедлив. — Если даже быть точнее, то целых два путешествия. В общем, я хочу предложить вам отправиться в Москву будущего. Если говорить детальнее, то я планирую переместить вас (разумеется, с вашего согласия) в будущее на сорок лет и четыре часа, в 31 октября 2057 года. К сожалению, путешествовать в Москву вам придется самостоятельно. Перенести вас прямо в столицу я не могу: за пределами нашего с вами края мои полномочия несколько ограничены, поскольку я — лицо сугубо неофициальное.

Ощущение нереальности происходящего абсурда усилилось до крайности. Этого просто не могло быть, потому что этого не могло быть. Меньше чем в метре от меня сидел совершенно настоящий Человек в Черном и предлагал мне невозможное.

— Любому историку, — сказал Человек в Черном, чуть склонив голову, — Впрочем, как и любому человеку, будет бесполезно заглянуть в будущее и посмотреть оттуда на свое настоящее. Я полагаю, вы согласны?

Я внезапно ощутил, что у меня нет другого выхода, кроме как принять вызов судьбы. В самом деле, конечно, я мог сейчас встать, допить коньяк и, вежливо попрощавшись, пойти домой, однако я отчетливо почувствовал, что это будет таким же некрасивым и неписанным нарушением правил, как два хода подряд в шахматах. Так было

нельзя. Я честно просил у судьбы новых приключений, и вот теперь, когда они ко мне явились, было бы поздно давать задний ход. Если сейчас я отвечу отказом, твердо понял я, то до конца своих дней буду проклипать это решение.

— Хорошо, — сказал я после паузы. — Я согласен.

— Прекрасно. Я не сомневался и на минуту. Для путешествия вам понадобятся деньги и документы, — заботливо предупредил он, извлекая из саквояжа красный загранпаспорт, из которого торчала вложенная синяя банкнота. — Думаю, с учетом цен, двадцати евро вам хватит. Держите.

Чуть дрогнувшей рукой я взял загранпаспорт и деньги.

— Лучше положите его сразу в карман или в сумку, — сказал Человек в Черном, застегивая с глухим щелчком пряжку саквояжа. — Ничего не бойтесь в дороге. В наших краях я помогу вам, а в большой России у вас появятся другие покровители, хотя, конечно же, не столь могущественные, как я. Я приду за вами тогда, когда без меня будет уже не обойтись, — многозначительно сказал Человек в Черном, поднимаясь со ступеньки лестницы. — Счастливого пути.

— Одну минуту, — сказал я, убирая паспорт и деньги во внутренний карман куртки и тоже вставая. Ноги, затекшие от долгого сидения, кольнуло. — Как же вы меня перенесете в будущее?

— А я не буду вас переносить, — сказал Человек в Черном, на этот раз улыбаясь мефистофельской улыбкой во все лицо. — Вы уже в нем.

Не до конца понимая его слова, я замер на несколько секунд, после чего повернулся направо.

Красок акварельного рассвета не было. Давно поднявшееся над домами солнце скрылось в плотном слое белых облаков. Город шумел дневными звуками автомобильных моторов и голосов людей. Медленно и сонно текла Преголя, и возвышался на острове Кафедральный собор. Пролетающая чайка пронзительно крикнула, не то приветствуя меня, не то требуя кусочек хлеба.

Я вытащил из внутреннего кармана телефон и обмер. 31 октября 2057 года, 11:58, две минуты до полудня. Четверг. Сеть не найдена. Доброе утро, а точнее, добрый день.

Щипать себя было бы слишком простым жестом, поэтому я закрыл глаза, и, выждав пять бесконечных секунд, открыл их снова. Ничего не изменилось, за исключением того, что с меня слетели все остатки коньячного наваждения. Вместе с ним пропало безумное чувство авантюризма, заставившее меня сказать «да» Черному Человеку. Что я наделал? Что это вообще было? Где я?

Деревянными не то от волнения, не то от холода пальцами я убрал телефон в карман куртки, по пути наткнувшись на загранпаспорт. Я вытащил его и тупо уставился на красную книжечку. Я отчетливо помнил, что вчера не брал с собой ни загранпаспорта, ни торчащей из него синей банкноты. В принципе можно было допустить, что я позаимствовал и то и другое у переводчицы, но вряд ли я мог об этом забыть.

Я еще пытался внушить себе эту мысль, когда мой мозг уже начал осознавать, что с загранпаспортом что-то не то. Прямо под золотистым гербом в виде двуглавого медведя, помещенного между двумя изгибающимися снопами пшеницы, шла надпись:

Российская Федерация  
Паспорт международного образца  
Russian Federation

Почувствовав, что у меня подкашиваются ноги, я медленно сел обратно на бетонную ступеньку лестницы и открыл паспорт. На первой же странице было написано:

Российская Федерация  
Москвы  
Санкт-Петербурга  
Исламского Государства Северного Кавказа  
И всей остальной России

Очень осторожно, словно опасаясь тайн, который этот паспорт мог скрывать, я перевернул страницу. Это был мой паспорт или, вернее сказать, паспорт, выданный на мое имя. Фотография в нем полностью повторяла снимок в моем обычном загранпаспорте. Я хорошо помнил этот кадр: именно на нем, если сравнивать с другими моими фото на документах, я выглядел лучше всего. Правее шли строчки с моими же именем и фамилией. Единственным, что существенно изменилось, были даты рождения и выдачи паспорта: они были аккуратно сдвинуты на сорок лет вперед: если верить этому документу, я родился в 2030 году.

Отчего-то у меня ужасно начали дрожать руки. Я открыл паспорт на последнем развороте, где была вложена банкнота. Всю страницу заполнял большой штамп:

ПАСПОРТ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗЦА  
ВЫДАН ПО ЛИЧНОМУ РАСПОРЯЖЕНИЮ  
АВГУСТЕЙШЕГО ПРЕЗИДЕНТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дрожащей рукой я закрыл загранпаспорт и уперся взглядом в банкноту. По счастью, в ней не было ничего нового. Я провел подушечкой большого пальца по изображению готической арки, ощущая неровности краски. Нет, это точно не мистификация, сказал я себе. Одно из двух: или мне это снится, или я в будущем. В обоих случаях надо что-то делать.

Вздохнув, я осторожно начал подниматься по лестнице вверх. Там не оказалось ничего сверхъестественного: никто не пролетел надо мною на звездолете и не выстрелил в меня из бластера. Я оказался на набережной. Чуть поодаль сходились прямым углом два девятиэтажных панельных дома, издавна стоящих здесь и знакомых мне еще с раннего детства. В одном из них, на последнем этаже я вчера — или сорок лет назад — пил коньяк с переводчицей, а потом, поникнув духом, спустился по бесконечно долгой лестнице вниз. Сейчас дома были выкрашены в приятный пастельно-зеленый цвет. На обочине дороги стояли десять припаркованных «Жигулей» в ряд. Я изумленно вгляделся в них. Столько российских машин одновременно я видел только по телевизору. На каждой из машин красовался небольшой флажок с российским флагом. Неужели здесь проходит съезд всех десятерых калининградских «жигулистов»?

Вздохнув, я повернулся. Невдалеке, облокотившись на литую ограду набережной, стоял совершенно флегматичный рыболов неопределенного пожилого возраста, одетый в синий спортивный костюм с белыми полосками. Я рискнул обратиться к нему.

— Добрый день, — поприветствовал я рыболова, который скользнул по мне взглядом и вновь вернулся к поплавку, слегка качающемуся в реке. — Простите за вопрос... Я понимаю, что это прозвучит очень странно, но какой сейчас год?

Седые брови рыболова слегка приподнялись. На этот раз его взгляд остановился на мне. Я почувствовал себя свежельвленным сомом.

— Знаете, молодой человек, — с какой-то отеческой заботой сказал рыболов, — лучше не пейте водку. Это яд, который делают из опилок.

Я устыдился.

— Нет, это не водка, — сказал я. — Я не пьян, я просто немного запутался... Так все-таки какой сейчас год?

— Пятьдесят седьмой, — словно нехотя ответил рыболов и отвернулся к поплавку, все так же едва покачивающемуся на воде.

По всей видимости, моя первая беседа с человеком будущего подошла к концу; он совершенно не отличался от моих современников. На всякий случай я еще раз бросил взгляд на десять «Жигулей». Они все так же стояли шеренгой, словно на авторынке.

Я огляделся еще раз. Наверное, надо выйти чуть поближе к центру, к Ленинскому проспекту. Может быть, там удастся увидеть что-то новое и интересное. Пока я не мог сказать, что за прошедшие сорок лет город изменился до неузнаваемости. Наверное, подумал я, хорошо бы соблюдать инкогнито, чтобы никто не догадался о моем прибытии из прошлого. Кроме того, Человек в Черном рекомендовал мне ехать в Москву, а для этого следовало купить билет и узнать, как вообще сейчас путешествуют люди. Вполне возможно, что научно-технический прогресс позволил людям освоить телепортацию. В крайнем случае, подумал я, глядя на «Жигули», будем надеяться, что московский метрополитен уже прорыли до Калининграда, оснастив при этом сверхзвуковыми магнитопоездами.

Пройдя через сквер с разросшейся за эти годы ивою, я оказался у цели. Ленинский проспект, центральная трасса Калининграда, изменился не очень сильно. Пятиэтажные блочные дома характерной хрущевской архитектуры покрасили в различные цвета зеленых и синих оттенков. Это явно произошло не вчера: изрядно запыленная краска местами отслоилась, обнажая старые швы стыков. В одном месте из скола бетонного блока торчал ржавый крюк арматуры.

Мимо меня неторопливо проехало несколько автомобилей характерно отечественного вида. Уличное движение по сравнению с моими временами явно стало спокойнее. Если бы я захотел, я мог бы спокойно перейти проспект, нисколько не рискуя попасть под автомобиль. Проспект был почти пуст.

Внезапно мой взгляд ухватился за очертания машины, казавшиеся чужеродными в этом скудном транспортном ручейке. По дороге ехал «мерседес», старый, в следах краски поверх шпаклевки, но еще вполне работоспособный. Негромко бурча мотором, он притормозил, чтобы свернуть мимо меня в переулок, и я с удивлением понял, что на его капоте вместо трехлучевой звезды в круге демонстративно торчит эмблема автомобильного завода с берегов Волги.

Рядом прошла пара, держащаяся за руки. Молодой человек в серой полуспортивной куртке и девушка в черном потертом пуховике мельком оглянули меня. Поняв, что я стою на углу дороги и удивленно смотрю на машины, я решил неторопливо пойти дальше. К счастью, я не слишком выделялся своей одеждой. Наряды в пятьдесят седьмом году были достаточно консервативные, так что я в джинсах и куртке-ветровке вполне вписывался в моду будущего. Я шел по бугристому, разбитому асфальту и смотрел налево и направо.

В одном из домов располагалась закусочная «Скатерть-самобранка» с вывеской в псевдорусском стиле. После закусочной следовал магазин бытовой техники. Из его окон на меня смотрела выпуклыми кинескопами шеренга одинаковых ящикообразных телевизоров с двурогими антеннами. Да, это электронно-лучевой телевизор, подумал я, и в голове вспыхнули какие-то сумрачно-далекие фразы «развертка строк», «развертка кадров», а также факт того, что напряжение на кинескопе — двадцать пять тысяч вольт и лезть внутрь надо крайне осторожно. Не таким я себе представлял 2057 год.

Куда я вообще попал? Почему прошло сорок лет, но ничего не изменилось, за исключением покрашенных домов и достижений отечественного автопрома? Да и люди, что проходят рядом, — почему они совершенно не отличаются от тех, что шли здесь полвека назад, разве что одеты немного скромнее?

Я поднял взгляд. Там, где когда-то висела табличка «Ленинский проспект», ныне находился указатель «Проспект Великой России». Нет, это явно не СССР. Что за мир, в который я попал? Почему он одновременно и похож на реальность, из которой я пришел, и при этом совершенно не похож? Что здесь другое? Может быть, что-то неуловимое в людях?

Я обошел остановку, на которой стояло десятка два человек. Одна женщина посмотрела на меня и тут же отвернулась. Четверо мужчин в одинаковых дурых куртках из болоньи приглушенных оттенков равнодушно скользнули по мне взглядом. Кроме них, никто не обратил внимания на меня, словно я был человеком-невидимкой. Невеселые лица людей были похожи на солнце, пробивающееся сквозь тучи.

Я подумал, что хорошо бы добраться до своего дома. Дойти до него отсюда я мог минут за сорок. Я, правда, совершенно не понимал, что же я хочу там увидеть, но надо было куда-то идти.

Красный свет сменился зеленым, и я перешел дорогу вместе с другими пешеходами. Мне показалось, что раз или два на меня бросили любопытствующий взгляд, но не более. Меня это вполне устраивало. Город жил своей жизнью, не замечая пришельца из прошлого.

Я остановился перед зданием торгового центра и увидел зеленую вывеску с яркими буквами: «Единый государственный банк России».

Судя по плакатам, висевшим на стенах, банк предоставлял самые разнообразные услуги гражданам. Глядя на надписи, я обратил внимание, что рубль все еще в ходу. Здесь можно было оплатить коммунальные услуги, штрафы, совершить переводы и расстаться со своими деньгами еще дюжиной разных способов, однако я не мог найти ничего, что было бы связано с обменом валюты.

Возле одного из окошек висело грозное предупреждение о том, что в случае агрессивного поведения или нецензурных ругательств по отношению к сотрудникам банка будет немедленно вызвана полиция. Я подумал, что далеко ходить за полицией не придется: человек в характерной темно-серой форме (она не очень сильно изменилась за сорок лет) сидел в углу на стуле и, закинув ногу за ногу, читал какой-то детективный роман в яркой обложке. Изображенный на ней спецназовец с автоматом Калашникова (к стволу был примкнут зазубренный, совершенно нереалистичный штык-нож) вел кинжальный огонь от бедра.

Окинув скептическим взглядом очередь еще раз, я обнаружил стоящую рядом сотрудницу банка, миниатюрную женщину с кучерявыми каштановыми волосами, собранными в пучок. Форменная рубашка была ей немного велика.

— Чем я могу помочь? — спросила она, заметив мой взгляд.

— Здравствуйте, — поприветствовал я ее и сразу же взял быка за рога. — Скажите пожалуйста, можно ли у вас поменять валюту?

Мои слова произвели большой эффект, чем если бы я крикнул во весь голос «Это ограбление!» и выстрелом из обрезавалил бы встающего со стула полицейского. В первое мгновение консультантка смотрела на меня огромными бездонными глазами того же цвета, что и ее каштановые локоны, словно я предложил ей нечто безумно непристойное. Во второй миг я, предчувствуя что-то очень плохое, оглянулся и понял, что мои слова волшебным образом услышали все присутствующие. Очередь странно отшатнулась, будто я вытащил из сумки осколочную гранату. Операционистки испуганными глазами смотрели на меня из своих окошек. Похоже, я сказал что-то явно не то.

— Знаете, пожалуй, я в другой раз зайду, — сказал я консультантке, разворачиваясь к выходу. Полицейский, стоящий поодаль, шел наперерез, и я, набирая скорость, уже начал прикидывать, смогу ли его задержать и прорваться к выходу, если прямо

сейчас швырну в него стулом. По моим расчетам выходило, что нет, и меня это не сильно обрадовало.

— Так, остановись, — сказал полицейский, загородив двустворчатую дверь. Он опередил меня буквально на пару метров. Его властный тон мне откровенно не понравился.

— У меня сейчас нет времени, — мрачно ответил я, сожалея, что Человек в Черном не снабдил меня пресловутым обрезом или чем-нибудь сравнимым. — Мне срочно нужно идти, у меня самолет в Москву.

При этих словах полицейский удивленно замер. Его рука, уже протягивающаяся ко мне, остановилась в воздухе. К сожалению, отодвинуть полицейского от двери я все еще не мог. Ситуация была патовой.

— Что случилось? — спросил я.

— Вы задержаны, — ответил полицейский, кладя руку на свой пояс. По крайней мере, он перешел на «вы», но этого было мало.

— Подождите!.. — раздался чей-то запыхавшийся крик.

Я оглянулся. Большая бронированная дверь, извещавшая своими надписями, что за ней скрывается служебное помещение и куда строго воспрещен вход, была открыта. В ней, отдуваясь и тяжело дыша, стоял мужчина средних лет с раскрасневшимся лицом. Судя по всему, ему пришлось пробежаться на короткую дистанцию. Деловой костюм — не самая удобная одежда для забега, да и, судя по очертаниям брюшка, владелец костюма нечасто занимался физкультурой.

— Куда же вы? — сказал бегун, отпустил ручку двери и быстро направился ко мне. — Пойдемте в кабинет.

Ловким жестом он ухватил меня под локоть и, не отпуская, обратился ко всем присутствующим.

— Уважаемые посетители Госбанка! — громко сказал он. — Вы только что приняли участие в служебных учениях нашего филиала. Все под контролем. Благодарю вас за участие! Прошу всех подписать в кассе бумагу о неразглашении.

Я ничего не понял из этих слов, но меня уже буквально впихнули в коридор за бронированной дверью.

— Скорее, — заговорщицким шепотом сообщил мужчина, торопливо ведя меня за локоть. Мы свернули за угол и поднялись по лестнице на второй этаж.

— Меня ни для кого нет, — сообщил он секретарше, одновременно открывая дверь кабинета. Краем глаза я заметил на дверной табличке гравированные строки «Сергей Петрович Н., директор филиала Государственного...», но дочитать их не успел: мое внимание приковал к себе компьютер секретарши. Я даже не знал, что меня больше удивило: то, что у него был ящикообразный электронно-лучевой монитор из пожелтевшей пластмассы, на черном экране которого ярко зеленели буквы, или то, что у горизонтального системного блока с надписью «ЭВМ КАЗБЕК-5» лежала пара удивительно знакомых по моему детству трехдюймовых дискет? Может быть, я попал не просто в будущее, а в альтернативное будущее? В мир, где двести лет назад Наполеон высадил десант в Англии, и поэтому все пошло немного не так?

Дверь кабинета закрылась за мной. Уже отдышавшийся от забега за мною директор щелкнул замком и широким жестом указал мне на кресло, обитое слегка потертым кожзаменителем.

Только теперь я заметил на стене большой государственный герб. Он в точности повторял рисунок на моем паспорте, только был более крупным, что позволяло лучше различить детали. На красном щите располагался золотой двуглавый медведь. В каждой из своих лап мишка сжимал по снопу золотой пшеницы. Колосья, увитые лентами, изгибались, почти замыкаясь в круг над медвежьими головами. Я перевел взгляд вправо, на добротный портрет с латунной табличкой «Господин президент Российской Федерации». Лицо изображенного на портрете человека показалось мне ужас-

но знакомым, словно я знал его еще с тех времен, когда ходил в школу и все телевизоры имели выпуклые экраны кинескопов. Мне показалось, что я обознался, но уточнить это я не решился.

— Зачем вы пришли ко мне в банк? — спросил банкир таким тоном, которым было бы уместнее произнести «Вы уволены!». Я оторвался от портрета.

— Во-первых, — начал я, стараясь придать своему голосу более твердые интонации, и, кажется, мне это удалось, — я пришел не к вам.

Бдительно оглядев меня, директор взял телефонную трубку, за которой потянулся длинный черный витой провод, и нажал какую-то из кнопок на корпусе аппарата.

— Заменить все записи с камер. Поставьте обычную картинку. Если что, объясните скачком напряжения или ошибкой. Да. Да, или так.

Телефонная трубка легла на аппарат. Внимательный, почти рентгеновский взгляд банкира вернулся на меня.

— Я спрашиваю еще раз, для чего вы пришли в банк, и прошу на этот раз мне ответить.

— Мне нужно обменять валюту, — ответил я, вкладывая в голос некий вызов.

Банкир снял с себя очки и закрыл глаза, устало выдохнув.

— Когда мне сообщили о вас, я подумал, что вы провокатор из госфинансконтроля, но сейчас я вижу, что это не так, — сказал банкир, открывая глаза. — Вы не провокатор, а, извините, дурак. Так не поступают. Я могу затереть записи с камер и поручиться, что мои люди будут молчать, но что произойдет, если кто-то из посетителей выйдет из банка и позвонит куда надо, сообщив, что сюда пришел человек с валютой? Мы сделаем так, — голос банкира слегка смягчился, а сам он наклонился ко мне. — Если у нас будут спрашивать уполномоченные лица, то вы нашли валюту в дедушкином портмоне в кладовке. Взяв монеты, вы как законопослушный гражданин немедленно отправились в банк, чтобы сдать валюту в установленный законом двенадцатичасовой срок. Да-да, ведь вы имеете право сдавать деньги не только в полицию внутренних дел, но и в банк. Разумеется, в течение часа мы должны уведомить об этом органы, но электронное письмо затерялось из-за аварии электропроводки. Вам все понятно?

Портмоне, банк и проводка. Мне это показалось каким-то бредом, но на всякий случай я кивнул.

— Что же, теперь, когда мы определились с тем, что происходит, можно перейти ближе делу. Сколько у вас денег?

— Двадцать евро.

Спустя секунду он со словами «позвольте» жестом фокусника вытащил у меня купюру из рук. Я даже не успел моргнуть, а мой собеседник уже достал из ящика стола часовую лупу и внимательнейшим образом изучал мои деньги. Он даже слегка похрустел бумагой и понюхал ее, словно стремясь узнать, пахнут ли деньги, и если да, то чем.

— Сколько вы хотите за них? — поинтересовался банкир. — Я могу дать вам за них двести тысяч рублей. Эта сумма удовлетворит вас?

Двести тысяч? За двадцать евро? Вот это курс нынче!

— Конечно, вы можете обратиться к тeneвым кругам. Они даже могут пообещать вам большую сумму, но! — он предостерегающе поднял указательный палец, по-прежнему удерживая банкноту. — Валюта — это не тот товар, которым можно свободно распоряжаться. Крайним же в глазах закона будете вы, и на случай, если вы не знаете, то соответствующая статья, — погладил он двадцатку, — предусматривает до четырех лет. Незаконный оборот валюты в крупном размере. Напротив, я, — здесь банкир доверительно понизил голос, — имею возможность обеспечить относительную законность нашей сделки. Вы нашли в дедушкином портмоне крупную сумму валю-

ты и как законопослушный гражданин сдали ее в банк. Я выплачиваю вам компенсацию по официальному равноценному курсу, двадцать рублей. По рублю за евро. Все честно и законно. После этого я выдаю вам двести тысяч наличными в качестве оплаты за консультационные услуги. Юридически вы остаетесь абсолютно чисты.

— Это прекрасная схема, — польстил я своему собеседнику, — и в целом я согласен. Дело в том, что мне нужно попасть в Москву. Сколько стоит билет на самолет?

— Самолеты в Москву не летают уже больше четверти века.

Шпионы попадают на мелочах, а путешественники во времени — на незнании реалий.

— Как же тогда мне попасть в Москву?

— Поезд, — как будто с облегчением ответил банкир. — Поезд Калининград—Москва. Но с этим обратитесь на вокзал. Скажите мне лучше одну вещь. Почему вы не знаете очевидных вещей?

— Знаете, — дипломатично начал я, — я серьезно занимаюсь историей. Начало двадцать первого века и все такое... Помимо изучения этой эпохи по учебникам и историческим свидетельствам, я практикую погружение в быт. Это называется историческая реконструкция. И должен сказать, бывает очень трудно выйти из образа. Очень сильно затягивает.

— Кстати, про реконструкцию. Ваши джинсы — тоже реконструкторские? Судя по всему, они заграничные? Скажите, какой у вас размер брюк?

— Тридцать три.

— Жаль, для меня они малы. А ботинки? Сорок третий? Тоже малы, — расстроено произнес банкир. — Давайте договоримся: если вы вдруг найдете в бабушкином шифоньере какие-то вещи зарубежного пошива, подходящие мне по размеру, я с большим удовольствием приобрету их по сходной цене. Кстати, если вы вдруг обнаружите в кармане дедушкиного пиджака еще одну банкноту, немедленно несите мне. Вот моя визитка, возьмите.

— Итак, вот двадцать рублей равновесного курса, — сказал банкир, кладя на стол две монеты, — а вот двести тысяч, — банкир похлопал по одной из папок. — Вы оказали Госбанку консультативные услуги и получаете гонорар по акту. Кстати, у вас документы с собой?

Мысленно ругая бюрократизм, я достал из кармана загранпаспорт и открыл его, не выпуская из рук. Банкир замер. Кончик золотого пера повис в воздухе. Пододвинув лупу, он протянул руку за моим паспортом.

— Дайте посмотреть, — его голос стал недовольным. — Когда-то и у меня был загранпаспорт. Вот только его срок вышел тридцать лет назад, а новых потом уже не выдавали.

Очень бережно, удерживая его через салфетку и испытывая большие неудобства, банкир осмотрел мой паспорт через лупу, после чего перелистал страницы. Дойдя до вклеенной шенгенской визы (у меня в моем оригинальном паспорте была точно такая же), рядом с которой чернели несколько польских штампов, он остановился. Закрыв паспорт и на всякий случай протерев от отпечатков пальцев обложку, банкир положил его на стол и ногтем придвинул ко мне.

Я осторожно заглянул в паспорт. Не появились ли там какие-то Антихристовы письма?

— В общем, вы предъявили мне обычный паспорт. Этого, — указал директор банка на красную книжечку в моих руках, — я не видел. И, прошу вас, уберите его.

Мрачно вздохнув, я взял протянутую мне ручку и в знак протеста оставил на обоих документах подпись Остапа Бендера, после чего, не считая, положил объемную, прижатую на ощупь пачку банкнот в сумку.



— Вы хотите ехать в Москву с этим паспортом? — осведомился он с какой-то ноткой в голосе.

— Других документов у меня нет, — честно признался я.

— Давайте тогда мы сделаем так, — сказал он с видимым облегчением. — У меня есть друг на железной дороге...

Банкир достал из ящика стола, словно из машины времени, кирпичеобразный содовый телефон, похожий на уоки-токи. Выдвинув вверх длинную антенну, директор банка набрал номер. Кнопки пощелкивали под его пальцем.

— Я оформил вам билет в Москву. Считайте, что это подарок в надежде на дальнейшее сотрудничество. Вы поедете на уже оплаченном служебном месте, только, прошу, не бравировать своим паспортом. Это слишком опасно. Купейных мест нет вообще, поэтому придется ехать плацкартом. Поезд отходит через час. Это, конечно, неудобно, но ничего не поделаешь: следующий поезд будет только в понедельник.

Покинув гостеприимный кабинет, мы спустились по лестнице. За очередной дверью оказался спуск в подземный гараж, где уже ждал бежевый инкассаторский фургон с широкой зеленой полосой на корпусе. Водитель, немногословный мужчина лет сорока, сидевший за рулем, был одет в камуфляжную униформу сдержанных болотных цветов.

— На вокзал, и поскорее, — сказал ему директор и развернулся ко мне. — Пожалуйста, будьте осторожны со своей исторической реконструкцией.

Водитель со второго раза завел машину, и мы тронулись в путь.

Дороги, по сравнению с моими временами, были практически пустыми. Я смотрел налево и направо, глядя на свой город через призму прошедших сорока лет. Мы обогнали едва движущийся автобус, битком набитый пассажирами. На перекрестке с улицей Багратиона мы остановились перед светофором. Справа теперь возвышалась девятиэтажная «свечка». Во всю ее высоту был нарисован мурал со свирепым оскаленным медведем, держащим в лапах щит и меч. Краски были яркие и сочные; над головой медведя шел броско написанный лозунг:

**«ЗАЩИТИМ ОТ ВРАГА ЗАПАДНЫЙ ФОРПОСТ РОССИИ!!!»**

Что же произошло за это время? Может быть, война?

По пешеходному переходу прямо перед нами прошла строем группа детей. Почему-то они все были одеты в камуфляжную форму с нарукавными нашивками шестнадцатой школы. Одна из девочек грустно посмотрела на меня из-под берета, словно хотела что-то сказать.

Мы выехали на площадь перед вокзалом; я не сразу узнал его. Здание вокзала было выкрашено в цвета государственного флага. Верхняя часть, которой достался белый цвет, терялась на фоне облаков. Фургон остановился. К нам уже подходил высокий мужчина лет сорока с броскими гусарскими усами. Его форму украшали какие-то позолоченные эмблемы железнодорожного образца. В руках мужчина держал планшетку с бумагами.

— Здравствуйте! — поприветствовал он меня. — Вы от Сергея Петровича? Я от Вячеслава Павловича. Прошу, поезд скоро отправляется. Вот ваш билет. К сожалению, из нижних мест свободным было только тринадцатое. Если хотите, мы можем передвинуть кого-то из обычных пассажиров.

— Ничего страшного, — сказал я. — Я не суеверен...

— Хорошо. Вы без багажа?

— Срочный и неожиданный отъезд. Я даже не предполагал этой поездки, но меня очень ждут в Москве, — немного туманно ответил я, разглядывая билет. Это был плотный картонный прямоугольник, богато украшенный вензелями и узорами. По верху билета шла тисненая надпись «Железные дороги России». Чуть ниже и чуть мельче значилось «Великие дороги великой страны».

— Мы выдадим вам дорожный набор, — предложил мне железнодорожник, протягивая мне планшет с бумагой. — Пожалуйста, распишитесь вот здесь.

Я поставил максимально неразборчивую закорючку в самом низу листа и отдал планшет обратно.

Мы подошли к входу. Стало видно, насколько затерта и обтрепана краска на здании вокзала. По всей видимости, последний ремонт был более десяти лет назад. Единственными новыми элементами декора были металлические таблички, укрепленные на каждой из пяти дверей:

Зона транспортной безопасности  
Возможно применение оружия

Железнодорожник прошел внутрь, совершенно не обращая внимания на эти грозные надписи, и я последовал за ним. Нахождение в местах возможного применения оружия не вызывало у меня энтузиазма.

Парадный зал встречал нас рамами металлоискателей, у которых стояли полицейские со строгими лицами.

— Нам сюда, — указал мне железнодорожник, и мы обогнули металлоискательный кордон сбоку. Один из полицейских равнодушно скользнул по нам взглядом и тут же вернулся к своим обязанностям.

— У вас вагон номер пять, — сообщил мне железнодорожник. — Нумерация с головы состава.

Поезд, в котором мне предстояло отправиться в путешествие, был раскрашен в цвета российского флага. Наверное, издавек в движении он выглядел подобно разноцветной зубной пасте, с огромной скоростью выдавливаемой из тюбика. Меня немного смутило то, что все окна вагонов снабжены солидными ставнями из прочных железных листов. Неужели в нашем поезде везут золото?

— Какие надежные ставни, — словно невзначай сказал я. Неужели моя версия о том, что была война, все же верна?

— Да, а как же. Иначе нельзя, — ответил железнодорожник, к моему сожалению, не вдаваясь в подробности. — Документы у вас в порядке? Все оформлено?

— Да, — подтвердил я, прежде чем задумался о том, что документов-то у меня толком и нет. Ладно, решил я, в пути разберемся. Шенгенская виза у меня есть, значит, через Литву меня должны пропустить... В конце концов, Человек в Черном сказал, что мне этого будет достаточно.

Проводница стояла у входа в вагон.

— Служебный билет, — сказал ей железнодорожник. Я протянул документ проводнице, и она, бегло проглядев, вернула мне.

— Документы, паспорт в порядке? — спросила она, отмечая что-то в списке пассажиров.

— Да, — ответил за меня железнодорожник. — Выдайте дорожный набор и оказывайте содействие.

— Хорошо, — сказала проводница, отмечая что-то на следующем листе бумаги.

Вагон был неновым, но чистым и аккуратным, с вытертым линолеумом, раскрашенным под паркет, с белыми, а теперь кремовыми панелями переборок и вишневым, покрытым заплатами дерматином спальных полок. Словом, это был классический плацкарт, совершенно не изменившийся за сорок лет. На пятнадцатом месте, напротив моей полки, сидела невысокая, стройная дама с миниатюрным, изящным лицом и собранными в хвост русыми волосами. На корнях волос была видимая проседь. Дама была одета в черный кардиган с ярко-красными вышитыми маками. Цветовая гамма придавала ей несколько испанский колорит.

На боковом месте располагался еще один пассажир, рыжеволосый мужчина лет сорока или пятидесяти, в мятых брюках и фланелевой клетчатой рубашке. У мужчины были строгое лицо интеллектуала, украшенное узкой полоской рыжих усов, и презрительный взгляд сноба, вынужденного ехать плацкартом вместе с плесом.

— До отправления остается пять минут, — громко произнесли динамики под толчком вагона.

За окном медленно, очень медленно поплыл назад вокзал. Поезд набирал ход мягко и почти невесомо. Я смотрел и смотрел в окно, словно стремясь на прощание увидеть как можно больше родного города. Я в будущем! — ворвалась ко мне в мозг мысль, и только сейчас я до конца осознал эту невероятную истину, распробовав ее, точно гурман — марочное вино. Я в две тысячи пятьдесят седьмом году! Еду! Поездом! В Москву! Вокруг меня — люди из будущего! Мне выпал шанс, который, наверное, выпадает одному человеку из миллиардов, если выпадает кому-то вообще!

## Транзит

...Где  
Родина. Еду я на родину,  
Пусть кричат — уродина,  
А она нам нравится,  
Спящая красавица,  
К сволочи доверчива,  
Ну, а к нам...

*Группа «ДДТ». Родина*

За окном стремительно появлялся, возникая из ниоткуда, мелькал, уносился вдаль и пропадал в никуда Калининград будущего.

По вагону, собирая билеты у пассажиров, уже шла проводница. Куда же я в спешке положил свой? В сумке его отчего-то не было. Я вспомнил, что билет, как и телефон, лежит у меня во внутреннем кармане ветровки. Покопавшись в куртке, я достал содержимое кармана наружу.

— Прямо как у меня в молодости! — восхищенно сказала женщина в кардигане, глядя на телефон. — А что, их начали выпускать?

Я торопливо убрал мобильный в сумку.

— Нет. Это раритетная модель из моей коллекции, — начал я на ходу рассказывать свою легенду. — Я историк, занимаюсь изучением начала двадцать первого века. Коллекционирую старые вещи, в том числе и технику.

— Здорово! — мелодично и грустно сказала женщина в кардигане. — У меня когда-то тоже такие были. Даже сейчас, наверное, лежат где-то...

Она не договорила, внезапно осекшись.

— Вы, наверное, до Минска едете или же до Смоленска? — спросила она. — Смотрю, вы совсем налегке.

— Нет, я до Москвы.

Женщина в кардигане удивленно посмотрела на меня заботливым взглядом.

— А как же вы так? Совсем без одежды, без вещей, целую ночь пути...

— Да вот так получилось, — сказал я чистую правду. — Срочно понадобилось ехать в Москву по важному поручению. Пришлось собираться в последнюю минуту. А вы тоже туда?

— Да. За покупками.

Я посмотрел на нее с вопросом.

— Я торгую подержанной одеждой, — пояснила женщина, поправляя на себе кардиган. — Еду в Москву закупать старые вещи для перепродажи. Светлана меня зовут.

Я представился в ответ. В проходе плацкарта появилась проводница, одетая в форменную белую блузку и темно-синюю юбку. На небольшом бейджике было написано «Ольга».

— Попрошу ваши билеты, — сказала она. — Кстати, вот возьмите, — протянула она мне небольшой полиэтиленовый пакет с дорожным набором.

— Вы сейчас напомнили мне один случай из моей молодости, — сказала Светлана. — Я ездила в Москву на огромный рок-фестиваль. Там я разговорилась с одним парнем, который приехал автостопом из Комсомольска-на-Амуре. Он добирался до Москвы целый месяц. У него вообще не было денег. Вы похожи на него. У него были такие же светлые волосы. Вообще, мне кажется, будто я вас видела...

— Сомнительно, что это был я. Я не из Комсомольска. А сам фестиваль вам понравился?

— Это было прекрасно! — воскликнула Светлана.

Неожиданно легко мы разговорились о рок-музыке, почти сразу перейдя на «ты». Поезд уносил нас вперед, а мы со Светланой оживленно беседовали. Судя по всему, моя соседка по плацкарту была завзятой меломанкой.

— Я даже не могла себе представить, — сказала Светлана, довольно улыбаясь, — что сейчас из молодежи кто-то еще увлекается роком. Откуда ты все это знаешь? Ладно еще я — ведь я застала те времена! Но как же ты? Ты не на концерт, случаем, едешь? — спросила она, чуть понизив голос.

— Нет, а что за концерт?

— Большой осенний рок-фестиваль в ДК Горбунова, — негромко сказала она.

— Я даже не знал про такой фестиваль. Если получится, то приду.

— Я вижу, что ты в теме, — сказала она. — Если хочешь, я могу замолвить за тебя словечко, чтобы тебя тоже пустили. Фестиваль ведь только для своих, с улицы не приедешь. Он существует лишь потому, что его курирует сам премьер-министр. На каждом концерте он сидит в парадной ложе, надев парик, и думает, что его никто не узнает... Так ты, наверное, на музыке специализируешься? — с интересом спросила Светлана.

— На всей эпохе, — ответил я. — Центральной точкой моих исследований я взял две тысячи седьмой год.

— Прекрасный год! — сказала она. — Я тогда в школу пошла. Золотые времена! Можно было делать все, что душе угодно! Если ты хочешь, я могу многое тебе рассказать про ту эпоху: про Интернет, про мобильники, про музыку, про жизнь. Вижу, что ты все это знаешь, но одно дело знать, а другое дело — лично прожить!

Со стороны боковушки внезапно донеслось покашливание.

— Это было ужасное безвременье, — с ошутимой нотой снобизма сказал рыжеусый интеллигент, откладывая в сторону книгу. На обложке позолотой сверкнули слова «Хан Батый, основатель русской государственности». — Это была година анархии, когда наша страна, утратив свою национальную идентичность, всю катилась в пропасть вслед за Западом, когда идеалом нашей молодежи были европейские псевдоценности, чуждые русскому этносу и ведущие к разложению нашей цивилизации...

Светлана молчала. Я видел, как побелели и сжались в тонкую нить ее губы.

— Сбегаю-ка я за чаем, — сказал я, поднимаясь с полки, когда молчать стало совсем невозможно. Пить мне хотелось с самого утра.

Вагон был заполнен на две трети. Непривычным казалось то, что никто не смотрел фильмы на планшетах и ноутбуках, не играл на телефоне и не читал электронные книги. В ходу были обыкновенные бумажные издания. Кто-то разгадывал кроссворд,

напечатанный на рыхлой неотбеленной бумаге. В одном купе тасовалась колода слегка помятых бумажных карт. Чуть дальше пассажиры ели яйца, и характерный запах напомнил мне о том, что я голодаю уже более сорока лет.

— Чай, пожалуйста, — обратился я к проводнице, — и овсяное печенье. Сколько с меня?

— Сто сорок, — проводница выдала мне подстаканник, чайный пакетик и упаковку печенья. Я вытащил из сумки пеструю банкноту в пятьсот рублей и расплатился.

— Это же не еда! — воскликнула Светлана, глядя на мои покупки. — Давай я тебе хоть бутерброд дам!

Развернув салфетки, она протянула мне кусок черного хлеба, на котором лежали два кусочка копченой колбасы.

Я сжевал бутерброд. Он был немного странным на вкус. Когда-то моя подруга, не имея под рукой муки, испекла пирог из толокна, и я был готов поклясться, что сейчас ощущаю этот же специфический вкус в хлебе. Колбаса напоминала говяжьи жилы, прокрученные с черным перцем через мясорубку. Запив горячим чаем ядреную смесь, я проглотил ее. Чай тоже оставлял желать лучшего. Я принял. От чая доносился тонкий запах уксуса. Я жевал овсяное печенье с чаем. По счастью, оно не сильно отличалось по вкусу от выпускавшегося в мое время.

— Слушай, а почему ты с брюк нашивку с названием не срезал? — негромко спросила она, усаживаясь на полку.

Я пожал плечами.

— Да вот так получилось, — ответил я. — Думаешь, стоит снять?

— Конечно, стоит! — так же негромко сказала она, бросив взгляд в сторону боковой полки. — В большой России с этим очень строго. Сразу прицепятся. Давай я тебе срежу.

— Ну, давай, — согласился я, поднимаясь с полки.

Светлана достала маникюрные ножницы и очень аккуратно срезала лейбл с моих джинсов. Только сейчас я заметил, что у нее на руке видна старая татуировка в виде трех небольших цветных звездочек.

— Держи и спрячь, — сказала она, протягивая мне срезанную нашивку, из которой торчали растрепанные нитки. — И лучше не рискуй с этим. Этой весной сын приехал за товаром к поставщице, а у нее все было перекрыто. Пришла полиция и дочиста обобрала все прилавки. Якобы кто-то увидел там старую турецкую блузку с принтом на английском языке, и полиция провела контрольное изъятие для экспертизы. Потом ничего не вернули и еще взяли огромный штраф. Повезло еще, что это была обычная полиция, а не тайная. Те бы всех посадили. Так что ты будь аккуратнее.

Я подумал, что когда я вернусь в свое время, то нужно будет непременно найти Светлану. Знакомствами с такими женщинами нельзя разбрасываться. Я закутался в одеяло и устроился поудобнее на полке... Кто-то прошел по вагону, задев мои ноги, торчащие с края полки, и я открыл глаза. Похоже, я проспал всего лишь несколько часов. За окном была непроглядная темнота.

Рядом со Светланой сидела женщина лет сорока, очевидно севшая в Черняховске. На ней был слегка вытертый и явно неновый черный спортивный костюм, сшитый из синтетического бархата; одежда делала ее похожей на пантеру. Короткие волосы имели пронзительный морковно-рыжий цвет.

— Где это мы едем? — поинтересовался я.

— Литва, — коротко ответила женщина-пантера.

Только сейчас, глядя на черноту за окнами, я понял, что это не ночь и даже не сумерки. Окна были наглухо закрыты снаружи, по всей видимости — теми самыми ставнями, которые так удивили меня на вокзале. На какой-то миг мне показалось, что вагон превратился в бронепоезд.

— А как мы вообще сейчас едем через Литву? — поинтересовался я.  
— Как обычно, с закрытыми окнами, на полном ходу и без остановок. Проедем границу, и ставни откроют.

— Какая сложная система, — сказал я. — Я чувствую себя как в бронепоезде.

— Кстати, чуть не забыла, — сказала она. — Пока ты спал, приходил начальник поезда. Он посмотрел на тебя, не стал будить и ушел.

Мне это не понравилось. Неужели моя личность все-таки вызвала какие-то подозрения?

Я познакомился с женщиной-пантерой. Ее звали Катя.

— А вы в Москву по работе?

— Нет, — сказала Катя. — Надо переформировать лицензию на право выращивания картофеля. Наш участок земли с огородами по ошибке приписан к Славскому району. Опять ужесточили правила, и если мы не оформим бумаги по всем правилам, то в следующем году всю картошку конфискуют. Надо обращаться прямо в московский Агропром. Хорошо, дали приглашение на въезд, а то бы визу не открыли, и пришлось бы сидеть в деревне впроголодь.

— А вы не в Черняховске живете? — переспросил я.

— Раньше жили, — ответила Катя. — Работы не стало, вот мы и уехали к родителям мужа. Старый немецкий хутор, чуть-чуть не доезжая до Большаково. Есть чем детей накормить, и на том спасибо. Сейчас, по осени, продали урожай на рынке, хватило на эту поездку в Москву. На зиму денег уже не остается, но хотя бы картошки хватит. Картофель выращиваем, овощи. Капуста, морковь, лук, помидоры в теплицах. Кабачки. Зелень. Жаль, яблони пришлось спилить — на них большой налог, а в подвал их, как куриц, не спрячешь. Хорошие яблони были, еще немецкие...

— Так вы куриц держите? — с интересом спросила Светлана. — Как раз то, что нужно. Обменяемся координатами? У тебя есть телефон?

— К нам не провели, — сказала Катя. — Могу тебе из Большаково позвонить. Или давай я запишу адрес.

— Если будешь в городе, заходи ко мне за одеждой, — сказала Светлана. — Я надеюсь закупить хорошую партию в Москве.

— Если будут деньги, найду, а то мы в этом году из одежды покупали только носки. Ну, и еще сыну резиновые сапоги. Кстати, — понизила голос Катя, — мы к Новому году свинок откармливаем. Хочешь мяска?

— Хочу. А вы без лицензии выращиваете? — так же негромко спросила Светлана. Катя кивнула. — А не боитесь, что заберут?

— Если захотят, то и так заберут, — еще тише сказала Катя. Я едва мог слышать ее слова. — В том году мы честно купили лицензию. Осенью пришел инспектор из ветеринарного надзора, сказал, что кабанчик выглядит подозрительно, и унес. Взамен прислали акт об изъятии кабанчика, потому что у него обнаружили ящур. И даже деньги за лицензию не вернули.

— Это прямо как у нас в магазине, — сказала Светлана. — Приходят пожарники... Ну, вы знаете, есть пожарные, которые дома тушат, а есть пожарники. Раз в месяц они приходят к тебе и говорят, что у тебя неправильно висит огнетушитель. Без пяти тысяч в карман не уйдут. Вслед за ними приходит санитарный надзор и говорит, что в углу только что пробежал таракан...

— У нас так сельхознадзор приходит, — сказала Катя. — Он со свекром в школе вместе учился. Вот мы с ним и договорились, что в декабре дадим ему окорок, а он нас прикроет с нелегальными свиньями.

— Вы пшеницу не выращиваете? Я уже сто лет нормальной выпечки не делала.

— Нет, — негромко сказала Катя. — У нас сосед в том году брал лицензию на выращивание пшеницы. Сдал по закону две трети в Агропром, по госзакупочной цене, ну вот за эти деньги он даже топливо для мотоблока не окупил. В этом году он рискнул, вырастил без лицензии. Как только собрал урожай, за ним пришли. Сказали, что зерно-сырец — стратегический ресурс. Сейчас судить хотят... Скорее бы Гудогай. Курить хочется, а от этих разговоров — и есть. Я слышала, ты без багажа едешь. Хочешь закусить?

На столике появилась немного потерявшая коробочка из прозрачной пластмассы. Доставшуюся мне куриную голень я обглодал в мгновение ока. Это действительно было настоящее мясо, пусть даже и холодное, но не ставшее от этого менее вкусным. Желудок радостно заурчал, принимая еду, и я тут же подбодрил его кусочками вареного картофеля, присыпанного солью. Тем временем на столе появились огурцы и помидоры.

— Слушай, — сказала Катя. — В Москве деньги платят.

— Раз уж тебя позвали, — заботливо сказала Светлана, — хватайся там за любую возможность. Может, в люди выберешься, станешь москвичом. Будь я гражданкой Москвы, мне бы до пенсии оставалось всего три года!

— У меня знакомая в сорок втором вышла замуж за какого-то москвича и получила их паспорт. Ее муж работал в службе по надзору за нравственностью и семейными ценностями. Устроил ее к себе начальницей подросткового отдела. Она сидела в кабинете и раз в неделю подавала наверх отчеты о длине юбок московских старшеклассниц в каком-то Дегунино. Получала шестьдесят тысяч. Мне тогда на водочном заводе восемь платили, — добавила Катя.

— А что, других вариантов вообще нет? — поинтересовался я.

— Вот посмотри на меня. Всей семьей с мужем, сыном и невесткой держимся за магазин, потому что больше ничего нет. Треть денег уходит на налоги, треть на взятки, чтобы не закрыли пожарники или санитары, на остаток — живем... — с грустью призналась Светлана.

— У вас в Калининграде хоть какая-то работа есть, — возразила ей Катя. — А у нас в Черняховске один мясокомбинат остался. Стоишь до одури у конвейера с утра и до вечера, надеясь, что не оштрафуют. Ног потом не чувствуешь. Я так пять лет проработала. Выпускали мы там колбасу «Кайзеровская», по оригинальному немецкому рецепту 1918 года. Половина гороховой муки, четверть сала, четверть мясного сока. Так ее закупали даже из России, говорили, что это единственная колбаса, от которой едока не рвет.

— Я понял, — сказал я. — В общем, буду цепляться в Москве.

— Обязательно, — сказала Катя. — Вот у меня дочь имеет диплом психолога, и что дальше? Работы нет никакой. Она постоянно плачет и говорит, что не хочет всю жизнь провести в огороде, а мне даже сказать ей нечего!

— Вы еще вовремя закончили, — сказала Светлана. — У меня внучка в следующем году должна в школу пойти, а тут ввели правило, что нужно обязательно купить сертифицированную форму за пятьдесят тысяч. Ладно, бирки-то я могу перешить, это не проблема, но вот где взять сертификат? А ведь без него в школу не пустят! И ладно бы еще там учили! Сейчас везде одно и то же, из бесплатного остались только основы религиозной культуры, нравственность, патриотическое воспитание, физкультура и сельхозподготовка... Наша школа дорога и бесполезна. Зачем она вообще нужна?

Ее перебил гневным покашливанием интеллигент с боковушки.

— Что значит «зачем нужна школа»? В наши дни, когда Россия вынуждена противостоят всему миру, патриотическое воспитание — единственное, что может оградить наших детей от разлагающего дыхания Запада. Может быть, вы хотите, чтобы вернулись дикие времена вашей молодости?

Мы втроем в гробовом молчании слушали его. Катя было приготовилась что-то сказать, но Светлана остановила ее легким прикосновением.

— Не надо, — тихо шепнула она. — Мы в поезде... Молчи...

— Поэтому, — продолжил несгибаемым тоном сосед с рыжими усами, — можно только порадоваться тому, что наша страна приняла меры самозащиты. Школа защищает наших детей, молодых и уязвимых, обучая их тому, что жизненно необходимо, даже если для этого приходится немного сократить обычные предметы. Патриотизм важнее знаний. Нам нужно знание того, что Россия сейчас противостоит всему миру в необъявленной войне. Вы не видите дальше своих узких интересов. Вы готовы предать родину за кусок хлеба, но взамен получить европейские псевдоценности. Даже сейчас в стране слишком много либерализма. Я двадцать лет веду во Дворце молодежи уроки патриотизма и любви к родине, защищая наших детей и наше будущее от таких национал-предателей, как вы. Я учу детей играть на балалайках и плясать вприсядку, чтобы они хранили свой культурный код.

В проходе вагона послышались быстрые шаги. Я заметил, как лицо Кати каменеет, и обернулся.

— Лейтенант полиции на транспорте П., — представился суровый парень в серой форме. Он был среднего телосложения и чуть моложе меня. На стриженной голове плотно сидело кепи. — Вы тут политикой занимаетесь?

Я притворился умывальником. Во времена моего детства в одной из компьютерных игр можно было поместить своего персонажа на одной клеточке с обычной сантехнической раковиной, после чего он становился невидимым для противника. К счастью, Катя взяла удар на себя.

— Нет, — злым тоном сказала она. — Мы вообще молчим.

— Они вели разговоры, — упрямо сказал сосед с рыжими усами, — о том, что сейчас плохо.

— Значит, о том, что сейчас плохо, — повторил лейтенант и посмотрел на Светлану с Катей. — Есть такая статья, называется «Несанкционированный митинг». До семи лет, но вы находитесь в общественном месте, что являетсяотягчающим обстоятельством. Мэру наказания определит суд, а вот я могу прямо сейчас поставить каждой из вас в паспорт штамп о неблагонадежности. По прибытии на ближайшую станцию вы будете помещены в Единый федеральный список неблагонадежных граждан, что приведет к значительному ограничению ваших гражданских прав и свобод...

— Никакого митинга не было, — торопливо сказала Светлана. — Мы говорили о том, куда пойти учиться детям. Сравнивали школы, и все.

— Значит, не было, — протянул полицейский. — Не было, да? Давайте тогда проведем выборочную проверку документов в целях соблюдения транспортной безопасности.

Катя и Светлана с мрачными лицами потянулись за сумками, извлекая паспорта и сложенные листы каких-то официальных бумаг. В этот момент раздался голос из вагонного динамика.

— Уважаемые пассажиры! — сообщил голос. — Говорит начальник поезда Калининград—Москва. Сообщаю вам, что мы благополучно покинули территорию Литвы и в настоящий момент пересекли границу Минской Государственной Республики. Благодарю вас за гражданское мужество, проявленное в процессе транзита территории враждебного государства!

— Так, Светлана Валерьевна, федеральный общегражданский номер 39-00-282-451... — неторопливо произнес полицейский. — Разрешение на временный выезд с места проживания, справка о благонадежности, ознакомление с правилами передвижения, свидетельство об инструктаже... Оплата пошлин за пользование казенными пу-



тями железнодорожного сообщения... Почему у вас в акте о благословении поездки чек из церковной кассы прикреплен скрепкой вместо требуемой неразъемной скобы? Почему неразборчивая подпись на разрешении о въезде в Москву? Почему штамп поставлен вверх ногами? Это — небрежное оформление документов на право передвижения поездом дальнего следования. Штраф две тысячи.

Светлана плотно сжала губы, но ничего не сказала.

— Теперь ваша очередь, Екатерина... Кестутисовна... ну у вас и отчество... федеральный номер 39-19-265-410... Почему флюорография пройдена не по месту жительства? Это означает, что вы едете поездом дальнего следования с недействительной медкомиссией. Своей безответственностью вы подвергаете опасности здоровье остальных пассажиров. Штраф пять тысяч.

Вагон безмолвствовал.

— Так, а твои документы? — спросил полицейский, поворачиваясь к соседу с рыжими усами. Тот, недовольно фыркнув, протянул бумаги, вложенные в бордовую книжечку паспорта. Я обратил внимание, что там, помимо государственного герба, располагается еще и изящный силуэт Петропавловского собора.

— Антон Георгиевич, номер 78-10-175-121... — равнодушно произнес полицейский, разглядывая паспорт.

— Я как раз выступал с полной поддержкой государственной политики в сфере образования! — торопливо заявил наш сосед.

— Слишком громко ты выступал, — строго возразил ему полицейский. — В правилах следования написано: пассажир не имеет права обсуждать вопросы политического характера, а тебя слышал весь вагон. Штраф двадцать тысяч за нарушение правил.

— Но ведь я же всецело поддерживал государственную политику! Я не из пятой колонны! Какой штраф? Какой пикет? Это невозможно! Я требую немедленно вызвать петербургского консула!

— Замолчи, — резко и негромко сказал он рыжеусому. — Иначе ты договоришься до того, что за тобой сейчас придут откуда надо.

Рыжеусый дважды дернул усами, словно пытаясь что-то прожевать.

Полицейский шагнул ко мне и пристально посмотрел мне в глаза.

— А ты что сидишь? Документы показывай.

Вздыхнув, я полез в сумку за загранпаспортом. Я уже доставал его, как вдруг в нашем плацкартном купе появился человек, одетый в синюю парадную форму железнодорожника. На его лице были напускная озабоченность и деловитость.

— Здравствуйте, — сказал он мне, вставая на место лейтенанта, который чуть отступил назад. — Я — Петр Константинович, начальник поезда. Вячеслав Павлович просил оказывать вам содействие. Я уже было приходил, но вы спали...

Мне показалось, что даже колеса стали стучать чуть тише. Глядя на лейтенанта, я подумал, что теперь наступила его очередь притворяться умывальником.

— К сожалению, — продолжил начальник поезда, — все купе в штабном вагоне уже заняты, и нет никакой возможности вас разместить там. Как у вас, все благополучно? Что-либо требуется?

— В принципе все нормально, — сказал я. — Только вот документы проверяют. Тут возникло недоразумение, будто мы политикой занимаемся. Это совершенно не так...

— Выборочная проверка безопасности, — сказал начальник поезда, решительно рубанув воздух ладонью. — Я думаю, что здесь все в полном порядке, не так ли, лейтенант? Если вам что-то потребуется, обращайтесь сразу ко мне. Лейтенант, пойдете.

Люди в форме удалились, оставив весь плацкартный вагон в гробовом молчании.

## Молодечно

Сохнут волосы, метет метла,  
В кобуре мороза пистолет тепла.  
У дешевой пищи запоздалый вкус,  
Я забыл вмешаться и спросить «зачем?».

*Группа «Гражданская оборона». Тошнота*

Октябрьские сумерки готовились уступить место ноябрьской ночи. Все облака остались позади, над Калининградом. Абсолютно безоблачное небо превратилось в один большой цветной переход от персиковых красок западной зари до насыщенно-синего востока, где уже светились звезды.

Я спустился вслед за Катериной на перрон, вымощенный декоративными плитками, и огляделся. Вслед за мной вышла Светлана.

— Я не знаю, кто ты, — сказала Катя, глядя прямо на меня, — но большое тебе спасибо.

— Не за что, — сказал я. — Если честно, я сам не знаю, кто я, но давайте пойдем куда-нибудь подальше отсюда.

Мы пошли по перрону. На здании станции размещался большой, шесть на три метра, плакат с бело-зелено-красным флагом. Зеленый цвет был приятного теплого оттенка ростков молодого бамбука. Надпись золотого цвета гласила:

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИНСКУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕСПУБЛИКУ!»

Сбоку от станции был разбит небольшой декоративный сквер с елями. Перед круглой клумбой стоял гранитный валун с прикрепленной табличкой. За ним возвышались два флагштока. Мы остановились под двумя повисшими в безветрии флагами. Один из них был отечественным триколором, второй — бело-зелено-красным. При свете фонаря стала видна надпись на табличке:

Здесь, в районе Островца и Гудогая,  
18 апреля 2031 года  
Были соединены 1-й и 2-й Минские участки  
Великой пограничной защитной линии «Засека»

Я вернулся к клумбе, и ель закрыла от меня бронированный локомотив.

— Такое ощущение, — помедлив, сказал я, — что мы ехали в столыпинском вагоне.

— Так это и есть столыпинский вагон, — сказала она. — Ты думаешь, эти ставни закрывают, чтобы защитить нас от литовцев? Нет, они нужны, чтобы никто не сбежал по пути. Это уже лет тридцать, с тех пор, когда закрыли границы. Люди, которые хотели уехать, начали сбегать во время поездок. Разбивали окна, вылезали на крыши и прыгали, когда состав проезжал над реками или возле озер... В пятьдесят пятом году какой-то москвич хотел сбежать, взорвав порохом окно в туалете вагона. Ставню заклинило, и он не пролез. Ему дали пятнадцать лет за терроризм. Громкое было дело. Из-за этого сменили руководителя нашей железной дороги, прислали нового из Москвы. У меня ведь муж пятнадцать лет инженером-путейцем работал. Вызвал его один такой молодой да амбициозный начальник в кабинет и сказал: вот так и так, мы тут усиливаем безопасность дорожного следования, а у тебя жена иностранка по деду. Или разводишься, или пиши заявление по собственному желанию. Ну, развелся фиктивно.

А его потом все равно через месяц уволили, мол, был женат на иностранке по деду. Мне тогда на мясокомбинате третий раз подряд зарплату недоплатили. Сначала два месяца штрафовали за невыполнение плана, а на третий раз, когда я его все-таки выполнила, сказали: «Что-то много ты заработала» — и снова оштрафовали за неформенную одежду. Вот и я ушла с работы.

Громкоговорители сообщили, что скорый поезд Калининград—Москва отправится через десять минут. Медленно и нехотя мы отправились назад, к вагону. Только сейчас я увидел, что в дальнем конце станции возвышается смотровая вышка. На фоне закатного неба вырисовывался силуэт человека с биноклем. Хорошо, что не с оружием, подумал я.

Вагон встретил нас теплым, но слегка душным воздухом. За нашим окном, в метре от поезда, виднелся зеленый бок товарного вагона. Грузовой состав стоял на соседнем пути. Белые трафаретные буквы извещали, что внутри находятся шестьдесят тонн зерна. Чуть ниже располагался стилизованный под колос логотип «АГРОПРОМ». Дальше снова шли трафаретные буквы, сообщающие, что зерно является национальным достоянием России и попытка кражи будет строго... Из окна последнюю строку не удавалось разглядеть, и я так и не узнал, что же произойдет после попытки кражи.

Вагон с зерном за окном медленно поплыл назад. Проревел гудок локомотива, и поезд начал набирать ход. Мелькнул какой-то переезд, где за шлагбаумом одиноко стоял грузовик. Вагон слегка качало. За окнами сразу начался лес.

— Что-то все равно есть хочется, — сказал я. — Пожалуй, я заскочу в вагон-ресторан.

— Там же дорого! — сказала Светлана.

— Я посмотрю что-нибудь самое дешевое, а то мне совесть не позволяет питаться вашими припасами, — сказал я, поднимаясь с полки.

Мне захотелось пересчитать деньги. Сделать это в банке я не успел, а пересчитывать в плацкарте двести тысяч было бы слишком авантюрной идеей. Ватерклозет был свободен. Я перешагнул через порог и, захлопнув за собой дверь, повернул никелированную защелку. Открыл сумку и наконец-то приступил к пересчету денег. Банкир любезно снабдил меня купюрами разных достоинств. За сорок лет казначейские билеты несколько изменились, обретя странную яркость красок. Пятисотрублевую банкноту украшал крупный портрет Петра Великого в кричащих кислотно-фиолетовых цветах. Прохладно-зеленый цвет тысячерублевой стал ядовито-броским. Ярослав Мудрый казался заточенным в малахитовой шкатулке. Новую купюру номиналом в две тысячи я рассмотрел повнимательнее. На ней в малиново-бордовых тонах был изображен Минск. Я покрутил в руках пачку доселе незнакомых банкнот и пролистал их. Пятитысячная купюра почти не изменилась, разве что приобрела морковный цвет. Добавив несколько абрикосовых сторублевок сдачи с чая и овсяного печенья, я подвел баланс. Сто девяносто тысяч восемьсот сорок рублей. Банкир не обманул меня. С металлических червонцев в обе стороны зорко смотрел двуглавый медведь.

Я положил несколько купюр в пустующий после ночных прогулок кошелек и убрал остальные деньги в сумку к загранпаспорту. Прикоснувшись к нему, я внезапно вспомнил, что обе мои соседки упоминали про московские визы. Надо было посмотреть, есть ли что-то подобное у меня. Сейчас я был гораздо внимательнее и сразу же заметил небольшую графу «Личный номер», набранную мелким шрифтом между строками «Тип» и «Фамилия». В ней стоял прочерк; возможно, поэтому она и не бросалась в глаза. Итак, я был человеком без номера.

На одной из страниц был вклеен визовый бланк совершенно неизвестного мне образца. Единственными знакомыми мне элементами являлись отечественный триколор и уже ставший привычным двуглавый медведь. Я пробежал глазами по тексту.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫЕЗД  
С ТЕРРИТОРИИ ПОГРАНИЧНОГО СОЮЗА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И  
МИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕСПУБЛИКИ

Бланк был заверен чьей-то похожей на спираль подписью и большим круглым штампом красного цвета, на котором, что меня удивило, был изображен двуглавый орел. На этом оттиске не было ни единой буквы. Что ж, московской визы у меня не было, но обнаруженный вместо нее бланк вселял оптимизм. У меня имелся документ, позволяющий выехать из страны.

Вагон-ресторан был почти пуст. За одним из столиков сидели двое мужчин затрапезного вида. На одном была полосатая тельняшка. Второй был одет в футболку с надписью «30 лет госгвардии». Мужчины пили пиво.

— До чего страну довели, — жаловался человек в футболке. — Вышел на пенсию по выслуге лет, думал, проживу нормально. В том году говорят: денег нет, убираем надбавку за разгон уральских митингов. В этом году убрали надбавку за безупречность службы. Прихожу на вокзал, бесплатные билеты тоже отменили! А в следующем году, говорят, начнут брать коммуналку!

Я взял с буфетной стойки меню в обложке терракотового цвета. Неразборчиво бубнил черно-белый телевизор, подвешенный под потолком. Экран был скрыт помехами: вместо изображения шел давно забытый «снег».

В этот час вагон-ресторан предлагал из первых блюд вегетарианские щи, окрошку, рассольник и дорогой фирменный суп из семи круп. Выбор вторых блюд отличался однообразием: котлеты со вкусом свинины, биточки со вкусом говядины, морковные шницеля, шницеля со вкусом баранины, голубцы со вкусом курицы и в завершение вегетарианский лангет. Вспоминая то, что рассказывали мне попутчицы, я мог вполне ожидать, что под видом этого котлетного разнообразия будут скрываться совершенно одинаковые по форме и содержанию мясодержащие изделия из жирорастворительной смеси, различающиеся только ароматизаторами, идентичными натуральным.

По сравнению с этими странными блюдами гарниры выглядели вполне безобидно. Пшенная каша за двести пятьдесят, овсяная, гречневая и рис за триста, картофельное пюре за триста пятьдесят, макароны за четыреста.

— Овсянку, пожалуйста, — сказал я буфетчице, подсчитывая, что десять порций каши по цене билета до Москвы — все же дороговато. Надо слегка умерить аппетиты, иначе в столице мне будет просто не на что питаться. — И чай.

С меня взяли еще сто рублей в качестве пошлины за реализацию продуктов питания в железнодорожном транспорте и пятьдесят рублей сбора за предстоящее использование поездного ватерклозета. Мысленно ругая налогово-фискальную систему будущего, я отсчитал деньги и сел за ближайший столик.

Овсяная каша отчетливо отдавала маргарином и затхлостью, но в целом была съедобна. Чай был безвкусен, но пакетик хотя бы не разползся в воде.

— ...Как мы можем объяснить это шокирующее происшествие? Только тем, что хваленые демократии Запада даже не пытаются скрывать свою русофобскую политику, — сказал телевизор. Качество приема улучшилось до такой степени, что можно было что-то разобрать. Я посмотрел на экран повнимательней.

— ...Недавние выборы в Германии — событие той же серии. Используя административный ресурс, используя вбросы бюллетеней и подделку протоколов, немецкий канцлер фактически переизбрал себя, — мягко говорил с экрана телеведущий, делая загадочные пассы руками. Черно-белое телевидение делало его похожим на вурда-

лака из немецких немых фильмов ужасов времен Веймарской республики. Позади него светилась надпись «Актуальные проблемы геополитики». Очевидно, так называлась телепередача.

— Да вообще, в натуре, беспредел, — развязным тоном сказал второй телеведущий, почесывая шею. На его пальцах были отчетливо видны вытатуированные перстни. — Вот скажи мне, что, они не могут сделать, как у нас? Приходишь на выборы, говоришь «здрасьте» избирательной комиссии, нажимаешь при всех на компьютере кнопку с твоим кандидатом, и готово. Никто ничего не вбросит и не впишет. Комар носа не подточит.

— Очевидно, что они боятся свободного волеизъявления немецкого народа, — продолжал вурдалак, сделав мягкое движение рукой. — Казалось бы, при чем здесь Украина? Как нам стало известно, этим летом канцлер Германии посетил Киев якобы с дружеским визитом. Совпадение ли это? Очевидно, что это было нужно для того, чтобы заимствовать схемы мошенничества с выборами...

— Нам стало известно, что Франция поздравила немецкого канцлера с победой на выборах, — сообщил вурдалак. — Напомню телезрителям, что король Франции Людовик Четырнадцатый, хваленый король-солнце, мылся всего четыре раза за свою жизнь. И эти люди еще недовольны внешней политикой России! Совпадение ли это?

— Нет, ну они в Европе чисто с рельс съехали, — сказал татуированный ведущий. — Как-то они осмелели. Надо им год наше зерно не продавать, посмотрим, как они заговорят, когда им будет нечего есть. Вот скажи мне, что они будут делать, если мы прекратим им продавать наш хлеб?

— А я напомню, что Россия продолжает экспортировать зерно в Европу только из соображений гуманизма, — сказал вурдалак. — Кто позаботится о несчастных европейских гражданах, когда их собственные правительства превратились в филиалы Госдепа? Никто, кроме нас и нашего августейшего президента.

— Так это... — перебил его татуированный ведущий, понюхав свои пальцы. — Сейчас же октябрь.

— Неважно, — мягко, но уверенно сказал вурдалак. — Октябрь сейчас или ноябрь, наш президент все равно августейший.

К буфетной стойке чуть шатающейся походкой подошел парень лет двадцати пяти. Он был одет в удивительную одежду. Светло-зеленая плотная рубашка с двумя погонами неизвестного мне образца украшалась богатейшей расшивкой с растительными узорами. Наверное, именно так выглядел бы золотой фонтан дружбы народов на ВДНХ, оживи он и превратись в человека. На рубашке повсюду виднелись вышитые желтыми нитками пухлые снопы пшеницы, увитые лентами. Рукава оплели узоры из ржи. На груди незнакомца сверкали четыре медали с абстрактными рисунками знаков; чуть выше, в районе левой ключицы, располагался детально вышитый силуэт комбайна. Казалось, что по вагону-ресторану прошел верховный жрец бога плодородия.

— Дайте гречку, — проникновенно сказал он буфетчице, изучив меню.

Я взглянул на остатки каши в тарелке передо мной и вдруг подумал, что это своеобразная доблесть для семян овса — быть съеденными именно как настоящая овсяная каша. Сложись их судьба иначе, они могли бы стать искусственным хлебом, котлетой со вкусом говядины или даже начинкой для пирожка с ливером, чтобы бесславно исчезнуть в желудке под чужим именем и флагом.

А что будет со мною? Не исчезну ли я в этом будущем столь же бесславно и бесследно? На секунду я закрыл глаза, и перед моим внутренним взором промелькнула вся галерея событий сегодняшнего дня. Отчего-то остро и пронзительно захотелось выпить.

Парень в расшитой рубашке взял со стойки тарелку. Вагон встряхнуло, и он едва не выронил ее.

— Я тут сяду? — спросил он, подойдя ко мне. От него слегка пахло перегаром.

В вагоне была масса свободных мест. Я пожал плечами.

— Садись, — сказал я, уже почти доев кашу.

Вагон снова сильно качнуло, и парень сел на сиденье напротив меня. Он был в состоянии, которое называется «чуть больше, чем выпивший»; на его лице, словно на одном из фаюмских портретов, была печать какой-то неземной задумчивости.

— Спасибо, — сказал он, зачерпывая кашу ложкой. — Пожалуйста, не обращай внимания, дорогой незнакомец. Я выпил, но я еду со своего последнего дембеля и имею на это полное право.

— Имеешь, — подтвердил я, все еще не понимая, чего же нужно от меня жрецу изобилия. В мои времена, солдаты, возвращающиеся плацкартом с дембеля, редко предвещали хорошее соседство, но мой сосед по ресторану выглядел вполне безобидно, хотя и несколько измученно. Судя по всему, он употреблял горячительные напитки уже несколько дней.

— Ну и хорошо, — сказал он, — а то мои соседи по вагону почему-то смотрят на меня так, будто я хочу ночью обчистить их чемоданы.

Я пожал плечами, и положил ложку в опустевшую тарелку.

— Олег, гвардии комбайнер первого ранга, — сказал парень. — Кормилец родины.

Я представился в ответ. Мы пожали друг другу руки над столом.

— Служил? — задал мне сакраментальный вопрос гвардии комбайнер.

— Нет, — так же сакраментально ответил я. Судя по всему, за сорок лет служба тоже немало изменилась, и я решил не рисковать.

— Ну и зря, — сказал он. — Москвич, что ли? Кто же будет кормить родину, если никто не будет служить?

— Домой едешь? — спросил я, аккуратно меняя тему.

— Да, в Малоярославец. А ты откуда и куда?

— Из Калининграда в Москву, — сказал я. — Позвали проводить историческую консультацию.

— Ого, — сказал после паузы Олег, крутя ложку. — Seriously. А я вот должен был месяц назад ехать. Меня задержали в части, вручали вот эту медаль, — он указал на грудь. — Отличник труда, первая степень. Все с моего призыва уже вернулись, а я еще в пути. Дембельские места пусты, и я возвращаюсь домой один. Скучно до жути. Предложил тут одному в вагоне рюмашку, он на меня так посмотрел, словно я его отравить хочу. Больно мне это нужно. А мне поговорить не с кем... Хочешь выпить?

Я пожал плечами. С одной стороны, мне не хотелось рисковать, выпивая в поезде с незнакомым собеседником. На ум приходили всевозможные истории из жизни, заканчивавшиеся тем, что незадачливый пассажир просыпался с дикой головной болью и пустым бумажником. С другой стороны, выглядел зерновой дембель весьма безобидно.

— Только немного, — сказал я, решившись. — А то завтра у меня дела.

Я не знал, чем встретит меня Москва, поэтому рассудил, что следует сохранить трезвость ума.

Мы покинули вагон-ресторан. Мой новый знакомый ехал в одиночестве в крайнем плацкартном купе. К счастью, родина еще не дошла до того, чтобы выдать своему кормильцу боковые места. Там сидела немолодая супружеская пара; женщина с волосами, собранными в тугий пучок, крайне неодобрительно посмотрела на нас. Я подумал, что человек, путешествующий на боковых местах у туалета, вряд ли сможет

положительно смотреть не только на более удачно сидящих соседей, но и на жизнь в целом.

Олег поставил на стол две граненые рюмки, вытащил из большой спортивной сумки полуторалитровую бутылку, обернутую в газету «Сельский труд».

— Лучший дембельский самогон! — гордо сказал гвардии комбайнер, разливая напиток по рюмкам. — Ты такого в магазине нигде и никогда не купишь. Давай, за знакомство!

Самогон был чистым и внешне вполне пристойным. Я осторожно понюхал его. Запах был резкий. Вдохнув, я осушил рюмку. Самогон был резок, словно удар резиновой дубинкой по спине.

Олег положил на стол большой сверток из фольги, где лежал печеный картофель.

— Бери, — мой собеседник схватил пальцами половинку клубня и отправил себе в рот. Я последовал его примеру. От его пресного вкуса мне отчего-то остро захотелось селедки пряного посола. Рюмка самогона разбила спрессованные этим днем мысли, как бильярдный шар — пирамиду, и я откинулся на переборку, не обращая внимания на косо глядящих соседей.

Мой сосед пустился в рассказы. Видимо, он прошел дальше по лестнице потребностей, оказавшись на ступени, где требовался внимательный собеседник. Я же являл собой эталон внимательного слушателя, о котором любой оратор может только мечтать.

Из слов и обрывочных рассказов Олега я узнал, как сильно изменилась армия за сорок лет. Отныне почетной обязанностью каждого совершеннолетнего мужчины была служба в Трудовой армии России. За это время призывник, получая гордое звание кормильца родины, отдавал священный долг на севе и уборке всевозможных сельскохозяйственных культур. Самыми элитными частями, гвардией, считались подразделения по выращиванию пшеницы. Чуть ниже них в незримой табели о рангах шли рожь и овес.

— ...Ну а гречка, рис, горох и фасоль, — перечислял гвардии комбайнер, — это так, пересортица. Это вообще не кормильцы родины, а черт знает кто.

Больше всего моему собеседнику не нравилась соя.

— Сосиски купишь — там соя. Колбасу купишь — соя. Тушенку купишь — там соя! Молоко купишь — там тоже соя!

По этим причинам солдат, выращивающих сою, не особо жаловали и относились к ним крайне пренебрежительно. Куда больше везло призывникам, попавшим в картофельные подразделения.

— Потому что из картофеля можно делать все, — пояснял Олег, наливая себе полную рюмку.

— Всегда, когда ты ехал домой с призыва, можно было брать с собой колосок или клубень. Ты его вырастил, ты страну накормил, ты имеешь право взять с собой дембельский колос! Нет, вышел категорический запрет: мол, расхищение зерна-сырца. Запретили.

Двухлетняя служба делилась на двенадцать призывов, длящихся два месяца.

— На самые сложные дни, — говорил мой собеседник, покачиваясь в такт вагону. — Весенний призыв, когда сеют, осенний призыв, когда убирают. А летом или зимой дома сидишь...

Место службы могло различаться от призыва к призыву.

— Так куда направят. Я начинал служить на Кубани, рис выращивал. Потом меня направили под Белгород, там я на комбайнера и выучился. В прошлом году служил я в Лисках, под Воронежем. Там не урожай был, а просто сказка. Черноземье, эх! Там полуось воткни в землю, к осени трактор появится. А у вас в Калининграде так себе. Лета у вас нет!

— Ходили слухи, — продолжал Олег, — что со следующего года будут баб призывать доярками, да только этим байкам уже лет пять. В мой первый призыв тоже так говорили...

Поезд начал сбавлять ход. Снаружи во тьме горели огни домов. Пронзительно звенел сигнал на каком-то шлагбауме. Похоже, приближалась следующая остановка. За окном медленно появилось и так же медленно исчезло здание станции. Поезд остановился. Мы прибыли в Молодечно. Меня аккуратно откинуло к перегородке.

— Чем после дембеля будешь заниматься? — спросил я.

— Чем получится, — ответил Олег. За окном в свете фонарей мелькнула фуражка. Что-то произнесли станционные громкоговорители. — С работой хреново. Я как-то в Москву пытался устроиться, но меня завернули, мол, рабочей визы нет. А грузчиком я и у себя дома могу пошабашить. Вот все это лето фуры разгружал... А мне ведь после школы дали диплом агронома. Как в воду глядели. Я бы хотел ухаживать за пшеницей, растить ее... Она же живая, как мы! У меня дома на балконе целый огород! Следующей весной пойду в военкомат, попробую пробиться, чтобы на сверхсрочную взяли. Контрактникам, говорят, тридцатку платят. Но чтобы взяли, нужно военному на лапу дать тысяч двести. Я после пятого призыва, когда мне вот эту медаль вручили, хотел поступать в Воронежский сельхозунивер, чтобы потом получить звание бригадира. Ну, мне там дали, но только коленом под зад. Мол, ты из «остальной России», значит, льгот тебе не положено, а медалистов у нас хватает, очередь от самого вокзала стоит. Хочешь учиться — пожалуйста, но триста тысяч в год. Первое высшее у тебя уже есть после школы, а за второе надо платить. Ну, я им прямо на крыльцо плюнул и уехал домой.

Вздохнув, гвардии комбайнер продолжил:

— Я тебе вообще скажу, из моих одноклассников нормально устроился только Саян. Мы с ним с детсада дружны были. Он в технике хорошо разбирался. Его отец продал квартиру и на эти деньги пристроил Саньку в Москву, в техникум при телевизорном заводе. Отучился три года, взяли работать на этот же завод. Производство, приравненное к оборонному. Выдали паспорт москвича. Зарплата такая, что он ее даже не называет. В том году он купил родителям квартиру обратно. Вот мы с ним друзья не разлей вода были, но я тебе так скажу: где справедливость? Почему сборщик телевизоров живет лучше, чем кормилец родины? Вот почему так?

Я не успел ответить. Справа появилась уже знакомая фигура. Это был лейтенант полиции, который чуть было не проверил у меня документы. Дойдя до нас, он остановился, смерил нас взглядом и, подумав, ушел. За все это время он не проронил ни слова. Соседи с боковушки проводили полицейского удивленным взглядом.

Мы переглянулись с Олегом.

— Я знаю, для чего он приходил, — сказал гвардии комбайнер. — Проверить, не везу ли я с собой мешок зерна, прихваченного со службы. Меня так каждый раз проверяют, словно я не кормилец родины, а колорадский жук. Этого дармоеда в португее да отправить бы на уборку свеклы...

Мы снова сдвинули рюмки. Лампы освещения моргнули и спустя секунду переключились в вечерний режим. Вагон погрузился в полумрак. Было поздно. Я огляделся. Соседи уже легли спать.

— Мне пора идти, — сказал я. — Надо выспаться перед Москвой.

— Зря ты так быстро уходишь, — не сразу ответил Олег. Он был уже сильно пьян и тих. — Ну что, рад был познакомиться.

— Удачной дороги домой, — пожелал я. — И удачи со сверхсрочной.

Мы пожали руки на прощание, и я поднялся с места. Меня слегка пошатнуло. По моим ощущениям, сейчас поезд качало гораздо сильнее; мне пришлось два раза схва-



тяться за поручни и один раз наступить на чей-то ботинок, одиноко стоящий в проходе. В вагоне, по которому я шел, почти все спали. Проводница хлопотала по хозяйству в своем купе. Мне пришла в голову идея.

- Скажите, а газеты у вас есть? — поинтересовался я не совсем твердым голосом.
- Есть, — сказала она, доставая лоток с товаром. — Вам какие? Сканворды, анекдоты?
- А газеты есть? Новости, статьи?
- Да, вот выбирайте.

Не глядя, я взял предложенные мне две газеты и журнал, расплатившись абрикосовой сторублевой банкнотой.

— Сдачи не надо, — отказался я от червонца. Миновав грохочущие тамбуры, в которых уже никого не было, я оказался в своем вагоне. Там тоже было темно. Лампы плацкарта светили в треть мощности.

Я начал с газеты, посвященной новостям России. Центральное место занимала политика.

«Августейший президент Российской Федерации заявил о необходимости увеличения уровня благосостояния граждан», — прочел я на первой странице. Бегло прочтя вступительные строки, я узнал, что сегодня в Кремле прошло важное совещание.

«Августейший президент России заявил, — читал я газетную непарель, — что граждане России больше не должны жить в стесненных экономических условиях. Присутствующий на заседании министр экономики доложил господину президенту, что уже к 2067 году совокупный доход среднестатистической российской семьи вырастет вдвое. В свою очередь министр финансов сообщил, что, по его сведениям, достижение удвоения дохода среднестатистической семьи планируется уже к 2061 году»

Какие заботливые министры, подумал я, внимательно присматриваясь к фотографии президента. Я все еще никак не мог понять, видел ли я его раньше, в свое время, или нет? Не то «похож, но не он», не то «он, но не похож». Оставив эти попытки, я продолжил чтение.

Также господин президент высказался о необходимости улучшения снабжения регионов:

«Никто из граждан России не должен страдать от недостатка еды», — заявил он.

На это министр сельского хозяйства заявил, что подготовленная им программа обеспечения продуктами позволит снабдить каждого россиянина едой в полном соответствии с потребностями уже в следующем году.

Пожав плечами, я перевернул страницу. Новый разворот был целиком посвящен быту и достижениям президента. На днях лидер страны торжественно посетил строящийся Люберецкий дворец спорта, где лично залил десять кубометров бетона. За день до этого президент побывал на ипподроме, где принял участие в товарищеском забеге с жокеями и обскакал их всех. Ну, а буквально вчера он посетил Московский водоканал, где лично вывез целый автомобиль нечистот и стал почетным работником месяца. Вскоре после этого, будучи проездом в Мытищах, он посетил городское шопито, где выступил с двухчасовой речью о величии России и ее особом пути. По окончании этой лекции нескольким счастливицам было позволено задать по вопросу.

«Скажите, — спросила у президента маленькая девочка с розовыми бантами (так было написано в заметке), — а правда, что вы умеете ходить по воде?»

«Есть вещи, — скромно ответил августейший, — которые мир еще не готов узнать».

И все слушатели зааплодировали, восхищаясь мудростью и скромностью президента страны.

Вообще, президент вел очень активную жизнь: помимо выполнения всего вышеописанного, за прошлую неделю он роздал чиновникам сорок два руководящих указания и пожелания. В пятницу он посетил Большой театр, где шла опера «Жизнь за

царя». По многочисленным просьбам президент вышел на сцену и исполнил арию Ивана Сусанина, после чего под бурные аплодисменты был растерзан польскими интервентами. Я было испугался за жизнь лидера страны, но тут же прочитал, что на следующий день президент, сидя на заседании какого-то совета, начал от скуки черкать ручкой на бумаге и получил еще одно доказательство теоремы Пифагора.

Следующая страница была посвящена политикам рангом поменьше. Министр здравоохранения уверенно обещал, что в следующем году Россия будет полностью обеспечена препаратами от всех недугов.

С громким заявлением выступило Министерство иностранных дел. Оно было всерьез озабочено положением русскоговорящих в Тимбукту. По сведениям зарубежной прессы, в Тимбукту никто не говорил на русском языке, что явственно свидетельствовало о русофобском влиянии Госдепа в этом регионе. Министр иностранных дел уже отправил в ООН ноту протеста. Мне понравилось, что эта заметка была полна искренней заботы о русских людях за рубежом.

С большой радостью газета сообщала, что Лондонский политехнический музей приобрел один экземпляр отечественной электронной вычислительной машины «Казбек». Разумеется, компетентные органы предприняли все меры, чтобы зарубежные инженеры не смогли бы скопировать наше ноу-хау: системный блок был залит цементом и опечатан.

Далее следовали армейские известия, которым отвели целый разворот. Журналист с гордостью сообщал, что в настоящий момент Россия располагает самыми большими бронетанковыми силами в мире: семьдесят тысяч боевых машин, не имеющих аналогов в мире, были готовы защитить родину от любого нападения.

В Севастополе продолжал строиться броненосец береговой обороны «Адмирал Небогатов», который планировалось в скором времени оснастить четырьмя двухсоттрехмиллиметровыми нарезными орудиями. В статье особо подчеркивалось, что Россия — единственная страна, которая будет иметь на вооружении броненосцы береговой обороны, да еще с самыми мощными корабельными орудиями в мире. В связи с этим удорожание строительства на семьдесят миллиардов сверх сметы должно вызывать только радость, свидетельствуя о единодушии граждан, при котором Россия готова потратить последний рубль для поддержания своей морской мощи и политического суверенитета.

Руководство Москвы сообщало, что программа тотального ремонта дорог началась успешно. В ходе амбициозной строительной программы, рассчитанной на пять лет и пятьсот миллиардов, планировалось вымостить абсолютно все улицы и тротуары Москвы идеально подогнанными плитами отборного белого мрамора. Мэр утверждал, что ни одна столица в мире не сможет похвастаться чем-то подобным. Кроме того, этот проект должен обеспечить невиданное развитие камнеобрабатывающей промышленности России.

Из Петербурга сообщали, что двадцатилетняя реконструкция Исаакиевского собора подходит к концу. К Рождеству храм будет полностью готов в своем новом, полностью православном облике. Я присмотрелся к фотографии собора. Без колонн и барельефов я узнал его не сразу. Сейчас Исаакий выглядел в стиле древнерусского белокаменного зодчества, напоминая храмы Великого Новгорода.

Вторая газета специализировалась на региональных событиях. Главной темой были состоявшиеся в прошлое воскресенье выборы сразу пятнадцати губернаторов. Во всех случаях победу одержали кандидаты, официально одобренные президентом.

Дальше в газете не наблюдалось ничего интересного. Я бегло пролистал ее. Сельское хозяйство процветало, урожай выдался на славу, и закрома родины полны доверху. По этому поводу на Тверской прошло праздничное факельное шествие. В Том-

ске изготовили рекордный по размеру пельмень с начинкой из сои. К памятнику Ивану Грозному в Александрове возлагали цветы, а в Троице-Сергиевой лавре замироточила еще одна икона. По этому случаю был организован пятидесятитысячный крестный ход. В Концертном зале имени Чайковского с большим успехом прошел фестиваль русского шансона «Шалман-2057». Воронежский завод «Синтезкаучук» радостно рапортовал о выпуске юбилейной десяти тысячной цистерны питьевого спирта. Рубрика «Жизнь становится лучше» сообщала, что в Иркутске открыли новую автобусную остановку, в Мурманске закончили ремонт главной городской бани, в Пензе — заасфальтировали обещанную в 2044-м дорогу, а в спальный район Череповца наконец-то провели канализацию и электричество.

Увы, в России все еще имелась преступность. В Красноярске завершился суд над гражданином, обвиняемым в оскорблении чувств верующих. Во время утренней литургии он перекрестился не справа налево, а слева направо. За это кощунство преступник получил полгода заключения. Куда меньше повезло пожилому челябинскому учителю географии, у которого нашли старую, еще с Крымом, карту Украины, напечатанную в 1999 году.

«Призывы к нарушению территориальной целостности страны, выраженные в отрицании безусловной принадлежности Крыма России, — сказал судья, приговаривая учителя к пяти годам условно, — тяжкое преступление. Только из уважения к преклонному возрасту подсудимого я назначаю минимально допустимое наказание».

Открылись новые обстоятельства в деле известного московского пианиста С. Как напоминала газета, этим летом по обвинению в разжигании межнациональной розни был осужден московский пианист, игравший на фортепиано «Вставайте, люди русские» Сергея Прокофьева. Бдительный сосед услышал запрещенную музыку через стену и незамедлительно сообщил об экстремисте в полицию. Судья принял во внимание то, что музыкант исполнял мелодию без слов, поэтому назначил разжигателю всего год общего режима с конфискацией фортепиано, которое было публично раздавлено бульдозером. Казалось бы, самое страшное позади, но недавно при повторном профилактическом обыске было обнаружено, что пианист хранил у себя клавиры оперы Гуно «Фауст», в котором обнаружили ноты арии «Сатана там правит бал». Возобновленное дело было немедленно передано духовному следственному комитету. Речь шла уже не о такой повседневной статье, как оскорбление чувств верующих; за сатанизм вполне можно было получить пять лет в Соловецком трудовом монастыре особого режима.

Газета завершалась рубрикой хозяйственных советов. Здесь располагались рекомендации, как:

- приготовить обед из двух блюд для всей семьи, располагая лишь свинными костями, картофельной кожурой и одной луковицей (здесь же я узнал, что воду, оставшуюся после варки макарон или сосисок, нужно не выливать, а использовать для приготовления супов);
- починить с помощью клея «Момент», полиэтиленового пакета и канцелярских скрепок развалившиеся ботинки;
- сделал несколько вытачек, перешить старую мужскую рубашку в женскую блузку (изношенная ткань мужских рубашек становится мягкой и позволяет подчеркнуть женственность);
- заделать трещину в оконном стекле при помощи канцелярского силикатного клея;
- собрать из консервных банок несложную жестяную печь для обогрева квартиры (отопительный сезон начался не везде, и этот совет был крайне актуальным);
- как затянуть судебную тяжбу с комитетом пожарной защиты и выиграть дело о пожарной безопасности жестяной печи по истечении срока эксплуатации (по-

жарники регулярно инспектировали квартиры, и эта рекомендация была не менее полезна, чем предыдущая).

Рубрика заканчивалась весьма дельным советом о преимуществах покупки жидкого мыла вместо кускового: жидкое мыло можно смело разбавить три, а то и четыре раза, что давало значимую экономию.

Я закрыл газету со смешанным чувством и взял в руки журнал, броско сверстаный в кричащих тонах. На его обложке большими крупными буквами было обозначено «Геополитический обозреватель». Судя по заголовкам, журнал специализировался на зарубежных новостях, и здесь, в отличие от предыдущих газет, было что почитать.

Разворот сообщал, что в этом году Европу постиг неурожай. Пшеницу повредило заморозками, рожь побило градом, виноград поразило грибом, рапс был уничтожен долгоносиком, а картошку пожрал крот. По этому случаю в Берлине, Варшаве, Лондоне и Париже прошли массовые митинги, которые были варварски разогнаны армией. Чтобы спасти население от голода, Агропром России на особом совещании принял решение продолжить практику торговли со странами Запада. Президент России одобрил преисполненное гуманизмом решение.

В этом журнале было очень много заметок и сообщений о происшествиях и преступности. Где-то в Испании карманники ограбили норвежского туриста, и полиция арестовала их только спустя час. В Италии неизвестные хулиганы, которых так и не нашли, изрисовали баллончиками один из мостов Флоренции. В Голландии посетителя обсчитали в кофешопе, а в Англии сгорел стог сена. Каждое из этих событий расписывалось в газете настолько тщательно, словно от него зависела судьба мира. Так, новости спорта с пафосом, достойным античной драматургии, сообщали о трагедии, разыгравшейся в немецком Хохштадте. После того как футбольный матч закончился со счетом 2—1, болельщик проигравшей команды ударил фаната выигравшего клуба. Не это ли, громко вопрошал спортивный комментатор, является лучшим свидетельством той глубинной гнили, что поражает Европу изнутри вот уже шестьдесят лет? По малым поступкам видно большое отношение. Если футбольные болельщики своим недостойным поведением так оскорбляют высокое и чистое искусство спорта, то чего же ждать от коварных и вероломных европейских политиков, готовых всегда вонзить нож в спину России?

Потом шла статья о поставках украинского зерна в Европу.

Подобно тому как российское зерно является самым лучшим, самым качественным и благородным зерном в мире, не имеющим аналогов, украинское зерно является полным его антиподом. Оно мелкое, разносортное, невкусное и низкопробное. Его поражают грибки и болезни, его губят гниль и людская бездуховность. Роспичнадзор установил, что употребление украинского зерна вызывает стеноз указательных пальцев, трепетание желудка, асфиксию кишечника и воспаление пяточного нерва. Невзирая на это, правительства европейских стран закупают украинское зерно, идя на поводу своих узкокорыстных интересов. Платой за политические амбиции западных лидеров становятся жизни простых граждан. Достоверно установлено, что у железных дорог, по которым идут составы с украинским зерном, рельсы ржавеют в три раза быстрее, а в близлежащих городах число разводов превышает количество бракосочетаний. Увы, европейские средства массовой информации замалчивают эти сведения. Почему, спросим мы их? Почему ни один из зарубежных телеканалов не транслировал кадры акций протеста в испанском Толедо? Почему ни одно из европейских СМИ, которые так хвастаются пресловутой свободой слова, не сообщило о том, что в норвежском Лонгйире эшелон с украинским зерном забросали бутылками с зажигательной смесью? Может быть, скажут репортеры зарубеж-

ного телевидения, потому что их и не было? Очевидно, что мы имеем дело с целым разговором молчания, и ответы на эти вопросы выходят за рамки данной статьи...

Я медленно свернул газеты и уткнулся лбом в стекло, пытаюсь охладить распухшую от чтения голову, но это не помогло. Стук колес ворвался прямо в мозг, и я вернулся в исходное состояние. На ощупь я нашел горловину мусорки и выкинул туда прессу. Из висящего на стене расписания следовало, что через пятнадцать минут мы прибываем в Минск.

В начале вагона кто-то одевался и шуршал багажом, готовясь покинуть поезд. Понеслось недовольное ворчание, и что-то громко стукнуло. Снаружи становилось все ярче и ярче. Мы ехали по огромной промышленной зоне с десятками сортировочных путей. Где-то вдали пронзительно засвистел локомотив.

— Особый эшелон тридцать-Ч Калининград—Москва прибывает на седьмой путь четвертой платформы, — донесся снаружи голос громкоговорителя. — Повторяю, особый эшелон...

Из щебенки и шлака, где изредка торчали пучки сухой травы, возник перрон. Поезд очень медленно катился вдоль него. Одиноко стояла девушка, закутавшаяся в огромный шарф. Наши взгляды на секунду пересеклись. С легким рывком поезд остановился.

## Минск

И опять на вокзал, и опять к поездам,  
И опять проводник выдаст белье и чай.  
И опять не усну, и опять сквозь грохот колес  
Мне послышится слово «прощай».

*Группа «Кино». Стук*

Жаль, что все уже спят, подумал я, зашнуровывая в полумраке вагона ботинки. Придется гулять в одиночестве. Я застегнул куртку и, оглядев напоследок гостеприимное плацкартное купе, отправился на перрон.

Снаружи было очень холодно. Спустившись на перрон, я убрал зябнущие руки в карманы ветровки и огляделся. Минский вокзал был большим, прекрасно освещенным зданием из стекла и хрома. Сверху, над головой, чернело ночное небо с белыми клочьями облаков, и ослепительно горели вокзальные фонари. В воздухе чувствовались запахи угольного дыма и машинного масла. Стоящая рядом проводница Ольга переступила с ноги на ногу и посмотрела на меня.

— Что-то холодно, — сказал я, нейтрально начиная разговор.

Я вытащил замерзшие руки из карманов и потер их друг о друга. Это не сильно помогло.

— Мне давно не доводилось ездить через границы таким образом, — сказал я. — Вы знаете, что полвека назад окна не закрывали железными ставнями?

— Ну, это когда было-то, — сказала она, пожимая плечами. — До нашего с вами рождения.

— Ну да, — согласился я. — Но все-таки вам не кажется странным ехать через другую страну в консервной банке?

— Таковы законы, — сказала Ольга, снова пожимая плечами. — Да и тут всего три часа. Я как-то общалась с проводницей, которая работает на поезде Москва—Владивосток. Там, когда поезд едет по китайским районам Забайкалья, приходится закры-

вать окна на двенадцать часов. Летом ужасно получается. Постоянно инфаркты и тепловые удары.

Я не рискнул расспрашивать про Забайкалье подробнее, чтобы не вызвать у проводницы подозрений.

— Потом еще один участок, часов на восемь, — договорила она. — Это если на Владивосток ехать. В обратном направлении сначала восемь часов, потом двенадцать. Так что нам еще везет.

Неужели в России за сорок лет выросло поколение, для которого все это представляется нормальным?

— Как вообще сейчас работаете? — поинтересовался я. — Когда-то давно я был знаком с одной проводницей, которая рассказывала про рейсы много интересного.

— А что тут интересного можно сказать? — немного удивилась моему вопросу Ольга. — Нервная, тяжелая и неженская профессия. Как и везде, зарплаты мало, работы много, штрафуют за что угодно. Пассажиры бывают разные, сейчас вагон спокойный, ехать легко. Вообще, всякое бывает...

— Как у вас на работе строго, — сказал я.

— Вам повезло, вижу, вы работаете по призванию. Я сама в детстве, — сказала она негромко, — хотела стать переводчицей, как моя мама. Она в молодости работала учительницей в школе, делала переводы и водила экскурсии для иностранцев по Калининграду. Потом, когда из школы убрали английский язык за непатриотичность, она пять лет занималась репетиторством. Затем пришли люди из федеральной опричной службы и приказали прекратить. Сказали, что это подпадает под статью о пропаганде антироссийского образа жизни. А родителям школьников заявили, что им могут вынести предупреждение об измене родине. Так и сказали: «Зачем язык учите? За границу сбежать хотите?» И вот с тех пор моя мама работает гардеробщицей. Взяли в школу обратно, по знакомству. Больше на работу никуда не берут, а до пенсии еще дожить надо.

— Жуть, — сказал я.

— Да что вы? — искренне удивилась Ольга. — У нас в Калининграде еще нормально. Жить можно. Хуже было у маминой подруги в Брянске. Она тоже давала уроки английского. К ней однажды пришли какие-то не то хулиганы, не то бандиты. Сказали, что они из духовно-патриотической дружины и что ее уроки иностранного языка оскорбляют русских людей. И что других эти уроки могут оскорбить еще больше, так что если она не прекратит преподавать, то ей сожгут машину, а сына ночью избьют в подворотне. Она пошла в полицию, а там развели руками. Слова к делу не пришьешь. Когда сожгут, приходите. И все. Только вы, пожалуйста, это никому не говорите. Это уже давнее дело. Его ни к чему вспоминать. Выжили, и ладно.

— О, don't worry<sup>1</sup>, — с трудом вспомнил я английские слова.

— Единственный плюс работы проводницей, — внезапно заметила Ольга, — так это то, что можно купить нормальных продуктов в Москве. Мы как приезжаем, так сразу отправляемся в привокзальный универмаг...

— Типа супермаркета?

— Слово-то какое забытое, супермаркет... Да, так назывались универмаги в моем детстве. Удивительно, что вы еще помните.

— Это же моя профессия! — сказал я тоном квалифицированного специалиста.

По перрону шел знакомый мне начальник поезда. Возле каждой из проводниц он останавливался и о чем-то говорил.

— Так, важное изменение, — торопливо сказал начальник поезда, подойдя к Ольге. — К нам сейчас цепляют правительственный поезд до Москвы. Сейчас по вагонам

<sup>1</sup> Не волнуйтесь (англ.).

пройдут люди из службы охраны, будут смотреть на предмет безопасности. Окажи им содействие. После отправления проинструктируй пассажиров, чтобы не ходили по вагонам и не шумели. Если из правительственного поезда что-то потребуют, немедленно предоставь все что угодно. Все понятно?

Ольга торопливо поднялась в вагон, а начальник поезда отправился дальше. Я решил немного пройтись. До отправления поезда было еще много времени.

К счастью, ветер утих, и мне было уже не так холодно. Какое-то время я стоял на галерее, словно на капитанском мостике, озирая будущее, точно моряк — штормовой океан. От возвышенных мыслей меня отвлек громкий гудок. Маневровый тепловоз подталкивал к нашему составу шесть дополнительных вагонов.

Они выглядели более аккуратно, нежели тот, в котором ехал я. Окна снаружи были чище, а триколорная окраска — ярче. Каждый из вагонов был украшен большим двуглавым медведем. На перроне стояло трое мужчин в форме неизвестного мне ведомства. У всех были очень неприятные строгие лица.

— Проход запрещен, — приказным тоном сказал один из них. — Охраняемый состав, нахождение посторонних лиц не допускается.

— Ну, так я же в него не сажусь, — ответил я, разворачиваясь. Показав в кармане мужчинам кукиш, я отправился назад.

— Охраняется, — коротко сказал я Ольге, которая только что вернулась на перрон из вагона. — А что это вообще за поезд к нам прицепили?

— Правительственный спецсостав, — сказала она, стряхивая белую пыль с локтя. — Какие-то перебои с локомотивами. Задержка недопустима, поэтому его присоединяют к нам. Хорошо еще, что у всего калининградского поезда неразъемные сцепки, а то бы нас отделили, и пришлось бы ждать здесь до утра!

— С нами поедет правительство? — поинтересовался я.

— Нет, — сказала Ольга. — Это просто такое название. Там едут высокопоставленные пассажиры. Даже министры и генералы предпочитают поезд, потому что не решаются лететь самолетами. Однако мы скоро отправляемся. Заходите, я буду закрывать дверь.

Я поднялся с минского перрона в ставший мне родным плацкарт. В вагоне было тепло, темно и очень душно. Если бы не вышел наружу, то так бы и не узнал, насколько затхл и тяжел воздух в вагоне.

Хлопнула тамбурная дверь. Вошла Ольга, сжимая в руке железнодорожный фонарь.

— Можно еще чаю? — поинтересовался я. — Я оплачу, конечно же.

Она улыбнулась в ответ на мою улыбку.

— Берите так, — проводница протянула мне подстаканник, чайный пакетик и сахар. — Я в отчете укажу, что это для служебного места.

Поезд уже набрал ход. Мне приходилось идти осторожно, чтобы не опрокинуть стакан на кого-нибудь из спящих или же не запнуться о стоящие в проходе ботинки. Вдали кто-то шумно стелил постель. В нашем купе появились два новых пассажира. Над мирно спящим рыжеусым расположилась женщина. Ее длинные черные волосы раскинулись на подушке, чуть спадая вниз. Над моей полкой уже спал незнакомый мне пассажир, с головой закутанный в одеяло. Судя по громоздкому квадратному чемодану, торчащему из-под моего спального места, и по тяжелому, с присвистом, дыханию, это явно был мужчина средних лет. В купе определенно стало тесновато и менее уютно.

Чай был горячим, я пил его маленькими глотками. Сейчас поезд выходил на прямую линию к Москве. На этом пути после Минска располагались Орша, Смоленск, Вязьма и, хоть поезд там и не останавливался, Бородино. Я внезапно подумал, что наш путь проходит по местам трагической боевой славы России. На Белорусском и Витебском

вокзалах стоят памятники солдатам, которые в свое время отправлялись с них на мировые войны. Я же сейчас еду с той стороны, откуда приходил неприятель.

Как раз на мысли о неприятеле в темном проходе плацкарта появился мужчина лет тридцати пяти, в светло-сером костюме без галстука, гладко выбритый и аккуратно подстриженный. У меня появилось недоброе предчувствие.

Мужчина оглядел меня с ног до головы очень настойчивым и внимательным взглядом, после чего назвал мое имя и фамилию.

— Это вы? — спросил он негромко, стараясь никого не разбудить.

— Нет, это не я, — сам собою вырвался у меня ответ. Что-то подозрительное было в этом вопросе. Мне вспомнился банк в зеленых тонах, где я узнал, почему фунт стерлинга.

Мужчина вытащил из внутреннего кармана удостоверение в красной обложке.

— Третье отделение канцелярии президента, — произнес он. — Меня зовут Алексей, и нам нужно поговорить.

— А если я не хочу с вами разговаривать? — поинтересовался я.

— Пожалуйста, не ведите себя глупо и не ухудшайте и без того плохое ваше положение, — заявил он. — Прошу пройти со мной и поговорить. Ваш паспорт у вас с собой?

— Да. Он нужен?

— Да, нужен.

Мы шли по ночному поезду. Оставив последний вагон плацкарта позади, мы остановились в тамбуре. Здесь стояли двое мужчин в форме. Каждый из них был вооружен пистолетом-автоматом незнакомого мне образца. На двери вагона располагалась большая предупреждающая вывеска, прикрепленная, судя по всему, совсем недавно:

Специальный состав  
Пограничный тамбур  
Посторонним вход категорически воспрещен  
Огонь открывается без предупреждения

— Он со мной, именем августейшего президента, — спокойно сказал Алексей охранникам, и оба с нарочитой готовностью кивнули.

Он открыл дверь ключом, и мы прошли через лязгающий стык вагонов. В погрантамбуре правительственного вагона были двое мужчин в штатском, которые сразу же отодвинулись к стенке, пропуская нас. Оставив охранников позади, мы оказались в коридоре купейного вагона. Сразу ощущалось, что он предназначен для более состоятельных и влиятельных людей, чем пассажиры плацкарта. На полу, поверх паркетной доски, лентой тянулся длинноворсовый ковер с сине-желтыми прихотливыми узорами. Стены до середины были отделаны полированными панелями орехового дерева. Выше шла синяя атласная обивка с двуглавыми медведями, вышитыми золотом. По периметру потолок украшала декоративная лепнина в античном стиле. На двери, через которую мы вошли, располагался большой золотой двуглавый медведь с пшеницей. Только сейчас я смог рассмотреть на ленточках, обвивающих снопы, девиз:

«ПРЕЗИДЕНТ. РОДИНА. СТАБИЛЬНОСТЬ»

— Нам сюда, — произнес Алексей, открывая ключом дверь номер шесть. За дверью было двухместное купе. — Присаживайтесь.

В купе было пусто. Незастеленные полки обтягивал прохладно-синий бархат, на котором золотились двуглавы медведи. Я сел в кресло возле окна.

— Можно увидеть ваш паспорт? — обратился ко мне Алексей, закрыв дверь и щелкнув замком.



Я протянул ему бордовую книжечку. Особый его интерес вызвали шенгенская виза и разрешение на выезд с территории Пограничного союза; он весьма дотошно изучил все подписи и штампы. Алексей выглядел в меру высокопоставленным чиновником средней руки. В нашей беседе мы держались на равных, и это было весьма приятно.

— Возьмите, — вернул мне паспорт Алексей, сжимая в другой руке лупу. Я молча убрал документ. — Вы ехали в Москву. Позвольте узнать, для чего?

— Чтобы посмотреть на архитектуру города и ознакомиться с его историей, — нейтрально ответил я.

— С вами хочет поговорить один очень высокопоставленный человек, — медленно начал Алексей. — Если быть точным, то вас хочет видеть президент Российской Федерации. Надеюсь, мне не нужно объяснять, что это желание имеет силу приказа? Вы поедете со мной в Москву в правительственном вагоне, а потом мы доставим вас в Кремль.

— А если я не хочу?

— Наверное, вы не до конца понимаете ситуацию, — Алексей слегка поднял брови. — Для начала, вы имели у себя банкноту в двадцать евро. Вы не сдавали ее государству, храня у себя. От двух лет общего режима. Далее, вы осуществляли нелегальную продажу валюты. Это уже от четырех лет общего режима.

— Но у меня есть бумага из банка...

— Ваша бумага — липа, и вы прекрасно об этом знаете. Директор банка сознался во всем сразу после ареста. Кстати, вы знаете, что он вас надул? Двадцать евро — это полмиллиона рублей. В банке вы отдавили ногу полицейскому, находящемуся при исполнении, — продолжал Алексей. — Нападение на представителя власти. Пять лет минимум.

— Но я не отдавливал ему ногу!

— Поздно, он уже дал письменные показания, — сказал мой собеседник. — Медицинская экспертиза обнаружила трещину ногтя на большом пальце левой ноги. Далее. Я вижу, что на вас зарубежная куртка. Это можно квалифицировать как действия, направленные на экономический подрыв отечественного производства. От двух лет. Как я понимаю, ваши джинсы и ботинки тоже зарубежные. От трех лет.

— На мне еще польские носки, — добавил я себе срок из чувства противоречия.

— Тогда это уже вплотную подходит преступлению в крупном размере, от пяти лет. К тому же здесь уже может появиться другая статья. В тот момент, когда Россия осуществляет торговую блокаду всего мира, вы финансово поддерживаете зарубежную промышленность враждебных нам стран. Так что тут возможна еще и измена родине, а это... вы знаете, что такое червонец?

— Я знаю еще, что такое четвертак, — мрачно ответил я. Мой собеседник явно имел в виду отнюдь не нумизматические толкования этих слов.

— Вот видите, вы сами прекрасно все понимаете. Впрочем, у вас хватит и более доказанных преступлений. Вы не служили срочную сельскохозяйственную службу. От четырех лет. Уклонение от службы — это опасное преступление, ибо если никто не пойдет служить, то кто же тогда станет кормильцем родины?

Наверное, что-то в моем взгляде задело Алексея. Его тон на секунду стал более человечным.

— Зачем вы так смотрите на меня? — спросил он. — Я всего лишь говорю то, что скажет гособвинитель на вашем процессе. Заметьте, мы сейчас еще не касаемся того, что вы последние три года не были на исповеди. В исповедальном реестре нет сведений о вас. Значит, вы считаете себя безгрешным и этим оскорбляете чувства верующих. Год трудовых работ в Соловецком монастыре.

— А если я атеист?

— Если вы отрицаете существование бога, то это оскорбление чувств верующих, совершенное с особым цинизмом. От двух до трех.

— Ну, а если я агностик?

— То вас все равно посадят, — с предельной честностью сказал Алексей.

— Вы не похожи на человека, который ходит на исповедь и в чем-то признается. Ваш костюм явно сшит не в Иваново, — так же откровенно сказал ему я. — Но вас же не арестовывают?

— А меня пока не хотят посадить, — сказал Алексей, глядя мне в глаза. В слове «пока» чувствовался некоторый вызов, оттененный нотами фатализма.

Мы снова замолчали. Бить такие карты мне было нечем.

— Вы выглядите очень любопытно, и многие хотят побеседовать с вами поближе. В том числе и президент России. Поэтому нам необходимо устроить вас на работу в канцелярию президента. У вас будет чин советника второго класса. Это что-то вроде старшего лейтенанта. К сожалению, больше пока нельзя, но думаю, что в Москве вас ожидает значительный карьерный рост.

— А для чего это?

— Как я уже говорил, вас ищут все. В случае какого-либо непредвиденного инцидента вам будет проще в чине советника, чем без него. Я немного замел ваши следы в Минске. Теперь все думают, что вы пересели в петербургский поезд, и будут ожидать вас в Витебске. Так что мы без проблем доберемся, как минимум, до Вязьмы, а дальше будет видно.

Я просматривал бумаги приема на госслужбу, бегло читая бесчисленные пункты, условия, права и обязанности. Я не мог сказать, что горел желанием устраиваться на работу в канцелярию президента.

— Возьмите, — Алексей протянул мне ручку с пером в виде Спасской башни. — Только, прошу, поставьте свою настоящую подпись, как в паспорте. Сыну турецкоподданного будет очень непросто сделать карьеру в России.

И я, посрамленный, подписал.

— Превосходно. Поздравляю с поступлением на государственную службу в третье отделение личной канцелярии господина президента Российской Федерации — крепко пожал мне руку Алексей. — Третье отделение занимается особыми поручениями, которые нельзя возложить на первые два... Вот возьмите.

Из того же дипломата появилось удостоверение в знакомом красном переплете.

— Это вам, — говорил Алексей, пока я, как замороженный, рассматривал свои фамилию, имя и отчество. — Фотографию мне пришлось взять с камер видеонаблюдения в банке. В Москве вам дадут новые документы. Теперь вы мой коллега. Права, премии, неприкосновенность, выслуга лет, служебное жилье, ведомственные поликлиники, санатории... об этом вам расскажут позднее. Да, кстати, вы можете в разговоре о господине президенте не использовать титул «августейший». Это тоже одна из льгот.

Я только сейчас обратил внимание на то, что на моем удостоверении изображен куда более привычный двуглавый орел.

— Почему здесь не медведь? — спросил я, крутя красную корочку в руках.

Алексей потер переносицу.

— Аппарат господина президента сохранил для себя прежний герб России, — пояснил он. — Двуглавый орел — наш отличительный знак. Кстати, чуть не забыл! Вам нужно выбрать партию, в которую вы хотите вступить.

— Что, простите? — удивился я.

Алексей тем временем извлек из дипломата три партбилета, окрашенные в красный, синий и белый цвета соответственно.

— Неужели вы хотите работать на госслужбе, будучи беспартийным? — в свою очередь удивился Алексей. — Вот выбирайте на свой вкус. «Партия труда и работы»,

«Великая Россия» и «Либерально-Консервативный союз». В принципе они абсолютно ничем не различаются. Помимо этого, я убедительно прошу вас: никогда, ни при каких обстоятельствах не выходите из правительственного поезда. Поверьте, в ваших же интересах ехать до Москвы здесь, никогда и никуда не выходя. В противном случае...

Он не договорил, красноречиво взглянув на меня.

— Что же, тогда я спрошу сам. Правильно ли я понимаю, что я сейчас — единственный гражданин России, который может выехать за границу?

— Пожалуйста, — сказал Алексей, чуть задержавшись с ответом, — больше не говорите этого вслух. По крайней мере, до прибытия в Кремль. Иначе вам будут очень сильно завидовать. Пусть это будет нашим секретом. Договорились?

— Подождите. Мне хочется задать пару вопросов, — сказал я. — А почему Беларусь теперь называется Минской Государственной Республикой? — поинтересовался я. — И что такое ОКРАМ? Что вообще происходит в стране?

— Думаю, у вас к нам вопросов так же много, как и у нас к вам, — Алексей улыбнулся чуть шире. — Похоже, придется организовать небольшой вводный инструктаж на Старой площади, когда мы приедем, но кое-что можно рассказать сейчас. Надеюсь, вы понимаете, что все, что будет сейчас сказано, относится к гостайне? До десяти лет за разглашение.

Я кивнул.

— Когда-то давно, больше сорока лет назад, шла так называемая «война санкций», — неторопливо, обдумывая слова, начал Алексей. — Страна, по которой мы едем, занимала очень неопределенную позицию. Она хотела дружить как с Россией, так и со странами Запада. Мы вежливо попросили ее президента определиться. Его ответ нам не понравился, поэтому мы столь же вежливо провели операцию «Немига»: помогли гражданам провести выборы нового президента. После его реформ страна стала известна под именем Минской Государственной Республики. К сожалению, Западу очень не понравились наши действия. При ООН был даже создан специальный трибунал. Ни один человек из высшего руководства нашей страны с тех пор не мог выехать за границу, не рискуя попасть под арест. По этой причине в качестве защитной меры мы ввели выездные визы. К сожалению, из десяти человек, которым разрешали отправиться за рубеж, возвращался только один, поэтому выдачи виз были прекращены.

— Окончательно? — спросил я. — Но ведь вы... то есть мы как-то торгуем с ними зерном?

— В Бресте, на реке Буг есть пограничный мост с конвейером, по которому зерно безостановочно поступает за рубеж. По этому же конвейеру к нам поступают зарубежные товары, которые еще не выпускаются в рамках импортозамещения, например мой новый итальянский галстук, который я надеваю по особым случаям. Такие же конвейеры есть в Гродно и Свислочи. Схема выстроена так, что никто не может бежать на ту сторону. Колючая проволока, ток... Что же до морского сообщения, то когда-то в Японии, триста лет назад, был такой остров Дэдзима, через который шла торговля с голландцами. Японцы не могли зайти на остров, голландцы не могли оттуда выйти. Примерно так же работают специальные изолированные гавани в Новороссийске и Петербурге. Единственный канал связи с заграницей — телетайпная линия Москва—Минск—Берлин—Лондон—Вашингтон. Больше ничего нет. Когда в двадцать девятом году в Европе построили первый термоядерный реактор, спрос на нашу нефть и газ начал падать. За считанные годы он опустился до нуля, поэтому пришлось затянуть пояса на целое десятилетие, пока Россия изыскивала новую статью экспорта и перестраивала всю инфраструктуру. Зерно — это единственный российский товар, востребованный за рубежом.

— Последний вопрос. Что такое ОКРАМ?

— Ограниченный контингент Российской армии в Минской Государственной Республике. Единственная боеспособная часть нашей армии. Все остальное после Сахалина... впрочем, давайте об этом потом. Ключ вот здесь, не забудьте взять, если будете выходить.

Я остался один. Вопросы, вопросы, кругом были одни вопросы. Пожалуй, решил я, если поужинать, то мне станет проще. Убрал удостоверение сотрудника третьего отделения в сумку, я еще раз окинул взглядом три партбилета на столе. Их я брать не стал. Почему-то мне пришла в голову ассоциация с чашками наперсточника.

Я вышел в коридор и, закрыв дверь латунным ключом с цифрой «шесть», направился в сторону, противоположную погрантамбуру. Миновав еще один тамбур, я оказался в вагоне-ресторане, обставленном с приятной роскошью. Почти все столики были заняты людьми исключительно делового вида. Я еще никогда не видел вживую столько солидных мужчин и элегантных женщин.

Убранство вагона-ресторана правительственного поезда было столь же роскошно, как и его посетители. Стены украшали панели мореного дерева. Роскошные бра литой бронзы отражались в зеркальном потолке. Белели скатерти, и золотился огромный герб на стене. В ближнем ко мне конце вагона пианист негромко играл джаз. Черный фрак маэстро идеально сочетался с черным лаком фортепиано. Я поискал взглядом свободное место.

— Здравствуйте, — почтительно поприветствовал меня стоящий у двери швейцар. — К сожалению, полностью свободных столиков уже нет. Вы согласитесь присоединиться к кому-либо?

— Вполне, — ответил я.

— Тогда прошу вас сюда.

Швейцар провел меня к дальнему столику, где одиноко сидел мужчина, одетый в рубашку-поло, выделяющуюся среди пиджаков и галстуков остальных. Его внешний вид показывал, что кризис среднего возраста явно не за горами.

— Прощу, — сказал швейцар, и я расположился напротив мужчины в рубашке-поло. Перед ним на большой тарелке лежал недоеденный шницель в окружении разбросанного горошка. Мужчина посмотрел куда-то сквозь меня и налил себе коньяка из стоящего рядом графина.

Я взял в руки меню, отпечатанное на мелованной бумаге. Шницель, лежащий в тарелке моего соседа, определенно состоял из мяса, и я имел все основания предполагать, что все остальное тоже окажется съедобным. В этом вагоне-ресторане были куда более аппетитные блюда, чем в плацкартном. Все это изобилие было относительно недорого: мелкий шрифт внизу каждой из страниц сообщал, что цены, в соответствии с федеральным законом, дотированы Агропромом России.

— Что желаете? — ненавязчиво поинтересовался подошедший официант. На какую-то долю секунды мне стало неудобно, что я одет хуже, чем он. Мне оставалось надеяться, что в своем новом чине я могу себе это позволить.

— Пожалуйста, борщ за сорок рублей и запеченное филе осетра с овощами за сто двадцать, — выбрал я.

— И мне еще триста грамм коньяка! — неожиданно сказал мой сосед, все это время делавший вид, что смотрит в свой бокал.

Быстро и почтительно кивнув, официант ушел.

— Вы не пьете? — внезапно спросил у меня сосед.

Я отрицательно покачал головой.

— Просто не хочется, — пояснил я.

Мой собеседник понимающе кивнул.

— А я вот, — признался он, — в поисках вдохновения. Алкоголь не помогает, поэтому не порекомендую.

— Вы писатель? — спросил я. Мой сосед не был похож ни на художника, ни на скульптора.

— Хуже, я журналист. Может быть, вы даже читали мои статьи. Анатолий.

Я посмотрел на своего соседа. У него были темно-русые волосы, чуть вытянутое лицо, краснеющий порез от бритвы на левой скуле и неизбежная трагедия в глазах. Печаль зернового дембеля Олега была светлой, словно березовый лист, упавший в чистый ручей. Грусть журналиста Анатолия казалась черной и бездонной, как озеро березового дегтя.

Я коротко представился. Мы пожали руки над столом.

— Я историк, реконструктор и консультант, — добавил я. — Специализируюсь на начале нашего века.

— Это видно по вам, — его взгляд пронесся по мне, ловкий и цепкий, как пальцы фокусника. — Значит, мы с вами в чем-то коллеги... Мне тоже доводилось заниматься историей. Почему вас заинтересовала именно эта эпоха?

— Тогда происходило много интересного, — расплывчато ответил я. — Вы хотите взять у меня интервью?

— Нет, что вы. Интервью берет мой друг Максим, который должен сейчас подойти. Правда, почему-то запаздывает... Я журналист-зарубежник, — продолжил Анатолий, ловко наливая бокал. — И вот возвращаюсь домой из творческого отпуска, который прошел хуже, чем я ожидал. Скажите, а вы изучаете отечественную историю или же зарубежную?

— Обе, — чуть поразмыслив, ответил я. — Я не профессиональный историк, у меня нет диплома, но мои знания от этого не менее ценны. Как видите, я еду здесь.

— Как видите, я тоже, — парировал журналист. — Значит, мы немного коллеги. Я предпочитаю исключительно зарубежную тематику. Гораздо интереснее писать о Франции или Японии, чем сочинять очередную статью про то, что наши вооруженные силы закупили сто надувных танков взамен тех, что унесло недавно ураганом в Эстонию...

— Я как раз сегодня читал статью про новые танки ТН-40 в нашей армии, — сказал я. — Правда, там не говорилось о том, что они надувные.

— Ну, кто же напишет о том, что ТН расшифровывается как «Танк Надувной», а «40» означает его закупочную цену в миллионах рублей? Это же государственная тайна.

— А вы не боитесь рассказывать мне об этом? — поинтересовался я.

— Я вас умоляю. Неужели вы думаете, что кто-то об этом не знает? Тем более здесь, в правительственном поезде. Это как с Курилами. Все знают, что они проданы Японии, но никто не акцентирует на этом внимание. Нет ничего скучнее и мельче, чем писать про Россию. Не про уральские голодные бунты же. Поэтому мне приходится брать на себя неприятную обязанность и рассказывать нашим согражданам про то, как ужасна жизнь за рубежом и как коварные страны НАТО борются с Россией. Вот, к примеру, я недавно написал отличную статью про девятую польскую танковую бригаду, что нацелена на Брест. Конечно, мне было бы интереснее написать про две китайские армии, стоящие в Забайкалье, но, как вы понимаете, после такой статьи я сам поеду в те края возделывать свеклу.

— Ваш ужин, — вежливо произнес официант, появляясь слева от меня.

Это был восхитительный душистый борщ с крупными кусками говядины. На соседней тарелке располагалось заманчиво поблескивающее филе осетра в окружении овощей.

— Самое приятное то, что меня как журналиста-зарубежника ничто не ограничивает в работе, — продолжал Анатолий. — С годами начинаешь ценить свободу, даже если она выглядывает сквозь стальные прутья самоцензуры.

Я отодвинул опустевшую тарелку с борщом, чтобы немедленно перейти к рыбе. Графин моего соседа опустел, но в бокале еще плескался коньяк.

— Вы бы закусили, — предложил я, указывая вилкой на недоеденный шницель.

Журналист посмотрел на него, словно видел впервые.

— Кусок в горло не лезет... Неохота, — отказался он. — Знаете, мне сейчас тридцать пять лет. Я посередине между Христом и Пушкиным. Вроде бы все хорошо. Я состоявшийся специалист, лауреат, дипломант и прочее, и прочее. Возможно, будущий главный редактор. Если повезет, то войду в список смотрящих... Вы ведь не знаете, кто такие смотрящие?

— Признаться, нет.

— В московском телецентре есть закрытый приемный узел, где могут принимать цифровой сигнал иностранного телевидения. Так вот, есть пять главных редакторов, трое с телевидения, двое из газет, которые имеют право смотреть эти каналы и читать закупаемую для нужд разведки иностранную прессу. Это смотрящие... Больше никому из нас нельзя.

Коньяк уже начал овладевать языком моего собеседника. Некоторые буквосочетания журналист произносил, слегка запинаясь.

— Наш редактор возвращается очень грустный после этих просмотров. Он запирается на час в кабинете и плачет. Потом он собирает планерку и ровным тоном рассказывает, что в Европе голод, а в Америке — бездуховность. Вот если я буду очень долго писать статьи про то, как плохо на Западе, мне через пятнадцать лет разрешат зайти в охраняемую тремя разведками комнату и под их бдительным надзором самому посмотреть на этот самый Запад. И поэтому я три раза в неделю, ненавидя себя, сажусь и начинаю писать отвратительные статьи, в которые пытаюсь сам поверить. У меня получается их писать, но не получается верить. Я напиваюсь и понимаю, что это дурь. Я не этого хотел, если честно.

Я отодвинул опустевшую тарелку. Наконец-то я действительно наелся. Еда здесь была превосходной.

— В противном случае, — заметил я, — вы бы ехали в плацкарте и ели бы суп из семи круп.

— Вы еще молоды, — бросил мне журналист, откидываясь на спинку сиденья. — Ваше время — вечность. Мое — уже нет, и я понимаю, что иногда лучше ехать в плацкарте...

— Комплимент от шеф-повара! — объявил официант, ставя передо мной блюдо, на котором лежал бутерброд с красной икрой.

— Благодарю, — сказал я, беря в руки бутерброд. Мне было крайне непривычно ехать в столь комфортабельных условиях. Я поразился тому, как сильно еда и быт влияют на самоощущение. Наверное, на моем лице что-то отразилось, потому что Анатолий засмеялся печальным смехом.

Я доел бутерброд. Все равно мне было весьма приятно получить даже столь скромный комплимент.

— Пожалуйста, не слушайте то, что я говорю, — сказал Анатолий. — Я пьян. Полгода назад от меня ушла жена, и правильно сделала. Я бы тоже от себя ушел. Я больше не хочу ничего писать. Я хочу сесть на поезд и уехать далеко-далеко, чтобы спиться в дороге и угаснуть во тьме...

## Орша

Какая грязь, какая власть!  
И как приятно в эту грязь упасть,  
Послать к чертям манеры и контроль,  
Сорвать все маски и быть просто собой.

*Группа «Ария». Грязь*

За наш столик уверенным движением сел мужчина с короткой стрижкой и острой шкиперской бородкой, одетый в стильный вязаный свитер со снежинками. На нем были очки из ярко-красной пластмассы, делавшие его похожим на московского хипстера начала века. Мужчина был примерно одного возраста с Анатолием, но являл собой полную ему противоположность.

— Кончай пить, — дружеским тоном сказал он журналисту. У гостя были какая-то утрированная мимика и гипертрофированно четкое произношение. — Сейчас к нам придут. Я тут разговорился с одним пассажиром. Вице-губернатор Коми. Удивительно деловой человек. Хочет, чтобы я снял ему передачу про лесную промышленность в его регионе. Обещает выделить хорошее финансирование. Так уж и быть, возьму эту халтурку.

Официант поставил на стол перед Анатолием еще один графин с коньяком и остановился в ожидании.

— Гриль-суп и говяжий эскалоп с овощами и картофелем. Еще запеченное мясо на косточке в белом соусе, салат с цыпленком, рыбный салат и чай, — торопливо зачитал ему строки из меню человек с бородкой. Наши взгляды встретились.

— Я историк-консультант, — представился я.

— Максим, — сказал человек с бородкой. — Продюсер и режиссер документальной серии фильмов «Жизнь в России»...

— Зачем тебе Коми? — внезапно спросил Анатолий, чуть съезжая вбок и упираясь левым плечом в стенку поезда. — Ты действительно хочешь снять фильм про лесоповал?

— Вице-губернатор, — бросил Макс, — недавно назначил своего сына на какой-то пост в Леспроме...

— Главной елкой? — произнес журналист.

Макс не услышал его.

— ...и теперь ему нужно выбить финансирование на развитие этого ведомства. Ну, а фильм — это способ громко заявить об этом на всю Россию. И если уж на то пошло, то что мне еще снимать? С вашей помощью, — обратился он ко мне, — я мог бы снять передачу о дегерманизации Калининградской области.

— Вы снимаете передачи о России? — на всякий случай уточнил я. — Или о зарубежных странах тоже?

Мой вопрос немного удивил Максима.

— Как можно снимать фильмы о зарубежных странах? В павильоне, что ли? Такие видеоролики — удел бездарных режиссеров. Я не опускаюсь до этого.

— Скажите, — как бы невзначай возобновил разговор я, — а что был за фильм про президента и Сахалин?

Макс хитро улыбнулся, чуть склонив голову.

— Мне довелось тогда работать ассистентом одного якобы крутого режиссера, который снимал большой фильм про авианосец «Сахалин». Ему стало лень ехать целую неделю через всю Россию поездом, поэтому я должен был исполнять его обязанно-

сти на местах. Так вот, мы подписали мирный договор с Японией в тридцать девятом. К договору прилагался секретный протокол о том, что в знак вечной и нерушимой дружбы Россия передает Японии Курильские острова, а в знак такой же дружбы Япония передает России много миллиардов йен. Минобороны подготовило грандиозный план строительства четырех непотопляемых авианосцев. «Котлин», «Крым», «Кильдин» и «Сахалин». По авианосцу на флот. Ну, понятно, что эти авианосцы непотопляемы, потому что представляют собой острова. Денег под это выделили очень много. Три авианосца соорудили нормально. Все шло хорошо, но когда дело дошло до постройки четвертого авианосца «Сахалин», деньги от Курил стали заканчиваться. Разворовывать стали активнее, понимая, что больше финансирования не будет. В итоге, когда дошло дело непосредственно до строительства, выяснилось, что хватит только на скверную бетонную взлетную полосу. Скрипя зубами, построили вокруг картонные ангары, фанерный военный городок и штаб из ДСП. И вот мы снимаем торжественное прибытие. Вертолет с президентом подлетает к новопостроенному аэродрому и сдувает при посадке все декорации. Доски, фанера и картон разлетаются во все стороны. Это была первоклассная сцена, которую, к сожалению, пришлось уничтожить. Весь фильм пошел под нож.

Кстати, после Сахалина сделали выводы, и Забайкалье было не продано Китаю, а просто сдано в вечную аренду. Там, в договоре, удивительно хитрая формулировка: «Пока солнце заходит на западе и пока великий Амур течет на восток». С точки зрения стабильности власти постоянный умеренный приток валюты от Забайкалья лучше, чем огромная сумма разом от Курил. Нет такого соблазна для разворовывания, потому что все уверены в завтрашнем дне.

— Максим, добрый вечер! — раздался жизнерадостный голос рядом со мной. Я посмотрел вбок. К нам подошел чуть склонный к полноте мужчина лет пятидесяти пяти, одетый в слегка тесный ему костюм несомненно зарубежного пошива. Слегка редящие темные волосы были зачесаны назад в неловкой и неудачной попытке скрыть намечающуюся лысину. Очки в тонкой позолоченной оправе были явно неновыми. Я внешне вспомнил, что очень похожие очки я видел у банкира в Калининграде.

Анатолий продолжал смотреть куда-то вдаль, выходя своим взглядом за пространство вагона. Максим поднял взгляд.

— Здравствуйте, Виталий Сергеевич! — поприветствовал он гостя. — Прошу вас.

Мужчина разместился рядом со мной.

— Добрый вечер! — поприветствовал он, обращаясь ко мне и к Анатолию и одновременно подзывая жестом официанта. — Принесите мне тушеную утку в грибном соусе и бокал сухого крымского каберне!

Мы поздоровались, и я снова вкратце рассказал свою легенду о консультанте. Наш гость был тем самым вице-губернатором Республики Коми, о котором рассказывал Максим.

Анатолий долил остатки коньяка в бокал, очевидно желая утопить творческий кризис в алкоголе.

Вице-губернатор с интересом посмотрел на журналиста.

— Я журналист-зарубежник, — пояснил Анатолий, почему-то закрыв один глаз. — И я разочаровавшийся журналист-зарубежник. Мне стыдно.

— Знаете, я вас понимаю. Я тоже оказывался в такой ситуации, — не унывал вице-губернатор. — Большие проблемы с работой, недовольное начальство, все валится из рук... Меня отправляли под суд и в отставку, но я миновал это и теперь снова уверенно иду наверх! Берите пример с меня!

— Прошу прощения, — сказал я, — но так получилось, что Калининград далек от России, а я далек от современности. Я не очень хорошо знаю суть событий...



— Суть событий очень проста. Семь лет назад меня назначили мэром Омска. И вот однажды один крупный генерал из опричной службы решил поставить на мою должность своего подрастающего третьего сына. Против меня начали копать и слать в Москву служебные бумаги. В частности, мне припомнили то, что я позиционировал Омск как третью столицу России...

— Директория Колчака? — спросил я, перебив бывшего мэра. Тот радостно кивнул.

— Именно! — воскликнул он. — Я уже и не надеялся, что кто-то это помнит. Так вот, в Москве особенно обиделись на мою «третью столицу». Мне такое не простили, и моя судьба была решена. Я надеялся, что меня спасут связи в государственной тайной полиции. Не спасли. В общем, закончилось это тем, что ровно четыре года назад в ноябре меня вызвали в Кремль на Игру.

— Куда, простите? — поинтересовался я.

— О, это старая забава, — сказал он таким тоном, будто рассказывал про гольф. — У нее очень много наименований. Губернатор Кубани, один из ее первых участников, еще в конце двадцатых, называл ее Жестокой игрой Голодных Стульев. Ума не приложу, что он имел в виду. Так вот, дело в том, что в России не все идет хорошо, и как бы ни старались уважаемые работники массмедиа, — церемонно указал он ладонью на противоположную сторону столика, — некоторое недовольство населения все же имеется. Поэтому вот уже много лет подряд на Новый год в Кремль вызывают полсотни человек со всей России. Это высокопоставленные чиновники, госслужащие и даже в последнее время силовики... хотя их стараются без нужды не трогать... в общем, вызывают всех, кем недовольны. Их, простите за каламбур, сажают в специальном зале Кремлевского дворца и играют с ними в лотерею. Премьер-министр с портфелем ходит по рядам. Кто вытягивает из портфеля бумажку с крестиком, становится в следующем году коррупционным козлом отпущения для всей страны. Всего четыре крестика, стало быть, четверо тех, на кого падет жребий.

— А что потом? — поинтересовался я.

— Как вы поняли, один из крестиков выпал мне. После чего началась торжественная порка. Меня публично сняли с поста за растрату бюджета, провели обыски дома и на работе, после чего судили, вы будете смеяться, за расхищение средств при строительстве памятника омской птице. И это при том, что там я почти ничего не украл, да еще и поделился со всеми, с кем положено! В общем, со мною сделали все, чтобы показать, как в России борются с коррупцией... Мне дали восемь лет с конфискацией имущества, и я покинул Омск.

Бывшему участнику Игры Голодных Стульев в этот момент принесли утку и вино, поэтому он на некоторое время замолчал.

— И... как же вы? — наконец спросил я.

— Ну, а что я? — улыбнулся своей широкой и доброй улыбкой сосед. — Через неделю после приговора мне за хорошее поведение дали условно-досрочное освобождение. Из имущества у меня тогда конфисковали только прекрасный итальянский габардиновый костюм, который был на мне в момент ареста. Все остальное я успел переписать на жену и сына. Мне любезно дали целых три недели на эти манипуляции, но я уложился в пять дней. Вот только единственное, что оставило осадок, — это то, что во время обыска федеральная опричная служба демонстративно, перед телекамерами, конфисковала у меня триста миллионов наличными.

Я сочувственно покивал бывшему мэру. Он истолковал это по-своему.

— Да, это было все, что мне удалось накопить за неполных три года, — с грустью сказал он. — Омск — не Москва, где мэр может позволить себе ездить по городу в карете, запряженной шестеркой оленей, потому что уже не знает, на что еще потратить день-

ги... Конечно же, я хотел скрыть мои сбережения, но меня попросили оставить, мол, это нужно для телевидения, мы тебе их потом вернем. Я, как дурак, послушался, а потом мне так ничего и не вернули. Увы, опричникам претензии не предъявишь.

— А как вы сейчас? — поинтересовался я, давая своему собеседнику время для того, чтобы он насытился остатками утки. Он пожал плечами.

— О, я сейчас более или менее. Первоначально меня отправили в Республику Коми, назначив на декоративный пост руководителя комитета по надзору за воздухоплаванием. Полгода я приходил в себя и знакомился с людьми. Потом я договорился с губернатором и федеральным центром, очень удачно выбил финансирование и возглавил цензурный комитет Республики Коми. Не самый высокий пост, но в качестве промежуточного вполне приемлемо... Этой осенью меня наконец-то назначили на пост вице-губернатора.

Уже перевалило за полночь. Режиссер и губернатор обсуждали фильм. Вагон-ресторан почти опустел. За окнами, что были закрыты плотными бархатными шторами, мелькали станции и города, но об этом я мог лишь догадываться. Почему, спросил я сам себя, плохо живут обычные люди, но страдает человек, который живет, в общем-то, гораздо обеспеченнее их? Я закрыл глаза. У меня не было ответа на этот вопрос. Я вспомнил соседок по плацкарту, которые делили со мной обед и судьбу, и мне стало стыдно за то, что я сейчас сижу в правительственном вагоне-ресторане рядом с людьми, разворовывающими страну. Блажен муж, который не идет на совет нечестивых; а я пришел и сел.

— Пожалуй, мне пора идти, — сказал я и направился к выходу. Дойти до двери я не успел.

— Молодой человек! — резко окликнул меня чей-то голос, судя по тембру, не привыкший к отказам. — Позвольте узнать, как вы оказались в правительственном поезде? Я что-то не припомню вас на перроне в Минске.

Я обернулся. Из-за большого столика на шесть персон на меня смотрел чрезвычайно неприятный господин неполных пятидесяти лет. Судя по его исключительно дорогому костюму, шелковому галстуку, золотой гербовой заколке, золотым запонкам, золотому перстню с бриллиантом и золотым часам, он явно принадлежал к элите даже в элитном поезде. Щеки господина были чуть шире его висков. Он был мясист и очень неприятен. Толстая сигара в руке и бутылка виски перед ним придавали ему вид чикагского гангстера. Меня внезапно разобрала злость.

— Ist es für dich nicht scheissegal, Du, alter Lummel?<sup>2</sup> — грубо ответил, на автопилоте вспоминая сложную немецкую грамматику и тут же соображая, что не стоит излишне привлекать к себе внимание. Надо было как-то смягчить ситуацию. — Я сотрудник третьего отделения. Ехал в калининградском поезде.

Любопытный господин обомлел так, словно незримый железнодорожник с размаху ударил его молотком по ноге.

— Прошу прощения, — наконец пришел в себя новый собеседник. — Не присядете ли вы к нам на минутку?

Предчувствуя подвох, я опустил к ним за столик. Он был прекрасно сервирован, выделяясь даже среди вагона-ресторана. Посередине стоял большой бронзовый подсвечник-жирандоль с пятью свечами. Их огни вспыхивали и угасали искрами на хрустальных подвесках. Возле мясистого мужчины стояла бутылка наидешевейшего виски.

— Еще раз примите мои извинения, — голос был жесткий, как сухарь. — Сами понимаете, поезд закрытый, а времена сейчас сложные. Позвольте представиться, Николай К., член совета директоров корпорации «Роспром», руководитель подразделения

<sup>2</sup> Тебе не все ли равно, ты, старый сапог? (*груб. нем.*)

по восстановлению технологий. Это мой друг Слава, депутат Государственной Думы, — роспромовец указал сигарой в сторону сидящего за этим же столиком мужчины примерно тех же лет с редкими, бесцветными волосами.

— Очень приятно, — солгал я. Николай мне откровенно не нравился. По какому-то взаимному негласному решению мы не стали обмениваться рукопожатиями.

Присутствующих за столиком двух дам роспромовец не представил. Рядом с депутатом Госдумы сидела очень молодая девушка с густыми каштановыми локонами, одетая в красное коктейльное платье. У нее были большие, слегка томные глаза; мне она напомнила старшеклассницу, в сумочке у которой лежат только пачка сигарет и дневник с тройками.

Совсем не такой была черноволосая женщина, сидящая возле роспромовеца. У нее, так же как и у подружки депутата, не было кольца на безымянном пальце, но ей явно было около тридцати лет. Ее стройную фигуру облегалo строгое черное платье; на шее матово мерцало жемчужное ожерелье. Она с осторожным любопытством посмотрела на меня изящными, слегка миндалевидными карими глазами.

— Мы возвращаемся домой после небольшого отдыха в санатории, — пояснил роспромовец, затянувшись сигарой. — Работа страшно изматывает, поэтому мы устроили трехдневный отпуск. Сейчас на Черном море ужасно штормит, а здесь, в Минской Государственной Республике, всегда превосходный сервис. Сказывается близость к Европе.

Он остановился, внимательно глядя на меня. Настала моя очередь; я назвал себя.

— ...Будучи сотрудником третьего отделения, еду в Москву для проведения исторической консультации, — договорил я. — Но не могу рассказать об этом подробнее, потому что наверху этого не одобряют.

— В таких вопросах требуется соблюдать высшую степень осторожности и деликатности, — продолжал роспромовец, — возможно, что когда-нибудь вам потребуется надежный и хороший человек, который, помимо безупречных характеристик, будет обладать знанием английского языка. И я в таком случае хотел бы предложить вам кандидатуру моего сына Вадима.

Мне принесли чай. Я размешивал сахар, слушая роспромовеца.

— Не подумайте, что я занимаюсь протекционизмом, — неторопливо продолжал он. — Уверю вас, — его рука слегка стукнула кончиками пальцев по столешнице, чуть смяв скатерть, — мой сын уже прекрасно устроен в Роспроме, он занимает ответственную должность и имеет все шансы сделать блистательную карьеру.

При таком отце я бы ни на секунду бы не усомнился в этом.

— Вадим учился в специальной закрытой школе для одаренных детей, — пояснил мне заботливый отец. — Это была добротная школа с высоким качеством обучения, без уроков патриотизма, религии и любви к родине. Мой сын имеет склонность к английскому языку. Я позаботился о том, чтобы он обучался частным образом у лучшего репетитора Москвы, и могу с гордостью заявить, что это дало отличные результаты. После школы он устроился работать директором структурного подразделения в Роспроме, но это совершенно не мешает ему учиться в Институте международных отношений. К сожалению, в настоящий момент, его знания не могут найти себе должного применения. За последние двадцать лет Министерство иностранных дел потеряло всякий вес. Поэтому мне хотелось бы рекомендовать вам своего сына. Вот, прошу, возьмите мою визитку.

Визитка была сделана из дорогого тисненого картона, с золотыми буквами и ярким, броским логотипом Роспрома. Убирая ее в сумку, я подумал, что двенадцать часов назад банкир тоже давал мне свою карточку. Не прошло и суток, как его арестовали.

— Я полагаю, — слегка наклонив голову, произнес роспромовец, — что вы уже обеспечены всем необходимым, и даже более. Однако я не исключаю, что вам однажды

может понадобиться... мм... совет друга. В таком случае вы можете смело обращаться ко мне. Я окажу вам любую помощь, которая будет в моих силах, и, возможно, когда-нибудь и вы сможете помочь мне.

Боковым зрением я заметил движение. По коридору вагона-ресторана, шатаясь, шел к выходу Анатолий. Поезд начал поворачивать, и журналист пролетел вперед несколько метров, едва не врезавшись в дверь. Тем временем роспромовец поднял со стола широкий гладкий бокал.

— Вот самый простой пример. Я очень люблю виски, — пояснил мне мой собеседник, крутя в руке почти пустой бокал. — Я всегда рад помочь своим друзьям из Управления внешней торговли. А они помогли мне попасть в список лиц, имеющих право заказывать товары за рубежом. Я умею решать даже самые сложные проблемы...

Анатолий, стоя в двери, повернулся, презрительно присматриваясь к нашему столику. Мне показалось, что он меня не узнал.

— Ты лекарства себе достань, «решатель», — с вызовом бросил он роспромовцу и, не дожидаясь ответа, исчез в коридоре.

Роспромовец с неприятно дрожащей верхней губой посмотрел вслед и, тяжело вздохнув, бросил бокал вслед исчезнувшему журналисту. Ударившись в стену, бокал разлетелся градом осколков, едва не задевших отшатнувшегося швейцара.

Роспромовец попытался встать, но не смог. Гнев и алкоголь не дали ему это сделать. Тогда он просто ударил кулаком по столу. Огоньки свечей вздрогнули. Тихо зазвенели подвески жирандоля.

— Лекарства, значит, — зло сказал он и скверно выругался. — И ради этих людей я работаю!

Выругавшись еще раз, роспромовец взял у почтительно подбежавшего официанта новый бокал и, налив в него виски из стоящей рядом бутылки, выпил.

— Вот вы сами видите, как важно, чтобы вокруг были хорошие люди, — бросил он мне. — А я, человек, не щадящий себя, должен ехать в одном поезде с какими-то хамами!

— Журналисты, — многозначительно сказал депутат, складывая руки домиком. — Что с них взять.

Роспромовец в гневе потряс рукой и повернулся к своему соседу. Не имея под руками журналиста, он решил сорвать злость на депутате.

— Слава, почему бы вам не заняться законами хотя бы о поездах и санаториях? Примите соответствующий закон, чтобы нормальным людям можно было ехать в подобных условиях! Вы в Госдуме занимаетесь чем угодно, только не делом.

— Николай Олегович, — нерешительно начал защищаться депутат, придерживая кончиками пальцев полупустой бокал портвейна, — ну вы же не хуже меня понимаете, что депутат Госдумы — это абсолютно бесправное существо...

— Слава, разреши тебе не верить, — прямо сказал роспромовец. — Ты не бесправное существо, а бесполезное. У вас из десяти законов девять можно печатать в газетной рубрике анекдотов. Чего только стоит ваш закон об отмене инфляции. Нет, это, конечно, прекрасно, но...

— Извините, — упорно пытался реабилитироваться депутат, — но вы же прекрасно знаете правила работы депутата. У нас негласная разрядка: каждому депутату в год предоставить не менее трех патриотических законопроектов. Не можешь? До свидания; на твое место очередь желающих. И только со стороны кажется, что три проекта в год — это легко... — депутат обвел всех присутствующих взглядом, — ведь нас в Думе четыреста пятьдесят, и за долгие годы придумано все, что только можно. Мы ведь принимаем только один закон из четырех... — начал он.

По ресторану, странно глядя на нас, прошел мужчина, опирающийся на трость. Он был совершенно лыс и очень худ. Темно-серый пиджак висел на его острых плечах. Казалось, что если через окно ворвется случайный сквозняк, то унесет мужчину вместе с тростью.

— Вы видите? — респровец наклонился ко мне. От него пахло ароматами шотландского погребка. — Вы видите, в каких условиях мы строим Россию? Это сейчас я еду с вами и попиваю виски. А завтра президент задаст мне вопрос: Коля, почему ракета, ради запуска которой нам пришлось ввести акциз на крупы, не взлетела? Стране нужно запускать спутники телевидения в космос взамен упавших, а ты нам не даешь этого сделать...

Не договорив, респровец со всей силы затянулся сигарой, едва попав ею в рот.

— И может быть, уже на следующее утро, — продолжил он, — ко мне постучат в дверь, отвезут в один большой дом на Александровском валу, прикуют наручниками к батарее и зададут тот же вопрос, но только уже не в риторической форме... Как можно запустить ракету в этой стране, где вокруг одни лентяи и бездарии?! — зло воскликнул он. — Никто не хочет работать. Все только и умеют, что качать права и чего-то требовать. Если бы они работали столько, сколько болтали, то у них давно было бы все, что они хотят. Но ведь никто не хочет ничего делать, пока их не заставишь! Я работаю как проклятый и всего в жизни добился сам! Наш народ не понимает, что достичь чего-то в жизни можно только тяжелым трудом! А иначе никак! Проклятые лентяи! Бесплезная страна! Бесплезное население!

Я воздержался от ответа, допивая чай. Разговор затих. Вагон слегка встряхнуло на повороте. Респровец медленным движением поднял руку и пьяным взглядом посмотрел на часы.

— Мне пора, — заплетающимся голосом сообщил он, протягивая руку. — Помни про моего сына.

Мы остались втроем.

— Будете? — спросил депутат, беря в руки почти опустевшую бутылку виски и наливая сначала себе, потом сидящей рядом девушке в красном платье.

— Не откажусь, — сказал я. Депутат, в силу своей полной бесхребетности, выглядел значительно приятнее олигарха из Роспрома. С ним можно было и выпить.

Мы допили оставшийся после респровца виски. Девушка в красном платье выпила одним глотком свой бокал так непринужденно, словно это был лимонад «Буратино». Депутат крикнул и, поставив бокал на стол, убрал опустевшую бутылку в дорогой, но явно неновый кожаный портфель.

— Я собираю бутылки, — пояснил он, заметив мой удивленный взгляд. — Потом в них можно налить крепкий чай и поставить в кабинете. У меня там специальный застекленный шкаф с коллекцией зарубежных бутылок. Это выглядит очень respectfully. Правда, приходится прятать мою выставку от начальства, а то они потребуют мой «алкоголь» себе, и получится конфуз, которого мне не простят...

— Ваш друг тоже явно не склонен прощать, — как бы вскользь заметил я.

— Николай Олегович иногда высказывается слишком радикально. Я вижу, что вас немного взволновала гражданская позиция моего друга, — сказал депутат, закусывая мидией. — Не пугайтесь. На самом деле он очень добрый человек и ответственный руководитель. Перед ним сейчас стоит очень сложная задача: запустить ракету в космос. Августейший президент очень недоволен обилием аварий на старте. Николай собрал по всей России группу инженеров, способных восстанавливать и запускать в производство проекты старой техники прошлого века. Средний возраст этой группы инженеров превысил семьдесят лет, а молодые специалисты не могут рассчитать даже не-

сушую балку... Собственно, это одна из причин, по которой никто не рискует летать самолетами. Во-первых, нужно специальное разрешение, а во-вторых, самолеты слишком часто разваливаются на лету. Никак не удается поднять уровень производства, сколько ни штрафуй людей. А кстати...

Здесь депутат немного помялся.

— Скажите, — как-то нерешительно произнес он, с трудом решаясь продолжить. — Конечно, этот слух ходит уже с десятков лет, но, может быть, в следующем году, после перевыборов... если все пройдет нормально... может быть... он разрешит нам покупать лекарства? Ну почему нельзя? Мы ведь за свои деньги... там ведь хватит одного слова «да»...

Он поднялся со стула. Мы распрощались. Вместе с ним ушла и девушка в красном платье, повиснув на шее депутата.

Вагон-ресторан уже был пуст, и лишь швейцар стоял у выхода, словно часовой у ворот крепости. Повернув позолоченную резную ручку, я вышел в тамбур. Темные окна казались зеркалами, обрамленными бархатом штор. На стене была закреплена стойка с прессой. Увидев пару интересных заголовков, я взял газету и положил в сумку, чтобы прочитать перед сном.

В зеленом вагоне меня встречали.

— Я ждал вас, — сухим голосом сказал мне лысый и очень худой мужчина, который раньше смотрел на меня в ресторане. Одной рукой он держался за стену, а другой опирался на трость. На вид ему было лет семьдесят. На этот раз он был без пиджака; острые плечи просто прорывали рубашку. Надбровные дуги нависали над ввалившимися глазами. Сухая кожа напоминала пергамент. Незнакомец выглядел ужасно.

— Да? — поинтересовался я без особого участия. — И что же вы хотите?

— Я знаю, кто вы, — заявил неизвестный, покачиваясь вместе с вагоном. Мне это уже начало немного надоедать. Конечно, за сегодняшний вечер я познакомился со значительным количеством амбициозных людей, но всему есть свои пределы.

— Я консультант. Третье отделение... — начал было я, как вдруг лысый незнакомец меня перебил.

— Прошу, не надо этого, — сухо сказал он. Его голос был колючим и хрупким, как ветка боярышника. — Если желаете, вы можете назваться хоть рыцарем круглого стола. Я хочу предостеречь вас.

— От чего именно?

— Об этом лучше не говорить в коридоре. От вас мне потребуется только пять минут. Прошу, пойдите в мое купе.

Похоже, у меня сегодня бенефис, сказал я сам себе, следуя за моим провожатым. Почему-то подумалось, что ему бы очень пошли балахон из дерюги, фонарь и посох. Если к этому образу удалось бы добавить лодку, ночь, туман и реку, то таинственный незнакомец становился определенно похожим на Харона, перевозчика человеческих душ.

Несостоявшийся Харон правительственного поезда занимал роскошное одноместное купе, обставленное в стиле эклектичного барокко. Я разместился на мягком стуле, обитом золотистым жаккардом.

— Я знаю, кто вы, — упрямо повторил он.

— Прекрасно. Я тоже знаю, кто я. Так что же вы хотели сказать мне?

Взгляд Харона снова попытался обжечь меня.

— Вы дурак, — наконец произнес он с видимым усилием и немедленно развернул свою мысль. — Вы отделились восьмому, самому страшному смертному греху, который наказывается еще при жизни. Этот грех — глупость. Сидите!

Я шевельнулся на стуле.

— Полагаю, — продолжал Харон, — вы единственный человек, который приехал в Россию за тридцать лет. Вы знаете наш язык и аутентично выглядите. Я полагаю, что вы сын эмигрантов из России, родившийся за границей. У вас начался зуд в душе, и вы попались на крючок одной из наших государственных служб, поверив их рассказам. Вы теперь едете в Москву, не зная, что вас ждет.

— И что же меня ждет?

— Вот видите, я раскусил вас с первого раза. Я ведь знаю, как отличить нашего от не нашего. А они не знают. Они молоды и глупы, они не видели того, что знаю я. А вы — дурак. Дайте угадаю, вам предложили золотые горы? Нет, не предложили? Возможно, вам сказали, что ваша родина нуждается в вас и только вы можете ее спасти? А? Ведь было так?

— Нет, но близко, — признался я.

Харон снова засмеялся. В его смехе было что-то потустороннее.

— Наверное, — продолжил Харон, — у вас есть выездная виза?

Я ничего не сказал.

— Я же знаю, что есть. Я все вижу по вашим глазам. Вы приехали оттуда, значит, вы выездной. Вы приехали сюда, и, значит, вам можно доверять.

— И что?

— А то, что вас сделают парламентом и немедленно отправят за границу. Вы привезете за рубеж недобрую весть. С такими вестями лучше туда не отправляться. Возможно, что однажды вас не станет. Идеальное политическое убийство — это когда вас на машине собьет сын прокурора. Он наверняка будет несовершеннолетним. Следствие установит, что вы сами бросились к нему под машину, желая нанести вред члену семьи госслужащего. Это классика...

— Почему вы мне говорите об этом? — настороженно спросил я.

Снова смех. Сейчас это показалось мне слишком театральным.

— Потому, что вы дурак. Вы садитесь играть в карты с шулерами государственных масштабов. Вам говорят, что на кону судьба России, но на самом деле там ваша жизнь.

— А для чего вы мне это говорите?

На этот раз Харон не засмеялся.

— Чтобы вы не падали в пропасть так быстро! — наклонился он в мою сторону. Его пальцы снова с силой сжали рукоять трости. — Бегите, при любой возможности — бегите. Попробуйте выйти в Орше и добраться до границы. Угоните машину. В крайнем случае спасайтесь на электричках. Не верьте никому, даже мне, даже себе. Если вас пошлют за границу — соглашайтесь на все, а потом просто не возвращайтесь оттуда. Оставайтесь там, откуда вы приехали.

— Вы говорите очень смелые вещи, — сказал я. В самом деле, еще никто так прямо не предупреждал меня о грозящей опасности.

— Я тоже дурак. Мой отец говорил мне: «Беги! Бери пример с меня!» К тому времени он уже вывел почти все свои деньги за границу и сам уехал туда. Как назло, у меня тогда был невиданный карьерный рост. Еще один выгодный транш, еще один крупный откат, говорил я себе. Свою жену я отправил рожать во Францию. Я бы никогда не доверил своего ребенка отечественной медицине. Мой сын к тому времени уже учился в Лондоне, в прекрасной частной школе. Через неделю границы закрыли навсегда. Мне сказали, что у меня родилась дочь, и это все.

Он перевел дыхание и тяжело глотнул.

— Я едва помню своего сына, и я никогда не видел свою дочь. Наверное, она сейчас чуть постарше вас. Вы не представляете, насколько это страшно — оказаться от-

резанным от своей семьи. Я богат, я очень богат. Но что толку от моих денег? Нет, вы не знаете того, что знаю я, — произнес он, перенапрягая мышцы лица. Казалось, что со мной сквозь мрак тысячелетий разговаривает мумия. — И вы не видели того, что видел я. Но вы можете меня понять. Все те идиоты, что едут с нами, даже не представляют, что когда-то было по-другому. Предел их мечтаний — это дача в Крыму и «бентли» тридцатилетней давности. Они даже не могут представить себе, что такое — счет в Швейцарии, вилла во Франции, образование в Лондоне, лечение в Израиле и яхта на Канарах. О чем можно говорить с такими людьми? У меня было все, а теперь я одной ногой в могиле, и журналисты будут плясать на моих костях, — медленно продолжал Харон. — Я сделал невиданную карьеру, но социальный лифт не поднимает на верхний этаж. Никто из посторонних не может войти снаружи в Бессмертный список, а оттуда к себе не зовут.

— Куда войти? — спросил я.

Харон ответил не сразу, изучая меня пристальным взглядом.

— Вы правда этого не знаете? Бессмертный список — это люди, для которых за границей закупаются геронтологические лекарства. Президент и все его двадцать друзей. С семьями наберется человек сто пятьдесят. Прогресс обогнал Россию. За границей живут двести лет. Для этого есть удивительные препараты. Поэтому вся Россия работает на лекарства для этих... — здесь Харон употребил ряд выражений, которые бдительный цензор 2057 года мог бы квалифицировать как тяжкое оскорбление должностных лиц. Лекарства дорогие. По крайней мере, сейчас. Четверть века назад на их закупку тратился весь бюджет страны. Сейчас благодаря достижениям зарубежной фармацевтики они стоят копейки. Пять миллионов рублей в месяц — это смешная цена за жизнь. В России много денег. Хватило бы на лекарства всем нам, всему правительству. Вот только Бессмертные не горят желанием впускать посторонних в свой уютный клуб людей, имеющих право на закупку зарубежных лекарств. Им разрешено жить. А мне нельзя, и я умираю от рака.

Харон неприятно, гулко и противно закашлялся. Это было похоже на стук комьев земли, падающих на крышку...

Он тяжело вздохнул и продолжил.

— Вы поедете за границу, — уверенно сказал Харон. — А я, замминистра, пойду в Каноссу. Я умоляю вас...

Открыв портфель из черной блестящей кожи, Харон выдернул какой-то документ и написал на обороте несколько строк. Его рука дрожала.

— Этого мне уже не простят, но я рискну. Я умоляю вас, найдите мою семью. Вот адрес виллы, которая была у моего отца. Швейцария, неподалеку от Лозанны. Надеюсь, они еще живут там. Они могут оказать влияние. Наш президент пойдет на все что угодно ради международного признания. Умоляю вас, просите за меня. Может быть, моя семья сможет договориться о том, чтобы меня выпустили за рубеж. Это моя последняя надежда, один шанс из ста.

— Мне пора спать, — честно признался я, поднимаясь со стула. Был третий час ночи. — Если меня выпустят за границу, то я помогу вам. Держитесь.

Харон не ответил. Острые плечи дернулись. Раздался всхлип.

Когда я наконец вернулся в свое купе, то увидел, что меня на полу ждут знакомые белые тапки с гербом. Моя ветровка висела на крючке. На столе лежал билет с золотым тиснением. Постель уже была расстелена. Похоже, что ключи от моего купе имелись не только у меня.

Я открыл окно и с жадностью вдохнул холодный, уже ноябрьский воздух. Протиснуться наружу не удалось бы никоим образом, но у меня еще оставалась возможность хотя бы дышать свежестью.



С превеликим наслаждением я скинул ботинки. Бархат ковра на полу приятно охлаждал уставшие за день ноги. Повернув щеколду на двери, я устроился поудобнее на мягкой полке. Спать почему-то не хотелось.

Вспомнив, что у меня в сумке лежит газета, я решил просмотреть ее. Прямо под заголовком «Российская государственная газета» крупный шрифт извещал, что все сведения, изложенные в газете, составляют государственную тайну третьей категории. Лицам, не имеющим соответствующей группы допуска, категорически запрещалось знакомиться с изложенными здесь материалами. Для сомневающихся имелась отсылка к неизвестной мне статье Уголовного кодекса, где в скобках значилось зловещее «до пяти лет».

Подумав, я все же решил читать дальше, надеясь, что я как государственный советник второго класса и третьего отделения канцелярии президента все же обладаю нужным допуском. К тому же, сказал я себе, раз эта газета лежит в свободном доступе, то, видимо, читать ее не возбраняется всем пассажирам правительственного поезда.

Эта газета значительно отличалась от прочитанных мною ранее. В материалах чувствовалась какая-то честность.

Главной темой первой полосы были недавние выборы в регионах. Выборы прошли замечательно, за исключением того, что на них никто не пришел. Жители Брянской, Волгоградской, Калининградской, Нижегородской и других областей отнеслись крайне халатно к выборам. Хуже всего было в Тверской области, где фактическая, а не «приписанная» явка составила всего два процента.

Полным ходом шло обсуждение налоговой реформы. Видные финансовые деятели утверждали, что от имеющегося двадцатипятипроцентного подоходного налога граждане уклоняются, просто работая «вчерную». Преодолеть это затруднение планировалось с помощью новых акцизов, пошлин и сборов, избежать которых было значительно сложнее. Помимо этого, финансисты предлагали использовать автомобильный опыт и ввести обязательное страхование жизни, здоровья и жилья всех жителей России.

Целый разворот была посвящен своеобразному боксу по переписке между весьма высокопоставленными лицами. Дело заключалось в том, что вице-премьер по гражданскому надзору с большой гордостью недавно представил августейшему президенту программу поголовного вживления микрочипов всему населению России. Эти микрочипы, содержащие в себе сведения о федеральном номере носителя и его других данных, должны были значительно упростить надзор за общественной безопасностью. Президент всецело одобрил эту программу.

Следующая статья показывала, что жизнь чиновника в России нелегка. Так, трагедией закончился визит премьер-министра во Владимир. Правительственный кортеж во время поворота отклонился от маршрута движения на полметра, и машина застряла в яме, прикрытой картоном с нарисованным асфальтом. Пока вытаскивали автомобиль, премьер вышел наружу. По драматичному стечению обстоятельств в этот момент с трех домов начали отваливаться листы бумаги с нарисованной кирпичной кладкой.

«Где же тот капремонт города, на который мы выделили вам деньги?» — поинтересовался премьер у градоначальника. Последний зарыдал, бессвязно повторяя слова «Госдеп США», «всюду вредители» и «зарубежные агенты влияния».

Подул ветер, и с одного из домов унесло крышу. В падении она сорвала огромный тент, закрывающий вид на две пятиэтажки, сгоревшие еще в прошлом году.

«Я жду вас через месяц в Кремль на Игру, — холодно сказал премьер. — И я сделаю все, чтобы именно вы достали из портфеля бумажку с крестиком».

Вслед за этой новостью шла большая статья, словно извлеченная из журнала «Домашний умелец». Она начиналась со слов о том, как важно иметь чувство меры в оптимизации выделенных средств.

«Экономить на имитациях просто преступно. Вы можете оптимизировать в свой карман вплоть до девяноста процентов бюджета, — сообщал автор, — но при этом ваше положение будет шатким. Трагедия во Владимире служит ярким тому примером. Что стоило градоначальнику брать чуть меньше? Оставшейся в бюджете разницы вполне бы хватило на подсыпку шлака под асфальтокартон. Хватило бы и денег для надежного крепления бумаги с рисунком кирпичной кладки. Мэр решил сэкономить и на этом, закрепив ее на двусторонний скотч. Прodelывать такую халтуру в ожидании приезда премьер-министра было очень рискованным шагом».

Далее шел длинный ряд практических рекомендаций, которые позволяли за пару недель привести запущенный город в относительно приемлемый вид при помощи ДСП, кирпичей, краски и пенопласта.

Вслед за этим шли судебные новости. Российское правосудие столкнулось с непротым случаем: где-то на свадьбе в Москве семеро граждан Исламского Государства Северного Кавказа стреляли в воздух из автоматов Калашникова. Адвокаты ссылались на то, что это допускается федеральным законом «О защите народных традиций граждан ИГСК». Сторона обвинения возражала: фигуранты дела стреляли прямо на крыльце Измайловского загса, а не на минимально предписанном расстоянии в пятьсот метров от ближайшего учреждения власти. Помимо этого, задержанные не имели при себе требуемой законом аптечки. Прокуратуре, требовавшей для нарушителей пятнадцать суток общественных работ, возражали сразу пять видных северокавказских политиков, обвиняя обвинителей в излишней и несправедливой строгости, за которой явно просматривалось неуважение к традиционным ценностям северокавказских народов. Один из высказывавшихся в ультимативной форме требовал, чтобы судьи немедленно принесли публичные извинения перед несправедливо оклеветанными жертвами российской юстиции, прозрачно намекая, что жители ИГСК могут стрелять не только в воздух. Другой же политик разразился впечатляющей по накалу эмоций обличительной речью. В пяти предложениях он смог употребить словосочетание «русский фашизм» целых семь раз; по всей видимости, в газете сэкономили на услугах литературного редактора.

Вслед за этим шли новости политической безопасности. Пересматривалось дело видного минского оппозиционера Д. По материалам следствия, обвиняемый неоднократно рассказывал друзьям, что МГР следует расшифровывать, как «Марионеточное государство России». Минский суд дал оппозиционеру семь лет за клевету, подрывы государственного строя и измену родине. Вскоре в Минск позвонили из Министерства юстиции России, сообщая о том, что здесь вполне хватит и трех лет. Минский суд незамедлительно согласился с этим решением, и оппозиционер был урезан в своем приговоре.

Поезд начал замедлять ход. Свернув газету и бросив ее на стол, я отдернул штору. Мы въезжали в какой-то городок. Редкие светящиеся окна домов казались светлячками во тьме. Орша? Харон предлагал мне бежать именно здесь. Может быть, и вправду, выскочить на перрон, угнать тепловоз, прорваться за границу через перегон Гердава—Скандава?.. Что за безумные идеи?

Мы проехали через станцию не останавливаясь. На маленьком одноэтажном здании мелькнула надпись «Толочин». Стоявший на перроне железнодорожник с фонарем проводил наш поезд равнодушным взглядом, перед тем как исчезнуть.

От разочарования мне захотелось пройтись по своей золотой клетке. Я надел ботинки и вышел в коридор. Я открыл дверь вагонной уборной, оформленной в стиле ампира. Стены украшали барельефы с копьями, щитами и ликторскими пучками. Открыв кран, я набрал в ладони холодной воды и с наслаждением умылся. Опира-

ясь на мраморную раковину, я посмотрел на себя в зеркало. Неужели это все сейчас со мною происходит?

Мне отчетливо захотелось сбежать. Уйти в плацкарт, где меня встретит пустая полка. Дождаться Орши и выйти на остановке. Да что угодно!..

Я скептически покачал головой. Поезд неотвратно нес меня в Москву, и это движение было не остановить. Приняв это как данность, я покинул ватерклозет.

Только сейчас, когда купе прекратило отражаться в оконном стекле, можно было различить мир, через который мы неумоимо мчались вперед. Света, падающего из окон поезда, хватало только для того, чтобы едва-едва высветить узкую десятиметровую полосу и идущую рядом линию рельс. Мелькали какие-то кочки, кусты и одинокие деревья. Дальше начиналась тьма.

На переезде одиноко мигал в ночи предупреждающий светофор. Где-то в водной глади незнакомого озера отразилось небо с огромным Орионом и ярким семизвездием Плеяд.

Уже давно было пора ложиться спать. Я лежал на спине, снова ощущая всем телом поезд. В своем движении он дрожал от собственной мощи, словно какое-то исполинское животное.

Обилие впечатлений и наблюдений сегодняшнего дня поражало. В самом деле, я мог бы сесть и написать неплохую книгу о моем путешествии по России будущего. Или же, наоборот, написать и сесть: никогда не знаешь заранее, когда доведется прокатиться казенным плацкартом в Сибирь. Увы, такой вариант придется иметь в виду: если ты решишь эпатировать российское общество, то вполне возможно, что российское общество решит этапировать тебя. По моим наблюдениям, в России будущего (впрочем, как и в России всех времен) можно было делать все что угодно, кроме как называть вещи своими именами, особенно в письменном виде. Я вспомнил, как на лекции в университете один преподаватель долго и упорно критиковал иностранных путешественников, нелестно отзывавшихся в своих книгах о Московском царстве. Лектор так ругал Джерома Горсея, Джайлса Флетчера и Сигизмунда фон Герберштейна, словно это именно они, желая максимально навредить стране, устроили в ней царскую деспотию, рабское положение жителей, террор опричников и крепостное право, а напоследок, желая ослабить военную мощь нашей отчизны, велели чистить ружья кирпичом. Право, подумал я, окажись фон Герберштейн на месте Малюты Скуратова, к нему в России относились бы снисходительнее. Или нет, тут же поправил я себя: проливать русскую кровь позволено только русским. Иностранцев за это ругают. Осуждают и тех, кто об этом пишет. Впрочем, я уже был морально готов к тому, чтобы пойти по стопам Александра Радищева и маркиза де Кюстина, продолжая традицию написания горьких заметок о путешествиях по России. Оставалось только придумать какое-нибудь броское название для книги.

«Калининград—Москва»? «Записки путешественника из Калининграда в Москву»? «Зерноферма»? «Россия в 2057 году»? «Москва-2057»? Или же упростить до предела, назвав свою книгу «2057»? А может быть, использовать тонкую аллюзию к температуре выпекания хлеба и озаглавить рукопись «Сто восемьдесят градусов по Цельсию»? Нет, все это уже где-то было. Вариант «Как проржавела сталь» настраивал на приятный индустриальный лад, но все же был сочтен мною слишком бульварным. В идеале же мне хотелось бы дать произведению броское, запоминающееся и в то же время ничего не означающее название, имеющее лишь опосредованное отношение к сюжету книги. Я решил отложить этот непростой выбор до лучших времен.

Поезд разогнался во всю мощь. Я чувствовал, как подрагивает состав от той титанической силы, что увлекает его вперед. Сквозь полудрему мне казалось, что меня не-

сет вдаль какое-то огромное существо, гигантский рукотворный дракон, с которым мы слились воедино. Где-то вдалеке за окном мелькали незнакомые огни, вспыхивая, словно метеоры, и тут же пропадая из виду.

Мне представился наш поезд с высоты птичьего полета: он показался мне гигантской кометой, несущейся сквозь время и пространство. Магнитогорская железная руда, кемеровский уголь, труд екатеринбургских металлургов, работа новочеркасских локомотивостроителей, расчеты московских инженеров соединились в то неостановимое нечто, что увлекало меня вдаль. Мимо нас проносились и проносились встречные эшелоны с зерном, идущие навстречу мне, на запад. Составы с зерном мчались в метре от меня, и я видел в полусне хлеборобов Кубани и Черноземья. Я видел солдат Трудовой армии: зеленых новобранцев, не умеющих отличить пшеницу от ржи, и опытейших дембелей, способных вырастить зерно даже на скалах Эльбруса. Перед мной колосились бескрайние брянские и воронежские поля золотого хлеба. Я слышал рев тракторов, режущих стальными плугами землю, и мерный рокот комбайнов, жнущих урожай. Я видел, как падает зерно по весне в мать-сырую землю и как наливается под солнцем колос. Казалось, что вся Россия проносится сейчас мимо меня.

Я засыпал, и события сегодняшнего дня проносились яркими шумными картинками перед моим внутренним взором. Внезапно поезд показался мне Россией, уменьшенной и концентрированной. Это было одно из тех озарений, что приходят или в первые пять секунд перед сном, или в первые пять секунд после пробуждения. Колоссальное, поражающее воображение чудо мчится по железным полосам рельс. Как оно выглядит со стороны в своем движении? Что за невообразимая сила неустанно крутит колеса, увлекающие поезд вперед? Пусть начальство поезда не отличит дрезины от локомотива, пусть оно подавится от жадности в своем богатстве, ведь, к счастью, еще есть машинисты, благодаря которым мы мчимся по бескрайним просторам, и есть проводницы, которые помогут в дороге. Пусть в обычном вагоне-ресторане подают дорогую овсянку, а в правительственном дешевого осетра, пусть в плацкарте ты спишь под неумолчный храп соседей, а в купе наслаждаешься комфортом, — все равно, и плацкарт, и спецвагон движутся в одном эшелоне и с одной скоростью. В плацкарте тебя от души угостят самогоном и картошкой, если тебя не арестует полиция за то, что ты не закусываешь. В правительственном тебе расскажут, как лучше заработать, продавая по кусочкам эшелон, а потом, возможно, и там обнаружатся люди, благодаря которым поезд еще не сошел с рельс. А пока не сошел — мчится стрелой Аримана великий поезд, освещая себе путь ярким прожектором, и сияет в ночи на тепловозе двуглавый медведь!

В час быка, в самое глухое время суток, в четвертом часу после полуночи, разделяющей 31 октября и 1 ноября, в ночь черного самайна, поезд, не сбавляя хода и не останавливаясь, пересек границу Минской Государственной Республики. Я оказался в России.

### Смоленск—Вязьма

Наконец из Кёнигсберга я приблизился к стране,  
Где не любят Гутенберга и находят вкус в г...  
Выпил русского настою, услышал «... мать»,  
И пошли передо мною рожи русские плясать.

*Николай Некрасов, 1881*

Мне так и не удалось выспаться. Я спал и видел сны, неотделимые от реальности. Где-то позади осталась таинственная Орша, в которой Харон предлагал мне бежать

с поезда. Потом сквозь сон я увидел фисташковое здание смоленского вокзала, но до конца не понял, существует ли этот Смоленск в действительности или же лишь в моем воображении?

Поезд ощутимо вздрогнул на повороте, и я проснулся окончательно. Я приподнялся на локте, выглядывая наружу.

Небо уже начало светлеть, и мы ехали сквозь синие сумерки. За окном виднелись какие-то дачи и дома.

Одной из удивительных особенностей поезда Калининград—Москва является то, что в нем можно заснуть в одной стране, а проснуться совсем в другой. Ночь разделила прошлое и настоящее. Все было каким-то странным, словно воспоминание о давно увиденном и забытом фильме.

Здесь, в России, уже вступила в свои права поздняя осень. Деревья утратили листву, возвышаясь черными силуэтами в сыром утреннем тумане. На их ветках не было привычной омелы. Мелькнула крохотная станция с беленым домиком. Вдоль незнакомой улицы неизвестной деревни стояли деревянные дома с облупившейся, потерявшей цвет краской. Казалось необычным, что эти деревенские дома — не краснокирпичные и что на покосившихся столбах нет аистиных гнезд. Руины немецкой кирхи смотрелись бы куда более знакомо. К родной печальной разрухе я как-то привык за свою жизнь, но разруха российская казалась чуждой.

Мы ехали какой-то болотистой низиной. Над водой белыми призраками вставали клочья тумана. Низину сменил хмурый лес, после которого появились несколько бескрайних полей, полностью заросших борщевиком. В синих сумерках его зонтики возвышались, точно какие-то сказочные джунгли. Вслед за полями борщевика выскочили сразу три покосившихся деревянных дома с заколоченными окнами и тут же скрылись, уступив место новому огромному полю борщевика. Посреди него стоял полувросший в землю ржавый трактор, укутанный туманом.

Мы проехали еще одну деревню, казавшуюся необитаемой. Из трубы дома, похожего на кучу сваленных друг на друга досок, шел дым. Никаких других признаков жизни здесь не наблюдалось. За окном было бесконечное печальное зрелище разрушений и нищеты, словно там шла война, — я бы совершенно не удивился, увидев невдалеке на проселочной дороге отступающих панциргренадеров или грузовик-«студебеккер» с красноармейцами.

За окнами снова появился и пропал лес. Казалось непривычным то, что на деревьях нет омелы. Возле небольшого озера, совсем рядом с железной дорогой стоял остов какого-то барака. Обгорелые черные стропила острыми шпильями устремлялись в небо, напоминая пинакли готического собора. В воде озера отражались синие рассветные облака. Вот такая она, Россия, сказал я себе; поезжай и смотри.

Поезд понемногу сбавлял ход. Какую-то небольшую станцию закрывали собою желтые цистерны в черных потеках мазута. Мне удалось увидеть только окончание «...Деревня». Три железнодорожника опирались локтями на забор, напоминая воробьев на жердочке. С грохотом, прорвавшимся через шумоизоляцию купе, мы пересекли сразу два моста.

Мы прибывали на какой-то крупный вокзал. Всюду, куда хватало глаз, разбегались железнодорожные пути. Колеса отбивали стрелки. У длинного склада песчаного цвета разгружали товарные вагоны. На запасном пути, почти упираясь в тупиковую призму, стояли две очень-очень старых платформы. Куда-то спешил маневровый тепловоз, и медленно шла по путям бригада обходчиков.

Неторопливо, очень неторопливо поезд двигался вдоль перрона. Вдалеке показалось изумрудно-зеленое здание, украшенное белыми колоннами. Крупные буквы славянского шрифта гласили:

## ВЯЗЬМА

Во мне шевельнулось и ожило какое-то беспокойство. Мой не то коллега, не то конвоир Алексей опасался того, что здесь нас будут встречать и что эта встреча будет не к добру. С очень легким рывком состав остановился.

Прямо напротив моего окна на перроне стоял крупный мужчина с мясистым лицом, одетый в парадную форму. Судя по блеску звезд на его огромных золотых погонах, он явно занимал какой-то высокий пост. Он посмотрел на меня зверским взглядом серых глаз, и я ощутил ледяную иглу в сердце, остановившемся на бесконечное мгновение. словно какая-то генетическая память измученного русского народа ожила во мне, и я услышал звон кувалды о рельс, колесный стук вагонов, уносящихся в Сибирь, и рев пароходного гудка в бухте Нагаева; увидел ледяные звезды Колымы через зарешеченное окно барака; почувствовал на языке вкус свекольной баланды с комбиджиром, а тело мое пронзил острейший холод. За одну нескончаемую секунду, что мы глядели друг на друга, я остро и безоговорочно понял, что он здесь власть, а все те вице-мэры, олигархи и заместители министров, с которыми я вчера беседовал, всего лишь люди, за которыми еще не пришли.

Ручку двери кто-то дернул, торопливо застучал. Сердце ожило, трепеща в груди.

— Это я! — узнал я крик Алексея. — Открывайте, будем бежать! Все очень плохо!

Прогнав дьявольское наваждение, я вскочил с полки и открыл дверь.

— Скорее! Берите документы! — оглядываясь, кричал Алексей. — К черту брюки, надо бежать!

Я успел надеть ботинки, но не зашнуровать их. Схватив одной рукой сумку с деньгами и паспортом, а другой — свои джинсы, я бросился за Алексеем к хвосту поезда.

— Если что, — наставлял меня Алексей, когда мы двигались по следующему, зелено-золотому вагону, — я задержу их. Бегите в Москву, там вам будет нужно попасть в канцелярию президента. Запомните: Старая площадь...

Этим ранним утром в правительственном поезде было пусто. Возможно, все еще спали. Вагон-ресторан тоже оказался безлюден. Официанты куда-то исчезли, словно предупрежденные своей официантской интуицией о грядущей буре.

— Может, оружие? — на ходу спросил я.

— Никакого оружия! Это будет решаться совершенно не так!

Я было хотел поинтересоваться, как же будет решаться моя судьба, как вдруг мы остановились. Выход из вагона-ресторана был закрыт. Перед нами стоял невысокий худощавый человек в длинном черном кожаном плаще до колен и фуражке с высокой тульей. От плаща отвратительно разило резиной. Поднятый воротник украшали петлицы с двумя крупными золотыми звездами.

— Не торопитесь, — остановил он нас тонким, но истерично-властным голосом. Его тон не предвещал ничего хорошего. — Поезд никуда не спешит. Государственная тайная полиция. Вы арестованы!

Позади наших спин в вагон-ресторан с шумом ввалился крупный мужчина в парадной форме, пронзивший меня взглядом минуту назад. Он тяжело дышал и обливался потом.

— И что это вы, паршивцы, сделали? — гневно проревел он. — Что это за гадкий трюк с питерским поездом? Мы, как дураки, ждем на перроне: пять генералов приехали посреди ночи, мэр Витебска наложил в штаны, губернатор Витебска наложил в штаны, половина Витебска наложила в штаны, прибывает поезд, а там шиш!

— Это было очень некрасиво, — подтвердил невысокий человек в кожаном плаще, придвигаясь к нам. Мы оказались в клещах. — Вы выбрали неудачный способ пошутить с гостапо! Это потянет лет на восемь!

— Если не на десять, — зло сказал крупный. Сейчас я разглядел шеврон на его рукаве. Доберманья голова и метла. Видимо, это и есть та самая федеральная опричная служба, о которой мне рассказывали столько историй. Я даже не мог определить, кто из двух появившихся противников опаснее. Крупный краснолицый опричник мог задраить нас, как свирепый медведь. Тайный полицейский с костлявым лицом мог резать, как голодный волк. Я же без брюк стоял посередине между молотом и наковальней, и это было весьма неприятно.

Воспользовавшись секундной паузой, в разговор вступил Алексей:

— Мы — сотрудники канцелярии президента. Вот наши документы. Сотрудник канцелярии не может быть арестован или задержан, кроме как с письменного разрешения на гербовой бумаге, заверенного штампом с двуглавым орлом...

Опричник взял с фортепиано нотный лист и показал его Алексею.

— Вот тебе письменное разрешение, вот тебе гербовая бумага, а вот тебе двуглавый орел. Если не нравится, обращайся в суд... когда выйдешь... если выйдешь... А сейчас, — перевел он свой взгляд на меня, и я снова ощутил холод иглы, нацеленной в мое сердце, — пройдем с нами. Ты арестован. Брюки надевать необязательно.

Я стоял в каком-то странном бесчувственном оцепенении. Когда-то Хемингуэй, вспомнил я, сказал, что сможет написать пронзительный рассказ всего из четырех слов. Я не был Хемингуэем и смог уложиться только в пять: однажды утром за мной пришли.

— Не торопитесь, товарищ генерал-лейтенант! — раздался голос тайного полицейского. — По какому праву вы хотите арестовать этого человека?

Генерал-лейтенант опричнины поджал губы.

— Хочу и арестовываю, — презрительно бросил он.

— Это вы ему скажете, — холодно возразил тайный полицейский, делая шаг вперед. — А со мной такой номер не пройдет. Я ведь его тоже арестовываю.

Опричник неприятно фыркнул.

— Значит, так, — начал он, глядя на меня. — Этот человек совершил ряд опасных деяний. Владение валютой в крупных размерах и незаконные сделки с нею. Одежда иностранного производства, что является подрывом отечественной промышленности и нанесением ущерба российскому производителю. Антироссийская пропаганда зарубежного образа жизни. Экспертиза почерка показала, что он является украинцем турецкого происхождения, что само по себе достаточно для ареста. Этих преступлений хватит, чтобы передать дело в наши руки. Остальное выяснит следствие.

— Правда? — поинтересовался черный плащ. — Так вот что скажу я. Откуда возник этот человек? Его нет в едином государственном реестре физических лиц. Его отпечатков нет во всероссийской биометрической базе. Откуда у него целых двадцать евро? Почему он свободно говорит на двух иностранных языках? И главный вопрос: откуда у него абсолютно настоящий загранпаспорт, выданный абсолютно настоящим бюро и в который вклеена абсолютно настоящая шенгенская виза? Как вы видите, товарищ генерал-лейтенант, эти вопросы находятся уже в ведении гостапо!

Пока два генерала делили меня, я аккуратно надел джинсы и зашнуровал ботинки. Это несколько подбодрило меня. Я уже не чувствовал себя столь беззащитным.

— Вот уж нет, — отрезал опричник. — Знание языков не доказано, загранпаспорт имеет явные признаки подделки. В то же время владение валютой, сделки с нею и подрыв производства уже являются установленными фактами. Реестром физлиц вы никогда не занимались, это исключительно наша прерогатива. Этот человек — изменник родины, и мы следим за ним уже три месяца...

— Это вражеский шпион, и мы следим за ним полгода, — прервал его тайный полицейский.

— Его забираем мы, — безапелляционно заявил опричник. — Так надо.

— Нет, мы! — так же безапелляционно сказал тайный полицейский. — Нам тоже надо.

Дверь вагона-ресторана открылась, пропуская еще одного человека. Новоприбывший был одет в военную полевую форму с тускло-серыми звездочками на погонах. Он был еще ниже ростом, чем тайный полицейский, но крепок телосложением и отчего-то напоминал мне гладко выбритого гнома без секиры, переодетого в камуфляж.

— Полковник З., вторая танковая бригада ОКРАМ! — хорошо поставленным командным голосом объявил он на весь вагон-ресторан. — Имею приказ: взять этого человека под арест, — указал он на меня, — и доставить в штаб армии. При необходимости имею право открыть огонь.

— Правда? — язвительно поинтересовался с другой стороны вагона тайный полицейский. — У меня ведь тоже приказ.

— И у меня приказ, — сказал опричник, преграждая путь танкисту-полковнику.

— А у меня боевой приказ, — с вызовом произнес танкист.

Внезапно с грохотом раскололись все окна вагона. В ресторан черными молниями ворвалась группа захвата в бронежилетах и балаклавах.

— Госгвардия! Всем лежать, руки за!.. — решительным тоном начал один из новоприбывших и тут же осекся, опуская дуло автомата. Государственный тайный полицейский с нескрываемым презрением посмотрел на него и, блеснув звездами на воротнике, процедил:

— А ну брысь отсюда!

Группа захвата исчезла так дисциплинированно и одновременно, что я даже изумился. Если бы не битое стекло и не грязные следы рубчатых ботинок на столиках, я мог бы подумать, что их визит мне лишь привиделся. Из разбитых окон вливался холодный ноябрьский воздух.

— Канальи, — прокомментировал тайный полицейский голосом, полным превосходства.

— Тысяча чертей, — согласился опричник. — Госгвардия выбывает из игры, так что продолжим. Все, у кого на погонах есть просветы, могут быть свободны.

Тем не менее танковый полковник остался на своем месте.

— Мне пригласить сюда для беседы десять прапорщиков на десяти танках? — спросил он. — Напомню, у меня есть приказ открывать огонь при сопротивлении.

Тайный полицейский тяжело вздохнул.

— Товарищ полковник, вам надоели ваши погоны? — спросил он. — Наверняка ваш приказ — устный, и если вы позволите себе хоть что-нибудь, то прикрывать вас никто не будет. В штабе скажут, что вы самовольно угнали танки и открыли огонь. Уже к рассвету с вас снимут погоны, к полудню отконвоируют под трибунал, а к вечеру...

— Почему вы так думаете? — раздался голос у него из-за спины. Там появился еще один генерал в черной форме с золотыми погонами. На его нарукавном знаке были скрещены две гвоздики. — У товарища полковника есть боевой приказ, вы оказываете сопротивление. Боевой долг товарища полковника — открыть огонь.

Отчего-то товарищ полковник не обрадовался ни своему боевому долгу, ни появлению человека с цветами.

— Ну а вам-то что нужно? — с каким-то искренним раздосадованным удивлением спросил тайный полицейский. — Это вообще не ваше дело. Каким боком это касается военной разведки? Вы думаете, что его забросили с парашютом под Брест, чтобы взрывать мосты и сжигать картошку на полях?

— А хотя бы и так, — резко сказал человек с гвоздиками. — Товарищ полковник, будьте готовы в любую минуту открыть...



— Товарищ генерал-майор! — загремел опричник. — Мы старше вас по званию, так что будьте любезны валить отсюда...

— У нас есть ведомственный приказ, который приравнивает мое звание к следующему по списку. Мы равны, так что попрошу...

— Старше всех вас по званию я, — авторитетно заявил усатый пожилой мужчина в казачьей форме, неожиданно появившийся позади опричника и танкиста. — Я — верховный войсковой фельд-атаман Первой Казачьей армии Российской Федерации...

Опричник грубо развернул фельд-атамана и, подтащив к двери, наградил могучим ударом.

Раздался голос человека с гвоздиками:

— Время дорого, а нас ждут в Москве. Я предлагаю отправиться в путь и в дороге решить, кто же арестует нашего гостя.

— Э нет! — снова возразил опричник. — Знаю я ваши штучки! Поезд до Москвы может и не дойти. Все, что происходит в Вязьме, остается в Вязьме.

— Что мы будем делать? — шепотом спросил я у Алексея.

— Держаться. Мне ночью сообщили, что министр уже в пути. Я надеюсь, что хотя бы он...

— Разговорчики! — грубо оборвал нас опричник.

— Федеральное управление безопасности, Лубянка—Якиманка! — провозгласил очередной сияющий погонами генерал, внезапно появившись из двери за спиной тайного полицейского. — Этот человек задержан по подозрению в незаконном пересечении границ России и владении документами, несущими явный признак подделки...

— Товарищ генерал-лейтенант, это дело совершенно не относится к вашей юрисдикции, — сообщил новоприбывшему тайный полицейский, опуская руку. — Мы, как равные вам по званию, гарантируем то, что документы этого человека в полном порядке. Вы свободны. До свидания.

В дверь вагона постучали.

— Прошу прощения за беспокойство... — робким голосом произнес появившийся генерал, оглядываясь по сторонам. В руках он взволнованно крутил фуражку с красным околышем. — Следствием установлено, что этот человек, — генерал посмотрел на меня и продолжил затихающим голосом, — в течение двух лет совершил ряд тяжких антигосударственных преступлений, поэтому он подлежит немедленному аресту органами полиции внутренних дел...

Снаружи вагона громко и неприятно залаяли собаки. В одном из разбитых окон оказалась голова белого коня. Над головой коня возникла человеческая рука с зажатой в ней «корочкой» документов, и гнусавый голос произнес:

— Федеральная Конская полиция...

Опричник гневно зарычал и с размаху бросил в окно свою фуражку с сине-фиолетовым околышем. Парнокопытное исчезло, издав на прощание обиженное ржание.

— Вы даже не можете выставить нормальное оцепление, — язвительно произнес тайный полицейский.

В ответ снова послышалось опричное рычание:

— Я прекрасно разберусь и без ваших указаний! Низшим чинам не обязательно присутствовать при наших делах.

Снова стукнула дверь вагона-ресторана. На этот раз появившийся человек был штатским. Визитер, облаченный в дорогой, но явно неновый костюм, обладал лицом грустного бассет-хаунда и очками в большой пластмассовой оправе.

— Мы спасены, — еле слышно шепнул Алексей, и в моем сердце затеплилась надежда. Вошедший остановился и презрительно оглядел всех нас, уперев руки в бока.

— Господин министр иностранных дел, — с показной церемонностью начал тайный полицейский, широко разводя большой и указательный пальцы, — у нас на вас

дело вот такой толщины. Давайте вы не будете открывать рот, а мы не будем открывать ваше дело?

Все это время министр иностранных дел стоял, демонстрируя всем своим видом непоколебимую уверенность и несокрушимость государственной гражданской службы даже перед лицом превосходящей государственной силы. Невзирая на все угрозы, министр открыл рот.

— Что вы натворили? — начал он уверенным в себе голосом. — Вы знаете, что уже к вечеру с вас всех снимают погоны?

Министр иностранных дел обратился ко мне:

— Рад встрече. Нам пора отправляться в путь, господин государственный советник второго класса.

Похоже, тот факт, что я был объявлен во всероссийский розыск, нисколько не мешал мне подниматься по карьерной лестнице.

Опричник шумно втянул воздух. Цвет его лица был настолько рдеющим, что казалось, сейчас вместо приставов придут пожарники и выпишут ему штраф за нарушение пожарной безопасности.

— Значит, так, — резко сказал он. — Я забираю арестованного с собой. Если хоть кто-то встанет у меня на пути, я его лично укатаю в пол этого вагона и скажу, что так и было. Все меня поняли?

— Вы переходите границы, — надвигаясь, заявил генерал с гвоздиками. Мне не понравилось, как сжимаются его кулаки. — Я здесь не от Минздрава и предупреждать не буду.

Я чуть отодвинулся в сторону, чтобы оказаться подальше от конфликта силовых структур. Гроза уже казалась неминуемой, как вдруг снова стукнула дверь. Министр иностранных дел обомлел, глядя на вошедших. В общем-то, удивились все.

К нам снова пожаловал фельд-атаман, на сей раз вооруженный нагайкой, волочащейся за ним по полу. С ним была женщина в черном монашеском одеянии, сжимающая в руках небольшой газовый баллон. Последним в вагон-ресторан вошел плотный мужчина с воловьей шеей и выбритой до синевы головой. В руках он держал толстый резиновый шланг; на его кожаной куртке был вышит девиз черносотенного толка. Лет шестьдесят назад такой мужчина мог бы носить малиновый пиджак и золотую цепь, что было бы внушительнее.

Патриотическая троица (как-никак, здесь были старый патриот, молодой патриот и патриотический представитель духовенства), построившись клином, пошла в атаку.

— Братья! — провозгласила женщина в черном удивительно жестким голосом. — В этот тяжелый час, когда духовным скрепам нашего отечества угрожает опасность, неужели мы должны схватываться друг с другом в смертельной битве? Этот человек, — ее сухой перст указал на меня, — есть посланник дьявольских сил, направленный сюда самим адом. В себе он везет люциферианскую искру, что сожжет нашу стабильность, точно карточный домик! Его отправил к нам враг рода человеческого, чтобы искусить вас и ввергнуть в грех гордыни. Вступать в битву с ним без помощи церкви — значит обречь себя на поражение и вечные адские муки! Помните о спасении бессмертной души! Покайтесь, смиритесь и отдайте его нам, чтобы мы могли спасти ваши души от гибели, ибо я — молот Господень, который сокрушает всех, кто не хочет с нами делиться!

Вопреки ожиданиям, душеспасительная проповедь не оказала должного воздействия. Опричник, потерявший от гнева дар речи, светился, как рубин в сокровищнице индийского раджи. Представители вооруженных сил мрачно глядели по сторонам. Полицейский внутренних дел робко забился в угол между столиками, стараясь не

привлекать к себе внимания. Что же до министра иностранных дел, то на его лице застыло возвышенное выражение.

— Сестра, — напряженно собрав остатки вежливости, сказал тайный полицейский, — не мешайте нам воздавать кесарю кесарево, а не то я лично отлучу вас от бюджета!..

В беседу вступил мужчина с резиновым шлангом в руках.

— Слышь, друг, — несколько панибратски заявил он, глядя исподлобья. — Давай ты не будешь так говорить, а? Ты сейчас оскорбляешь церковь. Давай мы сейчас выйдем из вагона, и я тебе популярно все объясню.

В наступившей тишине стало слышно, как где-то далеко заревел тепловоз. Медленным движением тайный полицейский распахнул плащ и вытащил из кобуры пистолет с корпусом из черной пластмассы.

— У меня в руке украинский пистолет, — очень четко проговорил он, не поднимая дуло. — Я тебе сейчас выстрелю в голову, скажу, что это были бандеровцы, и мне за это ничего не будет.

— Убери ствол, — зло сказал опричник, расстегивая мундир. Под ним была видна кожаная кобура цвета пережженного кирпича.

Он резко повернулся ко мне и, грубо схватив меня за плечо, попытался потащить вперед. Это не удалось. Все присутствующие сбились тесной толпой, преграждая опричнику пути отхода.

— Я сказал, вали с дороги, — грубо бросил опричник черносотенцу.

— Куда пошел? — резко заговорил человек с двумя гвоздиками, делая еще один шаг вперед. — Полковник, живо гони сюда БТРы! Огонь на подавление!

Танкист сорвал с пояса рацию.

— Рота, к бою!..

Он не успел договорить. Тайный полицейский резко шагнул вперед и с размаху ударил его в лоб рукояткой пистолета, словно кастетом. Полковник пошатнулся и начал медленно оседать на сиденье, хватаясь за голову.

И тут началась драка.

Все произошло внезапно, как сход лавины. Я успел только разобрать, как генерал с гвоздиками на шевроне начал выворачивать приемом самбо пистолет из руки тайного полицейского. В этот же момент опричник выпустил меня и, схватив со столика приглянувшийся мне еще вчера жирандоль, с размаху ударил им по голове преградившего путь черносотенца. Во все стороны брызнуло осколками хрустала.

Дальше разобрать то, что происходит в вагоне, было невозможно. Ведомый не то интуицией, не то чувством самосохранения, я полз под столиками и сиденьями вдоль стены. Позади раздавались глухие неритмичные удары, словно незримый шаман с силой бил в бубен. Раздалось несколько крепких ругательств; просвистела и замолчала нагайка. Очевидно, битва созвездий на погонах была в самом разгаре. Проползая под последним столиком, я услышал жуткий звук: хрустели очки министра иностранных дел. Видимо, в конфликт уже оказались вовлечены гражданские структуры. Одновременно с этим раздалось зловещее шипение. Поднимаясь с колен, я увидел, что женщина в монашеском одеянии поливает клубок дерущихся генералов газом из баллона. Белые клубы взметнулись, накрывая собой людской ком. Как можно незаметнее я проскользнул в дверь и исчез, оставляя добрые сердца и погоны позади.

Надо было придумать, что делать дальше, и придумать немедленно. Генералы уже могли прийти к консенсусу, чтобы броситься за мной с новыми силами. Деньги и документы бережно лежали у меня в сумке, а вот куртка, к сожалению, осталась в купе. О возвращении не могло быть и речи, но снаружи уже откровенно холодало.

Размышляя так, я оказался в следующем вагоне. Зерновой дембель Олег, кормилец родины, крепко спал на своей полке, тяжело дыша. Я остановился на секунду.

Что же я делаю, подумал я, снимая с крючка его камуфляжную куртку. Так нельзя. Нехорошо грабить своих соотечественников, даже если ты служишь в президентской канцелярии. Теряя драгоценное время, я выудил из сумки морковную пятитысячную банкноту и сунул Олегу в нагрудный карман дембельской расшитой рубахи.

Давно не стиранный и зашитый в трех местах камуфляжная ватная куртка была мне немного великовата. У перехода в вагон, который когда-то вез меня через Литву, я остановился. От генералов я ускользнул, но какой-нибудь рьяный лейтенант безопасности вполне мог поджидать меня в плацкарте у моего места. Развернувшись, я выскользнул на перрон, покидая поезд. Левую ногу снова кольнуло.

Здесь было немногочисленно и холодно; я спешно накинул капюшон куртки, укрываясь от холода и бдительных людских глаз. В утренних сумерках рыжели фонари. Далеко-далеко позади, в конце поезда виднелись многочисленные фигуры в форме. Очевидно, там караулили младшие чины, ожидавшие того момента, когда высокое начальство придет к консенсусу касательно моей судьбы. Где-то глухо рычали моторы незримых бронетранспортеров. Снова залаяла собака, которую держал на поводке один из бойцов. Я отвернулся и, слегка хромая, пошел по перрону, стараясь не привлекать внимания.

Вряд ли мне удастся скрыться в России будущего. За мной все равно придут, почему бы не теперь? С моим загранпаспортом я далеко не уеду. Если бежать, то куда? Обратное? А если вперед, в Москву? Ведь таинственный Человек в Черном зачем-то отправлял меня в Москву. Было бы хорошо вернуться обратно в свое время, но Человек в Черном почему-то не спешил забирать меня. В настоящий момент я находился на перроне в Вязьме, и вокруг был 2057 год. Нужно было действовать самостоятельно.

Я спешно прошел мимо вагона, в котором я уехал из Калининграда.

— Электропоезд Вязьма—Москва отправляется через две минуты! — громко сообщил динамик. Впереди передо мною был коридор перрона, зажатый между электричкой и калининградским поездом. — Повторяю...

Повторять не было необходимости. Не раздумывая, я поднялся по ступеням хвостового вагона электрички, где красовалась золотая надпись «Россия — великая страна!». Оглядев на прощание Вязьму, я шагнул внутрь, не дожидаясь момента, когда генералы помирятся и пойдут меня искать.

Обстановка здесь уступала правительственному поезду, но все же вагон выглядел неплохо: пластмассовая исцарапанная облицовка стен, холодно-зеленый кожзаменитель сидений со множеством заплат, портрет президента над входом, государственный герб над выходом, разбитый макет видекамеры сбоку и множество свободных сидячих мест. Я удобно устроился возле окна.

Не особенно осознавая, что же я делаю, я расстегнул сумку и заглянул в нее. Да, все было на месте: загранпаспорт, телефон, пачка денег. Я смог вздохнуть спокойно, только когда поезд отправился в путь и вокзал исчез вдаль.

Билет до Москвы обошелся мне в семьсот пятьдесят рублей. Примерно столько же составили казенный сбор за продажу билета в электричке и какая-то безымянная пошлина Минтранспорта. Я отсчитал нужную сумму невыспавшемуся контролеру в синем нейлоновом жилете и получил билет. Кроме него, мне насыпали полную пригоршню мелких монет на сдачу. К счастью, рубли, двушки и пятаки были очень легкими, так как представляли собой штампованную жесь. Мне определенно понравилось это словосочетание, неплохо, хотя и несколько цинично характеризующее отечественную валюту. Встряхнув кучу брактеатов на ладони, я убрал их в сумку, надеясь, что их острые края не прорежут материю.

Снаружи светлело. Ужасно хотелось пить. В боковом кармане обнаружился сложенный вчетверо лист бумаги. Я развернул его, пытаюсь вспомнить, откуда он взял-

ся. На чистой стороне размашисто был написан лозаннский адрес. Ах да, вчера ночью его дал мне Харон. Я перевернул бумагу. На обратной стороне синел гриф «для служебного пользования». Это был кусок какого-то циркуляра Министерства по охране государственных тайн. Невидящим взглядом я пробежал по строкам.

«В соответствии с законом „О здравоохранении“ считать гостайной эпидемию цинги в Нарьян-Маре...»

«В соответствии с законом „Об экологии“ считать гостайной факт выброса в воздух сорока тонн хлора в Стерлитамаке при аварии...»

Небрежно скомкав лист бумаги, я бросил его обратно в сумку. В вагоне кто-то дремал, прислонившись к окну, кто-то негромко разговаривал.

Где-то в начале вагона призывно зашипела открываемая бутылка. Наверное, пиво, подумал я, облизывая пересошие губы. Кто же будет пить минералку в электричке? Я оглянулся. Трое мужчин маргинального вида, словно сошедших со страниц поэмы «Москва—Петушки», разливали по затертым пластмассовым стаканам чекушку газированной водки. Запахло резиной, словно в вагон вошел взвод тайной полиции в плащах.

Электричка с каждой остановкой заполнялась все больше и больше. По всей видимости, ранним утром все ехали в Москву на работу. Уже в Гагарине все сидячие места оказались заняты. Одна свирепого вида бабушка, опирающаяся на свою тележку, пристально оглядела вагон, после чего, оценив мой интеллигентный вид, подобралась ко мне и, тяжело вздыхая, начала сверлить меня глазами. Я просто был вынужден уступить ей место. Как знать, сказал я сам себе, может, эта бабушка — моя ровесница, рожденная в далеком 1990 году? Может быть, когда-то давно мальчишки наперебой хотели потанцевать с нею на школьной дискотеке под песни «Оранжевое солнце» или «Кислотный диджей», а теперь она зачем-то ни свет ни заря едет в Москву, и во всем мире у нее больше никого нет.

Мы приехали в Можайск, где мне стало страшно от обилия людей на перроне. Штурм электрички напомнил абордажную сцену из фильма про пиратов Карибского моря. Я поймал себя на желании забаррикадировать чем-нибудь вход из тамбура в вагон, но было уже поздно: врата распахнулись под натиском. Глядя на то, как волнами врываются все новые и новые пассажиры, я ощутил себя защитником средневекового города, где осаждающие с топорами в руках только что разбили ворота и уже готовы грабить и разорять все на своем пути.

С какой грустью я вспомнил покинутый плацкарт! Не приди госслужбы по мою душу, я бы сейчас сидел на полке, любовался бы на рассветную страну, беседовал бы с соседками, вместо того чтобы стоять сейчас в спрессованном людьми вагоне, страдая от затекших ног, и оберегать сумку от любителей ущипнуть пассажиров за кошелечек.

Мимо меня протиснулся к выходу уже проснувшийся контролер, и я потянулся вслед за ним. В тамбуре раздавался грохот колес.

Открыв дверь между вагонами, контролер обернулся и посмотрел на меня.

— Курить запрещено, — почему-то сказал он и ушел.

В тамбуре было свободнее; прижавшись к стенам, двое парней сомнительного вида обсуждали не то недавнее соревнование по рукопашному бою, не то ночное ограбление. От них несло табачным дымом. На одном была давно не стиранный вязаная шапка с нашивкой в виде двуглавого медведя. Накинутый на голову капюшон плотной толстовки делал второго похожим на Квазимодо. Парень как-то недружелюбно поигрывал в руке ножом-бабочкой.

Я отвернулся, глядя на пейзаж за стеклом. Одновременно хотелось есть, пить и спать. Маргинальный вид моих попутчиков по тамбуру вызвал у меня смешанные

чувства. Мне почему-то показалось, что я, хоть еще не арестован и не осужден, уже нахожусь в вагонзаке, который уносит меня все дальше и дальше на восток, и нет ничего, кроме бесконечного поезда и бесконечной России, и мы так и будем бесконечно ехать триколорной стрелой через полуразвалившиеся нищие города, обменивая газированную водку на сигареты и отбиваясь баграми от голодных медведей... Вот так, сказал я себе, я всего за один день стал частью своей великой страны, разделив с нею богатство и бедность, всевластие и бесправие...

Снаружи замелькали какие-то дачи и дома. Электричка снова начала замедлять ход. Почему-то мне отчетливо захотелось выйти. Я надеялся найти в этом городке что-нибудь жаждоутоляющее и подкрепить силы перед последним рывком до Москвы. Кроме этого, я рассчитывал, что около полудня электрички будут более свободны. Несмотря на эти плюсы, существовала опасность того, что меня уже ищут, а прятаться лучше в толпе, чем на безлюдной станции.

Как бы то ни было, двери электрички с шипением закрылись позади меня, и она яркой трехцветной стрелой умчалась вдаль. Второй раз за это утро я покинул поезд и остался один на асфальтированном перроне, огражденном забором с уже знакомыми сообщениями о зоне транспортной безопасности.

Станция была небольшой. На здании, сбоку от входа, красовалась новая блестящая табличка:

#### ПОСЕЛОК ОБРАЗЦОВОГО ПАТРИОТИЗМА

Я спустился по бетонной лестнице и оказался на улице. Здесь, возле станции, стояла заброшенная будка с давно выцветшей надписью:

#### ПУНКТ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Все окна в ней были разбиты, и оттуда доносился характерный запах подворотни. На передней стене будки кто-то размашисто написал неприличное слово; вслед за этим еще кто-то дорисовал вертикальную черту в первой букве, и теперь пункт надзора нес на себе крупную надпись «Жуй». От глагола в повелительном наклонении мне еще больше захотелось есть. Я огляделся.

Вдалеке справа виднелось здание характерного административного вида, на котором развевался флаг. Пожалуй, мне туда сейчас не следовало идти. Слева, неподалеку от станции, я увидел вывеску «Универсам». Пожалуй, это было то, что нужно.

Магазин располагался в одном здании с почтой. Надпись на синем ящике для писем извещала, что выемка и перлюстрация корреспонденции осуществляются по вторникам и четвергам. В окне почты висело рукописное объявление

#### МАРОК НЕТ

Вывеска на дверях магазина сообщала, что «в связи с введением контрсанкций торговый дом „Чувак“ не обслуживает президента США и членов Сената». При всем богатстве воображения я даже не мог представить себе, как же должна помотать президента США жизнь, чтобы он был вынужден посетить этот милый сельский магазинчик, у двери которого сидел и вылизывал лапку огромный черный кот. На одну секунду пушистый зверь прервался и посмотрел на меня изумрудными глазами. Открывая вздохнувшую дверь, я подумал, что коту явно не хватает примуса и кепки.

Универсам был небольшой, вместивший в себя все, что может понадобиться человеку в дачном поселке. Конечно, я не нуждался в удобных кирзовых сапогах сорок четвертого размера (почему-то здесь были только такие), новых граблях или же керосиновом фонаре «летучая мышь». При виде двух сортов минеральной воды я испытал ощущение золотоискателя, наткнувшегося на жилу. Ситуация с продуктами была несколько хуже. Имеющиеся в продаже буханки хлеба выглядели так грозно, что из них можно было сложить крепостной вал. При одном взгляде на пирожки у меня в зубах застряли пломбы. По этим же причинам я отказался от покупки печенья, напоминавшего мелкую терракотовую кафельную плитку, которой в СССР выкладывали полы в подъездах и общественных банях. Безобидно выглядели колбасы, но меня крайне смутило то, что каждый из батонов значился как «продукт мясо-растительный». Не найдя «Черняховской», состав которой был мне хотя бы известен, я решил воздержаться и от колбас. Молоко, несмотря на надпись «стопроцентное натуральное», квалифицировалось как молокосодержащий продукт. Скептически посмотрев на эмалированный поддон с синими свиными копытцами, я перешел к стеллажу с горячительным. Богатый выбор спиртных напитков меня тоже не прельстил, равно как и ассортимент лежащих неподалеку откровенно синтетических сыров неестественного парафинового цвета. Я подумал, что обо всех этих продуктах можно было бы написать прекрасную статью для журнала «Химия и жизнь», но употреблять их в пищу не представлялось возможным.

— Посоветуйте что-нибудь съедобное, — обратился я к печальной продавщице, завернувшейся в ситцевый платочек, из-под которого выбивалась русая коса. Прямо над кассой красовалась табличка, извещавшая, что в соответствии с федеральным законом граждане Москвы обслуживаются вне очереди. К счастью, здесь не было ни очереди, ни граждан Москвы. После недолгой консультации я приобрел буханку черного хлеба второй категории за сто рублей и бутылку минеральной воды за сорок. Еще тридцать рублей какого-то сбора ушли в федеральный бюджет.

Выйдя на улицу и посмотрев на черного кота (он грелся в лучах ноябрьского солнца, на секунду вынырнувшего из-за облаков), я направился в сторону виднеющегося вдалеке сквера со скамейками. Удивительно, но поселок выглядел безлюдным. Вдалеке мелькнул чей-то силуэт и исчез. Приложив силу, я открыл минералку и залпом выпил треть бутылки, не обращая внимания на странный железистый вкус.

Я шел по улице, оглядая лужи. Это не очень помогало. Грязь под ногами растекалась в стороны, и мне порою казалось, что я иду по пластилиновому миру. Очень быстро мои ботинки приобрели такой вид, что никто не мог бы определить их зарубежное происхождение. Это порадовало меня. Я подумал, что в дембельской куртке и таких ботинках я выгляжу достаточно незаметно и не вызову особых подозрений, шагая через этот район индивидуальной и весьма пестрой частной застройки.

Стоявший в открытой калитке небритый мужчина, одетый в телогреечного вида пальто, грязную трикотажную шапку и спортивные брюки, неприятно покосился на меня и плюнул на дорогу с удивительно мерзким звуком.

— Тут людям жрать нечего, — донеслось мне в спину, — а он штаны иностранные носит, пижон хренов.

После целого дня в поездах с их стуками, скрипами и шипениями в сквере неподалеку было удивительно тихо. Я расположился на скамейке, сделанной из доски, поставленной на два пенька, вытянул ноги и приступил к завтраку.

Хлеб оказался относительно съедобным и даже перебивающим вкус минеральной воды. Конечно, это был совсем не правительственный вагон-ресторан, но все же я относительно сносно позавтракал, и жизнь показалась мне лучше. Можно было немного отдохнуть. До следующего поезда в Москву еще оставалось время.

Вдалеке послышался приближающийся треск мотоцикла. Женщина, гулявшая по скверу с коляской, оглянувшись, быстрым движением развернула коляску и исчезла. У меня появилось неприятное предчувствие, и я поднялся со скамейки.

По дороге, радостно бурча, приближался потрепанный мотоцикл с не менее потрепанной люлькой. За рулем был колоритный байкер в стальном шлеме устрашающей раскраски. Его кожаный жилет был цвета российского флага, что меня уже совершенно не удивило. В пристегнутой коляске (на ней сбоку шла надпись «С нами Бог») сидел одетый в камуфляжную форму казак лет двадцати пяти. Широченная папаха на его бритой голове напоминала шляпку гриба.

— А кто это у нас тут ходит в зарубежных штанах? — поинтересовался грозным голосом казак, вылезая из люльки и сбрасывая на шею мотоциклетные очки. На его поясе покачивалась свернутая нагайка. Слез с мотоцикла и байкер. В его руке тускло блеснул свинцовый кастет.

— А кто это у нас тут родину не любит? — продолжал надвигаться на меня казак.

— Документы предъявил. Быстро, — приказал казак, беря в руки нагайку. От него отвратительно разило семечками и пивом. — Чтоб я знал, кому сейчас морду набью.

Стоп. Аусвайс у меня был. Я вытащил руку из сумки и, надеясь, что она не сильно дрожит, предъявил удостоверение сотрудника третьего отделения канцелярии президента Российской Федерации.

Мои собеседники всматривались в удостоверение ровно одну секунду. На их лицах пробежала целая гамма чувств. В следующий миг они упали передо мной на колени, словно паруса, у которых подрубили канаты.

— Ыыы! — закричал казак, отбивая земной поклон. С него свалилась папаха. — Ваше благородие, простите нас, неразумных, попутал нас бес окаянный, навел дьявольское марево, затуманил глаза проклятый враг рода человеческого!..

Байкер молчал, лишь осеняя себя крестным знамением. Делал он это невероятно быстро, не выпуская при этом кастета из рук.

... — Ефимка нас подкузьмил, на вас науськал, предатель и провокатор, — продолжал казак в промежутке между поклонами. — Звонит нам, говорит, ходит тут шпион американский, смуту сеет и стабильность колышет.

— Полноте, полноте, — незаметно для себя самого я перешел на боярский язык. — Вставайте. Кто вы вообще?

— Младший урядник Д. двадцать восьмой карательной казачьей сотни! — представлялся казак, вытягиваясь во фронт и сворачивая нагайку кольцом.

— Ярррррровок Светозаррррррович! — пророкотал байкер голосом мотоцикла, потерявшего глушитель. — Байк-клуб «Ррррррусь мотоциклетная». Добрррррровольная вспомогательная полиция.

— Несем здесь, в районе, государеву службу, следим за порядком, охраняем родину денно и ночью! Стараемся, не щадя живота своего! — заверил меня казак, звякнув медалями. На его рукаве тускло сверкнул наградной крымский щит. — Враг не пройдет.

Одновременно, не сговариваясь, казак и байкер погрозили кулаками в сторону запада, грозно рыча.

— Тут до нас, ваше благородие, — продолжил казак после этого нехитрого ритуала, — полный разброд был. Девки ходят простоволосые и в брюках, мужики неподпоясанные, пост не соблюдают, на воскресную службу не ходят, родину не любят! Ну, мы тут быстро порядок навели! Как заходишь к кому домой, так все сразу поют гимн. На воскресной службе яблоку негде упасть, даже пришлось заказывать новую партию отчетов об исповедях, а то уже писать не на чем! А тут с утра прислали цидулю, мол, идет с запада антихрист...



— Что там у вас за цидуля? — поинтересовался я. Казак вытащил из внутреннего кармана бумагу и протянул мне.

Доблестные казаки, защитники Родины от супостатов видимых и невидимых!

В эти славные дни, когда наша Родина цветет, как донская степь, подлые враги-чернокнижники из замка трех королей призвали по нашу душу антихриста, о чем было знамение схимонаху Валаамского монастыря. Антихрист идет на Москву через благословенные минские земли, поражая все на своем пути. Узнать его легко. Его десница окрашена в бело-красный цвет, ею он крушит нашу духовность. Его шуйца...

Я не сразу вспомнил, что так в старину называли левую руку.

Его шуйца несет карминово-белые цвета, она поражает наших людей, губя их жизни и судьбы. Правая пята антихристова — желто-синяя, ею он топчет и попирает наш русский хлеб, жизнь и пищу нашу. Левая же пята, с полосами и звездами, страшнее всего, поелику сокрушает власть августейшего президента, что дана нам от Бога. Антихристово смрадное дыхание отравляет реки и колодцы, его взгляд сжигает хаты и посевы, несет антихрист на Русь-матушку горе и погибель. Там, где он пройдет, двадцать лет не растут цветы и не поют птицы.

Каждому казаку, что встретит антихриста, приказываю, не щадя жизни своей, арестовать врага рода человеческого и отправить в штаб. За поимку вышеназванного обещаю выдать десять любых медалей, пузырь водки да тысячу рублей серебром.

По благословиению Патриарха всяя Руси Симона фельд-атаман Первой Казачьей армии И.

— Я видел недавно фельд-атамана, — как бы между прочим заметил я, возвращая цидулю казаку. Оба моих собеседника незамедлительно вытянулись во фрунт.

— Как поживает его высокородие? — подчеркнуто бодрым голосом поинтересовался казак.

— Занят. Весь в работе, — несколько уклончиво сообщил я, вспоминая пинок, которым был награжден фельд-атаман. — Знаете ли, сейчас у всех столько дел, столько дел... Я и сам тут у вас проездом.

— Ваше благоррррродие, — страшным голосом сказал байкер, глядя на меня добрыми глазами, — а что вы нам сразу тугамент не показали? Мы вам чуть было рыло не начистили!..

— Вот что. У меня сегодня здесь дела. Высокое, — указал я пальцем наверх, на ветви клена, — поручение. Поезжайте куда-нибудь и до вечера не возвращайтесь. И не сильно рассказывайте о том, что я у вас тут был, а то фельд-атаман будет недоволен.

— Сделаем в лучшем виде! — заверил меня приободрившийся казак. — Ни одной живой душе...

С преувеличенной молодцеватостью казак и байкер загрузились в свой мотоциклет и укатили вдаль, унося с собой противный треск прохудившегося глушителя. В сквере снова стало тихо и пустынно. Горопиться мне было некуда. Следующая электричка в Москву только в двенадцатом часу. Тем не менее я не хотел злоупотреблять своим везением. Возможно, фельд-атаман уже мчался по моим следам. Я покинул сквер, направляясь к станции.

Знакомая мне мотоциклетка стояла у той самой калитки, где плевался мужик в телогреечном пальто. На сей раз калитка была пуста, а из-за высокого, обшитого ржавой жостью забора на всю улицу слышался голос казака.

— Ах ты, черт немецкий, турецкого черта брат и товарищ! — доносилось до меня. — Какой ты, к черту, доносчик, а? Ты знаешь, под кого ты нас подставил? Ты под москвича нас подставил! Специально сделал это, да?

За высоким забором раздалось чье-то неразборчивое бормотание, прерванное звуком сильного удара.

— Думал, что мы его схватим, нагайками отделаем, а потом нас на свекольные поля отправят, да? Воли захотел, да? Я тебе сейчас такую волю покажу!

Снова раздался удар. Послышались сдавленные ругательства.

Я заглянул во двор и покачал головой.

— Я же ясно сказал: вы здесь больше не нужны, — как можно более холодно сказал я, — но, видимо, указания канцелярии президента игнорируются двадцать восьмой казначейской сотней. Сам собой возникает вопрос о состоянии дисциплины в вашем подразделении... Полагаю, что в Москве будут сделаны оргвыводы...

— Ваше сиятельство, я вас умоляю! — заорал казак, падая на колени и пытаясь поцеловать мой ботинок.

Я отшатнулся и закрыл калитку. Кажется, она ударила карателя по лбу.

Станция была пуста, лишь два человека сидели на лавочке вдалеке. Я приобрел билет в кассе, попутно заметив, что камера видеонаблюдения на углу здания ненастоящая.

Вдалеке раздался гудок. К перрону подкатила электричка в уже знакомых цветах российского флага и с шипением распахнула двери. Россия будущего имела ряд недостатков, но поезда в ней все-таки ходили по расписанию. После того как поселок образцового патриотизма остался позади, я с облегчением вздохнул. Думать не хотелось. Мне оставалось только смотреть, как за окном мелькала Россия, сливаясь из тысяч картинок в одно общее впечатление. Погода понемногу улучшалась. Между облаков снова мелькало солнце.

Двери вагона внезапно открылись. Из тамбура вошел мужчина в какой-то затертой черной куртке. На вид ему было лет сорок. Глаза мужчины почему-то виновато бежали из стороны в сторону, правая бровь была недавно рассечена. Почему-то он сразу направился ко мне и сел напротив.

— Как вы оцениваете стабильность нашей внутренней политики? — внезапно начал он, наклонившись ко мне.

— Что? — переспросил я.

— Да, я полностью с вами согласен. Наш президент — полный денатурат... простите, я хотел сказать, дегенерат. Вы тоже так считаете? Очень приятно. Я — официальный уполномоченный Пентагона. Давайте создадим тайное общество. Я расскажу вам, как поджигать полицейские машины. Встретимся завтра в условленном месте. У меня с собой будет канистра низкооктанового...

— На вас форменные брюки с лампасами, — холодно сказал я.

Мужчина опустил взгляд и покраснел.

— Это действительно так заметно? — спросил он расстроенным голосом. — А я-то думаю, почему мне никто не верит.

— Бросается в глаза, — подтвердил я. За это утро я уже успел презрительно насмотреться на мундиры самых разных образцов. Мой собеседник, который так и не успел представиться, скрестил ноги и прикрыл лампы руками.

— Вы не подумайте плохого, я не такой, — оправдываясь, начал он. — Я просто за квартиру триста тысяч коммуналки задолжал, больше всех в нашем подъезде. Вот меня и вызвали в полицию, мол, твой долг уже тянет на уголовку. Если не хочешь сесть, то походи по рынкам, поговори с людьми, создай экстремистское общество, а потом сдай его нам. Общество посадим, а тебе простим долг за квартиру, потому что способ-

ствуешь выполнению плана по раскрытию. Ну, меня у нас в Кубинке все знают, вот и езжу на электричках...

— И как, удается? — нейтральным голосом спросил я. Мужчина горестно обхватил голову руками, обнажая лампы.

— Какое там! Меня ограбила шпана в Тучково, в Голицыно меня избили, а в Одинцово чуть не выбросили из поезда. И никакого толку. Никто не верит. Езжу зайцем, но уже нарвался на восемь тысяч штрафа.

— Неужели полиция вам не дала проездной?

— Что вы!

— Но почему же вам тогда выдали брюки?

Мужчина снова покраснел.

— Эти брюки, — смущаясь, начал он, — я нашел на ведомственной помойке. Иду из полиции, смотрю — кто-то их выбросил. Хорошие такие, их еще носить и носить. Только на заднице сильно протерлись. Вот я их и вытащил... У меня семья... Работы нет... Въезд в Москву не разрешают... Надеть нечего... У нас всему подъезду из-за долгого отопление не включили...

Жизнь в России будущего за недолгий срок сделала меня тертым калачом.

— Скажите — сказал я, — а вы не боитесь, что вас посадят вместе с вашим экстремистским обществом? Или что вам в электричке не попадетсЯ агент тайной полиции? Они будут очень рады встретить официального уполномоченного Пентагона, ведь у них тоже наверняка есть план по раскрываемости...

У моего собеседника одновременно открылся рот и расширились глаза. Сейчас он стал похож на тургеневскую девушку, оказавшуюся в ночном клубе на конкурсе мокрых маек.

— А знаете, — еле вымолвил он, — я об этом даже не задумывался...

Пряча от меня взгляд, он поднялся с сиденья и удалился (его брюки действительно были сильно протерты сзади). По всей видимости, мои слова надломили в незнакомце веру в человечество. Со стуком сомкнулись двери тамбура, и в вагоне снова воцарилась тишина.

Мы постепенно приближались к Москве. Поля борщевика сменились оставленными под паром, а нежилые деревянные дома — обитаемыми белокирпичными. На их место приходили пятиэтажные панельные дома, построенные сотню лет назад, но держащиеся до сих пор. Пятиэтажки сменялись девятиэтажками, а вслед за ними появлялись все новые и новые высотки. Сколько людей жило в этих огромных каменных джунглях, где жители соседних домов, казалось, могут приветствовать по утрам друг друга рукопожатиями с балконов?

Электричка торжественно проехала над шестнадцатиполосным МКАДом, словно пересекая пограничный мост. Я приехал в Москву. Электричка изогнулась, выезжая к мосту. Москва-река несла свои серо-стальные воды вдаль. С грохотом мы перескочили на тот берег. Небоскребы, стоявшие здесь, были настолько высоки, что их было невозможно рассмотреть из окна. Поезд проехал совсем близко от них. За окном появилась какая-то многоуровневая развязка, которая тотчас превратилась в отгороженную трехметровыми щитами дорогу. Смотреть стало некуда.

Железная дорога, по которой мы ехали, внезапно разделилась стрелками на боковые пути, разошлась в стороны рельсами, словно куст хризантем, возникающий из одного побега. Это был Белорусский вокзал.

Я ступил на плитку перрона и снова, в который раз за эти сутки, решительно пошел вперед. Дорожный анабазис подходил к концу.

## Москва

Но что же делать дальше? В гостиницу с моими документами нельзя. Может быть, отправиться по адресам московских друзей, если они еще там живут? Или пойти к ДК Горбунова, чтобы встретить Светлану? Или отправиться на Старую площадь, как требовал Алексей?

В здании вокзала перед рамами металлоискателей с вывеской «Визовый контроль» выстроилась длинная очередь. Несколько сотрудников не то полиции на транспорте, не то еще какой-то службы проверяли у людей документы. Я уже привычным движением показал издали удостоверение сотрудника канцелярии и спокойно миновал кордон. Один из служащих любезно открыл для меня створки турникета; я кивнул ему в знак благодарности. Толкнув сопротивляющуюся дверь, я вышел наружу.

Бывшая площадь Белорусского, а ныне, как это следовало из огромной надписи на здании, Минского вокзала встретила меня городским шумом, запахами автомобильных выхлопов и невероятным количеством спешащих людей. Перед входом в метро выстроилась просто невообразимая очередь. У дверей, где стоял наряд полиции, висели два больших стэнда:

ВХОД В МЕТРО ТОЛЬКО ПО ПАСПОРТУ ГРАЖДАНИНА МОСКВЫ

и

ПРЕДЪЯВИ ВЕЩИ К ДОСМОТРУ

Поразмыслив, я решил прогуляться пешком. У меня не было желания рисковать, подвергаясь второй проверке документов за десять минут. К тому же я хотел посмотреть Москву надземную.

Я шел по Тверской улице к Кремлю. Я смотрел на Москву, а Москва смотрела на меня, коренного провинциала. Москва смотрела на меня десятками окон, чистых и пыльных, открытых и затворенных, больших, в человеческий рост, и маленьких, словно слуховые окошки чердаков. Москва смотрела на меня горящими фарами автомобилей и сложенными из десятков светодиодов фасетчатыми глазами светофоров. Москва смотрела на меня глазами сотен пешеходов, что спешили куда-то по делам в этот осенний день.

Столичность незримо ощущалась во всем. В людях: в быстрой и уверенной походке москвичей, в выражении их лиц, в какой-то целеустремленности, что была присуща каждому из прохожих и свидетельствовала о том, что в глубине каждого из них скрывается какая-то московская мечта, что незримо и гарантированно отличает жителя метрополии от провинциала. В зданиях: в огромных, облицованных по-осеннему холодным мрамором высотках, с дверьми подъездов высотой в два этажа, с окнами в фигурном обрамлении, с мемориальными досками, свидетельствующими о том, какие славные события происходили здесь и какие вершители истории когда-то смотрели на Москву из этих окон. Даже в автомобилях: ухоженных, многочисленных, солидных, многих — с замененными эмблемами производителей, но в прекрасном состоянии. Казалось невероятным, что всего в паре часов езды отсюда люди получают зарплату просроченными продуктами и надевают брюки, найденные на помойках, а люди в черной форме бьют резиновыми дубинками тех, кто пытается проникнуть в этот рай. Да, я действительно попал в другой, лучший мир.

Половину полос Тверской ремонтировали. За сетчатым забором было видно, как укладывают тяжелые мраморные плиты на проезжую часть. Изумительный белоснежный мрамор, по которому я ступал, казался брошенным в пропасть осенней слякоти.

Откуда-то повеяло восхитительным ароматом свежей выпечки. Повинуясь даже не интуиции, а желанию подкрепиться, я свернул в булочную, где на прилавках лежали кренделя, слойки, плюшки, пироги, пирожки и прочие произведения пекарного искусства.

— Дайте, пожалуйста, курник, — обратился я к молодой симпатичной девушке с убранный набок челкой и небольшой мушкой на носу. Мне даже в голову не пришло спросить, сделан ли курник из пшеницы и не соевая ли внутри курица? Это показалось мне таким же неуместным, как поинтересоваться возрастом девушки с челкой. — И еще чай.

— Пажаалуйста! — ответила девушка, непривычно для меня произнося букву «а». Мне показалось непривычным, что с меня в этот раз не взяли никаких пошлин или сборов. Как я и ожидал, это был прекрасный курник без малейшего намека на какие-то добавки. Москва встретила меня гостеприимно.

Ощущая приятную тяжесть после сытного обеда, я вышел наружу, в мир броуновского людского движения. Я подошел к Бульварному кольцу и остановился на переходе. Кольцо стояло в такой же бесконечной пробке, как и Тверская, так что при желании я мог бы спокойно перейти улицу, пролезая между машинами.

Я услышал неприятное, резкое кряканье автомобильного спецсигнала и оглянулся. По мраморному пешеходному тротуару Тверской улицы ехали пять джипов, каждый из которых был покрыт сусальным золотом. На секунду мне показалось, что я оказался в клипе какого-то американского рэп-исполнителя и что сейчас из позолоченных джипов выйдут высокие подтянутые негры, которые будут мастерски играть в баскетбол, а стройные девушки с афрокосичками начнут зажигательно танцевать хип-хоп под ритмичную музыку, льющуюся из большого серебристого магнитофона.

— Дорогу патриарху Симону, — произнес искусственным голосом громкоговоритель на одной из машин. — Расходимся, расходимся, поживее!

Да, это было даже не нью-йоркское гетто. Я, как и остальные пешеходы, шагнул к стене здания. Слева от меня, почти упираясь в меня локтем, стояла рыжеволосая девушка в зеленом пальто. Я чуть отодвинулся в сторону, пропуская ее в более безопасное место, где в стене здания была небольшая ниша. Девушка благодарно кивнула мне, и я почувствовал себя рыцарем, защищающим прекрасную даму от дракона.

Я прошел мимо богато украшенного здания, немного напомнившего мне Арсенал в Старом городе Гданьска. Очевидно, это была мэрия. Прямо у входа стояла роскошная резная карета черного полированного дерева, запряженная шестеркой оленей. Стоящие на запятках лакеи в идеально сшитых бархатных ливреях брусничного цвета даже не посмотрели на меня. Не желая показывать свою провинциальность, я прошел не оглядываясь, словно каждый день только и делал, что ходил мимо карет, запряженных оленями.

Неторопливым шагом я вышел к Манежной площади и замер от удивления. Кремль почти не изменился за прошедшие годы. Даже огромные спирали из колючей проволоки поверх стен не бросались в глаза. Куда как более заметным и удивительным был шестиметровый сухой ров, идущий вокруг Кремля и заполненный проволочными заграждениями почти доверху. На углу, возле круглой башни, чье название я так и не мог вспомнить, стояла вышка. На ней, за маскировочной сеткой, виднелись фигуры часовых и что-то непонятное, напоминавшее станковый пулемет.

Ступая по брусчатке мимо знака нулевого километра, я вышел на Красную площадь. Сухой ров уходил дальше, к Москве-реке. На месте мавзолея располагался серый

бетонный дот. С его крыши в небо вздымались спаренные стволы малокалиберных зенитных пушек.

Я стоял посередине Красной площади, греясь в лучах рыжего осеннего солнца. В десятке метров от меня, перед рвом, располагался невысокий, примерно по грудь, забор из колючей проволоки. Судя по небольшому искрению и легкому запаху озона (я с чувством ностальгии вспомнил, что в детстве точно так же пахло от телевизора), по нему шел ток. Небольшие таблички извещали, что проход категорически запрещен, а к нарушителю будет немедленно применено оружие. Похоже, надо было идти на Старую площадь. Я не вполне знал, где она располагается, но почему-то предположил, что это в противоположной стороне от Нового Арбата.

— Стойте! Подождите! — раздался чей-то крик, оборвавший мои размышления. От Спасской башни ко мне бежал худой, одетый в строгий темно-синий пиджак мужчина совершенно гражданского вида. Он был высок и в меру худ; на вид ему было за сорок. Ежик русских волос, так же как и усы, топорщился во все стороны. — Не убегайте!

Незнакомец крепко взял меня под локоть и поволок к Спасской башне.

— Пойдемте скорее! Мы вас ждем с самого утра! — сообщил он мне крайне взволнованным голосом. — Почему вы сразу не пошли в Кремль?

— А вы, вообще, собственно, кто? — поинтересовался я, делая попытку высвободить локоть.

Перед моими глазами раскрылось и тут же закрылось удостоверение, свидетельствующее, что предъявитель сего, господин Д., является Чрезвычайным и Уполномоченным Членом Президента по общению с населением.

Мы приблизились к блокпосту у Спасской башни, где в карауле возле бронетранспортера стояли пятеро солдат. Чрезвычайный член вцепился в мой локоть мертвой хваткой и буквально протащил меня мимо них, по пути гаркнув часовым: «Он со мной!»

По ту сторону Спасской башни нас встретили три танка, стоявшие прямо напротив ворот. Метрах в двухстах впереди за мешками с песком размещалась минометная батарея, а на небольшой посадочной площадке — два пожилых, но еще, судя по всему, работоспособных вертолета.

— Какие здесь солидные укрепления, — сказал я, оглядываясь.

— Конечно же! Как же иначе! Как-никак, здесь живет и работает президент. Лет тридцать пять назад многие выходили на площадь протестовать, и это ужасно мешало работать. Сначала мы разгоняли митингующих, но потом господин президент придумал гениальное решение: если в Москве не будет площадей, то людям будет некуда выходить с протестами!

— Да?

— Нет, ну конечно, мы не все площади убрали. Только центр Москвы. Красную и Манежную перекопали, Пушкинскую застроили жилыми домами, а на Болотной разместили несколько дотов и пулеметную вышку...

Мы обогнули минометную батарею. Солдаты с любопытством посмотрели на нас, но остановить не решились. Я увидел, что из склона Боровицкого холма вырастает громадный бетонный бункер.

— Скажите, а где у вас здесь бронепоезд? — как бы невзначай поинтересовался я.

— Он не здесь, — бросил мой собеседник. — Стоит на Брянском вокзале. Правда, это уже совсем запасной вариант. Зато в нем хватит топлива, чтобы в случае необходимости добраться до черноморских баз, где наготове ждет быстроходный катер. Вы правильно делали, что добирались до Москвы инкогнито, — похвалил он меня, ловко уходя от темы. — Если бы вы вели себя как обычный человек, то вас бы очень

быстро взяли. Понимаете, наши спецслужбы умеют арестовывать только законопослушных людей. Вы же действовали как настоящий преступник: переодевания, смена электричек, поддельные документы... Я восхищен вами.

— Разве у меня подделка?

— Ах да, конечно же, нет, у вас настоящие. В общем, вы обыграли наши спецслужбы.

Обогнув колокольню (там располагался наблюдательный пункт и блестели линзы артиллерийского дальномера), мы перешли Соборную площадь и поднялись по лестнице Грановитой палаты, миновав еще один пост. Мы миновали высокую залу, расписанную фресками. Мягкая красная ковровая дорожка заглушала шаги. Дорогой дубовый паркет матово сиял в свете роскошных золотых люстр.

— Президент примет вас в своем малом кабинете, — пояснил член президента. — Нам нужно спешить.

Двери на вершине лестницы были закрыты. Сбоку на стене располагался домофон в виде бронзовой львиной морды.

— Откройте, это мы! — радостно сказал льву в пасть член президента. В стене слышалось какое-то жужжание. Тяжелые двери открылись, и мы одновременно перешагнули через порог. Чрезвычайный член снова сжал мой локоть, словно боялся, что я сейчас ударю его по голове и сбегу.

— Господин президент Российской Федерации! — торжественно провозгласил он. — Я привел его!

После путешествия по роскошным коридорам я ожидал увидеть что-то потрясающее и похожее на тронный зал в королевском дворце, но даже не мог представить себе, что окажусь в большом кабинете с крайне простой, на грани аскетизма, отделкой. Стены были обшиты желтыми деревянными панелями. Вдоль них стояли шкафы сурового стиля. На полках в рабочем беспорядке лежали книги и папки бумаг. Неподалеку, возле двух больших сейфов, висела большая карта России. Дальше шли стол того же сурового стиля с документами, стол с компьютером (это был импортный агрегат футуристического вида) и еще один большой стол, за которым сидел сам господин президент. Одну из стен украшало большое панно с металлическим двуглавым орлом высотой в полтора человеческих роста. Я уже успел отвыкнуть от старого герба.

Президент сидел за столом и вытирал вспотевший лоб салфеткой. Его рубашка была расстегнута. Вид у президента был грустный.

Президент выкинул смятую салфетку в урну, одернул рубашку и преобразился в одну секунду. Перед нами был лидер сверхдержавы, в каждом движении которого ощущалась уверенность в завтрашнем дне. Он вышел из-за стола к нам.

— Я рад приветствовать вас, — обратился он ко мне, протягивая руку. Президентское рукопожатие было крепким. — Надеюсь, что незначительные инциденты в дороге не доставили вам каких-то неудобств. Мои люди порой так спешат выполнить мои приказы. Это происходит исключительно от любви к родине.

— Ничего страшного, — солгал я из вежливости.

— Вот и славно. Садитесь, — любезно, но несколько двусмысленно сказал президент.

Какое-то время мы сидели в тишине. Президент внимательно смотрел на меня, не произнося ни слова. Потом сложил руки в замок.

— Я объясню вам суть проблемы. Вас, как и ваших отпечатков, нет в общероссийском государственном реестре физических лиц. Вы не пересекали границу страны, по крайней мере, не пересекали легально. У вас на руках настоящий российский загранпаспорт международного образца с настоящей визой. Их не выдавали уже тридцать лет. Тем не менее запрос показал, что шесть лет назад один из паспортов был изготовлен и вручен. Вам. В книге регистрации почему-то даже есть запись о моем личном раз-

решении. Дайте мне договорить, — остановил он меня. — Вы приходите в банк и меняете валюту так, словно делаете это каждый день. Вы знаете, как минимум, два иностранных языка. С ног до головы вы одеты в зарубежную одежду. Экспертиза показала, что вашей куртке не больше года.

— Это запрещено?

— Да. Если бы вы могли носить новую зарубежную куртку, свитер, рубашку, джинсы, носки и ботинки, то я знал бы вас лично. У меня прекрасная память на лица. Дайте ваш паспорт для проведения экспертизы и установления подлинности.

Президент взял паспорт, очень внимательно рассмотрел вкладку с шенгенской визой, подозрительно взглянул на меня и открыл страницу с разрешением на выезд.

— Выездная виза. Как вы ее получили? Почему здесь стоит моя личная подпись и моя личная печать?

Президент убрал мой паспорт в верхний ящик своего стола и задвинул его с глухим стуком.

— Прежде чем мы продолжим, я обязан спросить у вас еще одну вещь. Вы — прогрессор из будущего?

— Нет, — коротко ответил я.

Если мне суждено попасть в одно из заведений, расположенных на улице Матросская Тишина, то уж пусть это будет не спецклиника для путешественников во времени.

— Это хорошо, — президент с видимым облегчением откинулся назад. — Тогда ответьте, кто же вы?

Я вздохнул, размышляя, как лучше ответить на этот вопрос. Не желая отказывать лидеру страны или же прибегать к обману, в то же время я не хотел открывать все карты. Поэтому я ответил президенту уклончиво.

— Я тот, для которого производится колбаса из сои и водка из опилок. Я тот, кто ест печеный картофель, и тот, кого кормят историями о величии страны. Я тот, кто ездит в стальной вагоне, и я тот, кого приходят арестовывать утром. Я тот, кого бережет наша полиция, и тот, кого учат патриотизму дружинники. Я тот, кто оскорбляет чувства верующих, и тот, кто разжигает рознь. Я обычный гражданин России. Мое имя — легион!

— Да-да, а живете вы в землянке под холмом, — саркастически прокомментировал президент.

Я удивился его начитанности. Мне захотелось сострить, что федеральная программа «Доступное жилье каждому россиянину» еще не дошла до меня, но я сдержался.

— Я не обрадован вашим ответом, — резко сказал президент, обрывая ход моих мыслей, — но в сложившейся ситуации будем считать, что меня удовлетворили ваши слова. Следующий вопрос. Как вы получили паспорт международного образца?

— Для этого я написал заявление в соответствующие органы и целый день ждал в очереди, — честно ответил я. Этот ответ тоже не сильно обрадовал президента. Он поморщился.

— А как вы получили шенгенскую визу?

— Я пришел в консульство и отдал паспорт, — снова ответил я чистую правду, умолчав о том, что мне пришлось достаточно долго копить на нее.

Брови президента снова сдвинулись.

— Вы напоминаете мне моего премьер-министра. Он тоже дает абсолютно точные и абсолютно бесполезные ответы. Полагаю, бессмысленно спрашивать, как вы пересекали границу. Впрочем, думаю, этого достаточно. Перейдем к делу. Хотите кофе?

— С удовольствием выпью, — честно признался я. — Только, пожалуйста, не цикорий и не импортозаместительный.



Президент посмотрел на меня с каким-то недоумением, а затем произнес фразу, которую я запомнил навсегда:

— Президент России не пьет импортозаместительный кофе.

Я смутился и перевел взгляд в окно, за которым открывался прекрасный вид на Москву-реку. Цвета были незначительно искажены, как это бывает при зеркальной тонировке стекол. Мой собеседник нажал одну из кнопок на столешнице и произнес в зеленую настольную лампу:

— Кофе, пожалуйста. И две чашки.

Я решил устроиться с комфортом.

— Скажите, а у вас не найдется к кофе немного амаретто? — спросил я.

— Принесите амаретто, — добавил президент, обращаясь к лампе.

— Спасибо. Какой у вас необычный кабинет, — прокомментировал я.

Президент кивнул.

— Это мой рабочий кабинет. Там, во дворце, я только подписываю бумаги, провожу совещания, принимаю чиновников и осуществляю прочую имитацию бурной деятельности, ну а здесь я работаю с документами.

Негромко прозвучал зуммер. Президент нажал еще одну из кнопок. Один из боковых шкафов пришел в движение, открывая небольшую дверь. Секретарша с абсолютно не запоминающейся модельной внешностью внесла поднос с кофейником, двумя чашками тончайшего фарфора, бутылкой ликера и сахарницей и тут же, развернувшись, ушла. Шкаф вернулся на свое место.

Я налил себе кофе и размешал сахар. Ложка была серебряной и тяжелой, с двуглавым орлом на рукоятке. Фарфор чашки был украшен восхитительным пасторальным сюжетом в стиле восемнадцатого века.

— Спасибо за кофе, — поблагодарил я гостеприимного хозяина, добавляя в чашку немного амаретто из приятной на ощупь квадратной бутылки. — Какой у вас красивый сервиз.

— Это один из императорских сервизов.

— Наверное, эпохи дворцовых переворотов? — предположил я, еще раз приглядываясь к пасторальному сюжету.

— За нашу и вашу безопасность, — произнес президент.

Это был тост. Мы негромко чокнулись чашками. Кофе с амаретто был поистине превосходен, но на месте президента первый тост я бы провозгласил за долготерпение русского народа.

Поставив благородный фарфор на блюдце, президент снова нажал одну из кнопок и спросил у лампы:

— Министр иностранных дел еще не приехал?

— Он уже в пути, — женским голосом ответили настольные малахитовые часы. — Будет не раньше чем через полчаса.

— Как приедет, пусть немедленно отправляется ко мне, — президент держался столь солидно, словно разговаривал не с зеленым абажуром, а с парламентом. — Так на чем мы остановились?

Этот вопрос предназначался уже мне.

— Вы хотели перейти к делу, — вежливо ответил я.

— Да. Буду краток. Вы нужны своей стране.

— Я весь внимание, — произнес я.

Президент поднялся из кресла и подошел к большой карте России, что висела на стене.

— Подойдите поближе. Общеизвестно, что наша с вами страна, — торжественно начал он, — вот уже свыше сорока лет находится в незримом кольце блокады. Вокруг

нас замкнулся фронт невидимой войны. Страны Запада желают сокрушить нас, воспользоваться малейшей из наших ошибок, чтобы проникнуть к нам, расколоть Россию, превратить ее в политическую марионетку, разрушить нашу стабильность и поставить страну на колени. Но мы не сдаемся. Россия не сдается. Вся Россия — фронт, и каждый в ней — солдат. Мы не имеем права отступить, как не имели права отступить воины Невского и Суворова, Кутузова и Алексеева...

Я молчал, не перебивая президента, а он все говорил и говорил, про санкции и русский мир, про духовные скрепы и геополитику, про сферы влияния и пятые колонны, про цветные революции и многополярный мир, про национальные интересы и традиционные ценности, про зерновые сверхдержавы и симметричные ответы на агрессию западных стран. Я слушал его и думал только об одном: неужели, сдавая экзамен по социологии, я выглядел со стороны так же? Пожалуй, мне следовало бы поблагодарить преподавателей, все-таки поставивших мне тогда оценку из уважения к уверенному виду, с которым я нес чушь. Наконец я не выдержал и дважды зевнул во время одного очень длинного и поэтического высказывания о лодке, раскачиваемой в шторм. Судя по всему, президента это несколько обидело. Он насунился и замолчал.

— Прошу прощения, — извинился я. — Мне сегодня не дали выспаться.

Мои слова смягчили недовольство.

— Тогда перейду ближе к делу. На всякой войне, — обстоятельно сказал он, подчеркнув последнее слово, — и в любых битвах есть солдаты и командиры. Есть разведчики и тыловики. А еще существуют парламентарии. Мой друг! Пробыл тот час, когда только вы можете взять на себя эту благороднейшую из обязанностей. Родина нуждается в вас, в своем сыне, который единственный может отправиться в логово врага, презрев ожидающие его на этом пути опасности.

— Вы хотите, чтобы я поехал за границу послом?

— Именно так, — подтвердил президент, возвращаясь к своему обычному тону. — Вы будете должны провести ряд переговоров. Видите ли, — он вернулся за стол и сел в кресло, — враждебные страны Запада категорически отказываются обсуждать некоторые вопросы по телетайпу...

Какие-то тонкие нотки в голосе президента говорили, что государственный лидер несколько лукавит.

— ...Поэтому, — продолжал он, — нам нужны вы. Вы отправитесь в Германию, Швейцарию и США. Мы с министром составим подробный план переговоров сегодня вечером. Пока же расскажу о вашей миссии вкратце.

Президент ловким движением положил на стол лист бумаги и взмахом ручки нарисовал единицу.

— Для начала вы должны провести переговоры с представителями фармацевтических компаний. Наверное, вы уже слышали, что мы вынуждены закупать некоторые лекарства за рубежом.

— Бессмертные? — вспомнил я слова Харона.

Президент поморщился, тщетно пытаясь устыдить меня взглядом.

— Это абсолютно неправильный и некорректный термин. Я попрошу не использовать его. Этот термин придумали купленные Западом оппозиционеры, чтобы дестабилизировать ситуацию, поэтому я был вынужден их арестовать. Употребляйте слова «Лица, имеющие право на особый уровень медицинской помощи». Все люди, что входят в этот список, являются государственными мужами высшего класса. Их опыт и знания нужны России. Нет ничего ценнее, чем стаж, накопленный руководителем. Император Франц-Иосиф правил Австро-Венгерской империей свыше шестидесяти лет, и вы знаете, что случилось с его страной, когда он умер?

— Что?

— Она развалилась, — испуганным голосом прошептал президент. — Поэтому мой долг — править Россией как можно дольше. Я руковожу страной пока меньше, чем император Франц-Иосиф, но нет предела совершенству. Особый уровень медицинской помощи дает возможность мне и другим членам списка реализовать весь свой богатейший опыт на благо страны. Если же на мой пост сядет человек без опыта, то буквально через месяц Россия будет разрушена странами Запада до основания. Погибнет все то, что я создавал годами. В стране будет еще хуже, чем сейчас, так что я остаюсь на этом посту только из-за любви к родине. И принимаю лекарства — тоже. Надеюсь, что лет сто у меня еще есть.

Я сидел, стараясь делать непроницаемое лицо.

— Вернемся к переговорам. Западные фармацевтические компании убеждают нас, что нужные нам препараты выпускаются только в виде, гм, свечей. Я им не верю. На мой взгляд, это провокационное оскорбление государственного уровня. Вы должны разобраться и убедить фармацевтов продавать нужные нам лекарства в форме таблеток. Ну или хотя бы внутримышечных уколов. Хотя бы только для меня. Думаю, что остальные согласятся потерпеть.

Президент написал на листе бумаги двойку.

— И наконец, ваше главное задание. Вам предстоит сделать исключительно важный шаг, направленный на повышение международного престижа нашей страны. Как я уже говорил, вы поедете в Берлин. Я уполномочу вас урегулировать некоторые финансово-территориальные вопросы. Невзирая на враждебное отношение стран Запада, нам предстоит сделать первый шаг и протянуть руку дружбы. Узнайте, заинтересована ли Германия в возвращении ей северной части бывшей Восточной Пруссии.

— То есть Калининградской области?

— Вы совершенно правы. И если Германия в этом заинтересована, то следует узнать, на какие взаимные шаги она готова пойти. Вопрос даже не в деньгах. Я хочу, чтобы ООН сняла выездные санкции с высшего руководства России и распустила трибунал. Германия как постоянный член Совбеза ООН, заменившая там Россию, вполне может пролоббировать наши интересы.

Мне отчетливо вспомнилось пророчество Харона. Кажется, пришла пора вступить на тонкий лед.

— Я правильно понимаю, что вы хотите обменять Калининград на роспуск трибунала?

Президент недовольно вздохнул.

— Я повторю еще раз, что весь мир ведет необъявленную войну с Россией, и мы живем в осажденной крепости. Каждый гражданин нашей страны — воин, а воин должен с мужеством идти на любые жертвы ради своей родины. Ситуация намного сложнее, чем может показаться вам. В этом нелегком мире Россия должна вести агрессивную внешнюю политику. Для того чтобы наш голос был услышан, нам необходимы, во-первых, визы на право въезда во весь остальной мир и, во-вторых, гарантии того, что никого из нас там не посадят. Как можно действовать на благо родины, когда тебя могут арестовать в любую минуту?

— Я вас очень понимаю, — дипломатично согласился я.

— Чтобы получить все это, нужно предложить что-то взамен, — продолжил президент. — У вас есть какие-то другие варианты?

Я напряженно думал. Неужели меня позвали в Кремль только ради этого? Наверное, решил я, в деле есть какие-то скрытые обстоятельства, которые, по всей видимости, мне не спешат сообщать.

— Или вы хотите, чтобы мы снова жили, как в тридцатые годы? — спросил президент, неправильно истолковав мое молчание. — Когда денег в России хватало только

на лекарства для меня и моих друзей, а вся остальная страна жила в нищете? Я и мои друзья не против, а вы?

— Нет, — честно ответил я.

— А может быть, вы просто либерал? Я же вижу, что вы — представитель пятой колонны, который хочет вычистить сапоги американскому солдату! — президент резко облизал пересохшие от гнева губы и налил себе кофе. — Должно быть, это о вас Достоевский написал: «Все наше хаот и бранят, а сало русское едят!» Вы национал-предатель и русофоб!

А вот это уже было обидно.

— Товарищ, — сказал я, стараясь придать голосу вес. — Я родился в Советском Союзе и до сих пор предан своей социалистической родине. Поэтому я вынужден отдать приказ о вашем аресте. Кремль оцеплен. Сопrotивление бесполезно. Сейчас за вами придут латышские стрелки и увезут в ЧК для допроса. Расстрел назначен на завтра, форма одежды свободная.

Президент едва не захлебнулся кофе. Он отчаянно кашлял, как минимум, полминуты, а я колебался: постучать ли его по спине или лучше не надо? Рассудив, что за нанесение побоев президенту мне могут дать пожизненное, я воздержался.

— В детстве... — прохрипел президент и снова закашлялся, — в детстве таким шутникам, как вы, я плевал в спину жеваной бумагой. Из трубочки.

— Ну, ну, конечно, я преувеличиваю, — извинился я. — Я просто родился в Советском Союзе. Да и положим, какая же я пятая колонна? Я учился исключительно в отечественных университетах, у меня нет недвижимости и банковских вкладов за рубежом, как нет и второго гражданства...

Президент немного покраснел. Скорее всего, это было следствием долгого кашля. Шумно выдохнув воздух, он продолжил:

— Вы выглядите идеологически сомнительно для такой миссии, поэтому я склоняюсь к мысли о том, что за границу нужно отправить вашего двойника. Мои спецслужбы уже изготовили латексную маску, в точности повторяющую вашу внешность...

Он прервался для того, чтобы извлечь из ящика стола жуткого вида маску, сделанную из грубой резины.

— Номер не пройдет, — предупредил я. — На въезде в Евросоюз у вашего двойника сверят отпечатки пальцев с теми, которые взяли у меня при выдаче визы. Они не совпадут, и ваш двойник поедет обратно. К тому же ваша маска совершенно не похожа на меня. Конечно, я толком не спал уже две ночи, но мне еще далеко до такого состояния...

Президент смял маску в руке (с нее начала отваливаться краска) и ударил кулаком по столу:

— Евросоюз — отвратительное полицейское государство!

Я перехватил инициативу в разговоре, чтобы президенту в голову не пришла еще какая-нибудь идея. Мне жизненно важно было поехать за границу.

— Но я вовсе не отказываюсь от дипломатической поездки, — заявил я. Президент с осязательным облегчением выдохнул и чуть осел в кресле. — Вы неправильно меня поняли. Произошло недоразумение. Мне только хочется уточнить одну вещь. Если Калининградская область будет передана Германии, то жители останутся там?

— О жителях не волнуйтесь. Я не бросаю своих граждан. Население будет эвакуировано в Псковскую и Новгородскую области. Там как раз уже почти никого не осталось.

— Господин президент, у меня есть предложение, — сказал я. — Я поеду за границу и выполню то, о чем вы меня просите. Но пусть жители Калининградской области останутся там, где они сейчас живут.

Мне откровенно не нравилась Россия образца 2057 года. К моему огромному сожалению, исправить положение не представлялось возможным. Но не имея возможности обустроить большую родину целиком, я, похоже, еще мог спасти от нее свою малую родину.

Президент чуть наклонил голову в одну, затем в другую сторону, словно перекатывая в ней мысль. Затем резким движением вскинул глаза:

— Это исключено, — заявил он наконец. Его голос взвился к потолку. — Нет, это категорически недопустимо! Вы в Кремле, а не в фантастике! Заботьтесь о себе, а не о людях, которых вы в глаза не видели и не увидите. Какое вам дело до них? Просите себе все что угодно, но не пытайтесь решать судьбы других. Почему я должен потерять почти миллион человек? Это сплошной убыток! Получится слишком опасный прецедент! И, кстати, далеко не факт, что они захотят покинуть Россию!

— Тогда разрешите остаться тем, кто этого захочет, — сказал я, пока президент переводил дыхание.

— Вы — сепаратист! — гневно сказал президент, ударив кулаком по столу.

— Нет, это не я хочу обменять область на трибунал!

Президент глубоко вздохнул, потирая ушибленную руку.

— О людях речь не идет. Это исключено. Если я разрешу что-то подобное, то к вам в Калининград переедет четверть России, — сказал он, не пытаясь скрыть свое недовольство. — Кто будет работать на полях, если я начну отпускать население налево и направо? Я уже не говорю о том, что к вам гарантированно переберется вся элита России и я останусь в одиночестве.

Президент поднял трубку телефона и набрал номер.

— Привет, — сказал он голосом, еще не остывшим после нашей дискуссии. — Да, сейчас обсуждаем. Переселение миллиона человек на Северо-Запад. Так, по деньгам понятно, я выделю. Старый фонд и бараки? Заброшенные дома как вариант вполне подойдут, их там полно. Области стоят пустые. Вагоны для перевозки людей тебе выделят. К тебе сейчас приедет мой гонец. Прими его как можно скорее и подпиши все документы! Все.

Положив трубку, президент обратился ко мне:

— Все жители Калининградской области в ближайшие сроки будут обеспечены на новом месте жильем, высокооплачиваемой работой и развитой общественной инфраструктурой. Видите мою заботу? Неужели вы думаете, что в Европе кто-то будет заботиться о людях, как забочусь я?

Президент достал из ящика стола простое серебряное кольцо и протянул мне. По ободу шла тонкая гравировка.

— «К вящей славе родины»? — прочитал я буквы-паутинки.

— Вы совершенно правы. Это особое кольцо, отличительный знак. Такие кольца имеют право носить только мои друзья. Если вы выполните две мои просьбы, оно станет вашим. Кольцо позволяет владельцу действовать от моего имени, а это бесценно. Человек с кольцом становится непогрешимым. Все его действия считаются произведенными для блага родины. Вы получите право на особый уровень медицинской помощи, что откроет вам путь к бессмертию. Однако, — тут он предостерегающе поднял палец, — кольценосец должен быть безоговорочно предан мне. Верните, пожалуйста, кольцо.

Я протянул президенту кольцо, успев заметить, что на его среднем пальце надето похожее, отличавшееся только гравировкой. «Родина — это я» — гласила надпись на кольце президента. Какая тонкая игра слов.

Переиграть президента я не мог при всем желании, но я пока обладал возможностью выйти из игры. Предстояло действовать тонко и аккуратно.

— Родина предлагает вам больше, чем кто бы то ни было, — сказал президент, убирая кольцо. — Главное сейчас — распустить трибунал. Дальше действовать будем мы. Вы согласны поехать?

Похоже, выбора у меня не было. Не имея возможности помочь ни России, ни Калининграду, я еще мог спасти себя самого. Не я был первым беглецом из России, и не я буду последним. Смирись, сказал я себе; тысячи людей пытались сделать жизнь в России лучше, и у тысяч людей это не получалось. Родные края покидали князь Курбский и князь Юсупов; отчего бы мне не вписать свое имя в этот список?

— Да, — коротко согласился я.

— Превосходно, — президент потер руки, хрустнув суставами пальцев. — Для начала я подпишу приказ о назначении вас чрезвычайным и полномочным послом России во всех странах земного шара. Помимо этого, вам присваивается чин действительного государственного советника первого класса. Вы говорили, что у вас нет денег и недвижимости за рубежом?

— Нет, к сожалению, нет.

— Это очень хорошо. У многих ваших предшественников в прошлом возникало сильное желание остаться за рубежом. Я хочу полностью обеспечить вас здесь, чтобы вам было куда возвращаться. Вам выдадут трехуровневую квартиру с затемненными окнами и видом на Москву-реку. Служебные машины, налоговые льготы, уголовная неприкосновенность... — президент махнул рукой, показывая, что ему даже не хочется говорить о таких мелочах. — Еще вам нужно будет жениться.

— Зачем?

— Ну как же. Я ведь не могу приковать вас к себе наручниками на время поездки. Значит, нужны другие способы предотвратить ваш побег. Вы же не бросите жену одну в этой стране? Мы ее тут же посадим!

— Гм, — скептически сказал я.

— Завтра мы проведем смотрины в парадном зале, — продолжал президент заботливым тоном. — Там будет весь женский незамужний состав моей канцелярии. Выбирайте по собственному вкусу. Бракосочетание днем. Я полагаю, что мой Чрезвычайный и Уполномоченный член будет сватать свою дочь. Не рекомендую... Ах да, еще одна несущественная формальность. Так как вы занимаете важный пост, на вас необходимо иметь компромат. Это очень важно для функционирования вертикали власти.

Мне показалось, что президент немного лукавит, но я воздержался от комментариев.

— Выбирайте, какого рода компромат вы хотите завести на себя? Взятки? Связи с организованной преступностью? Женщины? Нам надо спешить. Взятку мы можем перевести вам хоть через час, только потом надо будет вернуть ее обратно. Если вы решите выбрать женщин, то съемки в гостинице сегодня вечером. Вот если оргпреступность, то здесь сложнее. Понимаете ли, бумажная волокита... Мы не успеем собрать организованную преступную группу раньше завтрашнего утра, а нам хорошо бы закончить с этим уже сегодня.

Похоже, сейчас, когда все дела были улажены, у меня оставался шанс напоследок сделать то, о чем я мечтал с прошлого вечера. Извечной мечтой каждого мыслящего человека в России является желание добраться на прием к доброму царю и рассказать ему про злых бояр. Эта мечта насчитывает не меньше лет, чем сама Россия; она прекрасна, как цветок василька, и бесплодна, как арктическая тундра, она оптимистична, как кудрявая весенняя березка, и трагична, как вся история моей страны.

— Господин президент! — начал я. — Пожалуйста, выслушайте меня! В стране полный...

Я вкратце обрисовал свои впечатления от всего увиденного, услышанного, прочитанного и обдуманного за неполные два дня, проведенные в удивительном госу-

дарстве будущего, стараясь при этом не называть конкретных имен. Все это время президент смотрел на меня с плохо скрываемым недоумением.

— Вы закончили? — поинтересовался он, и мне показалось, что я слышу некоторое участие в его голосе.

Президент ответил не сразу. На какую-то долю секунды мне показалось, что я пробудил в нем что-то доселе спящее и, по всей видимости, еще не до конца атрофированное. Президент открыл рот, и наваждение исчезло.

— Вы — первый честный человек, который вошел в этот кабинет за все время его существования. Я разбираюсь в людях, иначе бы не сидел здесь, поэтому я могу заявить это со всей уверенностью. Что же, налейте себе еще кофе и выслушайте меня не перебивая. Конечно, Россия не идеальна, но, к примеру, вы видели размер госдолга США? Вы знаете про социальную политику Украины? Вы слышали про положение русскоговорящих в Тимбукту? И вообще, я хоть сейчас могу назвать не меньше двух стран, в которых жить еще хуже, чем в России. Почему все сравнивают Россию с Америкой, но никто не хочет сравнивать с Афганистаном или Зимбабве? Благодаря моим заслугам мы пока еще живем лучше Афганистана! Вы говорили, что где-то в провинции делают хлеб из гороха, но если мы будем выпускать хлеб без гороха, то люди просто не смогут его купить: у них не хватит денег. Вы говорили, что зарплата маленькая и работать негде, но граждане как-то живут. От голода пока еще никто не умирает. Даже на Урале. И вообще, не будь призыва жителей всей остальной России в Трудовую армию, то им просто было бы нечем заняться в своих регионах! Пусть провинциалы вообще радуются, что они еще хоть где-то и для чего-то нужны!

Президент перевел дыхание и сделал глоток кофе, после чего продолжил:

— Проклятое наследие бесхозяйственности минувших лет. Прошлый президент довел страну просто до ручки. И вообще, за экономику я не отвечаю. Это все правительство. К сожалению, другого правительства у меня для вас нет. Так, что дальше? Вы упоминали, что люди недовольны выборами, но почему они тогда на них не ходят? Мы ведь еще проводим выборы и даже боремся за повышение явки. Люди сами не ходят на избирательные участки, а потом еще недовольны. Я мог бы назначить себя пожизненным президентом, но не сделал этого. Я честно выиграл все свои президентские выборы и буду выигрывать их впредь.

— Честно? — все-таки не удержался я. — Мне кажется, что система «Ниппель» несколько...

— Не перебивайте меня, — прервался президент на секунду. — Без деятельности контролирующих и надзирающих служб Россия неизбежно бы скатилась в бездну анархии. Ну, а что касается деятельности правоохранительных органов и вспомогательных патриотических бригад, то, конечно, временами происходят некоторые эксцессы. Люди, о которых вы говорили, — часть нашей страны, а не какие-то надсмотрщики из инкубатора. Я не могу запретить людям, которые любят Родину, объединяться в патриотические клубы и следить за порядком. Только благодаря им существует Россия, благодаря им натовские солдаты еще не шагают по Красной площади. Ну, и напоследок я выскажусь о территориальном вопросе Дальнего Востока. Регионы, о которых вы говорили, раньше приносили нам одни проблемы и убытки. Сейчас же они приносят нам прибыль в валюте. Если вы не можете содержать огромный дом, то разумно переехать в жилье поменьше.

— Простите, но так можно продать всю Россию, оставив только Москву. И еще Черноземье, чтобы было где выращивать хлеб.

— Я не намерен вступать в дискуссии, — очень холодно заметил президент. — Вы задали мне вопрос, я ответил по существу. Если уж на то пошло, то что сделали лично вы для того, чтобы жизнь в России стала лучше?

Мне в моей жизни задавали много нелегких вопросов, но ни один из них не ставил меня в тупик так, как этот.

— Вот и не критикуйте меня, — обиженно произнес президент.

— Это было то, что вы называли «честным ответом»? — на всякий случай поинтересовался я.

Совершенно неожиданно президент улыбнулся.

— Давно я так не беседовал, — сказал он. — Может, действительно, надо будет как-нибудь загримироваться и прогуляться по Москве, пообщаться с простыми людьми. Сотню лет так не делал. Нет, это было то, что я называю «обычным ответом». Ну, а если вы хотите честного ответа...

Он налил себе еще кофе и выпил.

— Я даже немного отвык. Посидите год в Кремле, сами поймете. Так вот, я президент России, а не бюро социальной защиты. Я занимаюсь политикой. Вы знаете, что такое «политика»?

— По одному из определений, — вспомнил я, — это наука о власти.

— Совершенно верно. Власть. Здесь где-то сказано об экономике и населении? Я строю русский мир; мне некогда думать о русском народе.

Президент отхлебнул кофе и продолжил:

— Родина — это я, а я благодаря достижениям зарубежной медицины смогу прожить еще очень много лет. Я окружаю себя наиболее бездарными политиками, чтобы хотя бы на их фоне казаться великим государственным деятелем. Я предпринял ряд локальных укреплений и совершенно не боюсь народного бунта. Революции делаются исключительно в столицах, а москвичей и петербуржцев я держу в лучших условиях, чем всех остальных. Кроме того, это позволяет расколоть страну. Провинциалы ненавидят москвичей за то, что те жируют, а москвичи ненавидят провинциалов за то, что они норовят перебраться в Москву.

— Разделяете и властвуете?

— Совершенно верно. Намного дешевле кормить два города, чем всю страну. Ну, а если где-то кто-то будет недоволен, как на Урале в тридцатых, то моя верная Гостгвардия выедет на место и усмирит бунтарей. Об этом даже никто не узнает, потому что я давным-давно отменил Интернет. В общем, народа я не боюсь. Я заменил армию призывом в поля, потому что не хочу, чтобы мой народ умел стрелять. Это им совершенно не нужно. Я не боюсь и своих силовиков. Я делаю так, чтобы они конкурировали друг с другом. Пока получается. Пусть грызутся друг с другом. Говоря откровенно, небольшую опасность для меня представляют мои друзья, кольценоscopy.

— Но почему?

— Потому, что они мои друзья. А друзья иногда бывают недовольны. Иногда они хотят слишком многого, и мне приходится аккуратно останавливать их. Хотя они в этом и не признаются, они считают меня первым среди равных. К счастью, пока ситуация стабильна. Народ безмолвствует, силовики подчиняются, а друзья накормлены. — Президент глотнул еще кофе и продолжил: — Кстати, намного дешевле кормить одних только друзей, чем весь народ. А если у населения нет денег на водку, пусть пьют настойку боярышника. Мне ничего не угрожает. Разве что однажды силовики прекратят свою грызню, а мои друзья отвернутся от меня...

Президент на секунду прервался.

— Но так никогда не произойдет. Я хорошо зачистил поле власти. В стране есть только один политик — это я. Никто, кроме меня, — возвысил голос президент. — Все умрут, а я останусь.

— Мне кажется, что вы недооцениваете народ... — начал я, но президент перебил меня:



— И вы еще называли себя историческим консультантом! Назовите мне хоть одного российского лидера за последнюю тысячу лет, сброшенного народом. Керенский не легитимен и поэтому не считается.

— Ну, разве что Лжедмитрий... хотя нет. Кажется, там был заговор Шуйского...

— Вот именно. Заговор. Петр Третий — заговор. Павел Первый — заговор при влиянии пятой колонны англичан, — перечислял президент, загибая пальцы. — Опасны только те, кто близко. Декабристы никогда не страшны. Их вешают. Вы помните, кто отправил в феврале семнадцатого года трехсотлетнюю династию Романовых в отставку? Кто заставил отречься императора Николая Второго?

— Помню, хоть меня там и не было, — сказал я. — Председатель Государственной думы Родзянко, пять командующих фронтами и один адмирал.

— Вот вы сами все понимаете, мне даже не надо объяснять. А помните, кто арестовал Николая Романова, уже отправленного в отставку?

— Начальник Генерального штаба генерал Алексеев, — с трудом вспомнил я.

— У вас еще есть вопросы? — с внутренним торжеством спросил президент.

— Только один. Вы помните, что Февральская революция началась в очередях за хлебом?

— Я думаю, что вопросы продовольственного снабжения граждан России не входят в рамки нашей беседы, — президент вернулся на «вы», словно подводя какую-то черту в разговоре. — Не раскачивайте мою стабильность своими вопросами. А на будущее я вам скажу, что есть границы, которые нельзя пересекать даже моим друзьям. Ведь вы мой друг? А по существу вашего вопроса я скажу: в стране всегда можно ввести военное положение. Это помогает.

— Господин президент, — сообщили часы, — к вам министр иностранных дел.

— Впустите, — сказал он лампе и перевел взгляд на меня. — Я думаю, что мы с вами обсудили основные положения и пришли к консенсусу. Не будем выносить сор из избы.

Зажужжал небольшой шкаф, отодвигаясь в сторону. Дверь, что располагалась за ним, была удивительно низкой. Она открылась, впуская знакомого мне министра иностранных дел. На нем были новые очки, под которыми виднелся плохо припудренный синяк.

— Я всю ночь мотаюсь между Витебском и Вязьмой! — закричал министр. — Меня бьют опричники и травят сонным газом отморозки! У меня до сих пор трещит голова! Я сбегаю из-под капельницы, мчусь к тебе!..

— Вот что, выпей кофе, чтобы голова не болела, и прекрати дерзить. Ты не в зале заседаний ООН.

Президент и министр общались друг с другом в той доверительной манере, которая бывает только у людей, прошедших вместе огонь, воду и многолетнюю государственную службу.

— Кстати, если уж мы заговорили про ООН! — воскликнул министр. — Ты мог бы, как минимум, продумать содержание дипломатического ультиматума...

— Я уже все продумал, — сообщил президент. — Если они не согласятся на наши условия, то я снесу Калининград и всю область бульдозерами. Если это не поможет, то я разнесу какой-нибудь из ненужных городов России. Например, Петрозаводск, Углич или Кострому. Нет, лучше Выборг, чтобы надавить на Финляндию! Населению я скажу, что нас разбомбили американцы, а список ненужных городов России я составлю к завтрашнему...

— Подождите, — торопливо встрял я. — Вы не говорили, что я повезу ультиматум!

— Не беспокойтесь, — твердо сказал президент. — В соответствии с нормами международного права посол является неприкосновенным лицом. Вам ничего за это не

будет. Но в случае чего мы скажем, что вас не послали. На чем я остановился? Ах, да. Думаю, это заставит Запад пойти нам навстречу.

Я промолчал. Из этого будущего нужно было бежать, как из чумного барака. Похоже, в этих условиях мне действительно оставалось только одно: согласившись со всеми безумными требованиями президента, выехать за границу, после чего помахать провожающим меня людям рукой и отправиться восвояси. «И праха моего тебе не будет, неблагодарное отечество», как когда-то повелел написать на своем надгробии великий римский полководец Сципион, справлявшийся с чужими столицами лучше, чем со своей.

— У стран Запада появились новые правительства. Настало время снова надавить на зарубежных политиков. Они жалеют наше население, и это следует использовать в полную силу! Сейчас мы отправим уполномоченного посла с официальным ультиматумом, в котором будет перечислено все то, что я сделаю с Россией, если они не примут мои условия. У тебя есть предложения получше? А? Я что-то не слышу. Критиковать все горазды, а вот что-то предложить...

В этот момент на столе негромко зажужжал один из телефонов.

— Слушаю! — недовольно произнес в снова поднятую трубку президент. — Ты меня сейчас отвлекаешь. Да, ты все правильно понял. С этого момента в эфире ни единого плохого слова о Европе и США. Да, именно так. Про что тогда вообще передавать? Это, вообще-то, я должен спрашивать у тебя. Пусты цикл передач про нашу с ними дружбу. Да хоть про «Союз—Аполлон». Нет, про полярные конвои нежелательно. Это история! Это знать надо!

В трубке кто-то торопливо и неразборчиво возражал.

— Ты уже приготовил фильм про то, что я сделаю с Россией, если западные лидеры снова откажут мне? Нет? А резервную серию предвыборных фильмов? Тогда зачем ты вообще мне звонишь? Сколько тебе нужно выделить на мультипликацию? Сто миллиардов??? Обойдешься. Ах, так? Ну и уходи.

Президент положил трубку на рычаг и с гневным сопением посмотрел на нас.

— Вот видите, — обратился он к нам. — Вся страна на ручном управлении, пока не позвонишь и не вставишь, никто не будет работать.

Он щелкнул каким-то тумблером на столе, очевидно отключая телефоны, и гневно продолжал.

— Я хочу решать судьбы мира и определять будущее планеты, а что мне приходится делать вместо этого? Я не хочу и не буду заниматься всей этой дребеденью, с которой ко мне лезут, когда я обдумываю проект разделения сфер геополитического влияния на территории постсоветского пространства! Я хочу выступать на трибуне ООН, рассказывая о величии России и ее особом пути, и чтобы мне аплодировали слушатели!

— ООН у тебя будет, — заверил его министр, — а что до министра телепропаганды, то я просто посоветую снять его с поста и снять с него кольцо. Без лекарств он очень быстро станет дисциплинированным.

— Я тут внезапно подумал, — устало начал президент, облокотившись на стол и обхватив пальцами лоб, — что мне следует поносить кольца с вас всех. Вы только и умеете, что требовать денег и вечную жизнь. Я согласен покупать лекарства для друзей. В конце концов, друзья, которые давали мне списывать в школе, это святое. Я согласен выделять деньги на лекарства для жен друзей, все-таки семья — это тоже святое. Когда у меня начали просить лекарства для детей, я нахмурился, но согласился. Но теперь у меня начинают требовать лекарства для внуков, и я понимаю, что мой узкий элитарный клуб для избранных друзей превращается в проходной двор! По-

сбрасываю вас ко всем чертям в регионы и наберу себе новых друзей, которые будут меня слушаться. Они-то будут знать, кому они обязаны и кто здесь главный!

— Хорошая мысль, — сказал министр. — Тогда начни с твоих служивых, потому что они уже переходят всякие границы. Синяк у меня под глазом вопиет о той вседозволенности...

— Я знаю, — холодно ответил президент. — Но твое недовольство дестабилизирует страну. Если бы не мои служивые люди, то напротив меня сейчас сидели бы не вы, а солдаты НАТО.

— При чем тут НАТО? — возмутился министр. — Они просто везде! Мне выдали нового водителя, который не умеет переключать передачи и заводится с третьей попытки. Я потребовал его заменить, мне ответили: «Это наш информатор. Пусть остается».

Президент заглянул в кофейную чашку. Она была пуста, и президент с грустью поставил ее обратно.

— Мой милый наивный министр иностранных дел, — начал он с каким-то теплом в голосе, словно говорил с первоклассником. — Я могу отправить в отставку министра, это не трудно. Я даже могу распустить целую службу. Но я не могу отправить в отставку институт силовых структур, во-первых, служащий моей опорой, а во-вторых, специализирующийся на арестах. Он немедленно возродится из пепла, точно феникс. Какая тебе разница, арестует тебя федеральная опричная служба или возникшее вместо нее управление по защите конституционного строя? Если уж на то пошло, то я подозреваю, что у кого-нибудь из них есть не только дело на меня, но и мой двойник, который в случае необходимости просто наденет мою маску, сядет в это кресло, и никто даже не заметит разницы. Я же тем временем буду сидеть в карцере, либо у опричников на Александровском валу, либо в гостапо на улице Ивана Калиты, и я даже не знаю, что из этого хуже...

— Ну хорошо, силовиков я еще пойму! — министр иностранных дел всплеснул руками. — Но вчера, когда мой лучший переводчик начал повторять вслух английскую грамматику, его кто-то услышал. Неизвестные хулиганы выломали дверь, сказали, что он своими поступками оскорбляет русскоговорящих людей, избили его, сожгли на полу все учебники английского языка (чудо, что квартира не загорелась), а уходя, наклеили на стену подъезда бумагу о том, что здесь живет предатель родины, выявленный и обезвреженный Дружиной патриотической самообороны. Этот маразм из провинции уже дошел до Москвы! И только не надо втирать мне про то, что если бы к моему переводчику не пришли дружинники, то вместо них в дверь постучались бы солдаты НАТО!

— Я никому не втираю, — чуть склонив голову, сказал президент. — Какие у тебя есть доказательства, что к этому инциденту имеют отношение добровольческие бригады?

Министр иностранных дел даже не нашел слов, чтобы высказать все то, что было в этот момент в его взгляде. Президент продолжил:

— Однозначно, это провокации пятой колонны. Задумайся, кому выгоден этот поступок? Явно тем, кто хочет дестабилизировать обстановку и бросить тень на людей, любящих свою родину, на патриотов России, которые готовы отдать свою жизнь за суверенитет страны. Я не удивлюсь, — продолжил он, — если следствие установит, что твой переводчик сам заплатил нападавшим, чтобы организовать эту провокацию и оказать на тебя давление. И завербованные агенты Запада всю этим пользуются, чтобы выслужиться перед своими хозяевами и отчитаться за полученные средства... Кстати, про деньги. Ты составил смету?

Министр иностранных дел недовольно фыркнул и достал из портфеля пачку бумаг.

— Предварительные подсчеты таковы: разработка проекта и сметы — десять миллиардов рублей. Уплата выездных пошлин — пятнадцать миллиардов. Обязательное страхование жизни и здоровья — двадцать миллиардов. На поездку нашего посла до границы с Евросоюзом — сто миллиардов с учетом асфальтирования дорог и противоклещевой обработки местности. На поездку по Евросоюзу — двести миллиардов, без учета миллиарда суточных. На интеграцию со всемирной визовой системой — сорок миллиардов... на восстановление аппарата Министерства иностранных дел — пятьсот миллиардов...

Налившийся кровью президент впился пальцами в крышку стола и, глядя министру в глаза, медленно и отчетливо прошипел через плотно сжатые зубы:

— Ты можешь хотя бы сейчас не воровать?

Не находя слов, президент вытащил из чашки серебряную ложечку и согнул ее дрожащими руками прямо перед носом министра иностранных дел.

— Слушай сюда, — медленно прошипел президент, кладя согнутую ложечку на стол. — Двадцать миллиардов тебе на все. Если ты своруешь хотя бы рубль, я прикажу, чтобы тайная полиция переделалась украинскими партизанами и публично расстреляла тебя на Лобном месте вместе со всем твоим аппаратом иностранных дел!

— Можно подумать, что ты платишь из своего кармана! — гневно возопил министр.

— В России — все деньги мои! — гневно сказал президент. — К тому же их мало.

— А почему поездка такая дорогая? — поинтересовался я. — Если что, я могу немного сэкономить.

В самом деле, я был готов несколько воздержаться в расходах, лишь бы поскорее покинуть Россию будущего.

— Это не поездка дорогая, это рубль дешевый, — коротко бросил министр иностранных дел.

Президент ударил ладонью по столу:

— Бери пример с нашего друга! Он безвозмездно едет в Европу! Я уверен, что на переговорах он будет держать себя на высоте и, в отличие от тебя, не высморкается в скатерть на званом обеде в Букингемском дворце. — Он облокотился на стол и посмотрел на меня. — Башни Кремля отбрасывают длинные тени. Наверное, наш разговор вам не очень интересен. Сейчас мы с господином министром иностранных дел проработаем все детали вашей поездки. Завтра утром будет совещание, а пока я предлагаю вам комфортабельно разместиться на новом месте. Я живу в Кремле и вам советую.

В дверь стоящего рядом несгораемого шкафа кто-то постучал изнутри. Президент открыл тяжелую железную створку. Из несгораемого шкафа проворно вылез самый необычный человечек, которого я увидел за этот день. Он был невысок и худ; на вид его возраст чуть превышал пятьдесят лет. Темные волосы были слегка взъерошены.

— Я здесь, о мой повелитель, — почтительным тоном произнес человечек.

— Познакомьтесь, это мой самый надежный друг, — представил нас президент. — По совместительству он работает у меня премьер-министром, но ценю я его вовсе не поэтому. Он полностью предан мне.

Премьер вздохнул. В его глазах светилась затаенная грусть.

Президент повернулся ко мне.

— Я очень рад нашей беседе и верю, что мы с вами сможем сделать Россию великой. Жду вас завтра здесь в восемь утра. Мы должны спешить!

Похоже, наша беседа подошла к концу. Я поднялся с нагретого кресла и попрощался с моими собеседниками.

— Прощу, — премьер-министр пригласил меня в несгораемый шкаф. Там была винтовая лестница, ведущая вниз.

— Это не шкаф, это потайной ход для доверенных лиц, — сказал премьер, спускающийся впереди меня. Винтовая лестница вела в коридор с богато украшенными золотом стенами. Под потолком сияли небольшие люстры богемского хрусталя. — Подземные коммуникации Кремля, — пояснил мне мой проводник. — Очень удобно в дождь. Приезжаешь прямо сюда на метро-два и идешь к себе в кабинет... Как я понял, вам предстоит исключительно важное и ответственное дело, но если вы позволите, то я ненадолго отвлеку вас.

— Да-да?

Премьер остановился и повернулся ко мне.

— Меня никто не уважает! — воскликнул он с искренним горем. — Меня делают каким-то мальчиком для битья и посмешим все российского масштаба! Все плохое в стране валят на меня. Взбунтовался Урал, а виноват я. Растут цены, а виноват снова я. Хлеба нет, а ругают меня. Я поднял пенсию всем на пять рублей, а москвичам на десять, но мною снова недовольны! Мои подчиненные открыто смеются надо мной. Министр здравоохранения после рукопожатия со мной протирает руки сулемой, министр экономики заявил мне, чтобы я не лез в экономику, потому что я не умею считать, а министр культуры сочинил про меня оскорбительную частушку. На прошлой неделе кто-то перед совещанием подложил мне кнопку на стул; я подозреваю, что это был министр образования. И это еще не предел! Министр импортозамещения недавно угостил меня бутербродом с импортозаместительным сыром, после чего я три дня страдал жесточайшим расстройством желудка, а министр здравоохранения заявил, что поставил в церкви свечку за мое здоровье...

Так вот, к чему это я? Мне срочно нужно придумать какой-то громкий федеральный проект, чтобы выглядеть солидным государственным деятелем.

Мне стало по-своему жаль премьера.

— Ну, что бы такое придумать? — сказал я. — Отмените драконовские законы, разгоните ваших опричников и дружинников, посадите воров во власти, сделайте новые рабочие места, улучшите медицину, образование, постройте недорогое жилье для людей, снизьте налоги...

— Нет, нет, я так не сумею, — разочарованно протянул премьер-министр. — Это слишком сложно, да и президент меня не поймет. Потребуется потратить очень много денег и сил, а результат будет через годы или даже десятки лет. Мне нужно что-то быстрое, громкое, патриотичное, с чем бы я справился. Нужна какая-нибудь инновационная модернизация! Или лучше модернизационная инновация!

Я задумался. Слова «модернизация» и «инновация» казались невыразимо чуждыми в удивительной России будущего, звуча словно «Великая хартия вольностей» или «Золотая булла» в мрачную эпоху Ивана Четвертого.

— Я придумал. Есть у вас такая служба, Федеральное управление безопасности. Как я понял, расположено на Лубянке и на Якиманке. У них какая-то неблагозвучная аббревиатура. Переименуйте их в ЛУБ, Лубянское управление безопасности. Кратко, громко, патриотично.

Премьер-министр восхищенно вздохнул.

— Это просто невероятно! То, что нужно! Вы как никто другой понимаете нужды и задачи государственного управления. Понятно, что вы сейчас нужны родине за границей, но я всегда буду рад пригласить вас в свой кабинет министров. Я создам для вас Министерство инноваций. Условия стандартные: десять процентов вам, десять президенту, пять мне.

— Вы имеете в виду финансирование?

— А что же еще? — удивился премьер-министр. — Ну, а если получится, вы могли бы занять мое место. Впрочем, вернусь к финансированию...

Он остановил меня и приложил палец к своим губам. Пристально смотря на меня, премьер закрыл рукой небольшое отверстие в одной из стенных панелей.

— Говорите тише, — произнес он шепотом. — У меня есть еще один небольшой счет со сбережениями. Я дам вам его номер. Только, прошу, не говорите об этом президенту.

— Заначка? — понимающе ответил я таким же тихим голосом. Премьер кивнул.

— Он сам наделал уйму секретных счетов по всему миру, а мне не разрешает, — обиженно прозвучал премьерский шепот. — Чертов скопидом. Вы ведь знаете, из-за чего закрыли границы? Двадцать восьмой год. Президент уже тогда был невыездным. Он захотел вывезти часть своих денег за рубеж. Для этого он послал за границу своего доверенного музыканта якобы на гастроли. Чехол от контрабаса набили stodollarovymi бумажками. Конечно, это чрезвычайно маленькая сумма, но зато в наличных. Иногда это бывает очень ценно. В общем, музыкант выехал за границу и попросту сбежал с деньгами. Президент рассвирепел так, что в тот же вечер запретил выезд за границу любому гражданину России. Он давно хотел это сделать, просто не было удобного повода. Кстати, с тех пор он ненавидит контрабасовую музыку и контрабасистов в частности. Когда мы ходим на «Лебединое озеро» в Большой театр, то из оркестра удаляют всех контрабасистов...

— Можно смотреть «Лебединое озеро» по телевизору, — посоветовал я. — Это тоже очень впечатляющее зрелище...

— Я бы не сказал. Ничто не заменит живого исполнения. Жаль, что вам нельзя выходить из Кремля, иначе я бы с огромным удовольствием пригласил вас сегодня в ДК Горбунова на рок-фестиваль. Разумеется, строго анонимно: парик, темные очки, отдельный балкон... Уверю, вас никто не узнает. Однако пойдете, а то нас заподозрят.

— Скажите, — как бы невзначай спросил я, когда мы вновь зашагали по коридору, — а что будет, если моя миссия закончится, так сказать, безрезультатно? Президент все равно начнет сносить города?

Премьер-министр развел руками.

— Может, и начнет, — произнес он. — Но, скорее всего, это будет уже после перевыборов в следующем году. Единственное, что я знаю — то, что наше телевидение на всякий случай уже готовит резервную серию телепередач о том, как коварные страны Запада, не желая идти на компромисс, грубо отказали нашему послу. То есть вам. Этим они продемонстрировали глубочайшее неуважение к нашей стране. В такой ситуации священным долгом граждан России будет сплочение вокруг любимого лидера... что весьма полезно перед перевыборами. Ничто так не способствует консолидации гражданского общества, как происки зарубежных стран. Вы дадите повод, ну, а дальше останкинские кудесники справятся сами.

— Какой продуманный план, — без тени иронии заметил я. — Если бы во времена Макиавелли существовало телевидение, то даже он не смог бы придумать более грамотной комбинации.

Мне хватало пищи для размышлений. За границу, положим, меня выпустят, но на что и где я буду жить там? На мою поездку выделяют миллиарды, но, узнав Россию будущего поближе, я вполне мог предполагать, что мне на руки достанутся несколько билетов на рейсовые автобусы, три евро суточных и спальный мешок для ночлега. Нужно было заранее продумать детали.

— И еще одна просьба, — словно извиняясь, произнес премьер, отрывая меня от раздумий. — Видите ли, у меня в Италии есть дача на острове Капри с видом на море. Я очень боюсь, что за прошедшие тридцать лет ее могли ограбить бездомные. По телевизору все время передают, что в Италии очень много хулиганствующих бродяг. Когда я там отдыхал, о таком даже нельзя было подумать. Могли бы вы на денек захватить туда и посмотреть, все ли там в порядке? Вы сразу узнаете мою дачу. Такое кра-

сивое трехэтажное здание, палладианский портик, перед ним фонтан. На воротах ограды позолоченный старый герб с орлом. Наверное, весь парк зарос, а виноградник пожрала медведка...

— Думаю, что медведка — это не самое страшное, что может случиться в жизни, — философски заметил я, стараясь сохранить нейтральное выражение лица. Кажется, в моем будущем забрезжила надежда. Сама судьба предоставляла мне кров и ночлег.

— Вы правы, — согласился премьер-министр громким шепотом. — Код отключения сигнализации семь, ноль пять, ноль восемь. Ключ под ковриком у входа. Там два коврика, хорасан и тебриз, так вот, ключ под хорасаном. Если хотите, можете даже переночевать там. Гостевая комната — третий этаж, как подниметесь по парадной лестнице, сверните направо. И если нетрудно, посмотрите, все ли в порядке в северной гостиной. Там на стене висит гобелен с изображением крестьян у очага. За ним скрыта маленькая дверца. Она ведет в каморку, доверху набитую деньгами. Я опасаюсь, что за это время банкноты могли отсыреть или привлечь грабителя. По телевизору только и говорят, что о нищете в Италии...

— Конечно же, я посмотрю, — заверил я премьера, надеясь, что у меня на лице не расплзается улыбка. В это мгновение я был готов провозгласить панегирик исполнительной власти России, что сейчас шагала рядом со мною. Похоже, я приобретал не только крышу над головой, но и финансовое благосостояние. Теперь оставалось только как можно скорее и аккуратнее выехать за границу.

— Для меня это не составит никакого труда. Если хотите, я даже могу перенести деньги в более сухое и безопасное место.

— Спасибо. Если нетрудно, перепрячьте их в гардеробную на третьем этаже, слева от лестницы, четвертая дверь. Вы меня просто выручили. Даже не знаю, как вас благодарить. Кстати, хотите медаль? — премьер вытащил из кармана брюк медаль «За заслуги перед родиной», которой его наградил президент. — У меня их уже девять некуда.

Я не был гордый.

— Давайте.

Медаль перекочевала ко мне в карман.

За одной из дверей, которую премьер снова открыл ключом, скрывалась лестница, ведущая наверх.

— Мы сейчас в Сенатском дворце, — объявил премьер, открывая еще одну дверь. — Тут у нас оборудована небольшая гостиница для высокопоставленных гостей. Располагайтесь, но прошу, не покидайте номер. Помните, что завтра в восемь у нас совещание. Наверное, через сутки вы уже будете ехать поездом к границе, а послезавтра окажетесь в Евросоюзе. Как печально, что я не на вашем месте.

— Ну, когда-нибудь... — неопределенно ответил я.

— Я верю в лучшее. Пусть ваша миссия увенчается успехом.

Мы шли по высокому коридору, стены которого украшала узорчатая золотая лепнина. Я выглянул в одно из больших окон. Солнце уже садилось. Президент был прав: башни Кремля отбрасывали длинные тени.

За одной из дверей, которую открыл премьер-министр, располагался просторный холл со светлыми панелями резного дерева на стенах и прекрасной мебелью, обитой золотой тканью. Тонированные окна были задернуты полупрозрачными занавесями. На диване у левой стены сидела молодая стройная светловолосая девушка лет двадцати, которая тут же поднялась при нашем появлении. Она была одета в изящную белую блузку и обтягивающую черную юбку.

— Познакомьтесь, это Жанна, — представил даму премьер-министр. — На время вашего пребывания здесь она будет вашим администратором. Если вам что-то потре-

буется, просто скажите ей. А теперь я должен идти, меня ждут важные государственные дела. Мне еще нужно вечером успеть на рок-фестиваль...

Мы пожали друг другу руки, и премьер ушел. Я удивленно оглядел холл. Как я вообще здесь оказался? Меньше чем за два дня, от вчерашнего рассвета и до сегодняшнего заката, я вознесся на вершины государственной власти. От этих размышлений меня отвлек высокий и приятный голос Жанны.

— Здесь гостиная, а здесь спальня и ванная комната, — указала она на двери в противоположных концах комнаты. — Если вы хотите поужинать, то сообщите мне, и вам принесут любое блюдо, которое вы закажете. Бар располагается в этом шкафчике. Коньяк, виски, шампанское, граппа, джин... Амаретто остался в кабинете президента, но если хотите, мы вам принесем. Если вас вдруг придут арестовывать утром, то потайной ход в ванной комнате за зеркалом.

Мне внезапно очень захотелось спать. За все путешествие мне так толком и не удалось выспаться. Похоже, все запасы внутренней энергии и резервы моральных сил, на которых я добрался до Москвы, полностью подошли к концу. После двух предельно насыщенных дней я больше всего хотел упасть без сил.

— Пожалуй, я лягу спать, — сообщил я, направляясь в спальню. По пути я вспомнил, что оставил свою, а точнее, дембельскую куртку на вешалке перед кабинетом президента, но решил, что она там не пропадет. — Я ужасно устал в дороге.

В прекрасно обставленной спальне меня ждала роскошная четырехспальная кровать полированного дерева. Я устало сел на ее край и посмотрел на вошедшую за мной Жанну. Только сейчас я обратил внимание, что две верхние пуговицы ее блузки кокетливо расстегнуты, а из-под подола мини-юбки виднеются ажурные кружевные верхушки чулок явно французского производства. На тонкой ткани выделялись контуры нижнего белья, и я каким-то подсознательным ощущением понял, что департамент семейных ценностей явно не одобрил бы подобный фасон. Однако, по всей видимости, в Кремле эта служба была бессильна.

— Мне остаться? — поинтересовалась Жанна.

Я покачал головой. В конце концов, мне уже было столько лет, что я без малейших стеснений мог в выборе между женщиной и кроватью предпочесть кровать.

— Нет, спасибо. Я действительно очень устал.

— Если я вдруг понадоблюсь, то я буду рядом.

— Хорошо.

Я сбросил с себя ботинки, не имея сил даже донести их до ближайшего шкафа, и они беззвучно упали на ковер. Я рухнул на кровать, проваливаясь в сны, как в спасение.

### Где я?

...Сны были тяжелыми и неприятными. За границу меня так и не выпустили, потому что я не имел с собой огнетушителя и аптечки, зато премьер-министр все-таки выделил мне Министерство инноваций. Я начал разрабатывать проект инновационного прокремлевского движения «Няши» (милые девушки с накладными кошачьими ушками и пушистыми хвостиками должны были ходить по Красной площади и размахивать флажками), но тут ко мне пришла строгая женщина, похожая на прокурора, и заявила, что никаких таких организаций она не допустит. Я разочаровался, но все же подготовил законопроект о том, чтобы каждый раз, когда президент появляется в общественном месте, оркестр играл знаменитый марш гладиаторов. Еще не успели высохнуть чернила, как ко мне в кабинет зашел сам президент и потребовал, чтобы я прекратил заниматься ерундой и перешел к серьезным делам,



а именно: чтобы как можно скорее переименовал Россию в Федеративную Страну Будущего с гербом в виде двуглавого песка, сидящего на мешке с сахаром. Я потребовал, чтобы мне не мешали работать, и велел им всем идти в задницу, а если понадобится — то и дальше. Президент страшно обиделся и сказал, что на это он не пойдет, после чего выдвинул ультиматум: или я ухожу в отставку, или он прикуется духовными скрепами к Красной площади, обольется низкооктановым бензином из урановой канистры и превратит себя в радиоактивный пепел. Я любезно предложил президенту инновационную идею: подкинуть в костерок пару шин от грузовика, чтобы лучше дымил, но тут он затопал ножками и выгнал меня в отставку. К счастью, при этом мне выдали положенную по закону премию при увольнении, составляющую пятьсот миллионов рублей (как-никак, я был министром!).

— Вы сильно обидели президента, — сказали мне в канцелярии. — Он вас простит лет через пять, не раньше. Хотите пока поработать каким-нибудь региональным губернатором?

— Можно в Калининград? — попросил я.

Кресло калининградского губернатора оказалось занято, поэтому я решил отдохнуть. Выйдя в отставку, я незамедлительно отправился в Санкт-Петербург (как я уже упоминал, море дарует человеку свободу) и в знак гражданского протеста начал писать острополитическую пьесу «Два карлика и один чебурек», в которой хотел выразить свое крайнее недовольство внутренней политикой страны. Я уже было прописал действующих лиц и основу сюжета (высокие политики низкого роста, зашедшие в кремлевский буфет и отстоявшие длинную очередь к федеральной кормушке, внезапно обнаруживают, что все уже съедено до них, и теперь тщетно пытаются поделить позавчерашний чебурек), как вдруг мне прислали запретительную бумагу из цензурного комитета Республики Коми. С горя я сел на поребрик, но он тут же превратился в бордюр. Я зашел в кафе, чтобы подкрепиться курой с гречей, но при попытке их съесть они немедленно становились курицей с гречкой. Я было начал уходить дворами-колодцами Васильевского острова, но хохочущие строители возводили на моем пути уплотнительную застройку. Я повернулся и вышел к Благовещенскому мосту, но его развели прямо передо мной. Я подошел к пристани философских пароходов, но Нева потекла вспять.

Не находя себе места в России, я решил спиться. Вызвав талантливого журналиста Анатолия телеграммой с вокзального почтамта, я купил ящик коньяка. Мы сели на поезд до Калининграда и отправились в путь, разливая коньяк по подстаканникам и провозглашая тост на каждой из остановок. В городе Пушкине на поезд сел государь император, одетый в штатское; его выселили из императорского дворца под предлогом съежек патриотического кинофильма. От него мы узнали последние новости. Принц Дуболом занял мое место министра инноваций и занялся укреплением вертикали власти. Первым делом он приказал, чтобы в каждом публичном месте висело чучело президента, которому люди могли бы отдавать почести.

Содрогнувшись от ужаса таких инноваций, мы пришли к выводу, что отсюда надо немедленно бежать, и пригласили императора-изгнанника к нашему столу. Я рассказал, что, проезжая через Литву, на станции Гележинкеляй пассажир должен сделать три вещи: дернуть стоп-кран, вытянуть шнур и выдавить стекло. Этот план был единогласно одобрен, и мы сдвинули подстаканники в торжественном тосте. Государь император пил коньяк, аристократично отодвинув мизинец.

На станции Дно к нам в поезд вошел Олег в парадном дембельском костюме с колосьями и снопами. С трудом поставив под стол десятилитровую бутылку отборного пшеничного самогона, он рассказал, что впереди взбунтовались железнодорожники, поэтому поезд теперь идет в Псков. Дело усложнилось. Похоже, нам предстояло следовать в Калининград через Латвию, как в далеких девяностых годах. Это означало, что бежать придется на станции Дзельсцельш. Сделать это было не проще, чем выговорить.

Когда мы прибыли в Псков, в вагон зашла женщина, похожая на прокурора, арестовала государя императора и увела его в автозак, грубо подталкивая в спину резиновой дубинкой. Выяснилось, что поезд не проедет и здесь, поскольку взбунтовавшихся железнодорожников арестовала Госгвардия, переименованная премьер-министром в жандармерию. Вагон с арестованными прицепили к нашему поезду, и мы поехали в Воркуту. Это была судьба.

Соображая на троих, мы с Анатолием и Олегом доехали до Ухты. Олег вспоминал бесчисленные истории о службе, я рассказывал политические анекдоты, а Анатолий просто пил, утверждая, что за свою жизнь он уже написал столько, сколько нужно. Как раз в Ухте проводился традиционный местный конкурс на лучший политический анекдот. Пока нам меняли тепловоз, я изучал положение о конкурсе. Занявшему третье место давали три года за оскорбление чувств, занявшему второе место — пять лет за разжигание розни, а занявшему первое место — десять лет за экстремизм. В честь обладателя гран-при переименовывали мост. Помимо этого, для всех участников предусматривалось множество поощрительных административных призов самого разного характера: от удара дубинкой до миллионного штрафа. Я сказал, что не собираюсь конкурировать с такими бородатыми анекдотами, и выглянул в окно. За стеклом на перроне покачивалось чучело президента, подвешенное к вокзальным часам. Рабочие в грязных брезентовых спецовках вешали ему на шею табличку с какой-то очередной цитатой о величии России. К чучелу уже выстроилась очередь людей с цветами. Дрогнувшей от ужаса рукой я задернул шторы, и мы отправились в путь.

Проехав Печору, мы попали в снежный занос и начали замерзать. Топливо кончилось, и с каждой минутой становилось все холоднее и холоднее. Завернувшись в три слоя белых простыней, мы пили коньяк, а Анатолий рассказывал про повесть ужасов, идея которой только что пришла к нему. К нам в купе зашел Человек в Черном, одетый в костюм начальника поезда (разумеется, черного цвета), и учтиво поклонился. Я понял, что это конец.

Подняв подстаканник с последним глотком коньяка, я из последних сил провозгласил:

— Да здравствует Россия! — после чего испил чашу до дна...

Мысленно поставив отточие, я выпил еще чаю и поставил чашку на стол в вагонном салоне. Создавать книгу без бумаги, в одном только своем воображении, было достаточно непростым занятием. Почему-то она начала придумываться с последней, весьма абсурдной главы. Сюрреалистичный мир, созданный моей фантазией, совершенно не уступал тому миру, из которого меня сейчас на полной скорости уносил поезд-люкс. Я специально старался не вспоминать все события этой ночи. Мне снова не дали выспаться.

— Президент сказал, что надо спешить, — сказала мне администратор Жанна, разбудив меня во втором часу ночи. Торопливый не то завтрак, не то ужин в четырехспальную постель, короткий инструктаж о моем посольском вояже, поездка бронетранспортером (у него был изумительный интерьер с мягкими, обитыми темно-вишневой кожей сиденьями) по ночной Тверской улице; Минский вокзал, взятый в кольцо боевого оцепления; прощание с президентом на перроне; все это промелькнуло так быстро, что я не успел толком ничего осознать. Просыпаться я начал только после того, как поезд тронулся.

Вагон ощутимо качнуло. Большие часы с мерно покачивающимся бронзовым маятником показывали 7.30. Приближались рассвет и граница России; пространство и время, как я уже успел неоднократно убедиться, были неделимы. Белые полупрозрачные шторы закрывали окна, так что я не мог ничего увидеть. Мне почему-то подумалось, что это сделано специально, чтобы высокопоставленные чиновники во время

путешествий были избавлены от тяжелой и неприятной картины России за окном. В самом деле, изысканный интерьер салона с панелями полированного красного дерева слишком сильно контрастировал с пейзажами провинциальных городов.

Чашка опустела. Можно было бы попросить еще одну, но мне не хотелось лишний раз видеть сопровождающих, которыми был полон соседний вагон. По той же причине я не потребовал ни бумаги, ни ручки. Душой и мыслями я был уже не здесь, и у меня не было желания лишний раз напоминать себе о том, что мое тело, к сожалению, еще находится в салоне спецпоезда-люкс. Одиночество позволяло собраться с мыслями. Я твердо решил, что, перебравшись через границу, немедленно отправлюсь на дачу премьер-министра и не покину ее до тех пор, пока не будет закончена работа над моей книгой. Конечно, этот процесс мог затянуться, но я предполагал, что запасов денег в каморке хватит надолго.

Совершенно неожиданно для меня поезд начал резко замедлять ход. Меня вжало в спинку кресла. Чашка поехала по столику и упала на ковер. Тормоза издали пронзительный, режущий душу звук; состав дернулся и остановился. Наступила тишина.

Я вскочил на ноги, ища глазами предмет, который можно было бы использовать в рукопашной схватке. Неужели меня снова пришли арестовывать на рассвете? Успею ли я забаррикадировать дверь декоративной пальмой в кадке? Замерев на мгновение, я бросился к мини-бару в виде глобуса и схватил бутылку коньяка «мартель»; из всего, что там было, именно она наилучшим образом легла в руку для самообороны.

Дверь салона открылась, пропуская внутрь Человека в Черном. Я с изумлением посмотрел на него. Казалось, что со времен нашей прошлой беседы на берегу Преголи прошло не двое суток, а двадцать лет.

— Добрый день, — вежливо и с предельной невозмутимостью произнес Человек в Черном. Сейчас на нем был изысканный смокинг с блестящими атласными лацканами. В левой руке он держал черный саквояж. — Я не сомневаюсь, что вам есть о чем рассказать мне, но я предлагаю перейти к этому позже.

Это была прекрасная идея. В первую секунду единственной приличной мыслью, появившейся у меня в голове, была только фраза: «Явился — не запылится».

— Я взял на себя ответственность ненадолго остановить ход спецпоезда, — продолжил он своим бархатным голосом. — Вы проделали большой путь, и я полагаю, что можно сделать небольшую остановку. Я весьма впечатлен. Кстати, вы не находите забавным, что каждый раз, когда мы встречаемся, вы держите в руках бутылку коньяка?

Мне отчего-то захотелось глупо захохотать, глядя ему в глаза.

— Хорошо, что я не успел бросить в вас бутылкой, — сказал я, ставя коньяк на стол. — Будь мы на Диком Западе, я бы уже начал стрелять в дверь из своего «смит-вессона».

— Ничего страшного, — сказал мой собеседник столь вежливо, словно я извинялся перед ним за невыглаженность своих брюк. — В любом из этих случаев вам было бы не под силу причинить мне какой-либо вред. Но я вижу, что вы определенно набрались жизненного опыта. Вы прекрасно действовали. Оказываясь в нужном месте в нужное время, вы совершали нужные поступки. Тем не менее вы вправе задать вопрос, почему я появился только сейчас.

— Да, я неоднократно задавался этим вопросом. Помню, в Вязьме...

Человек в Черном остановил меня жестом руки.

— В вашем путешествии вы прекрасно справлялись и без меня, — сказал он, — но полагаю, сейчас действительно может потребоваться мое вмешательство. Я позволил себе ознакомиться с замыслом вашей будущей книги.

— Она еще не вполне готова, — заметил я. Первый шок проходил, и я мог свободно поддерживать светскую беседу, попутно радуясь тому, что она происходит не на

тонущем корабле и не в жерле вулкана. Почему-то я почувствовал, что рафинированная лексика нашей беседы поднимает нас над обстановкой.

— Это вопрос времени, — обстоятельно сказал Человек в Черном. — Так вот, вы показали себя с прекрасной стороны. Пройдя нелегкий путь, полный испытаний, вы вышли на финишную прямую, которая приведет вас к прекрасной вилле на берегу Средиземного моря. Денег, хранящихся в каморке, хватит даже вашим детям, а мир настоящего, — мой собеседник подчеркнул это слово, — будущего приятно вас удивит. Конечно, до идеального мира «Туманности Андромеды» еще далеко, но уровень технического и гуманитарного прогресса покажется вам колоссальным. Можно сказать, что вы это заслужили.

Я промолчал.

— Единственной, конечно, не самой существенной проблемой может стать то, что ваша книга будет несколько несвоевременной и маловостребованной. На мой взгляд, она может принести гораздо больше пользы в вашем времени, сорок лет назад. Как вы считаете?

Этот вопрос прозвучал весьма буднично и как бы вскользь, но я уже без труда почувствовал его скрытый смысл.

— Да, я тоже об этом задумывался, — заметил я, стараясь ответить как можно нейтральнее. — Если я уютно расположусь на вилле премьер-министра и напишу задуманную мною книгу, то в лучшем случае я стану беглецом-публицистом. Если же я вернусь в свое время, то стану писателем-провидцем, а это представляется мне куда более почетным.

Мой собеседник на долю секунды слегка прищурил глаза. Я продолжал:

— По этой причине я предпочел бы написать книгу в более привычной эпохе. Однако передо мною возникает одно препятствие: беседовать с президентами или обводить вокруг пальца генералов у меня уже получается, но вот путешествовать во времени пока удастся только вперед ...

— Поверьте, возвращаться в свое время гораздо проще, чем кажется, — Человек в Черном улыбнулся мне половинкой лица. — Иногда для этого достаточно просто сойти с поезда, и мне кажется, что сейчас наступил вполне подходящий для этого момент.

Внезапно мне показалось, что салон поезда физически давит на меня, подобно тесному пальто. Я с каким-то отвращением посмотрел на большой позолоченный герб, украшавший стену. Человек в Черном дипломатично ждал моего ответа.

— Вы знаете, я, пожалуй, сойду, — сказал я. — Мне хватило двух дней в этом будущем, и даже граница мне не поможет. Кроме того, мне будет весьма неприятно жить на итальянской вилле, в то время как мой родной город сносят бульдозерами.

— Вы достойный сын своей родины, — с уважением прокомментировал Человек в Черном.

— Впрочем, даже если у меня не получится с книгой, — прагматично продолжил я, — уехать за границу никогда не рано: что в пятьдесят седьмом, что в семнадцатом. Так что я ничего не теряю.

— Вы мыслите здраво. Отправляйтесь домой, налейте себе чашку крепкого черного чая с лимоном и приступайте к работе над книгой.

— Но мне тогда нужно забрать кое-что...

Человек в Черном сделал три шага и повернул ручку сейфа. Дверца открылась. Я вспомнил, как президент лично закрывал ее на два ключа. Один из них лежал у меня в кармане, другой же хранился у крупного, серьезного вида мужчины в штатском, что при выезде из Москвы разместился в соседнем вагоне.

— Вы хотите взять выделенные вам на поездку деньги? — с какой-то тонкой провокацией в голосе спросил у меня Человек в Черном, указывая на металлическую опломбированную коробку.

Я пожал плечами.

— Конечно, это очень заманчивая идея, — сказал я, — но меня останавливает то, что эти деньги заработаны рабским трудом людей на полях. Боюсь, что моя совесть просто не позволит мне тратить банкноты с такой дурной кармой.

Человек в Черном рассмеялся.

— Если бы все сильные мира сего так относились к людям и финансам, то ваш мир стал бы намного лучше, — заметил он. — Но что же вам тогда понадобилось?

— Здесь остался мой загранпаспорт, — пояснил я, беря в руки опечатанный сургу-чом конверт.

Человек в Черном остановил мою руку, вынимая из нее конверт.

— Вынужден вам сообщить, что этот паспорт, выданный вам семнадцатого сентября 2050 года, вам не принадлежит, — сказал он, возвращая конверт на полку сейфа. — Согласно одному из федеральных законов тридцатых годов, он является собственностью государства, выданной вам во временное пользование. Я полагаю, что вы, даже будучи госслужащим, все-таки не захотите отягощать свою карму кражей государственной собственности. Кроме этого, у вас ведь есть свой не менее замечательный загранпаспорт, полученный вами семнадцатого сентября 2010 года. Он лежит у вас дома в ящике стола и ждет, когда вы вернетесь к нему из будущего... если, конечно, вы захотите это сделать.

— Я уже говорил, что захочу, — сказал я, кладя на стол ставший ненужным ключ от сейфа. — Однако если у нас есть еще одна минута, то я хотел бы поставить завершающий штрих. Два дня назад все началось с того, что я так и не успел допить бутылочку. Я отказываюсь от прекрасного будущего и не беру с собой проклятые деньги, но полагаю, что на прощание могу позволить себе глоток коньяка.

— Конечно же, можете, — с дипломатичной сдержанной улыбкой сказал Человек в Черном, наблюдая, как я откупориваю бутылку и делаю большой глоток из горлышка. Мне не хотелось тратить время на поиски рюмки. — Если бы все сильные мира сего были так же воздержаны в страстях своих, как вы, то ваш мир стал бы немного лучше. Я до сих пор удивлен тем, что за всю поездку вы потратили меньше пяти процентов от выданных мною денег. Однако нам действительно пора.

В тамбуре, где при отъезде размещались сразу трое людей в штатском, сейчас никого не было.

— Как они могут здесь быть, если двое из них еще не родились, а третий только готовится пойти в школу? — пояснил мне Человек в Черном, открывая вагонную дверь. На меня пахло холодным и сырым воздухом осеннего леса.

Я нерешительно выглянул наружу. Все вокруг было окутано призрачно-белым туманом. Мы находились на какой-то безлюдной, давно заброшенной маленькой станции. Двухэтажный старенький домик из красного кирпича одиноко возвышался возле ржавых железнодорожных путей. Станцию окружал редкий лес. Из белой зыбкой мглы тянулись ветви деревьев с остатками желтой, еще не опавшей листвы. Я посмотрел вверх. Небо уходило во все четыре стороны одним бесконечным облаком цвета затертой охры. Это была странная осенняя станция, островок призрачной действительности посреди моря тумана.

— Первокласная mise en scene требует первоклассных декораций, — с каким-то нехарактерным для него теплом в голосе сказал Человек в Черном. Он запустил руку во внутренний карман смокинга и извлек оттуда пятисотрублевую купюру. Это была

знакомая мне «петенька» с двуглавым орлом в углу, подобная той, на которую я купил бутылку «Старого Кёнигсберга» два дня и сорок лет назад.

— Ваши дорожные расходы все еще входят в мою ответственность, — пояснил Человек в Черном, вручая мне деньги. — Вам еще предстоит дорога домой, а бензин сейчас не дешев. Да, возьмите еще вот это.

Он извлек из саквояжа большой пухлый конверт из плотной коричневой бумаги и передал мне. Я попытался что-то сказать, но мне ничего не пришло на ум.

— Слова излишни, — откликнулся Человек в Черном, доставая из саквояжа вслед за конвертом черную фуражку с большой серебряной кокардой и надевая ее. — Вам предстоит многое написать. Действуйте. Кстати, не рекомендую брать эпитафию из Пушкина. Это будет слишком обязывать.

— Может быть, «Прощай, немытая Россия»? — поинтересовался я.

— Право же, вашу книгу предстоит писать вам, а не мне, — вежливо, но твердо ответил Человек в Черном, извлекая из своего бездонного саквояжа флажок пронзительно-желтого цвета.

Взявшись за обитый бархатом поручень, я спустился по рубчатым железным ступеням на остатки перрона, поросшие травой.

— Думаю, что мы еще определенно увидимся с вами, — сказал Человек в Черном, высываясь в вагонную дверь. — Калининград тесен.

— До встречи, — вежливо ответил я, стоя по колено в море тумана.

Человек в Черном начал поднимать руку с флажком, потом, вспомнив что-то, на секунду остановился и сказал:

— Да, кстати, подучите все-таки немецкий до разговорного уровня. Я бы хотел как-нибудь потом пригласить вас на завтрак к Канту.

Повернувшись в сторону локомотива, Человек в Черном высоко поднял желтый флажок. Зашипели пневматические системы. Лязгнули, растягиваясь, металлические сцепки вагонов. Поезд начал набирать ход. Колесные пары прокатились меньше чем в метре от меня, и я отступил на шаг, успев увидеть, как Человек в Черном, широко улыбаясь, снимает с себя фуражку и машет мне рукой. Пронзительно засвистел удаляющийся локомотив, и пять вагонов скрылись в море тумана.

Стук колес затих, и я остался в тишине. Я стоял один на давно заброшенной станции, посреди ржавых путей, поросших длинной тонкой травой, печальной и пожухлой, и белый туман струился вокруг меня. Между двумя шпалами, прямо передо мною, поднималась молодая березка, с которой уже облетела вся листва. Здесь не могло быть никакого поезда: он смял бы несчастное деревце. Я перевел взгляд вдаль, в ту точку, где исчезали рельсы. Там были лишь пустота и белое безмолвие.

Я открыл незапечатанный конверт. В нем обнаружилась сложенная карта Калининградской области. Почему-то это не вызвало у меня никаких эмоций. Я бросил ее в сумку.

Запустив руку во внутренний карман куртки, я осторожно вытащил оттуда мобильный телефон. Сеть едва ловилась. 31 октября 2017 года, вторник. 10.05 утра. Три пропущенных вызова и два сообщения. Одно из них: «Ну и зачем я тебя приглашала?» — от переводчицы. Я не стал отвечать.

Я пребывал в каком-то ступоре. Как я сюда попал? Что это вообще было? Неужели все это: Человек в Черном, столыпинские бронепоезда, евро по двадцать пять тысяч рублей, чиновники в ресторане, невыездные заместители министров, опричники и госстапо, премьер, годящийся только на то, чтобы переименовывать одну службу в другую, президент, перепутавший себя с родиной; неужели весь этот грандиозный всероссийский гиньоль мог существовать в действительности? Гнетущая тишина была мне ответом.

Не чувствуя ног, я прошел до необитаемого здания станции. Ее двери и окна наглухо закрывали стальные листы. Терраса у входа была вымощена черно-белой плиткой. Шахматный порядок кладки немедленно вызвал соответствующую ассоциацию: почему-то я почувствовал себя пешкой, прошедшей в ферзи.

Я вспомнил это место; несколько лет назад я проезжал здесь с друзьями. Это было Краснолесье — давно заброшенная железнодорожная станция в заповедном лесу Роминтен, где когда-то располагался охотничий дом кайзера Вильгельма Второго. Каким-то образом я оказался в самом дальнем углу Калининградской области.

Шум автомобильного мотора донесся до меня. На дороге, вымощенной бугристым, напоминавшим картофель булыжником, появилась машина. Белый «мерседес» с горящими фарами выплыл из молочного тумана, точно сказочный лебедь на волшебном пруду. Поравнявшись со зданием станции, он остановился.

Стекло в двери водителя опустилось.

— Привет, — обратился ко мне сидящий за рулем парень с выбритым виском. Он был моложе меня на пару лет. В машине, кроме него, сидели еще две девушки. — Слушай, не подскажешь, как тут к мосту проехать?

Почему-то будничность этого вопроса подкосила меня, словно молот судьбы. Право же, если бы сейчас в воздухе открылся межвременной портал и оттуда на меня набросилась группа захвата из генералов с золотыми погонами, я бы не так отреагировал. Вернее, я бы как раз отреагировал: два дня в будущем выработали во мне соответствующие рефлексы, но абсолютно безобидный вопрос выбил меня из колеи. Я вернулся из странного и страшного будущего, после которого будничность настоящего казалась невозможной.

— Ну, мост, — пояснил парень. — Железнодорожный, заброшенный. В Токаревке.

Я знал, про какой мост говорит водитель. Железная дорога, возле которой мы стояли, в нескольких километрах пересекала узкую, но достаточно глубокую долину реки Роминты. Пятиарочный мост, построенный в начале двадцатого века, являлся своеобразным памятником индустриальной архитектуры Восточной Пруссии. Все это было мне хорошо знакомо, но я еще никак не мог поверить, что нахожусь в своем мирном времени.

Я резко встряхнул головой, приходя в себя. Ступор исчез совершенно неожиданно для меня.

— Минуту, — сказал я, доставая карту из сумки. — Сейчас посмотрю.

Развернув ее, я пригляделся к топографическим знакам.

— В таком тумане непонятно, где север... — начал я, прикидывая направление. — Мы здесь. Смотри, вам нужно сейчас развернуться, проехать назад и свернуть направо. Через несколько километров снова направо. Там и будет мост.

Парень взгляделся в карту, а я тем временем продолжал.

— Слушайте, — сказал я. — Вы меня отсюда до города можете подбросить? Хотя бы до Гусева. Я сюда добрался, а вот обратно уехать не могу. На бензин подкину.

— Ну, залезай, — сказал парень. — Твоя карта нам пригодится, а то у навигатора села батарея. Представляешь, мы два часа сюда ехали, и будет очень обидно тут заблудиться и никуда не попасть.

— Мы после моста не в город, — предупредила девушка с рыжими вьющимися волосами, сидящая на переднем сиденье. — Мы еще в музей Донелайтиса поедем.

Я моментально вспомнил местонахождение музея. Поселок Чистые Пруды. Там ходит рейсовый автобус, а значит, этот вариант тоже подойдет.

— Тогда хотя бы до музея, — сказал я.

На заднем сиденье машины, куда поместился я, сидела совсем молодая девчушка, одетая в брутальную кожаную косуху. У девчушки были ярко-красные спутанные во-

лосы с полосой отросших неокрашенных корней в проборе и штанга пирсинга в брови. Из ее наушников доносился какой-то очень тяжелый рок.

— Место какое-то странное, — сказал парень, включая первую передачу. — Пять минут назад ни с того ни с сего появился туман. Не видно вообще ничего, навигатор сел, телефоны сеть не видят, да еще машина заглохла и не заводилась! Мистика какая-то!

Тронувшаяся с места машина провалилась колесом в неглубокую лужу; я услышал тихий плеск воды. Станция Роминтен осталась позади.

— Место тут такое, — подтвердил я бывалым тоном, протягивая водителю раскрытую карту. — Вот нам нужно сюда.

Девчушка, сидящая справа от меня, переключила песню на телефоне. На руке у нее были вытатуированы три маленькие цветные звездочки. Я вспомнил, где видел их, практически сразу.

— Скажите, — обратился я к ней, — вас, случаем, не Светлана зовут?

— Да, — удивленно сказала она, вытаскивая наушник. — Мы знакомы?

В ее взгляде читалось какое-то дипломатичное сомнение. Наверное, для этой девочки я казался очень пожилым динозавром, родившимся в эпоху Гагарина и олимпийского мишки. Внезапно я почувствовал себя ужасно старым. Она была молода, ярка и уверена в себе; жизнь еще не разбила ее надежды и мечты. На секунду я закрыл глаза, вспоминая плацкарт, несущийся на восток. Да, я вернулся в свое время, чтобы написать про будущее, но я не мог сказать этой девочке, что через сорок лет она будет зарабатывать на жизнь продажей старой одежды из Москвы, тайно храня свою косуху как святыню и опасаясь попасть в федеральный список неблагонадежных граждан. Нельзя бросаться на людей с суровой правдой наголо. Да, пусть такой и окажется моя будущая книга — в маске из горького и черного смеха.

— Кажется, мы виделись в башне Врангеля, — сказал я. — На концерте.

— А-а, — равнодушно сказала она, вдевая наушник.



---

---

## Владимир ШЕМШУЧЕНКО

\* \* \*

Опустилась на кончик пера  
Паутинка прошедшего лета.  
Никогда столько синего цвета  
В небесах я не видел с утра.

Только свет и полет мотылька...  
Ни истерик тебе, ни мистерий!  
Я — смиреннейший подмастерье,  
Данник русского языка.

\* \* \*

Событий у нас маловато.  
Зима вот случилась вчера...  
Соседи достали лопаты  
И выгнали снег со двора.

А мой — развеселенький, вкусный! —  
Лежит себе, радует глаз.  
Хрустит на зубах, как капуста.  
Впервые, сегодня, сейчас!

Соседи, родные, Бог в помощь!  
(Какой восхитительный слог!)  
Я первый свой снег — несмышлениш —  
Слизал с материнских сапог.

Уколы запомнил, микстуры —  
И прочая там беготня...  
А сестры — ну полные дуры!  
Еще и лечили меня:

Изрезали тюль на халаты,  
Нарыли в шкафу рыбий жир...  
У-у-у! Как же я жаждал расплаты!  
Поэтому, видимо, жив.

---

Владимир Иванович Шемшученко родился в 1956 году в Караганде. Окончил Киевский политехнический, Норильский индустриальный, а также Литературный институт им. А. М. Горького. Работал в Заполярье и Казахстане. Автор пятнадцати поэтических книг. Член СП. Живет в г. Всеволожске (Ленинградская область).

Событий у нас маловато...  
Вздыхаю и тихо скорблю...  
Соседи — опять за лопаты!  
И я их за это люблю!

\* \* \*

Бессмысленно былое ворошить —  
Пока я к лучшей участи стремился,  
Двадцатый век оттяпал полдуши  
И треть страны, в которой я родился.

И я тому, признаюсь, очень рад —  
Похерив все небесные глаголы,  
Кремлядь не прикрывает куцый зад,  
И близятся костры Савонаролы.

Приветствую тебя, средневековье!  
Мне обжигает лоб печать твоя!  
Я жгу стихи, мешаю пепел с кровью  
И смазываю петли бытия.

О, как они скрипят! Послушай, ты,  
Бегущий мимо к призрачному раю!  
Я для тебя — в лохмотьях красоты —  
На дудочке поэзии играю.

\* \* \*

Наливаются яблоки, ветви пригнув до земли.  
После долгих дождей в полный рост поднимаются травы.  
Дядька в Киеве верит, что воду в Днепре москали  
Отравили не корысти ради, а ради забавы.

Украинская полночь для дядьки — тиха и темна —  
Лучше времени нет перепрыгивать польское сало...  
А ко мне в полнолуние приходит Олесь Бузина,  
И вселенской тоской от Обводного тянет канала.

Он садится за стол и усмешкой коверкает рот,  
И с пустого лита мои мысли наотмашь читает...  
Дядька в Киеве верит, тоску буряковую пьет  
И из сердца (меня!) пятерней на паркет выжимает...

\* \* \*

Позарастала жизнь разрыв-травой.  
Мы в простоте сказать не можем слова.  
Ушел, чтоб не нарушить наш покой,  
Безвестный гений, не нашедший крова.

Как в ржавых механизмах шестеренки,  
Скрипят стихи — поэзия мертва.  
Мы днем и ночью пишем похоронки  
На без вести пропавшие слова.

\* \* \*

Прилетел ветерок, и проснулась волна на лимане —  
Вроде так, пустячок, ведь бывало такое не раз...  
Но стоит Крымский мост и морзянит огнями в тумане,  
И на этом вполне можно было закончить рассказ.

Но мерцает строка, за стальные цепляется сваи,  
Перебранкой машин подтверждая рождение свое.  
Теплоходик надсадно кричит, и как будто взлетает,  
И соленую воду винтами железными бьет.

Разгорается день — на вчерашний совсем непохожий,  
Приближая друг к другу влюбленные в жизнь берега.  
И представить нельзя — можно только почувствовать кожей,  
Что уже невозможно чужим поклоняться богам.

Так ликуй, человек! Ты смог, ты дерзнул, ты — достоин!  
Говори в полный голос и полною грудью дыши!  
Если инок — молись! Матерей защити — если воин!  
Но дострой свою песню — иному сего не свершить!

\* \* \*

Петь не умеешь — вой.  
Выть не умеешь — молчи.  
Не прорастай травой,  
Падай звездой в ночи.  
Не уходи в запой.  
Не проклинай страну.  
Пренебрегай толпой.  
Не возноси жену.  
Помни, что твой кумир —  
СЛОВО, но не словцо...  
И удивленный мир  
Плюнет тебе в лицо!

\* \* \*

Ветер замел под ковер облетевшей листвы  
Милые глупости и разговоры о лете.  
Перелиставший Сервантеса северный ветер  
Жестью на крыше грохочет... Ах, если бы вы  
Или другой кто-нибудь на веселой планете  
Вместе со мной расплескал по страницам печаль.  
Впрочем, о чем я? Никто за меня не в ответе —  
Сею стихи — вырастает дамасская сталь.  
Некто однажды сказал мне: «Иди, дождь с тобою...»  
(Был он, признаюсь, смешон и довольно нелеп.)  
После писал мне невнятное что-то из Трои  
И наконец замолчал, потому что ослеп.  
Чертово время! Бегу, как собака по следу,  
За показавшими гонор и прыть в человеческих бегах.  
Если сегодня же ночью я Трою спасти не уеду,  
То на рассвете в «испанских» проснусь сапогах!

\* \* \*

Блажен, кто по ночам не спит  
И времени не замечает,  
Кто сыт пустым недельным чаем,  
Кто знает — ДУХ животворит.

Блажен, кто верою горит  
И в этом пламени сгорает,  
Кто на путях земного рая  
Взыскует скорбь в поводыри.

Переосмысливаю быт.  
Переиначиваю строки.  
Когда горланят лжепророки,  
Поэт молчаньем говорит.

---

---

Дмитрий ТАРАСОВ

## «МИТИНА ЛЮБОВЬ»

### Рассказ

#### 1

Твои друзья, сплошь зубоскалы да насмешники, делали и тебя похожей на них. Впрочем, ты к этому сама стремилась. Я устал возражать, слыша от тебя повторяемую на разные лады сентенцию, будто в современном обществе без острого языка не проживешь. Твои доводы были смехотворны, твои речи пусты, тем не менее мне ничего не оставалось, как тоже начать зубоскалить и ехидничать; не потому, что болезнь была заразной, и не из-за того, что я хотел хоть в чем-то походить на этих обаятельных хамов, на этих проворных воришек чужих шуток и глубокомысленных фраз; мне пришлось брать с них пример единственно потому, чтобы тебе понравиться. Возможно, я был малодушен, вдобавок глуп, но я был молод, неискушен и попросту не видел другого выхода.

Задача оказалась не из сложных. Походить на кого-то, кто сам пытается кому-то подражать, только поначалу было занятием противным, а после я понял: образец то далеко и нам неведом, что само по себе делает невозможным любое сравнение, и, стало быть, у каждого есть право вести себя так, как ему заблагорассудится, пусть и в пределах отдельно взятой компании.

Несмотря на мои заметные успехи по части мимикрии, своим в твоей компании я так и не стал. Причина лежала на поверхности: я всегда помнил, что играю лишь ради тебя, тогда как они, подозреваю, даже спать ложились в театральных масках. И вот стоило мне только оказаться в их обществе без тебя, как я тотчас становился самим собою, в сущности честным и добрым малым, и сразу, беспомощный, бывал атакован с разных сторон то язвительными замечаниями, то откровенной грубостью. Не вдаваясь в подробности, замечу лишь, что был образцово терпелив, скуп на слова, сдержан в жестах. Наверняка многие из них спрашивали себя, почему терплю, почему не взрываюсь в ответ на очередную колкость. Знали бы они, какой хрупкой конструкцией были наши с тобой отношения! Как носилась ты с идеей духовного родства «компанейщиков»! Попробуй тронь кого-нибудь! А мне между тем часто представлялось: выбрав среди нападавших, как учил меня тренер по боксу, самого тщедушного, в данном случае Савелия Фукса, я наношу ему удар в челюсть, согласно наставлениям того же тренера, чуть сбоку и снизу, чтобы сразу вывести противника из боя и психологически подавить остальных...

---

Дмитрий Михайлович Тарасов родился в марте 1965 года в Ленинграде. Работал инженером, экскурсоводом, журналистом, сейчас работает редактором в телекомпании «Петербургское телевидение». Публиковался в журналах «Нева», «Звезда», «Новая Юность», «Сибирские огни», «Крещатик», «Зинзивер», «Северная Аврора» и других. Рассказы переводились на сербский язык. В 2015 году вышла в свет первая книга — роман «Пятый Собор», в нынешнем году вторая — сборник рассказов «Считая до ста». Член Союза писателей России с 2011 года.

Раз уж я упомянул Савелия Фукса, то своим забавным сочетанием имени и фамилии он был обязан смешению немецкой и еврейской крови, хотя, на мой взгляд, достаточно было бы и какой-либо одной. Его отец, как раз немец, служил дипломатом в Европе (говорю столь неопределенно, поскольку на дипломатической ниве он сменил несколько стран и все были европейскими), а мать Савелия, Фаина Савельевна, всегда сопутствовала мужу. В отличие от отца, Фаина Савельевна изредка навещала сына, неизменно, хвала ее воспитанию, сообщая о дате своего визита. Тогда, и только тогда Савелий начинал приводить в порядок, как он считал, свое богемное жилище, заодно выпроваживая на указанный мамой срок всех блестящих друзей и неотразимых подружек. В остальное время они были полными хозяевами огромной трехкомнатной квартиры, которая всеми окнами выходила на Кутузовскую набережную, откуда, даже при закрытых окнах, тянуло свежестью от Невы. Единственная просьба, с которой хозяин обращался к гостям, звучала так: «Я не против ора, но орите по очереди». Сам шумный, будь то на улице, в кафе или в театре, Савелий с трепетом относился к тишине в собственном доме. Объяснял он это следующим образом: с дореволюционных времен здесь жили немецкие купцы Фуксы, люди почтенные и размеренные, а раз так, делал неожиданный вывод их потомок, то и теперь необходимо соблюдать заведенный уклад жизни. Он так часто об этом говорил — то ли подчеркивая значение квартиры, то ли древность своего рода, то ли просто пестую собственную причуду, — что вскоре мы стали говорить: пойдём к Фуксам, как бы подразумевая сразу всех Фридрихов, Густавов и прочих Иоганнов, кои имели честь носить славную купеческую фамилию.

Я редко бывал у Фуков, так как не принадлежал к элите компании, куда, помимо Савелия, входили (привожу их прозвища, дабы простота их фамилий, скажем Копейкин или Носов, не вступала в противоречие со звучностью слова «элита»): Врубель, Дон Кихот, Маэстро Вальс, Циркач, Рюрикович, Госпожа Фабула, Прекрасная Незнакомка, Любовь с Первого Взгляда и иные, но уже менее заметные персонажи.

Итак, не будучи своим у Фуков, со всеми перечисленными выше я встречался преимущественно в нашей «штаб-квартире». Так мы называли обыкновенную чебуречную, где были отвратительное пиво и замечательные чебуреки. Однако привлекала нас отнюдь не тамошняя кухня. Своеобразное чувство смешного, свойственное всей компании, но в первую очередь Рюриковичу (это было его подлинное отчество) и его верной спутнице Госпоже Фабуле, наиболее полно проявлялось как раз в чебуречной. Их несказанно забавляли социальные контрасты, а именно присутствие нашего благородного общества среди людей простых, пьяных и зачастую грязных, кроме того, в той убогой обстановке, которая была бесконечно далека не только от дома Фуков, но даже от скромных удобств какой-нибудь кафешки. Здесь, примерно в равном числе, были представлены круглые стоячие столики для публики без претензий и столики, за которые могли присесть имевшие хоть какое-нибудь представление о комфорте. Мы сдвигали по три, по четыре столика в ряд, в зависимости от того, сколько нас собиралось, и обыкновенно Фукс выкрикивал своим слегка визгливым голосом: «Человек, обслужите!» И хотя официантов тут не было, к нам немедленно подходили, иногда спешили сразу двое, кто быстрее, чем вызывали залпы смеха из всех наших орудий. Их спешка объяснялась просто: чаевые, которые в чебуречной никто, кроме нас, не давал, оправдывали в глазах прислуги взаимные толчки и подножки. Наблюдая за их соревновательным пылом, Рюрикович дергал щекою, обнажая зубы и выдыхая — хэ! — это заменяло ему, не умевшему смеяться, разом и смех, и улыбку. То, что он выражал лишь мимикой, его подруга облакала в словесную форму. Госпожа Фабула, ибо «фабула» было ее любимым словом, писала небольшие ироничные рассказы, подражая Тэффи, и, конечно, сценки в чебуречной служили ей беско-

нечным источником для творчества. От этих ее «скудоумных официантов», «растяп уборщиц», «продавцов с лицами-чебуреками» меня воротило настолько, что я предпочитал выпить подряд несколько кружек пива, чтобы уже не замечать ее пошлейших литературных опытов.

Ты тоже, я видел, была в «штаб-квартире» не в своей тарелке, правда, по другой причине. Тебе не нравился не столько стиль нашего поведения, сколько отталкивал собиравшийся здесь народ. Ты морщилась, наблюдая за пьяницей, который, вывалив на стол мелочь, подсчитывал, хватит ли у него на пиво, ты отворачивалась при виде поедающей чебурек нищенки, но ты сейчас же начинала смеяться, услышав скабресную шутку кого-нибудь из наших.

Однажды Дон Кихот, всегда печальный, всегда немногословный и действительно очень похожий на героя Сервантеса, заметил, что ты почти не пьешь пива, и предложил тебе, шутки ради, осушить одним махом две кружки. Все сразу радостно загалдели в предчувствии веселой забавы. Я отговаривал, зная, что ты физически не можешь этого сделать. Но что значили мои слова в сравнении с мнением столь любимой тобою оравы! Они только подначивали: «Идешь на рекорд!», «Да здравствует женский алкоголизм!», «Назло скептикам!»

Затем я вез тебя домой, бледную, со слезящимися глазами, и ты даже не жаловалась, поскольку и слова вымолвить не могла. Когда мы вышли на конечной станции метро, ибо, в отличие от Врубелей и Прекрасных Незнакомок, ты жила не в центре, а на окраине, — тебе стало легче, по крайней мере, ты уже была в состоянии разговаривать, правда, слабым и медленным голосом. Однако, как только я предложил подняться к тебе и сварить для тебя кофе, голос сделался в точности таким, каким ты всегда отказывала мне при малейших попытках сближения. Да, раз за разом я слышал одно и то же: отчасти насмешливое, отчасти игривое возражение, дескать, я еще слишком юн, что где-то для меня уже есть другая, моложе меня, наивная и чистая. Я настаивал на обратном: именно ты, моя ровесница, со всеми твоими выкрутасами и цинизмом опытной женщины (о чем тебе время от времени было приятно говорить или от кого-нибудь слышать), именно ты нужна мне.

Слово «люблю» было в компании под запретом как архаичное и вызывающее только смех. Одной лишь Прекрасной Незнакомке (этакий ошибочный симбиоз Крамского с Блоком) позволялось упоминать о любви, да и то исключительно потому, что в ее устах сакральное низводилось до прикладного. Я слышал, как она говорила «люблю опохмеляться с утра» или «люблю два дня голодать, а потом нажраться до отвала», — и с той же легкостью она могла сказать «люблю одна бродить по Эрмитажу, чтобы был вечер, чтобы залы были пусты», а то вдруг начинала читать наизусть Цветаеву, Пастернака, Бродского... Вообще, она была резка в словах и манерах, стриглась по-мальчишески коротко, носила исключительно джинсы и внешне очень походила на лесбиянку, хоть таковой и не была. Прозвище свое, как понимаю, получила она не благодаря, а вопреки, поскольку сложно было бы найти девушку, во всем столь противоположную Прекрасной Незнакомке. Как это было похоже на наших острословов — глумиться над высоким, выворачивать мир наизнанку!

Из всей компании Прекрасная Незнакомка была наиболее близка с Врубелем. Чем только не занимался этот высокомерный молодой человек! С детских лет родители водили его в музыкальную школу, на художественные курсы при Русском музее, в танцевальную секцию и кружок литературного мастерства. Словом, из него хотели вылепить всесторонне развитую личность. В итоге же получился гаденыш со змеиным жалом взамен языка, чьи познания сводились к расхожей формуле — обо всем понемножку. У Фуксов, и только там, он имел привычку напиваться и тогда, дождав-шись тишины, барским жестом вскидывал руку: «Врубите музыку!» Из-за этого, кстати,

и был Врубелем, а еще потому, что, не будучи похож на Демона внешне, свою демоническую сущность даже не пытался скрывать.

Там же, у Фуксов, еще не достигнув стадии «Врубите!», он начинал травить меня ядом сплетен, слухов, сногшибательными новостями из мира искусства, с тем чтобы, обнаружив мое незнание, тотчас возвысить голос: «Как, вы не читали?.. А впрочем, чему удивляться, вы же, собственно, только телевизор смотрите». При всяком разговоре с ним звучавшая внутри меня фраза — мелкая тварь, без друзей, без любви — служила прекрасным противоядием от его укусов. У тебя, однако, такой защиты не было. Он знал, что тебе нечего противопоставить его поверхностной образованности и показному лоску, приобретенным на курсах и в секциях и отточенным в салонных беседах, и потому он накидывался на тебя как на легкую добычу. Отчасти ты была виновата сама, ведь тебе очень хотелось соответствовать этому «блестящему обществу». Врубель же, тот вообще выглядел в твоих глазах едва ли не идеалом светского человека. Когда — по привычке закинув ногу на ногу, так что острая коленка оказалась на уровне его подбородка — он наговорил тебе каких-то гадостей и ты бросилась на балкон, я вышел следом. Ты плакала, а все-таки молчала о нем, ругая лишь себя. «Он сволочь», — сказал я и обнял тебя за плечи. Но ты скинула мои руки, иначе, видимо, тебе было затруднительно говорить о том, какой удивительный человек Врубель, как много он знает и какие мы все неучи по сравнению с ним.

Я вернулся в комнату. Он по-прежнему сидел в своей излюбленной позе, только теперь с бокалом вина в расслабленной руке. Первым делом упал и разбился бокал, затем острая коленка уперлась мне в грудь, когда я приподнял его за лацканы пиджака и хорошенько потряс. Избежать нокаутирующего удара ему удалось лишь потому, что я успел заметить его насмерть испуганные глаза и подумал, что с него хватит. «Отличный номер», — произнес Циркач, недолюбливавший Врубеля. И хотя сцена наверняка позабавила многих, от дома Фуксов я был на время отлучен. «Дикость не приветствуется», — изрек Савелий Фукс. А ты при следующей нашей встрече в «штаб-квартире» демонстративно пересела от меня на другой край стола.

И все-таки я был рад, что, пускай и не до конца, последовал совету своего тренера. Да и Врубель разительно изменился: он оказался настолько труслив, что стал обходить стороной нас обоих. Даже когда ты пыталась заговорить с ним, он под любым предлогом избегал общения.

## 2

Между тем компания собиралась в театр. Поначалу Циркач, чье прозвище объяснялось тем, что в свое время он пытался поступить в цирковое училище, а теперь у Фуксов развлекал публику жонглированием, предлагал идти на гастролирующий московский цирк. Однако проведенное в чебуречной голосование выявило явное превосходство тех, кто предпочитал сценическое искусство всякому другому. Выбор пал на ТЮЗ, чему я совсем не удивился, потому что скучающее общество нуждалось в увеселении, а вовсе не в том, чтобы следить за ходом драматического действия. «Вчерашний век», — высказался Рюрикович о театре, после чего Циркач, пожалуй, самый бесхитростный «компанейщик», задал уточняющий вопрос: «В смысле?» — «В свете», — захлопнул Рюрикович калитку разговора.

Не помню ни названия спектакля, ни его фабулы (о том лучше спросить у соответствующей госпожи), зато, как сейчас, вижу на сцене музыкальный ансамбль человек из пяти-шести. Скрипка, кларнет, что-то еще, но главное, контрабас, на котором — большое и маленькое рядом — играл человечек в полосатом трико и котелке, что по неприхотливому замыслу режиссера должно было наилучшим образом отражать



эпоху Серебряного века. Играли они негромко, отчего Рюриковичу не составило труда их перекричать: «Смотрите!» Но прежде, с грохотом отодвинув театральное кресло, он поднялся во весь свой далеко не маленький рост, чем сразу привлек внимание почтеннейшей публики. «Смотрите! Вон гомосексуалист!», — ревел он и показывал пальцем на сцену. «Где, не вижу, где?», — поддержали его на все голоса сидевшие рядом «подготовленные зрители». Тут уж весь зал, позабыв о спектакле, стал высматривать человека с нетрадиционной ориентацией. Рюрикович пришел им на подмогу: «Вон, вон, в контрабас полез!» Компания покатывалась со смеху. Собственно, ради этого они и пришли, зная способность товарища к экспромтам. Способность пробуждалась в нем, как он любил выражаться, под влиянием значительных массивов людей.

В зале поднялся шум: кто-то возмущался, кто-то хохотал, а большинство, похоже, восприняли случившееся, в том числе прекративших играть и застывших в растерянности артистов, как часть театральной постановки. Только когда забегали между рядами озабоченные зрительницы, а позже появились охранники, даже до самых непонятливых дошло, за какие пределы эксперимент в театре пока еще не выходит. Под возмущенный гул Рюриковича стали выводить из зала. Чувствуя неослабевающее внимание к собственной персоне, он продолжал лицедействовать: «На сцене гомосексуалист! Осторожно, в зале дети! Оградите их от извращения!» Вслед за главным героем потянулась и вся компания. В их дружном «Мы вместе» я слышал, в отличие от непосвященных, лишь желание продлить этот превеселый вечер. И я шел не за ними, а за тобой, как шел всегда, в какое бы сомнительное место ты ни направлялась.

Нас отпустили быстро, прежде всего, благодаря нашему шумному многолюдству, когда легче открыть засовы, чем терпеть толпу, где каждый если не острит, то хохочет во все горло. Я хотел идти с тобой, но ты упорно держалась Фукса. Он был улыбчив, словоохотлив, похоже, ему доставляло огромное удовольствие вновь и вновь переживать устроенное в театре бесчинство. До меня долетела неожиданная фраза: «Сжечь театр», — могу только догадываться, что он имел в виду. Каким бы покинутым я в тот момент себя ни чувствовал, я был уверен, что у этого эгоиста и мысли не возникнет тебя проводить. Мне оставалось всего лишь держать вас в поле зрения...

Я был не в состоянии объяснить причину, почему меня тянет к Рюриковичу (отчасти и к Фуксу, но в меньшей степени). Временами он просто завораживал, временами отталкивал, но даже тогда оставался мне интересен. Быть может, в нем были те качества — самоуверенность, бесшабашность, умение взглянуть на ситуацию отстраненно — да, скорее всего, последнее — те качества, которых недоставало мне. И всякий раз, когда он начинал разговор, у меня было ощущение, что обязательно надо задавать вопросы, уточнять, слушать — и тогда откроется секрет его обаяния, его странной власти надо мною.

Мы шли с ним довольно долго, как вдруг я заметил, что никого из компании рядом нет. У меня не было ни малейшего представления, когда смолкли знакомые голоса, куда улетел последний смех, куда исчезла ты — или все это произошло одновременно?..

Кругом глыбы домов, яркий свет рекламы, потоки машин — это был Владимирский проспект, мы уже приближались к Невскому. Рюрикович предложил зайти к нему — «тут рядом», — и я, растерянный от непонимания, где же пребывал в течение битого часа, с ненужной поспешностью согласился.

Он жил на улице Маяковского, в большом, но лишенном всякой индивидуальности доме, без обычных для Питера эркеров, лепнины, даже без балконов. Двухкомнатную квартиру он делил с отцом, между прочим, прокурором района. Однако обстановка здесь была явно не прокурорская — в том смысле, что человек столь высокого ранга мог бы позволить себе и более дорогую мебель, и хороший паркет, и стеклопакеты, и все прочие блага бытового комфорта. «Не берет взяток», — в своей ла-

конишной манере пояснил Рюрикович. Мне никогда не удавалось понять, шутит он или говорит серьезно, наверное, он и сам этого не знал. Тем забавнее было его слушать да еще наблюдать, что рот у него всегда чуть приоткрыт, что звуки он извлекает без помощи губ, и оттого слова как будто рождаются в нем самом и выходят наружу округлыми, точно отполированная водой галька.

Мне хватило непродолжительного общения, чтобы понять, что в этом, и только в этом состоит его тайна. Ха, всего лишь звукоизвлечение! Он музыкальный инструмент, пусть редкий, даже редкостный, но — инструмент!

Все остальное было прозаичным. Он рассказал о своей школе, о том, что в былые годы там учился его кумир Даниил Хармс, мы полистали старые фотоальбомы, посмотрели скачанный в Интернете фильм — «зрелище колоссальное» — ни зрелища, ничего колоссального я не увидел. Напоследок он сказал, что я не нужен тебе, что ты принадлежишь Фуксу, мало того, ты сейчас у него дома, а он, Рюрикович, общаясь со мной, обеспечивает им прикрытие.

Не скрою, мне было больно его слушать, но я уже знал — он скрипка, кларнет, он контрабас — и от этой мысли становилось немного легче.

«Глупо обижаться. Лучше знать правду», — уже в дверях произнес он. «Фильм был говно. Это тоже правда», — парировал я округлыми словами, пародируя его манеру.

Следующие дни я не расставался с плиткой мобильного телефона, без усталости набирая твой номер. Ты не отвечала, и чем дольше это продолжалось, тем становилось тревожнее. В конце концов я поехал к тебе домой, но открывшая дверь твоя старшая сестра заявила, что ты взрослый человек и не отчитываешься перед нею. Ее спокойствие только утвердило меня в том, что сестре известно, где ты находишься, а именно в безопасном, надежном месте, каковым, вне всякого сомнения, был дом на Кутузовской набережной.

Туда, к Фуксам (именно во множественном числе — так я изгонял дух хозяина из его обители), я отправился, совершенно не представляя своих дальнейших действий. Существовало, собственно, четыре варианта: ты была там в гостях; ты была там и спала с Савелием; ты уже уехала оттуда; ты там и не появлялась. Решить, по сути, математическую задачу можно было либо экспериментальным путем, либо, как в школе, воспользовавшись подсказкой.

Ты позвонила, когда я находился на полпути к Фуксам, и нашептала в телефон верный ответ, совпавший, к моей радости, с четвертым вариантом. Как выяснилось, ты была у подруги, в дачном поселке Вырица, настолько удивительном месте, что среди его сосновых лесов, окружавших реку Оредеж, мысль о связи с внешним миром представлялась едва ли не вооруженным вторжением в охраняемую заповедную зону. Твои доводы были, пожалуй, убедительны... Однако как быть с Рюриковичем, с его утверждениями, с его ухмылкой?

«Рюрикович сплетник. Всегда его не любила», — заявила ты на следующий день, после того как я поведал о разговоре на прокурорской квартире. Мы сидели во дворе, куда нас любезно пригласил кто-то невоспоминаемый, отворив и придержав дверцу металлической ограды, так что отказаться от приглашения было бы крайне невоспитанно.

Мне хотелось спросить: «А Фукс, что ты скажешь о нем?», — но я все-таки промолчал, подумав, что, сверх известной информации, любая другая будет чрезмерной. Да и как могло быть иначе, когда ты была ласкова и нежна, шутила мягко, без прежнего сарказма, и вся переменялась ко мне, будто воздух Вырицы обладал какими-то чудодейственными свойствами.

Тот день остался в памяти подробностями, казалось бы, совершенно непримечательного дворника: ворона, взгромоздившись на макушку единственного здесь дерева, выглядела как наверхие новогодней елки; в продолжение той же темы воробьи каза-

лись елочными украшениями, прицепленными к веткам; сидевшая напротив девушка с голеньким младенцем на руках склонила к нему голову... У меня перехватило дух от поразительной схожести сюжета, от его невозможности посреди стиснутой домами площадки...

Мы стали видеться с тем постоянством, когда достаточно одного пропущенного звонка, одного мимолетного видения, одной невысказанной мысли — чтобы уже вскоре быть рядом, словно только так мы могли подтвердить существование друг друга.

### 3

Обыкновенно встречались мы у метро «Ломоносовская», то есть как раз посредине между твоим и моим жилищем. Оба безлошадные, мы добирались на общественном транспорте; твоя остановка была напротив моей, и, бывало, выйдя каждый из своего автобуса, мы махали друг другу с разных сторон улицы. Почему-то этот незатейливый ритуал доставлял нам удовольствие сродни детскому восторгу. Чаще первым приезжал я и тогда располагался возле входа в метро, где была металлическая ограда, к которой можно было прислониться, и был выложенный плиткой выступ, куда, если ты задерживалась, я садился, закуривая сигарету. Усталости я в те дни не знал, наоборот, от ожидания предстоящей встречи не мог долго оставаться на месте и, едва присев, начинал снова расхаживать, обращая внимание лишь на номера появлявшихся вдали автобусов.

Из-за того, что волновался и вдобавок желал выглядеть оригинальным, у меня не получалось бросить легкое «Привет!» или что-нибудь иное в том же духе. Вечно я мучился, подбирая подходящую для встречи фразу, и всегда придумывал нечто до крайности громоздкое, так что при твоём появлении запутывался в словах и, разумеется, выглядел полным идиотом. Поначалу тебя это веселило, но затем ты привыкла и однажды совершенно серьезно сказала: «У тебя такая интересная манера начинать разговор». Да, черт возьми, именно манера! Что же еще? Ты ведь много раз имела возможность убедиться, как любовное косноязычие превращается в любовное красноречие, стоит мне только прийти в себя после первых волнительных минут...

Напротив метро, если перейти улицу, находилось скопление мелких магазинов. В том, с какой чрезмерной яркостью они были оформлены и как хаотически разбросаны по участку — один лез вперед, другой выпирал углом, третий прятался за соседом, — легко читалась вся их история: к первому, без разницы чем там торговали, прилепился следующий, к тому еще один, и так в течение многих лет, пока естественные причины, а именно стоящие слева и справа жилые дома, не прекратили этот торговый бум, напоминавший процесс размножения клеток.

Ты любила заходить в какой-нибудь парфюмерный магазин, бродила там меж стеклянных шкафчиков с флаконами духов, тюбиками помады и прочим остропахнущим товаром, от чего у меня, с детства склонного к аллергии, временами перехватывало дыхание, и я вынимал платок, прикладывая его к лицу. Особенно тяжело мне приходилось, когда ты просила оценить, хорош ли тот или иной запах. Но ради тебя я готов был вытерпеть что угодно!

Мне же по душе пришлась антикварная лавка, расположенная чуть в глубине от красной линии выстроившихся в ряд магазинов. И если в парфюмерном ты завела знакомство с продавщицей Инной, которая любезно отвечала на все твои вопросы, то в лавке я сошелся с ее хозяином Марком Борисовичем. Он обладал вкрадчивым, как ты определила, «антикварным» голосом и еще одной удивительной особенностью: рассказывая о старинном предмете, он сам как будто становился человеком из той эпохи, откуда происходил предмет.

По большому счету в районе «Ломоносовской» не было ничего примечательного: дома в стиле сталинского ампира сменялись, по мере удаления от метро, хрущевскими пятиэтажками, а те в свою очередь уступали место общагам заводов и училищ. В ту сторону мы не ходили, равно как игнорировали и перекинутый через Неву мост со столь бешеным движением, что даже на набережной приходилось кричать. Наши предпочтения определились сразу — два парка, расположенные примерно на одинаковом расстоянии от места наших встреч. «Налево пойдешь — в парк Бабушкина попадешь, направо пойдешь — Куракину дачу найдешь», — шутила ты, после чего ради забавы мы иногда бросали монетку, определяя, какое направление выбрать.

Парк имени Бабушкина был в советское время образцовым местом отдыха для трудящихся. Правда, с тех пор парк пришел в полное запустение: неработающие аттракционы, сломанные горки, вырванные из земли качели; металлическая вывеска над входом и та заржавела, погнулась, растеряла половину своих букв. Зато тут было безлюдно, тихо, и нам никто не мешал.

Мы выбирали скамейку получше среди тех остовов, что служили лишь напоминанием об ушедшей в прошлое эпохе. Самый томительный для меня момент наступал тогда, когда ты неспешно доставала из сумочки пачку «Winston», зажигалку, прикуривала, как будто целуясь со своей супертонкой сигаретой. Мне сразу хотелось быть на ее месте, но ты с едва слышным «чмок» вынимала сигарету изо рта и так же неспешно произносила, одновременно выпуская в воздух ментоловую завесу: «Не торопись». Я, только привыкающий тогда к курению, тоже вытаскивал пачку, поворачиваясь к тебе боком, чтобы не выдать себя дрожащими руками.

Рассеивался табачный дым, а может быть, еще висел над нами, скрывая от небес отнюдь не безгрешные поцелуи. Помню лишь ощущения губ, рук, твоего тела, и сладостную немоту, и желание бесконечно длить это состояние, когда исчезают искаленные карусели, исчезает весь парк, земли, воды, небесные дали и, кроме нас, никого не остается. «Адам и Ева», — шептал я, еще нездешний, еще в бреду, и ты смотрела на меня безумными глазами — оттуда, где мы только что побывали. Потом мы опять курили, словно только посредством сигарет можно было сначала улететь, а после вернуться на ту же самую скамейку.

Парк со старушечьим названием и сгнившими зубами (так мне виделась вывеска с чередованием целых и потерянных букв) настолько не вязался с бурлившими здесь страстями, что однажды я поделился этим соображением с тобою, не услышав, правда, ни слова в ответ. Вообще, в такие минуты ты была молчалива, и, когда я начинал говорить о своих чувствах, ты останавливала меня всегда одним и тем же возражением: «Для чувств не нужны слова — разве ты не знаешь?»

Когда монета падала решкой вверх, это означало, что мы идем в парк «Куракина дача». Растянувшийся вдоль неевского берега, со старыми высокими деревьями вокруг заросших ряской прудов, с тропинками, которые то взбегали на небольшие холмики, то устремлялись вниз, парк всегда был заполнен людьми. Играли в волейбол, в карты, читали книги, пили вино, загорали и все вместе силились изобразить южный курорт посреди Петербурга. Выглядели их потуги нелепо, и ты высмеивала то одного перестаравшегося артиста, то другого. Они, очевидно, плохо представляли, как надо вести себя на юге, и оттого натягивали плавки до пупка, барахтались в прудах, где было по колено, и всячески демонстрировали свои мышцы, обтянутые безнадежно бледной кожей. Иногда, к своему удивлению, я жалел, что нет рядом кого-нибудь из нашей язвительной компании. Уж они-то устроили бы здесь цирковое представление!

В глубине парка находилась «Куракина дача», которая и дала название всей местности. Если не знать, где дача расположена, то найти ее, заброшенную, с провалившейся крышей, скрытую деревьями и диким кустарником, было весьма непросто.

Я рассказывал тебе об истории дачи, о роде Куракиных, среди которых были и военные, и дипломаты, и сенаторы, о том, каким было их имение и каким чудесным образом усадебное здание, пусть и перестроенное, и сильно обветшавшее, дошло до наших дней. Ты слушала, казалось, внимательно, но когда начинала говорить сама, то мне хотелось залепить твой рот поцелуем. Если вкратце, содержание твоих речей сводилось к попыткам обобщить опыт общения с мужчинами. Один был слишком гуманным, то есть мучил тебя беседами об искусстве; другой, как ты выразилась, пытался тебя сломать, подчинить свободолобивую натуру собственной воле, однако не на ту попал; а с третьим не получилось потому, что у него напрочь отсутствовало чувство юмора. Временами было любопытно, временами забавно. Но я ни разу не услышал слово «любовь», вместо него ты употребляла все что угодно: отношения, связь, флирт, союз, страсть и прочее. Нет, я не ревновал, ведь все связи и флирты были в прошлом, к тому же неудачные. Отталкивало лишь одно: какими бы ни были прошлые отношения, везде ты выставляла напоказ свои познания в делах амурных, подразумевая отсутствие таковых у меня, а зачастую прямо заявляя об этом. Сознательно или неосознанно, но тем самым ты подогревала меня в желании доказать, что не так я наивен и беспомощен, как ты о том думаешь.

Как-то раз, когда мы покидали Бабушкин парк и я по привычке оглянулся на его ржавую вывеску, ты неожиданно, словно бы про себя, проговорила: «Да, с тобой по-другому не получится». И дальше все тем же медлительным голосом ты сообщила мне дату, время, адрес, добавив, что подруга, та самая, у которой дача в Вырице, оставляет тебе ключ от квартиры на целый день. «Целый день», — повторил я с тем ощущением неминуемого грядущего, которое в одно и то же время и манит, и пугает.

#### 4

«Ну, вот и все», — сказала ты так, будто поставила в разговоре точку, хотя если и были сказаны между нами слова, то столь отрывочные, ничтожные, что упоминать о них было попросту глупо.

Ты стояла лицом к окну, еще в нижнем белье, и я уже ревновал ко всякому прохожему, который мог, подняв голову, облизать похотливым взглядом твое прекрасное тело. Отныне ты принадлежала мне одному. Любого, кто усомнился бы в моих правах, ожидала участь отправленного в нокаут боксера.

«Пожалуйста, отойди от окна», — попросил я, на что ты рассмеялась, но все же отошла. Затем, подкрашивая губы и глаза возле зеркала, по-прежнему спиной ко мне, ты поставила еще одну точку, на этот раз, очевидно, во внутреннем монологе: «Из тебя будет толк». То ли оценила, то ли сказала в шутку, то ли решила подбодрить меня опять-таки с позиции сомнительных познаний... Я не находил ответа, а все же мне было приятно. И, одеваясь в широченной прихожей, где в самый раз было на велосипеде кататься, я насвистывал что-то бодрое, маршевое и все смотрел на висевшую напротив двери репродукцию рембрандтовской «Данаи», отдавая тебе явное предпочтение перед царской дочерью.

Нехорошие изменения начались уже при следующей встрече. Во-первых, сославшись на какую-то мелкую причину, ты попросила меня приехать к тебе в Веселый Поселок. Как растение прихотливое, любовь капризничает, когда ее пересаживают на другую почву, и мне совсем не хотелось расставаться с нашими скамейками, тропинками, с развалинами Куракиной дачи ради сомнительного будущего в незнакомом месте. А во-вторых, что гораздо важнее, с первых минут встречи я почувствовал возникшее между нами отчуждение. Было так, точно я пытался напомнить, какой радостью были наполнены наши дни, а ты всем своим видом показывала, что не желаешь

потакать моим выдумкам. Мы шли, вернее, ты вела меня, поскольку я очутился здесь впервые, мимо типовых панельных домов по улице, казавшейся бесконечной из-за того, что разговор наш совсем не клеился.

Наконец последние дома закончились, и сразу за ними вырос реденький лес, перед которым петляла речка Оккервиль. Она выглядела совершенно по-деревенски, с глинистыми берегами, поросшими кустарником, в строй которого вклинивалась то одинокая елка, то сосна. Вот под такую сосной мы и разместились на одном из бревен, положенных вокруг кострища. Мы то и дело соскальзывали по натертой до блеска поверхности дерева, так что в мыслях прекрасным видением возникали скамейки Бабушкина парка, хоть и сломанные, зато со спинками. Несмотря на теперешнее неудобство, мы сразу начали целоваться. Легким облачком витал возле тебя аромат ландышевых духов, смешиваясь с сосновыми и земляными запахами; от реки поднималась приятная прохлада; доносился со стороны леса пересвист невидимых отсюда пташек.

Целовались мы с упоением; как всегда, я куда-то улетаю, однако даже в полете не отпуская тревожное: что-то идет не так, что-то разладилось...

Помню, Циркач, который по моему совету прочитал Бунина, резюмировал его творчество сжатой формулировкой: «Секс на природе». Похоже, и я увидел окружавший нас мир — лес, и речку, и уток у дальнего берега, и солнце, которое пробивалось к нам сквозь сосновые ветви, — то ли глазами Бунина, то ли Циркача и попытался, взяв тебя на руки, положить в зеленеющие травы великой русской литературы. Ты была решительно против, и в то же время мой порыв тебя позабавил: «Каким смелым ты стал, каким мужественным сделался», — впервые за сегодняшний день на твоём лице появилась улыбка. И потом, когда мы возвращались той же скучной улицей, хорошее настроение тебя не покидало. Ты расспрашивала, есть ли у меня какая-нибудь знакомая девушка, а я, смущаясь, отвечал, что иногда перезваниваюсь с Таней, школьной подругой, но это так, пустяки, воспоминания детства. Я не придумал никакого значения сказанному тобой мимоходом: «Если девочка хорошая, ты ее не бросай, звони чаще». И также мимоходом, не приглашая, не называя даты, ты обронила, что скоро твой день рождения. Я уточнил, можно ли прийти, и обещал быть, повторив несколько раз про себя: «Пятнадцатое июля, макушка лета».

Свернув на улицу, неотличимую от той, по которой все время шли, мы попрощались около твоей девятиэтажки — как-то торопливо, в спешке, будто на перроне вокзала, когда вот-вот должен тронуться увозящий тебя поезд. Назад я отправился пешком, решив дойти до Володарского моста, который соединял Веселый Поселок с левым невским берегом и возле которого, только с противоположной стороны, мы с тобой обыкновенно встречались.

Вопреки своему названию, правобережье не казалось мне веселым. Однообразный, без единой яркой краски, с серыми и грязно-желтыми фасадами домов, район виделся мне средоточием людской печали. Среди нарезанных, подобно границам африканских стран, прямых улиц, сплошь носивших имена деятелей большевизма, я вряд ли мог представить себе хотя бы одного счастливого жителя. Центральной магистралью Веселого Поселка был, конечно же, проспект Большевиков. Я шел по его широкому тротуару, думая разом об Антонове-Овсенко, Дыбенко, Чудновском и твоём дне рождения.

Есть у меня одно свойство: когда от дурных предчувствий и бьющих под дых обстоятельств мой мир, казалось бы, должен рухнуть на дно пропасти, где лишь тоска и отчаяние, — я остаюсь спокоен до последнего момента, пока действительно не обнаруживаю себя на дне той самой пропасти. Не знаю, к хорошему или плохому отнести эту

черту характера... А только стоило мне перейти мост и очутиться напротив «Ломоносовской», как неприятный осадок от нашей встречи исчез полностью и весь строй моих чувств был уже готов сыграть радостную симфонию в честь бушующего кругом летнего дня.

Первым делом я направился в антикварную лавку к Марку Борисовичу. Уже давно я присмотрел для тебя подарок — шарманку, изготовленную, как сообщала выгравированная на металлической пластине надпись, на Санкт-Петербургской фабрике музыкальных инструментов в 1908 году. И тогда же я стал откладывать деньги, для начала продав проигрыватель с набором раритетных виниловых пластинок. Шарманка была компактная, играла с дюжину мелодий и стоила на удивление дешево. К тому же милейший Марк Борисович в знак наших добрых отношений был готов несколько уступить в цене, если я соберусь покупать. Со свойственной его нации ироничной мудростью он сказал: «Вы, молодой человек, очень похожи на меня, каким я был в молодости. А какой резон экономить на самом себе?»

Пятнадцатого июля, присовокупив к шарманке цветы с тортом и таким образом нагрузившись под завязку, я с трудом преодолел разделявшие нас километры городских улиц и поднялся к тебе на девятый этаж. «Как это мило», — сказала ты, приняв подарки, и тут же поинтересовалась, почему именно шарманка. К вопросу я подготовился, но, по своей неисправимой привычке, начал настолько издалека — со дня основания музыкальной фабрики, — что дослушивать меня не стали.

Торжественная церемония — именинница впереди, я следом с шарманкой, играющей «Боже, царя храни!», — была первым и последним моментом праздника, когда я, да и то благодаря шарманке, привлек внимание гостей. Мне вовсе не хотелось, чтобы на меня слетались любящие взгляды, однако же и полное забвение казалось мне оскорбительным. Сначала я подумал, уж не напиться ли в знак протеста. От этой мысли пришлось отказаться как ввиду малого количества вина, так и потому, что, выпив, бываю навязчив, а то и агрессивен. И я затих, надежно скрытый от остальных своим одиночеством. Тут были твои родители, крутого замеса отец и незапомнившаяся мама, сестра то ли с женихом, то ли с мужем и две подруги, обе худенькие, невысокие; отличие между ними проявлялось главным образом в том, какие они извлекали звуки — одна брала высокие ноты, тогда как в другой, вопреки ее комплекции, обитал такой силы и чистоты голос, что, когда она запела под гитару, в пору было продавать билеты на ее концерт.

Из всего праздника, вообще-то небогатого на события, мне запомнилось, как усадили на стул то ли жениха, то ли мужа, повязали вокруг его шеи белое полотенце и в две руки, ты и сестра, застрекотали ножницами. По мере того как довольно длинные каштанового цвета волосы делались короче, его лицо приобретало все более растерянный вид. А уж когда вам взбрело в голову нарисовать фломастером черные усы и бородку, бедняга и вовсе не знал куда деваться, хоть и старался шутить, и изображал одними уголками губ подобие улыбки. Его жалкие потуги выглядеть непринужденно навели меня на мысль, что такова, должно быть, участь всех мужчин, желающих попасть или уже попавших в состав столь дружного семейства.

Собственно, мне больше нечего добавить к сказанному, поскольку весь вечер я наблюдал преимущественно за тобою. Обычно ты предпочитала спортивный стиль, который называла «джинсово-футболочным», и носила обувь без каблуков, будучи почти одного со мною роста. В свой день рождения ты догнала меня, надев изящные туфли-лодочки, цвет которых обдуманно совпадал с цветом темно-синего платья, чья длина столь же обдуманно показывала стройность твоих ног. Никогда я не видел тебя в таком блеске красоты и никогда так не тянулся к тебе, при этом отчетливо понимая: я зря пришел, я здесь лишний.

## 5

У меня не было никаких желаний, я почти не ел, не мог спать, а только лежал навзничь, закинув руки за голову и глядя на плывущий надо мною потолок. Как я вычитал в одной бульварной газетенке, это классическая поза человека, решившего свести счеты с жизнью, причем чем более неподвижно он лежит, тем вернее решится.

Мысли текли вяло, тем не менее выстраивались в один ряд: наша встреча на квартире у твоей подруги, затем и сразу же твое охлаждение ко мне, непонятные слова, впрочем, теперь уже понятные, о том, чтобы я не забывал знакомых девушек, и финалом всему твой день рождения, где я мучился от любви и где ты дала мне ясно понять, что если что-то между нами и было, то всего лишь отношения, флирт, связь...

Сопоставив между собой все вышеизложенные факты, я оторвал голову от подушки, огляделся по сторонам и узнал в обстановке комнаты то самое дно пропасти, куда несколько раз уже приходилось падать, правда, причины были совсем иного свойства. Помню, в детстве, когда мы только переехали на новую квартиру, я лежал здесь же и дня три никак не мог унять слезы, потому что в суеде переезда пропала коробка с коллекцией солдатиков, которых собирал с одержимостью будущего полковника. Другой раз, уже в боксерской секции...

Зазвонивший твоим звонком телефон не помешал воспоминанию догнать тот миг, когда, прижатый к канату ринга, я стою под градом ударов и хоть и говорю в трубку «алле», а все-таки падаю на помост, на чем воспоминание и обрывается, ибо, будучи в нокауте, невозможно сохранять память.

Я был уверен, что ты мне не позвонишь, что ты избавилась от меня как от надоевшей игрушки, а сам я позвонить не мог, ведь дно пропасти вне зоны досягаемости для любого сигнала, за исключением, быть может, сигнала «sos». И вот я слышал уже не чайный, но по-прежнему желанный голос, и ничего во мне не происходило, будто я на самом деле побывал в нокауте, и, едва придя в себя, после того, как рефери сосчитал до десяти, был в состоянии произносить только «да» — без эмоций, как через равные промежутки времени. Мое «да», словно оружие в руках новобранца, стреляло по твоим словам наугад, но так как это было «да», я, очевидно, почти всегда попадал в цель.

«Тогда договорились, завтра в три у Фукса», — закончила ты разговор, и я уловил эту фразу не столько потому, что она была последней, сколько из-за проникшей в ее состав фамилии потомка немецких купцов. Так бывает при амнезии: гораздо лучше, чем сегодняшний день, помнишь то, что было много раньше. Наши отношения, если тебе угодно так выразиться, продолжались месяца полтора, вряд ли больше, хотя мне казалось, что прошла целая вечность. И как же далеко позади остались все эти Фуксы и Рюриковичи! Их имен мы не упоминали, не звонили им, не встречались. И вдруг ты предлагаешь ехать в их логово! Только ради тебя, только потому, что хотел тебя увидеть... Нет, вру, я жаждал другого. К черту все умозаключения, которыми я изводил себя, лежа на диване! Просто тебе была нужна пауза, и теперь ты снова со мною, снова моя. И какая разница, где встречаться — в Бабушкином парке, Веселом Поселке или у Фуков, — главное, чтоб ты была рядом.

Я поджидал тебя на углу дома на Кутузовской набережной и еще издали увидел: в черных брюках и коротком серого цвета пиджаке ты спешишь, ты торопишься, ты почти переходишь на бег. По мере того как твое лицо приближалось, на нем расцветала улыбка. Мы поцеловались, как прежде, в губы, с тем чувством, какое бывает после разлуки. Я прижал тебя всю, ощущая грудь, бедра, запах твоих волос, и даже, не знаю зачем, немного потряс тебя за плечи. Ты взяла меня под руку, и мы зашагали, на ходу бросая слова, восклицания, горсти смеха, опять слова.



«Только без ора», — по обыкновению, предупредил Савелий Фукс. Он доставал из буфета вино, бокалы, какую-то снедь и косился на нас, болтающих без умолку. От этой болтовни, от вина ты покраснелась и с хохотом пересела со стула ко мне на диван. Мы снова целовались, и я краем глаза видел, с каким раздраженным видом продолжает посматривать в нашу сторону Савелий. Когда же ты уселась мне на колени, он вышел из комнаты. Спустя некоторое время вернулся и с порога резким тоном заявил: «Дорогие мои, сегодня приезжает моя мама», что в переводе с дипломатического языка означало — пора бы вам на выход.

На невском ветру, который обдувал нас со всех сторон, ты сказала, все так же посмеиваясь, что провожать не нужно, поскольку ты едешь к подруге. Потеря часа дорожных разговоров (сколько их ждет впереди — часов, дней, месяцев!) выглядела сущей ерундой в сравнении с тем, что ты вытащила меня со дна пропасти. «Как шарманка?» — спросил я, и принесенный ветром ответ, ибо ты уже удалялась, заставил меня крикнуть: «Я приеду почино!»

Прежде чем я успел выйти из метро, меня догнал звонок Савелия Фукса. Гневным голосом, какого мне прежде не доводилось от него слышать, он принялся меня отчитывать. У него не дом свиданий, чтобы я приводил своих любовниц, у него, если угодно, родовое гнездо, осквернять которое никому, прежде всего таким пошлым людишкам, как я, не позволено, и с сегодняшнего дня двери его квартиры закрыты для меня навсегда... Господи, чего только Фукс не наговорил! Я слушал в смиренном молчании, ведь, по существу, он был прав: мы вели себя непристойно. Оправдаться можно было лишь тем, что разница между берегом речки Оккервиль и родовым гнездом, существенная при других обстоятельствах, для влюбленных не имеет никакого значения. Но об этом я не стал говорить Фуксу.

Прошло несколько дней, абсолютно пустых, потому что как же иначе их назовешь, если мы с тобой не виделись. Ты снова перестала отвечать на звонки, лишь однажды сняла трубку домашнего телефона, чтобы сообщить: «Извини, я занята. Позвони позже». Уже тогда мне подумалось, что никакого «позже» не будет, что я стучусь в закрытые двери. Оставалось единственное: добиться объяснений при встрече в надежде на то, что, глядя в глаза собеседнику, очень сложно уйти от прямого ответа. А вопрос, который буквально разрывал мою душу, звучал предельно просто: что же случилось?! Я был уверен, что меня оклеветали, по-видимому, все тот же Савелий Фукс, и его ложь должна мгновенно развеяться, стоит нам остаться наедине.

Раз от дома Фуков меня отлучили, значит, увидеться, вероятнее всего, можно в «штаб-квартире». Столь очевидное предположение тем не менее оказалось ошибочным: на дверях чебуречной висела напечатанная крупным шрифтом вывеска, что заведение закрыто по техническим причинам; понизу от руки были написаны даты, и я долго в них вглядывался, стараясь понять неразборчивый почерк. У меня вдруг возникла очень странная мысль: перемена в тебе тоже вызвана техническими причинами, о которых, как и в случае с чебуречной, можно было лишь догадываться. Вот я и начал перебирать в уме догадку за догадкой, праздно сидящий напротив чебуречной молодой человек, чье единственное желание — увидеть любимую — откладывалось, по меньшей мере, на десять дней (если мне все-таки удалось разобраться в каракулях «чебуречного начальства»). Таким, наверное, я и предстал перед Врубелем, который вывел меня из задумчивости, присев рядом на скамейку. «Вы, кажется, здесь по той же причине, что и я», — начал он в своей излюбленной манере, обращаясь ко всем, даже к самым близким, исключительно на «вы». Собеседнику, плохо знавшему Врубеля, это казалось верхом воспитанности, а на самом деле было всего лишь хитрой игрой, которая доставляла одному ему понятное удовольствие.

То, что он подошел ко мне, меня нисколько не удивило, хотя должно было бы удивить, ведь при последних встречах мы лишь холодно кивали друг другу. Вероятно,

его склонность к сплетням была сильнее его нелюбви и, как я чувствовал, его страха передо мною. Кто, с кем, почему и как — все это интересовало Врубеля в высшей степени. Он поведал мне о том, что Фукс и Любовь с Первого Взгляда теперь вместе, более того, она у него живет. Новость для Врубеля, да и для всей компании, просто сенсационная. Кто бы мог подумать! Наш эстет, наш сноб Фукс — и вдруг эта, как он выразился, неадекватная. «Не желаете узнать подробности?» — поинтересовался Врубель, на что я молча кивнул в сторону закрытых дверей «штаб-квартиры». Он подвел меня туда и с тонкой улыбкой показал на не замеченный мною листок бумаги, что был приклеен к дверному косяку. Там было написано: «Дамы и господа, судари и сударыни! В связи с закрытием данного заведения „штаб-квартира“ временно перебазирована на мою квартиру. Любящий всех вас Рюрикович».

В троллейбусе, который вез нас на «Маяковскую», сидело всего несколько человек, тем отчетливее было наше молчание. Врубель, наверное, вспоминал, каким жалким образом трепыхался в моих руках, и старался не смотреть в мою сторону. Я же был занят мыслями о том, как треугольник с острыми любовными углами (ты, я и Фукс — именно такой представлялась мне конфигурация) начинает превращаться в квадрат, где каждый из углов находится в непонятных отношениях с другими.

Знакомая мне комната Рюриковича выглядела теперь значительно просторнее, должно быть, большую часть вещей перенесли в соседнее помещение, где обитал прокурор района. Косвенно это подтвердил сам хозяин: «Отец на две недели уехал. Какой-то юридический форум в Берлине». Возбужденный и говорливый, ходил Рюрикович по квартире, прислушиваясь ко всему вокруг, чтобы вернуть шуточку или изобразить подобие улыбки. Иногда кричал, добиваясь интонацией поразительного эффекта, когда несмешное превращается в смешное: «Машка, гости заждались! Машка, кому говорю!» Подыгрывая, Госпожа Фабула, которая только в обществе была таковой, а дома Рюрикович звал ее по имени, всплескивала руками и неслась на кухню. Оттуда раздавалось: «Ой, пригорело! Ой, батюшки!»

В центре комнаты, поскольку общего стола не было, а все приготовленное Госпожой Фабулой равномерно распределялось по столикам, тумбочкам, подоконникам, Циркач жонглировал шариками для настольного тенниса, пока они не исчезали и не появлялись вновь то из-за его уха, то изо рта, то из кармана жилетки. Прекрасная Незнакомка, пересыпая речь солеными да острыми матерными словечками, рассказывала о выставке современного искусства Дон Кихоту, пожалуй лучше в компании слушателю, который только и делал, что успевал кивать своей ухоженной эспаньолкой. Маэстро Вальс, к танцам никакого отношения не имевший, зато всегда точно угадывающий момент, когда к ним можно приступать, что и отразилось в его прозвище, теперь был занят курением марихуаны, выпуская дым в открытое окно и туда же общая: «О, мир, ты — кайф! Ты — мирокайф! Ты — мегакайф!» Здесь же была и Любовь с Первого Взгляда, как обычно, тихая, что-то шептавшая в углу (вот только в каком? — возник во мне вопрос из той геометрической задачки, которую я пытался решить в троллейбусе). «Молитесь», — сообщил мне пробежавший мимо Рюрикович и поднял глаза кверху, куда был обращен и ее взор. Там стояла на полочке миниатюрная икона Спасителя.

В нашей компании Любовь с Первого Взгляда отвечала за связь с потусторонним миром. Уже никто в точности не помнил, как она прибилась к нам, и в памяти осталась только сказанная Фуком фраза: «Мы все чересчур прагматичны. Нет у нас людей естественных — и вот она, юродивая!» Так, юродивой, ее сначала и называли, пока не услышали ее пламенную речь, где привычное «Бог есть любовь» приобретало новое звучание. Оказывается, она была готова отдавать любовь каждому, кто в ней нуждался, в ком с первого взгляда она угадывала эту нужду. Ей было все равно, любовь ли это к ребенку, старику, мужчине, святая или плотская, вернее, подобных различий

она вовсе не замечала. Если добавить к этому, что она была красива той светящейся изнутри красотой, которую могут передавать одни лишь иконописцы, что ее голос звучал тихо и мелодично, что имя ее было Любовь, — тогда образ молящейся перед иконой девушки можно считать завершенным. Однако правда и то, что душа ее была больна, и временами она начинала бормотать безумные слова, а глаза ее останавливались на чем-то далеком и, судя по всему, ужасном. Для меня было загадкой, как мог расчетливый Савелий — а сплетни Врубеля почти всегда находили подтверждение, — как мог он жить с *такой* девушкой...

Когда она закончила молиться, я задал всего один вопрос, и она ответила без малейшей рисовки: «Мне нечего делать с теми, кто праведен», — и затем, подняв глаза, смотрящие на меня, а все-таки сквозь меня, она сказала: «Савелий занемог. Он попросил, чтобы я пришла. Разве я могу послушаться?» У меня на глазах навернулись слезы, и, ни с кем не попрощавшись, я быстро вышел на улицу.

## 6

Что можно сделать за десять дней, пока устраняются «технические причины»? Открыть вместо чебуречной подпольное казино, клуб анонимных алкоголиков, религиозную секту, тренажерный зал... Упражнения в остроумии могли бы продолжаться сколь угодно долго, если бы не Циркач, который обзвонил всех с радостной вестью — открылось!

Если кто-то ожидал изменений, он сильно ошибался: то же пиво, чебуреки, те же остроты и колкости, разве что Фукс и Любовь с Первого Взгляда перестали сюда ходить. Об этом говорили намеками, шептались по углам, иногда кто-нибудь отпускал сальную шуточку. Смеялись, однако, сдержанно, потому что, думаю, зачастую их цинизм был показным, особенно когда собирались все вместе и каждому хотелось блеснуть перед другими.

Происходящее меня не касалось. Заглядывая в «штаб-квартиру» и здороваясь разом со всеми, я тут же начинал искать глазами тебя, и если не находил, то сразу направлялся к выходу. Смешки, которые раздавались вслед, были мне глубоко безразличны.

Ты приходила редко, по крайней мере, мы редко пересекались. В один из таких дней, спустя недели две после открытия чебуречной, мне удалось отвести тебя в сторонку, — и я услышал: «Ты разве не помнишь, что я говорила про твою девушку — Таню, что ли?.. Ну, раз ты не понимаешь намеков, скажу прямо: мы с тобой встречаться больше не будем. И не задавай, пожалуйста, лишних вопросов». Но я все-таки задал, а ты ответила со смехом: «Ах, это была месть, чтобы он тоже помучился... Извини, извини, дорогой», — ты поцеловала меня в щеку и полетела к столу, тут же позабыв обо мне, веселая, озорная, красивая. И я почувствовал: я все так же люблю тебя, хоть теперь и безнадежно, но от этой безнадежности только еще острее.

У меня начинали трястись руки, в ногах появлялась слабость всякий раз, когда я тебя видел. Мне было очень больно. Но я продолжал изводить себя, потому что важнее боли было желание хотя бы время от времени находиться с тобой в одном месте. Я сидел всегда вдалеке от тебя, ближе просто не мог, иначе сердце начинало колотиться так, что казалось, будто его стук слышат ближайшие соседи. Тебе же доставляло удовольствие, если ты не была занята разговором, подходить ко мне и дразнить шутливым голоском, нарочитым смехом. Иногда ты интересовалась, как мои дела, но лишь для того, чтобы увидеть, как я, онемевший, пробовал ворочать тяжеленными, невозможными словами.

Наблюдая за тобой с безопасного расстояния, я не задумывался, для чего это делаю. Только через некоторое время я поймал себя на противоречии: с одной сторо-

ны, мне хотелось собрать наиболее полную коллекцию твоих недостатков и тем самым избавиться от разрушающей меня зависимости; с другой стороны, я жил иллюзией, что если мы будем хоть изредка появляться друг перед другом, со временем у нас получится вернуться в те счастливые дни, когда, помнится, прошептал мне на ухо Марк Борисович: «Ах, какая вы пара!» Вдобавок за каждую возможность увидеть тебя я цеплялся, как за куст или дерево на склоне разверстой передо мною пропасти; ее темная сила и ее глубина были не сравнимы ни с чем, что я знал донныне. И хотя предчувствие подсказывало, что избежать падения не удастся, я пытался, насколько возможно, отдалить его срок.

О твоём последнем появлении в «штаб-квартире» я узнал с чужих слов (вероятно, ты приходила туда не один раз, так же как приходил и я, но, понятное дело, графики наших посещений мы не согласовывали). Ты вошла в чебуречную, впорхнув прямо из вечеряющего дня, уже не теплого, уже с крепким по-осеннему воздухом, когда лишь самые упрямые не спешат расставаться с летними одеждами. Усевшись за стол, ты заявила: «Можете меня поздравить, наконец-то я нашла того, кого искала». И так как поздравлений не последовало, ты сделалась неприятно многословной, описывая, какими возможностями, главным образом мужскими и финансовыми, обладает твой избранник. Конечно, это была ошибка: по неписаным правилам запрещалось обсуждать происходившее вне компании. На одной ошибке ты не остановилась, пустившись в объяснения, почему теперь не сможешь приходить в «штаб-квартиру». «Но это только первое время, — закончила ты, — вы же понимаете меня, девочки?» Те понимать отказывались, а прямодушная Прекрасная Незнакомка рубанула с плеча: «На фига ты устраиваешь здесь спектакль? Решила свалить, так сваливай без соплей. Удерживать не будем». Твое обращение к мужской части собравшихся оказалось столь же безуспешным. С их точки зрения, уход из компании был равносильным предательству, и если Фукса и Любовь с Первого Взгляда они все-таки простили, поскольку оба были свои, то твой поступок не подлежал прощению.

Рюрикович заказал двойную порцию пива, хотя и обычная его норма была в компании рекордной. Закурил марихуану Маэстро Вальс, что всегда служило признаком невозможности преодолеть внутренние противоречия и тревогу. Погрузилась в сосредоточенное молчание Госпожа Фабула, по-видимому, размышляя, как бы пристроить подвернувшийся сюжет для очередной миниатюры.

Это все рассказала мне Прекрасная Незнакомка, когда мы столкнулись в Русском музее — она спускалась по винтовой лестнице, я же собирался подниматься, — а после пошли в чебуречную. Мы сидели там вдвоем, и было странное ощущение от звенящей тишины, от пустоты пространства, хотя кругом было полно народу. Она пила пиво, похрустывала сухой корочкой чебурека, и я верил каждому ее слову, потому что кому как не ей легко было обозреть в обе стороны, понимая как мужчин, так и женщин и вечно находясь где-то посередине.

Оказывается, ты была коллекционером (мне сразу вспомнилась потерянная коробка с солдатиками), ты коллекционировала мужчин. В их список, который вряд ли существовал в действительности, зато в твоей памяти наверняка занимал важнейшее место, ты вносила только тех, с кем дело дошло до постели. Иные не вызывали у тебя ни малейшего интереса. В стремлении постоянно пополнять список тебя было упрекать так же глупо, как фалериста или нумизмата, если, разумеется, забыть о том, что те собирали ордена и монеты, тогда как ты гонялась за живыми душами. Инстинкт хищницы уживался в тебе с основным женским инстинктом, а именно с желанием выйти замуж. Одно даже помогало другому, ибо на пути исканий невозможно обойтись без эксперимента. Как добросовестный исследователь, обобщив весь массив данных, ты пришла к выводу, что более всего тебе подходит Фукс. И быть бы вскоре свадьбе, —

потому что такие, как ты, потратив очень много сил на подготовительную работу, никогда не отступают, — если бы у Савелия, как ты решила, не поехала крыша, в результате чего он предпочел тебе, красивой и яркой, нечто прямо противоположное — невзрачное, забытое, вечно ищущее крест или икону, чтобы помолиться. Впрочем, говорила ты недолго, судя по весьма небольшому сроку между расставанием с Фуксом и тем днем, когда ты произнесла: «Можете меня поздравить!»

Когда Прекрасная Незнакомка ушла, я остался наедине с широким блюдом, где, распластавшись, лежал чебурек, надкушенный с одного угла. Пива я не заказывал, зная наперед, что облегчения от этого не будет, в лучшем случае навалится тяжелейший сон, а вместе с пробуждением к боли душевной добавится еще и телесная. А может, чем больше боли в начале, тем скорее она пройдет?.. Или не пройдет, что в равной степени вероятно, или только усилится и станет, как знать, неизлечимой болезнью...

То, что последние фразы я произносил вслух, сообщил мне подсевший за стол Циркач: «Ты чего сам с собой-то? Что-нибудь случилось?» Его обыкновенно веселое лицо выглядело озабоченным и вместе с тем печальным. Делая в паузах крупные глотки из пивной кружки, он говорил мне о том, что устроился в цирк чернорабочим, что по вечерам уже холодно, что, похоже, наша компания распадается и некролог на ее смерть напишут Рюрикович с Госпожой Фабулой, чья скорая свадьба уже ни для кого не была секретом.

Потом мы шли с Циркачом к метро вдоль широкой кленовой аллеи. После выпитого он стал разговорчив и без устали восхищался то багряным закатом, то свежестью воздуха, то тем, как деревья меняют свой цвет. И все время слышалось: природа, природа... «Секс на природе», — вспомнилось мне если не к месту, то ко времени. Циркач тут же подхватил, заявив, что наконец-то «врубился в Бунина», после того как прочитал «Митину любовь». Лучше бы он этого не говорил! Даже когда мы расстались, в моей голове продолжало крутиться невольно запущенное Циркачом колесо воспоминаний...

Я видел себя подростком, читающим томик Бунина, чувствовал, как подкатывает к горлу комок от невозможности помочь Мите, стоящему на краю гибели, и помнил всякий оттенок его мучительной любви, а главное, помнил, как в конце повести он достал из ящика ночного столика револьвер, затем, «глубоко и радостно вздохнув, раскрыл рот и с силой, с наслаждением выстрелил». Да, я помнил все, а эту финальную фразу даже выучил наизусть, но откуда в те юные годы мне было знать, что история Мити станет и моей историей (разве что предположить, исходя из жуликоватой теории, доказывающей, будто люди с одинаковыми именами имеют и схожие судьбы). Если раньше я смотрел на Митю словно бы издали и определенно снизу вверх, то сейчас мы были на равных, и вопрос, на который он ответил одним выстрелом, вставал передо мною в своей жуткой простоте и неотвратимости.

## 7

Уже много лет, как я женат, счастлив (насколько это вообще возможно для человеческого существа, приговоренного к пожизненному сроку с наказанием пытками). Казалось бы, зачем, пусть и в воспоминаниях, возвращаться туда, где был не любим и до такой степени одинок, что даже не мог представить обстоятельств, при которых появился бы рядом со мною друг или хотя бы близкий товарищ? Что на это ответить... Порой помнишь незначительное — будь то трухлявое дерево где-нибудь на болоте или оброненную в пустячном разговоре фразу, — помнишь гораздо лучше, чем казавшееся чрезвычайно важным до тех пор, пока течением лет не отнесло его в самый хвост выстроившихся по ранжиру событий.

Не скажу, что, вспоминая нашу тогдашнюю компанию, мне пришлось очень далеко возвращаться, однако и коротким мой путь не назовешь. Память, моя вечная спутница, не изменявшая мне ни разу, оживила затертые временем места, разбитые, словно на античной скульптуре, лица, вернула былой облик домам, аллеям, скверам. И зашагали и заговорили там и сям — наивные и дерзкие, ироничные и злые. Я не хочу вас видеть, потому что любые поправки исказят сохраненные памятью образы, но я хочу знать — где вы?..

Мы нашли друг друга в социальных сетях, так нынче принято. Скука, желание вновь почувствовать себя молодыми и даже вернуть ушедшее безвозвратно — что только не движет теми, кто барахтается, как рыба, в сетях, будучи не в состоянии понять, что улов вытаскивают отнюдь не галилейские рыбаки. Любопытство и ничего более заставило и меня посмотреть, как выглядит теперь генералитет, заседавший прежде в «штаб-квартире». Одних было не узнать, другие изменились мало, а третьи, хоть и вполне узнаваемые, все-таки больше всего напоминали пародию на самих себя.

После семи лет совместной жизни Рюрикович и Госпожа Фабула, якобы из-за его измен, развелись, и он теперь работал в юридической конторе, куда, очевидно, его пристроил отец, а она была редактором в издательстве. Другой брак сохранился, надо полагать, благодаря скрепляющему действию церковных уз, так что Фукс с некоторых пор возглавлял союз православных активистов, куда, само собою, входила и Любовь с Первого Взгляда. Одинокая, что, видимо, было написано на роду, Прекрасная Незнакомка работала в Русском музее, и на ее экскурсии, говорят, люди записывались на месяц вперед. Несмотря на все неудачи предыдущих попыток, которые сломали бы кого угодно, но только не его, Циркач продолжал мечтать о цирке, перебиваясь случайными заработками. Слишком чувствительный к мелким неприятностям, Маэстро Вальс, судя по всему, катился по наклонной плоскости в обществе наркоманов и пьяниц, чья тонкая душевная конструкция, точь-в-точь как у него, не выдерживала испытания социумом. Преподавал в университете Врубель и писал диссертацию, которая обещала наделать шума в ученом сообществе. Жена Дон Кихота нарожала ему четырех детей, все «дон кихотики», так что было непонятно, чем, кроме семьи, он занимается.

Не скрою, больше всего меня интересовало, кем стала ты, каким видишь наше общее прошлое. Увы, тебя, единственной, в соцсетях не оказалось. Из переписки с друзьями я узнал, что ты трижды выходила замуж и всякий раз мужья были из состоятельных. На этом достоверная информация исчерпывалась, остальное относилось к рубрике «по слухам». Кто-то утверждал, что ты уехала с немцем в Германию, кто-то — что в Южную Америку, только без немца. Были и более патриотические варианты: ты открыла собственную парикмахерскую, у тебя доля в «юверилке», как выразилась Госпожа Фабула.

Мне было жаль. Я собирался написать тебе о том, что произошло в тот погожий осенний день, который, сложись обстоятельства иначе, должен был стать моим последним днем. А потом решил: зачем терзать твои чувства, дергать за веревочки, концы которых давным-давно обвисли? Живи безмятежно, моя первая любовь!

Каким бы странным это ни казалось, я был благодарен тебе за твою жестокость, за твой обман, за насмешки, за то, наконец, что не знал твоего теперешнего адреса, куда бы мог сгоряча написать. Говорю — сгоряча, поскольку ни секунды не сомневаюсь, что будь ты в Германии, Южной Америке или подсчитывая доходы за директорским столом в парикмахерской, письмо вызвало бы у тебя лишь беглый интерес, когда прочитано и тут же забыто. Хотя допускаю и даже слышу твой игривый голос, обращенный к очередному мужчине со средствами: «Здесь такое забавное, из прошлого!.. Вот

почитай, особенно это место», — после чего вы, двое знающих правила жизни людей, смеетесь над наивностью того, кто не знает. Точно так же смеялась ты вместе с другим мужчиной, хотя, по сути, всегда одним и тем же — много лет назад, среди вещей, собранных из разных времен и концов света...

После того как мы простились с Циркачом, ноги сами собой привели меня к метро «Ломоносовская». Где как не здесь, шептал я, где как не здесь. Вдали выросстал Володарский мост, соединявший «наш» берег с «твоим». Мысленно я уже был там, чувствовал огромную высоту между краем моста и текущей внизу холодной невской водою.

Едва я пересек улицу и оказался перед чередой магазинчиков и лавок, как меня окликнули. Не обращая внимания, я двигался к своей цели, пока кто-то не тронул меня за плечо, — и, оглянувшись, я узнал Марка Борисовича. «Вышел на улицу покурить, — сообщил он, — а тут вы идете». Он увлек меня за собой, на ходу о чем-то рассказывая своим «антикварным» голосом. Мне было все равно: какая-то дурацкая пауза, Марк Борисович, почему, зачем...

«...И ваша девушка снова сдала ее. С нею был какой-то мужчина, они много смеялись», — закончил он фразу, начало которой ускользнуло от меня. Во все глаза я смотрел на полку над прилавком, и медленно, очень медленно до меня доходил смысл сказанных антикваром слов. Собственно, слова были не так важны, потому что я видел шарманку, стоявшую на прежнем месте, только поменявшую соседа: медный самовар вытеснила чаша с огромными ручками. Видимо, в силу любви к антикварным предметам, а может, желая на свой лад сделать мне приятное, Марк Борисович запустил шарманку. Под звуки гимна Российской империи я думал о том, что вряд ли тебе понадобились деньги, скорее, это была одна из тех злых забав, когда есть зритель и есть тот, пускай и отсутствующий, чья очередь исполнять роль шута.

Как только музыка смолкла, я переспросил: «Смеялись?» — на что «догадливый» хозяин антикварной лавки заявил, что он полностью согласен со мною: нельзя издеваться над собственной историей, какой бы она ни была. Он хотел было встать за прилавок, но упал, споткнувшись о ступеньку лестницы, и с какой-то юношеской поспешностью вскочил, уронив при этом миниатюрный бронзовый подсвечник, поднимая который снова споткнулся и снова вскочил, а после, наверное с недоумением, смотрел на меня, когда, прикрыв рот руками, я все-таки не мог сдерживать рвущийся наружу смех; он не умещался во мне, настолько был огромен и вездесущ, и захватывал поочередно помещение лавки, улицу с ее пешеходами и транспортом, вестибюль метро, эскалатор...

Я ехал домой, по-прежнему качаясь на волнах смеха, с той лишь разницей, что теперь смех бился где-то внутри, непрерывно и мелко. До сих пор не могу понять, что его вызвало — то ли невпопад сказанное Марком Борисовичем, то ли его «чаплиниада», то ли так звучали натянутые до предела нервы, — только знаю одно: этот смех спас меня от гибели.

Когда прошло достаточно времени, чтобы при всяком взгляде назад душа уже не обжигалась, я начал размышлять, каким же смыслом наполнить пугающие своей пустотой дни и месяцы. Все, что бы я ни находил, даже в своей совокупности представлялось ничтожным, пока мне на ум внезапно не пришла мысль: что стало бы с бунинским Митей, переживи он свою первую любовь?

Я долго раздумывал, представляя Митю то помещиком, до конца своих дней живущим в уединении, то, напротив, окрепшим после случившегося человеком, возможно, весьма деятельным и счастливым, прежде чем заметил, что миновал месяц, и другой, и третий, а я жив и что собственной жизнью уже отвечаю на этот, казалось бы, сугубо литературный вопрос.

---

---

## Михаил СИНЕЛЬНИКОВ

### ДЕВЯТНАДЦАТОЕ НОЯБРЯ

Сонный день деревьев голых  
Безучастен и безлиц.  
Кучи листьев — ветер взмел их,  
Утро каркающих птиц.

День зловещий скорпионий,  
И тогда таким он был.  
Разве только обреченной  
Средь прославленных могил.

В лавре Александро-Невской,  
Где усопшие сильны,  
В бесовщине Достоевской  
Был роддом после войны.

Вот, поправивши пеленку,  
Понесли меня волхвы,  
И летит еще вдогонку  
Ветер лавры и Невы.

### ХОЛОДНО, ГОЛОДНО

Что-то в каморке скрипело,  
Дряхлая бабка зимой  
«Холодно, голодно... — пела, —  
Холодно, голодно, ой!»

Песенку ныла все ту же,  
Тот же назойливый стих,  
Вышедший в сырость из стужи,  
Из голодовок былых.

---

Михаил Синельников родился в 1946 году в Ленинграде. Ранние годы провел в Средней Азии. Живет в Москве. Автор 30 поэтических сборников, сотен статей о поэзии, переводчик классической и современной поэзии Востока, составитель многих хрестоматий и антологических сборников. Стихи переведены на многие языки, отдельными книгами вышли в Черногории, Румынии, Японии и Турции. Академик РАЕН и Петровской академии, лауреат премии Бунина, премии Дельвига, премии Арсения и Андрея Тарковских, Государственной премии Таджикистана имени Рудаки и многих других отечественных и зарубежных премий.



Но и при старом режиме  
Было не сахар, пойми!  
Тяжко в ночлежке с чужими,  
Тягостно в людях, с людьми.

Ты бы — швея и прислуга —  
В жизни была и другой,  
Где петербургская вьюга  
За ленинградской пургой.

Там заблудился Некрасов  
В шубе на рыбьем меху  
И, отощав без припасов,  
Приноровился к стиху.

Малость в трактире согретый,  
Ходит сюда не впервой,  
Чтоб, заслонившись газетой,  
Ситник глотать даровой.

\* \* \*

А. А. А.

К ней привязан еще и особо,  
Ведь ее подневольный Ташкент,  
Край кочевника и хлопкороба, —  
Область былей моих и легенд.

Возвращаясь туда беспрестанно,  
Я ль не знаю, той пылью повит,  
Как сухая жара Туркестана  
Истязает и душу целит!

Звездным небом и людным базаром  
Все придавлено детство мое  
И овеяно тем же угаром,  
Удушая, спасавшим ее.

\* \* \*

Родители и прародители  
Внесли в лицо свои черты.  
Попробуй всех узнай, и выдели,  
И вызови из темноты!

Мой сон — о барине и ратае,  
Купце, кочевнике, писце...  
Дорога им далековатая,  
И я стою в ее конце.

Прошли бы предки вереницею,  
Такому отпрыску дивясь!  
И только с бабкой-кружевницею  
Все чаще ощущаю связь.

Нет сил для вымысла досужего.  
Упорней с некоторых пор  
За жизнью жизнь вплетаю в кружево,  
Всю пряжу дней ввожу в узор.

### ГОЛОСА

Уже давно живешь не с нами,  
Лишь иногда взрываешь тишь,  
Звенишь своими голосами,  
По телефону говоришь.

И осуждающе надменен  
Обычный голос, а другой  
В своей тревоге безвременен,  
Овеян жизнью и пургой.

Такой он жалобный и шаткий,  
Дрожащий, детский, словно ты  
Проснулась и кричишь в кроватке,  
Перепугавшись темноты.

\* \* \*

Гусь Железный, Гусь Хрустальный...  
Карту осень занесла  
Стариной многострадальной,  
Корнесловьем ремесла.

Вот и время листопада,  
Подступают холода,  
И одна тебе отрада —  
Мир смиренного труда.

От забот и пересудов,  
Рассыпающихся строк,  
Может быть, собратся в Чудов,  
В дивный город-городок.

Наклонилась над фарфором  
Там художница одна,  
И любитесь узором,  
И сама изумлена.

И выводит легкой кистью  
Чье-то имя наугад,  
И алеющие листья  
Сквозь столетия летят.

\* \* \*

В потемках душных караван-сарая,  
Как будто бы в аду или в раю,  
Рассказывал бродяга, умирая,  
Случайному соседу жизнь свою.

Нет встреч случайных, есть судьбы причуды!  
Теперь обязан слушатель нести  
Завет Христа, или ученье Будды,  
Иль только мысль, возникшую в пути.

В каком еще мне ночевать отеле?  
Чьим попеченьем взыскан и храним?  
Все говорю с неведомым доселе,  
Невидимым читателем моим.

---

---

Владимир КАНТОР

## ПОХОРОНЫ ДЕДА АНТОНА

Новелла

Дед умер в шестьдесят семь лет. Мне он казался очень старым. Дед Антон приезжал иногда в нашу профессорскую квартиру навестить дочь и внука. Ходил, опираясь на рукоятку трости, если так можно назвать самодельную сучковатую палку с рукояткой. Трость он сделал сам из сломанной ветки лесной осины. Иногда останавливался, доставал из бокового верхнего кармана полувоенного кителя трубочку, в которой он хранил мелкие таблетки нитроглицерина, клал одну под язык. Стоял минуты три, потом шел дальше, поглядывая, не найдется ли что-то выброшенное, что пригодится для его мастерской. В его сарае у него были верстак, топор, молоток, пила, рубанок, ящик с отделениями для гвоздей разных размеров. Шел 1965 год. Хотя дед был старым, он продолжал игриво поглядывать на молодых женщин с детьми, гулявшими во дворе. Особенно ему нравились молодые жены наших профессорских сынков. Как-то одна милая блондинка в голубом пальтишке, с которой я всегда здоровался, улыбнулась мне, а дед приосанился, даже на палку перестал опираться и с завистью сказал: «Ишь, какие девушки на тебя внимание обращают». Мне было лет тринадцать, а ей под тридцать, и про амур мне даже в голову не приходило.

Впрочем, и дед Антон больше хорохорился. Мужчина всегда молодеет, когда видит хорошенькую женщину.

Лежали там и струганные им доски, светлые после снятой с них стружки. Он мастерил для меня скворечники и другие поделки, которые требовала с мальчика классная руководительница. В этом смысле дед был надежный помощник. Но порой прямо дикий и нервный. Когда он злился, то хватал свой солдатский ремень и пытался перетянуть то меня, то моих двоюродных братьев — Сашку и Тошку — этим ремнем по заднице. Юркий Тошка как-то даже выскочил из окна в палисадник, благо комната находилась на первом этаже. Меня, как старшего внука, сына любимой ученой дочери, бабушка Настя прикрывала своим телом, вертясь перед дедовским ремнем, подставляя свою нижнюю часть. «Ну ты, потатчица! Убери свою хлебницу! Дай я его достану!» Но бабушка все равно продолжала потакать и прикрывать мальчика собой. «Это же Танин сын!». Дед мою маму тоже любил, она унаследовала его страсть к биологии: ведь он разводил разные сорта, скрещивал их. Лысенко тогда писал о невозможности скрещивания, ибо получаются в результате мутанты. Но у деда все получалось классно.

Коммуналка, в которой жила мама с родителями, сестрой и братом, находилась на первом этаже двухэтажного домика, в середине квартиры — выгребная яма для

---

Владимир Карлович Кантор — доктор философских наук, профессор философского факультета НИУ-ВШЭ. По версии журнала «Le Nouvel Observateur» (2005) — один из 25 крупнейших мыслителей современности.

большой нужды, бабушка Настя меня всегда туда сопровождала и держала за руку, чтобы я не рухнул вниз. Туалетной бумаги не было, была газета, которую бабушка долго мяла, прежде, чем приняться за вытирание моей задницы. Раз в месяц приезжала машина с большой гофрированной трубой, которую мальчишки называли «говно-воз», трубу запускали в выгребную яму, и, причмокивая, машина отсасывала дерьмо, пока не заполнялся контейнер.

Папа в подражание Данте написал «Таниаду» в стиле «Vita nova», стихи, перемежаемые прозой, история их с мамой любви. В том числе и о мамином жилье. Мама жила в Лихоборах, неподалеку от насыпи Окружной железной дороги. Название говорящее. Папа писал: «Кроме Таниной семьи, в этой, с позволения сказать, квартире жили еще две точно в таких же конурах Все это были беженцы — из подмосковных деревень, середняки, которых по произволу властей могли раскулачить. Семья моей Тани состояла из пяти человек: отец-шофер, мать-учительница младших классов, две взрослых дочери — старшая на выданье за балтийца-моряка, Таня — ученица средней школы, только в 7 класс переехавшая из своего сельского рая на околицу Москвы, в лихоборскую дерьмовщину. Родители спали на одной однорядной кровати, старшая, корпулентная сестра на столе (для раскладушки не было места), Таня — на диване, куда складывался, за неимением шкафа и буфета, весь домашний скарб, братишке стелили матрас и простыни с подушкой на полу. Как в этих условиях Таня могла заниматься, объясняется тем, что она повелевала семье замолчать, когда готовила уроки, а для своих тетрадей и учебников выкраивала край стола. Всегда скромно одетая, чаще всего в темно-синем габардиновом платье с белым воротничком, всегда чистая, аккуратная, всегда готовая отвечать на задания, ни у кого не списывая, не ожидая подсказки (что было среди учеников повально распространено), она училась отлично. С тех пор, а может быть, и раньше ее правилом стало „опираться на собственный хвост“. С этим правилом она прожила всю свою жизнь до последнего дня. „Не надо мне помогать, я все это лучше сделаю сама“».

Так и приходилось ей делать всю жизнь. Но что меня поражало и до сих пор поражает, что ни сестра, ни брат дальше учиться не хотели. Мама училась на кафедре генетики. Вспоминая мамину родню, удивляюсь, как в пределах одной семьи, от одних родителей, произошли такие разные дети. Но главное, почему вдруг при прочих равных условиях только у мамы возникло желание стать ученым, получить высшее образование. Как родилось такое целеустремленное движение деревенской, по сути, девочки? Конечно, баба Настя — учительница и читательница толстых книг, дед Антон — садовод по призванию, но и брат, и сестра имели тех же родителей. Тут без генетики и впрямь не разберешься.

Дядя Володя окончил семилетку, когда бабушка Настя его корила, что, мол, Таня учится, а Лена — девушка, у нее жених хороший, а парню нужно образование. Дед молча кивал головой. Но все впустую. Дождавшись восемнадцати лет, дядя Володя ушел в армию, попал на Курильские острова, но там не потерялся, сошелся с дочерью поварихи, сделал ей ребенка, женился. И жил неплохо. В середине пятидесятых вернулся в Москву с женой и дочкой. Правда, месяца через два он с курильской женщиной разошелся и отправил ее назад на Курилы. Бабушка Настя рассказывала, что Володька всегда был находчивый. Еще подростком лет шестнадцати они шли вечером домой, а Лихоборы — не место для вечерних прогулок. Их окружила шпана, но Володька умел *по-ихнему* разговаривать, отболтался, и его отпустили. А приятеля зарезали.

Еще две детали из его московской жизни, до похорон отца. Он нашел женщину с квартирой, завуча средней школы, по имени Алла Михайловна. Крупная, выше дяди на голову, очевидно истосковавшаяся без мужчины, она, как могла, заботилась о нем. Никто из родственников ее не признал, хотя она нашла ему работу завхозом в своей

школе. Как-то я принес ему от мамы какие-то бумаги. Он вышел открыть дверь, прикрываясь полотенцем, улегся снова нагишом на кровать и принялся листать бумаги. Под кроватью валялись использованные презервативы. «А девушка у тебя есть?» — спросил он, закончив перебор бумаг. Я смутился, мне было пятнадцать лет. И воспитан я был так, что о делах сердечных молчал. Тем более что дядя хотел знать, трахаюсь я или нет.

Разбирая после смерти родителей их бумаги, я наткнулся на стопку маминых писем, засунутых в старый, уже желтый конверт. Письма были удивительные, будто новая Элоиза писала своему Абельяру, профессорскому сыну, я их приведу, но по очереди. Вот мамино воспоминание:

После посещений твоих родителей целая полоса сомнений в своем уме, развитии. Я ведь деревенская до семнадцати лет. Что о моем детстве? Росла в деревне. Сад. Яблони. Яблони. Любила лазить по яблоням за еще зелеными и потом зрелыми яблоками.

За это часто ругал папа, т. к., лазя по яблоням, обламывала маленькие побеги. Вишни, сливы, смородина! Хотела бы я сейчас побывать в таком же саду!

*Маленькое отступление от маминого письма. Сам дед, пересказывая эпизод с маминым падением с яблони, добавлял: «Она ветку сломала. Иду, смотрю — ревет и пыталась слюнями ветку назад к стволу приклеить. Я посмеялся, спрашиваю: «Что, отшибла доньшко?» Она увидела, что я не сержусь, заулыбалась, слезы высохли.*

Весна! Ручьи, проталины, первая травка, цветение сада!

Осенью сбор яблок. Летом сушка сена, лес, грибы, ягоды.

Осенью любила лазить по рябинам за охваченной первыми морозами рябиной. В саду забираться на самую верхушку яблони за чудом уцелевшими яблоками. Зимой учеба у мамы и катание на салазках и ледянках.

Помню, однажды, чуть не уехала куда-то, прицепившись к каким-то проезжавшим саням, а отцепиться никак не могла.

Помню, еще во 2-м классе прислал мне один мальчишка Петя Ипатов письмо, в котором объяснялся в любви. Лена меня потом дразнила этим до слез.

Когда была еще совсем маленькой, научилась, мамыны старшие ученики играли со мной, называли «золотой девочкой». Я забиралась с ними в класс и таскала мел. Спрячусь за доску и там грызу его.

Зимой около школы (она была на окраине деревни) строили крепости, лепили снежных баб.

Весной в пруду около школы ловили лягушечью икру.

Лежали в нем, купались и рвали кувшинки.

Или как хорошо ехать зимой в лесу на санях! Какая прелесть ехать по дороге, ограниченной заснеженным лесом. Мама ездила на какие-нибудь конференции, забирала меня с собой. Закутает в тулуп, сама правит лошадьми. Ох уж эти запряжки! Сколько с ними было курьезных случаев. То кольцо соскочит, то повозка сломается, то лошадь распряжется. Лошадь у нас была серая. По кличке Ласик. А корова Нювинка — белая, хорошая. Но очень своенравная. Интересно было за ней ухаживать, вернее, наблюдать, когда она была еще телянчком.

Тебе все это незнакомо, городской житель.

Я хотела бы, чтобы наши дети уезжали на лето в деревню. Но такой деревни, какая была у меня, у них не будет. Мы же жили там все время.

Деревня называлась Покоево, находилась в Истринском районе Московской области, купеческом районе центра России. Года три мы ездили туда на лето, последний раз, когда мне было тринадцать лет, а Сашке двенадцать. Младшего, Антошку-Тошку, тетя Лена отправляла в пионерлагерь. В деревенском доме, поплотнее, чем был у деда (как считала мама), жила его сестра Пелагея, тетя Поля. Высокая, костистая, носившая все

лето один и тот же мужской пиджак, она редко улыбалась, смеялась как-то очень резко. Из двоих сыновей старший ушел в армию и в деревню не вернулся. Сестра-погодок была красавица (рассказывала мама), тетя Лена добавляло грубо: «Завела себе любовника, забеременела, так любовник, местный мужик, ее косою в живот ударил, убил и ее, и ребенка». Второй сын Костя был нетверд разумом, и тетя Поля нашла ему молодку Олю, правил, видать, не очень твердых, она родила двойню, мальчишек, кормила их не вставая из постели. И как-то ночью одного из младенцев «заспала» (первый раз я услышал это слово), во сне придавила своим жарким телом, младенец и задохнулся. «Нам теперь легче будет», — оправдывал Костя жену Ольгу.

Деревенская сексуальность, как теперь понимаю, вполне стоила городской. Еще про деда Антона бабушка Настя рассказывала историю. Только они поженились, дед с Первой мировой вернулся, был ранен, вернулся с Георгиевским крестом (который потом бабушка прятала), завидный жених, и выбрал лучшую из невест, сельскую учительницу Настеньку. После свадьбы свекор выделил молодым верх избы, а на третью ночь под утро поставил лестницу и полез к ним, желая попробовать молодуху. Но дед все же бывший солдат, встал над лестницей с топором в руках и сказал: «Батя, еще шаг, я тебе голову топором развалю!» Попыхтев, батя полез вниз со словами: «Ах ты, б... сын, все равно по-моему будет». Тогда-то дед и поставил свой собственный дом.

На фотографии дед Антон с отцом, который словно появился прямо из купеческих персонажей Островского, рядом младший брат, модник деревенский, а младшую сестру Пелагею, видимо, сочли недостойной для фотографирования. А может, фотограф за каждую личность брал отдельную плату? Прадед был богачей, держал извоз. По деревенским понятиям очень богат. И чувствуется по фото, что он понимает себя как хозяина всему. Он показывал сыновьям накопленные им бумажные деньги, которые тогда обеспечивались золотом. Были там десятки тысяч. Сыновья просили доли, чтобы каждому по одной четвертой, а сестру Пелагею они берут на себя. Дед Антон был старший, на германской был ранен, вернулся с солдатским Георгием, и прадед его немного уважал. Но и ему он жестко ответил: «Умру, все ваше будет, а не жидовская одна четвертая. Пока тебе и Сереге могу дать по екатериненке, то есть по сотенной, а Пелагее червонец — красненькую».

Сыновья примолкли. Рассказывая эту историю, дед гладил по волосам любимую дочку Таню, мою мать, и говорил: «Эх, были бы вы с Леной богатыми невестами, если бы батя не оказался таким сквалыгой». А бабушка Настя, смеялась: «Хитрец оказался отец Антона. Он в начале семнадцатого помер, дети все перерыли, ничего не нашли, в начале восемнадцатого заезжие мужики прослышали, что Бубашкины из богачев, брата Сергея убили, избу его сожгли, потом пришли к нам, но нас никого дома не было, все перерыли, ничего не нашли и избу нашу тоже спалили. Дед начал избу отца переключивать и в щелях между бревен нашел забитые, завернутые в газетки бумажные купюры». В детстве я играл в эти бумажные деньги. Было много красненьких — десятирублевков, штук шесть екатеринок — сторублевков, одна купюра в десять тысяч, две по пять. До революции — это были очень большие деньги, дойная корова стоила примерно полтора рубля. Уже позже, когда я подросток, а бабушка пыталась рассовать свои мелкие драгоценности, она их все тайком отдавала маме.

Дед продолжал держать извоз, но уже понимал, что время изменилось. Редкая способность — чувствовать движение времени, его перемены. У деда эта способность была очень развита.

Но, продолжая тему деревенского секса, должен рассказать одну стыдную историю. Мы гуляли с Сашкой по деревне, вдруг к нам подплыла шайка парнишек лет тринадцати-четырнадцати. Мы стояли недалеко от дома тети Поли. И все же старший

из деревенских спросил: «Кто такие? Городские?» Мелкая шестерка ответил: «Они к тете Поле. Но московские». Чубатый вожак, старший, примерно моей комплекции, сказал: «К тетке Поле? Все рано московские, надо бы их отоварить». И тут неожиданно в толпу мальчишек вошла мама. Губы были в ниточку (признак ярости). Она уже пережила войну, рытье окопов, университет, умирание от сепсиса старшего сына, то есть мое умирание, отчаянную борьбу за жизнь младенца, разгром генетики, когда три ее профессора, затравленные народным академиком Лысенко, покончили с собой, а она ушла из научных работников в чернорабочие — и ничего не боялась. Но правее понимала, заступаться не стала, предложила схватиться один на один — вожака со мной, а второго крупного с Сашкой. И тут сдрейфили деревенские: «Да они же к тете Поле приехали, значит, свои. Приходите вечером на поле, в футбол погоняем. А сейчас можем и в веснушки, вон только коров через деревню прогнали». Коровы шли, оставляя за собой лепешки коровьего говна. Надо было подбежать и ударить пяткой так, чтобы брызги от этой лепешки полетели в физиономию противнику, который отвечал тем же. От веснушек мы отказались.

Мама ушла. А оказывается, эту сцену наблюдала молодая жена слабоумного Кости. И в ней разыгрался аппетит. Она помахала нам, мол, подите сюда. Мы подошли, чувствуя, что нас влекут в неизведанное. Ольга зазвала нас с Сашкой в сарай на сено. «Зовите меня Олька, по-родственному», — сказала она. И почти сразу завалила нас в сухую, душистую, недавно скошенную траву, задрала юбку и принялась совать туда наши руки. Мы ничего не понимали, не знали, что делать. Тогда Олька, расстегнув наши брючки, ухватила наши молодые уды, но мы так перепугались, что никакой эрекции не почувствовали. Но появилась тетя Поля, видевшая, куда невестка отвела внуков ее брата: «Ах ты, про..., — зорала она. — Пошла вон, а то сама пришибу тебя, раз Костька не может». Больше мы в Покоево до смерти деда не ездили.

У нас в Лихоборах были подружки, у меня Аллочка, у Сашки Тома — девочки из дома напротив.

Отношения более чем целомудренные, даже не целовались, тем более не лапали своих подружек. Такое даже в голову не приходило. Как-то в школе одноклассник Толик Пэсеров, с черными жесткими волосами, зачесанными вперед, проходя мимо симпатичной мне девочки, сунул ей руку под юбку, подержал там, так что она согнулась, но ничего не сказала, даже не ойкнула. Толик спокойно вышел из класса. Он любил спросить на улице девушку в вязаной шапочке: «У тебя волосы какого цвета?» Та простодушно отвечала: «Каштановые». Он ухмылялся и продолжал допрос: «А на голове?» Девушка краснела и убегала. Так и с Клавой Мотылевой, которой он сунул под юбку руку. Сделал это на спор, а у подоконника сказал склонившимся к нему ребятам: «Ну вот и потрогал я Клавку за ...». Я был в шоке. Мне все равно казалось, что он врет, какой-то дурной розыгрыш. Но Толик, увидя мое ошарашенное лицо, ткнул кулаком в плечо: «Ты что, они сами это хотят». Лишь много позже я убедился в правоте его слов. Мне мама без конца твердила, словно я был девочкой: «Никому не давай поцелуя без любви». Так я себя и вел.

Почему-то мы говорили, когда ехали в Лихоборы, что едем к бабушке Насте, а не дедушке Антону. Все же она делала погоду в доме. А дед занимался своим палисадником, слабым подобием его огромного сада, который ему пришлось в 1929 году оставить и переехать поближе к Москве. Вначале они жили в подмосковном Тропареве, потом, когда дед стал шофером при реввоенсовете, им дали комнату в этой страшной коммуналке в Лихоборах. В палисаднике были столик, маленький стул, лично дедовский, и скамейка, на которую он усаживал гостей.

Палисадник был любимым местом деда. Прямо в палисадник выходило окно их комнаты. Маленький прямоугольник земли, длиной в десять метров, был обихожен, как



ни один сад. Росли две яблони и две груши, на которых были разнообразные подвои, кусты крыжовника и смородины. Он умудрился поставить там и маленький навес от дождя. Вдоль заборчика он пустил малину. Конечно, мама стала биологом, генетиком, селекционером следом за своим отцом. Но не только, была еще профессорская семья, семья отца, и свекор — профессор геологии и минералогии. Биофак она выбрала сама, но кафедру генетики ей насоветовал папин отец. Как написано в «Таниаде», «Посоветовал Тане предпочесть кафедру генетики мой отец, ибо, как геолог и минеролог, знал — отчасти и наблюдал — действие генетических законов в преобразовании горных пород и сложении разных по плодородию почв. Он давно уже склонялся к выводу, что законы генетики универсальны. Его другом в Академии был известный генетик Антон Романович Жебрак, не отрекшийся от генетики. Однако для генетики наступали черные дни. Лысенко готовился к своему одобренному Сталиным докладу на сессии ВАСХНИЛ в августе 1948 года. А пока подбивались организационные выводы, Таня закончила МГУ и получила звание младшего научного сотрудника». Но дед Моисей умер в 1946 году, тоже 67 лет, и дальше по научной дороге мама шла сама. Надо сказать, что Жебрак жил в соседнем подъезде. Мы здоровались при встрече, а с его сыном Борисом я немножко приятельствовал. Очень часто я видел, как мама помогала деду Антону подвязывать подвой. Практическая школа у нее была настоящая. «Без садика своего я помру», — говорил дед Антон. Когда генетику разгромили, а именно в августе всех представителей биологически «вредной буржуазной науки» генетиков разогнали кого куда. Папа писал: «Сокращали с работы крупных, с мировым опытом, ученых по причине „научной несостоятельности“. Закрывали Институты, Кафедры, Научные лаборатории. Таня ни разу не пожалела, что выбрала эту гонимую кафедру. Среди ученых разочарование было сокрушительным: профессор Собинин кончил жизнь самоубийством, проф. Голубев умер от разрыва сердца». У мамы было два профессора, которые ее вели, не отказавшиеся от генетики, — Навашин и Раппапорт. А потом, спустя лет тридцать, вывела *земклунику*, и лучший ее сорт назвала в честь Раппапорта — Рапорт. Мама была верным человеком. После погрома ей предложили отказаться от них и перейти к правоверному лысенковцу. Мама сжала в ниточку губы, как всегда делала, сердясь, и ответила, что учителей не меняют. И ее сразу перевели в лаборантки — мыть пробирки. Наступали плохие годы. Душу мама отводила в палисаднике отца, туда же привозила и меня, а тетя Лена — сына Сашку.

Внуков бабушка Настя и дед Антон усаживали на скамейку, и мы на довольно-таки грязной улице дышали садом, яблоками и грушами.

Мы были в матросках, потому что моряк дядя Витя, муж тети Лены и отец Сашки, был нашим кумиром. Мама хоть и была младшей, но характер был такой, что и брат, и сестра ее слушались. Ее старшая сестра Лена завела роман с балтийским моряком, потом дважды выходила за него замуж. Я, когда это услышал, не понял, почему дважды. А просто: у офицеров было два важных документа. По паспорту он женился на тете Лене, потом командировка во Владивосток, где застрял на несколько месяцев. У тетки заскребло на сердце, она долго добиралась туда, добралась через два месяца, накануне его новой свадьбы — по военному билету, там штампа загса не было. При этом человек он был храбрый, подводник, которым, когда в лодку попала торпеда и она стала тонуть, по приказу капитана выстрелили из родного торпедного аппарата. Выстрелили им и еще двумя тонкими ребятами, трое суток их носило по Северному морю, потом их случайно увидели с советского катера и подобрала. Получил орден. Они с тегей Леной еще раз поженились, и год спустя после меня сына Сашку родила тетя Лена, старшая мамина сестра.

Но его любвеобильность стала толчком к переменам в жизни бабушки и дедушки, да и в жизни тети Лены и дяди Вити. Братья (Сашка, Тошка) пережили это спокойно. А вот организм деда получил сотрясение. Как странно вяжутся узлы жизни.

Дело в том, что мой дядя, муж тети Лены контр-адмирал Виктор Петров жил с женой и двумя сыновьями в одной комнате двухкомнатной квартиры. Другую комнату занимал его сослуживец грузин Гургенидзе с молодой женой, русской, нерожалой, как говорят в народе, и, судя по рассказам, очень податливой, как в песне про неверную жену моряка: «Расскажи мне, скольких ты ласкала, сколько рук ты знала, сколько губ, трижды развращенная жена». Блондинка, гибкая, пухлогубая, широкобедрая, ходившая в коротких легких халатиках, в которых ее формы смотрелись вызывающе. Даже я как-то увидел, как дядя Витя, глядя на соседку Маргариту, облизнул сухие губы. Случилось то, что и должно было случиться. Когда муж ее был на дежурстве, жена соседа Маргарита пригласила дядю Витю в комнату чаю попить. Дети были в школе, тетя Лена уехала навестить родителей — раздолье! Так и случился их роман. Женщина оказалась страстной, да и дядя Витя уже утомился от своей располневшей жены, тети Лены со слоновьиными ногами.

Романом это назвать трудно, но случки происходили, по меньшей мере, пару раз в неделю. При том, что коридорчик был узкий и небольшой, она, проходя мимо дяди Вити, старалась молодым своим телом прикоснуться к нему. Когда же она встречала взгляд тети Лены, то смотрела поверх ее головы, словно не видела, будто эта особа не стоила внимания. Мама, как-то посмотрев на переталкивания дяди Вити с соседкой, сказала сестре: «Ты бы эту кошку за космы оттаскала». Но тете Лене, тяжелой от толщины, мир был важнее. А может, боялась, что муженек махнет резко на сторону. А тут вроде под присмотром. Но в конце концов их застукал сосед, капитан Гургенидзе. Дядя Витя, боевой офицер, выхватил кортик, который он всегда держал рядом с собой. «Нет, — выкрикнул знойный южанин, — перед парткомом ответишь!» Это по тем временам было пострашнее кортика. Вариантов не было, оставалось отвечать перед партией.

На дядю Витю было наложено взыскание, с него взяли слово офицера, что больше с соседкой он не будет совокупляться. И тут для обеих семей началась мука мученическая. Маргарита не давала слово офицера, а потому поджидала дядю Витю в коридоре, куда бы он ни шел. Все впали в легкое помешательство. Младший сын Тошка с молотком в руках провожал отца в туалет и в ванную. При виде Маргариты грозил ей своим оружием. Тетя Лена была в растерянности, но контр-адмирала дядю Витю снова вызвало начальство и предложило думать о варианте разъезда. У тебя, сказал начальник, теща и теща имеют комнату в коммуналке. Две комнаты в разных квартирах вполне можно обменять на трехкомнатную — небольшую, но все же три комнаты! И тетя Лена энергично взялась за это дело, спасая семью. И осенью 1964 года она получила ордер на маленькую трехкомнатную квартиру от военного ведомства на улице Маршала Жукова.

Тем временем баба Маня, мать бабушки Насти, прослышав про эту историю, переменила свое решение, кому отдать семейную Библию. Она была дочерью сельского священника, так всю жизнь и прожила как дочь священника. Так что и бабушка Настя была верующей и детей крестила. И крещеная моя мама, к тому же с высшим образованием, вошедшая в профессорскую порядочную семью, стала прямой наследницей религиозных книг. Но как полагала бабушка Маня, в доме хозяин муж, а Карл к тому же философ, ему Библия наверняка понадобится. Отец приехал, но с ним поехала и бабушка Мина, член партии с 1903 года, его мать и его партийная совесть.

Библию бабушка Мина папе не разрешила даже в руки взять, полистала пять минут сама и вернула бабе Мане, сказав: «Спасибо вам, моя милая! Но Карлу это не надо. Он член партии, отвечать-то ему придется. Если кто узнает, то его могут и исключить из рядов. Так что забирайте книгу туда, где она лежала». И добавила тихо папе: «Все-таки эти Лихоборы, как видишь, дикое место». Баба Маня растерянно взяла

Библию и принялась засовывать в свой холщовый мешочек, где лежал еще толстый том — старинная Псалтырь. Дед Антон, отец, бабушка Мина, мама и я смотрели на ее неловкие движения, которыми она запихивала Библию, вынув для удобства Псалтырь. Баба Маня пробормотала: «Это я Тане обещала». Мама, оттолкнув отца, шагнула к своей бабушке. «Баба Маня, мне и давайте, мой Псалтырь я никому не отдам». Бабушка Настя тем временем зажгла лампадку перед иконкой Казанской Божьей Матери, принялась креститься, чтобы мои родители не поссорились. Бабушка Мина пожалала плечами, мол, ваше дело. А мама спрятала Псалтырь в свою хозяйственную сумку. Она была уверена, что если бабушка Настя крестится перед иконкой, то все будет в порядке. Эта уверенность сложилась со времен войны, когда немец почти взял Москву.

Англичане поднимали над Лондоном аэростаты на высоту в две тысячи метров. Советские аэростаты поднимались в два раза выше. Но Москву немцы обложили, Москва задыхалась, в бой бросали ополчение, то есть стариков и необученных вчерашних десятиклассников. Даже почти слепых, так погиб одноклассник отца Володя Рындин, который сослепу попал под собственный танк. Володя был дядя друга моего детства и юности Саши Косицына. Наступило 16 октября 1941 года. В Челябинске, как рассказывал отец, все верили (знали будто), что в Москву враг никогда не войдет, его не пропустят. И правда, стояли насмерть, бросались со связками гранат под танки. Брат отца, дядя Лева, лейтенант морской пехоты, закрыл своим телом взвод, не зная о Матросове. Выхода не было. Погибли трое его солдат, и тогда он пошел сам. Об этом я еще расскажу. Девятнадцатилетняя мама шила солдатское белье — кальсоны и нижние рубашки, ходила с другими женщинами на рытье окопов и противотанковых рвов.

Но при этом, если не считать работы, особенно в начале октября, женщины притаились, кругом стояли надолбы от танков и ежи, но немецкие мотоциклисты уже въезжали небольшими партиями в город, были в Сокольниках, кто-то видел шального немца, который якобы промчался на своем мотоцикле по Лихоборам. Но скорее всего, это были слухи.

Но как рассказывают историки, 16 октября Гитлеру послали телефонограмму. «Город практически взят, можем вводить войска». А фюрер ответил: «Завтра маршевым шагом с развернутыми знаменами». Кстати, знамена у фашистов тоже были красные, только вместо серпа и молота — свастика. Красный флаг — флаг войны. Я воображаю, как в маленьком домике, в маленькой комнатке затаилась мамина семья: две сестры, младший брат и дед с бабушкой. Пятнадцатилетнего сына Володьку засунули в подпол, таких подростков, по слухам, немцы тут же расстреливали. Короче, с жизнью почти простились. Никто не спал. Бабушка стояла на коленях перед иконкой Казанской Божьей Матери, ее любимой иконой, и нескончаемо жгла лампадку. И вдруг тетя Лена услышала маршевый шаг и завизжала: «Вошли!» Она решила, что вошли немцы. Мама тихо, как она умела, в сложные свои моменты, подошла к окну. И шепнула: «Мамочка, ты вымолила». И выскочила на улицу. Было холодно. По широкой дороге шли не ободранные ополченцы, а одетые в полушубки и шапки-ушанки, с автоматами рослые ребята-сибиряки. Следом выскочила сестра Лена, они обнялись и принялись рыдать от счастья. «Мы тогда поняли, что Москву не сдадут», — рассказывала мама.

Они выпустили младшего брата из подпола. И сестрички пошли снова шить кальсоны. Но у мамы подоспели документы, и выяснилось, что ее перевели на второй курс биофака, а универ из Москвы не вывезли, хотя об этом поговаривали. До сих пор не могу понять, как она, когда уже началась война, могла ходить в универ и сдавать экзамены! Верила в себя, верила в победу, наверно, хотела быть на уровне любимого — профессорского сына — Карла. Поступила в 1940-м, но не бросила учиться, несмотря на войну. Свои письма она, естественно, начинала с пушкинского подарка русским де-

вешкам — письма Татьяны, ведь и сама Татьяна. Вот начало ее письма 1940 года: «Здравствуй, Карл! Не начать ли словами Татьяны из „Евг. Онегина“: „Я вам пишу. Чего же боле?“ и т. д.? Почему о тебе ни слуху, ни духу?»

Осталось ли у мамы это ощущение влюбленной девушки? Насколько я видел, такого не было. К 1965 году осталось чувство верной жены и матери. Мама, конечно, «опиралась на собственный хвост», хотела образования, но уровень притязаний она получила все же в профессорской семье. В Лихоборах — даже как о мечте — о высшем образовании никто не думал, это было ее решение, но вход в круг биологической элиты она позднее получила от свекра. Правда, элита, как и полагалось настоящей, оказалась гонимой.

А Лихоборы? О его населении говорит название — Лихой Бор. Бора уже не было, лес давно повырубили, но лихие люди были основным населением этого микрорайона. Девочек Бубашкиных, Лену и Таню, шпана не трогала, зная, что дед Антон крут на расправу и дубинка у него всегда под рукой. Но драки с поножовщиной случались практически каждый вечер. Потом появились внуки, но и с ними был порядок. В одной из трех комнат на первом этаже, где жили бабушка и дед, жил Витек, местный пахан, с одной ходкой, он взял внуков деда Антона под защиту. И мы спокойно ходили по местным окрестностям, провожали бабушку Настю на колонку за водой. Колонка стояла одним домом ниже, путь для старухи с коромыслом, на котором висело два ведра, был неблизким и нелегким. Но бабушка привыкла, водопровода в доме никогда не было.

Но все же для деда был палисадник. Дед не участвовал в переезде. Когда пришел грузовик, за рулем сидел матросик, которого дядя Витя в приказном порядке посадил за руль. Второй матросик на легковушке увез бабушку Настю на новую квартиру. Она должна была там встречать грузовик, в который дядя Витя и дядя Володя запикивали обстановку комнаты: сундук, шкаф, ширму, стол и стулья, дед ушел в свой палисадник и прощался с посаженными им кустами и деревьями, гладил их. Понимал, что делает это для дочки. Плакать он не плакал, но, как рассказывала мама, лицо его сразу сморщилось, углы губ опустились, а тонкие, как у мамы, губы были плотно сжаты. Словно дерево, вырванное с корнем. Ведь палисадник он начал обихаживать с 1929 года. До переезда прошло тридцать пять лет. Сосед Витек увидел, как дед прощается с кустами и деревьями, и неожиданно вышел на улицу. Он подгрел к деду Антону, похлопал его по плечу и сказал своим хриплым блатным голосом классическое русское: «Ничего дядя Антон, образуется». И принялся помогать ставить вещи в грузовик.

Деда посадили в кабину, и грузовик покатило. Петровым стало сразу лучше. Вместо одной они получили две комнаты, в одной родители, в другой сыновья, прихожая и небольшой холл, коридор, кухня — это все были их владения. В третьей дед и бабушка. Подоконники были крошечные, так что и горшка цветов не поставишь. Дед тосковал и все чаще доставал свой нитроглицерин. Как-то и после нитроглицерина не отпустило. Бабушка пошла вызывать «скорую», 03. Долго не подходили, потом спросили: «А сколько лет больному? Шестьдесят семь? Давно его прихватило? Да уже, наверно, и ехать нет смысла». Телефон стоял в прихожей, бабушка села на табуретку и заплакала в голос.

Плач услышала тетя Лена, толкнула мужа в бок. Командирский голос подействовал. «Сейчас выезжаем», — сказал врач. Но, как они и ожидали, было уже поздно. Машина «скорой» приехала минут через сорок, но, как врачи и ожидали, было уже поздно. Врач констатировал смерть. А далее все завертелось. Примчалась мама, приехал, отдуваясь после похмелья, дядя Володя, привез бутылку водки. С дядей Витей они выпили, пока мама звонила в бюро похоронных услуг, а тетя Лена с соседкой обмывали тело деда. Когда приехала женщина-врач из этого бюро, подтвердила смерть и вы-

писала квитанцию, разрешение на похороны, добавив по просьбе дяди, что место захоронения оставлено на усмотрение родственников. Дядя Володя аккуратно сложил разрешение и спрятал в боковой карман. Хоронить решили в Покоево, где уже были похоронены отец и брат деда.

Стоял декабрь, уже 25-е. Дед лежал в гробу в своем кителе, черных свежееотглаженных брюках, которые никогда гладить не разрешал, в белой рубашке, бабушка повесила ему на грудь маленький крестильный крестик, дядя Витя не возражал, хотя бабушка его опасалась. Но последний год контр-адмирал Виктор Петров стал ходить в церковь на службы, разумеется не ставя в известность свое начальство. Приехал и папа, выпивать отказался, но гроб нес вместе с другими мужчинами.

Похоронный автобус стоял у подъезда. Гроб с телом деда родственники снесли вниз. Мужчины внесли гроб и поставили его аккуратно на помост посередине салона. Вдоль стены стояли лавочки для сопровождавших, а также несколько скамеек со спинками для пожилых родственников. Входившие и заглядывавшие в автобус давали цветы бабушке Насте, а та укладывала их вдоль мертвого тела мужа. Было минус двадцать пять. Дядя Витя остался дома, сославшись на дела службы. На самом деле бабушка Настя винила его в смерти деда и не хотела видеть на похоронах. Набилось в автобус не так много: бабушка Настя, мама, папа, тетя Лена, дядя Володя, Сашка, соседка тетя Нюра, приехавшая из Лихобор, и я. Дорога вначале шла по шоссе, но и когда выехали на проселочную дорогу, ход автобуса не изменился, ехали ровно и гладко: вечная история — в России дороги чинит всегда Дед Мороз.

Подъехали к дому тети Поли, забрали ее с собой. В маленькой деревенской церкви быстро отпели деда. Кладбище находилось на пригорке.

За пригорком стоял густой ельничек, метров двести от кладбища. Там уже ждали с ломami и лопатами местные парни, с которыми мы когда-то чуть не подрались. Тетя Поля попросила их (а может, и наняла), чтобы они вырыли могилу. Ломы были нужны, чтобы пробиться сквозь мерзлую землю. Примерно через час гроб на веревках опустили в яму. На крышку сбросили цветы, потом каждый из родственников бросил на гроб по куску земли. А деревенские парни мигом засыпали землей могилу, создали холмик, воткнули деревянный крест с табличкой. Вокруг креста положили оставшиеся цветы. Мама несколько раз поклонилась кресту, поцеловала табличку. Шофер завел мотор, дядя Володя попросил его не торопиться, подошел к деревенским: «Ребята, топора у вас с собой по случаю нет?» Те пожали плечами: «Вообще-то, есть. Зачем тебе?» Дядька улыбнулся своей обаятельной улыбкой, которая одинаково действовала не только на женщин, но и на мужчин. «Да все просто, парни. На носу у нас Новый год. А какой Новый год без елки? В Москве елку не укупить, а тут растут — руби, сколько хочешь! Я бы с вами пошел, но снегу навалило — в ботинках не пройдешь. А вы все же в валенках». Наши вчерашние враги сильно повзрослели, готовы были помочь, особенно когда отдавало запретным. Проваливаясь в снегу, парни побрели к ельнику. Минут через двадцать или тридцать пушистая красавица уже лежала на том месте, где недавно стоял гроб.

Елку, обмотав шпагатом, оставили в сенях. Потом сидели за большим столом в избе, где в углу висели две иконы — святого Георгия и святого Власия. На столе было скудно: три селедочницы с нарезанной селедкой, покрытой кружочками репчатого лука, на большой тарелке куски вареного мяса, две миски соленых огурцов, две тарелки кружочков «Любительской» колбасы, большой квадратный серый кирпич хлеба, который тетя Поля, прижав к груди, резала крупными ломтями. Стояла посередине стола двухлитровая банка самогона и три или четыре бутылки водки. Глупо улыбаясь, со стаканом водки в руке сидел Костя, полудурок, сын тети Поли, рядом с ним его жена Ольга,

лицо которой было расцвечено синяками разной величины и давности, сели за стол, кроме родственников, и два парня, что копали могилу. «Давайте Антона помянем», — встала первой тетя Поля со стаканом самогона. Сын-полудурок потянулся к ней чокаяться. Но та отвела руку в сторону: «Лучше встань и отстань от меня. На поминках не чокаются». Все молча выпили. Но потом встала мама: «Тетя Поля, обожди, я скажу. Отец делал все для своей семьи, переехал из большого дома в Покоево в коммуналку в Лихоборах, дом здесь сожгли беженцы, тетя Поля знает, дом без хозяина плохо сохраняется. А он шоферил, лишь бы семью прокормить. А я еще отцу благодарна, что он поддержал меня, когда я в университет на биофак поступила. И ни разу не попрекнул, что я учусь вместо того, чтобы деньги зарабатывать. Да и биологию я выбрала, на папу глядя. И внукам помогал, сколько он моему старшему скворечников смастерил! Спасибо тебе, папа». Тетя Лена, дождавшись окончания маминих слов, вылила в себя стакан самогона, заела огурцом и нацепила на вилку кусок мяса. Мама одним глотком выпила стопарик водки, хотя вообще не пила, порозовела, опустилась на стул, лицо закрыла руками, чтобы не видели ее слез. Папа подошел, обнял маму за плечи, а дядя Володя хмыкнул и сказал: «Ну, Таня, на тебе наш род отдыхает. И отец любил выпить, вон и Лена не дура — стаканчик-другой пропустить, да и я умею и люблю». И тут разговор перешел на водочную тему. Костя-полудурок пил, пила и его распутная женушка, время от времени полужазывно взглядывая на меня. Но тетя Поля не обращала сейчас на нее внимания, а от выпивки не отставала. Соседка Петровых пила тоже, но, похоже, контролировала себя. Деревенские парни подошли ко мне со стаканами: «Не побрезгуешь с нами выпить? Ты ведь городской. Драться умеешь, а пить?..» Чтобы не оплошать, я выпил одну за другой две рюмки водки. «А самогон не уважаешь?» — спросил тот, что постарше. Пришлось выпить полстакана самогона. Меня спас дядя Володя, уже изрядно раскрасневшийся: «Баста пить, вот Таня сказала, я тоже хочу сказать об отце». Он встал, оперся обеими руками о стол: «Вот что я скажу. Скажу, что отец был настоящий мужик, настоящий солдат. Об этом мало кто знает, но он в первую германскую воевал, получил солдатский Георгиевский крест за штыковую атаку. А солдатский Георгий — это награда, что именно за храбрость давалась. За храбрость отца и выпьем. Жаль, мать не уберегла эту награду». Бабушка Настя, сидевшая все время молча, не пившая и не евшая, будто слезы стояли у нее в горле, тут подняла голову. «Ты не понимаешь, — сказала она вдруг жестко, — я его прятала, чтобы не посадили, теперь можно, он со мной. Но я еще не решила, кому его отдать». Она снова замолчала, глядя в одну точку, на тетю Лену и Сашку, как я вдруг заметил, она не глядела. А когда полупьяная тетя Лена подошла к ней поцеловаться, подставила щеку, а потом вытерла ее платком.

Наступил вечер. Тетя Поля вдруг встала и прямо сказала: «У себя я могу на ночь только Настю оставить. Остальные пойдут на электричку, самая удобная в двадцать один тридцать. Вот только с елкой племянник мне начудил. Могли бы пешком через лес до станции дойти. Но с елкой не допрешься. Разве Васю попрошу на своем „козлике“ ее туда добросить. А ты, Володька, пойдешь пешком со всеми. Скажи спасибо, что елку тебе довезут». И через час мы пошли пешком на станцию через лес.

Спотыкаясь и матерясь, тетя Лена и дядя Володя шли впереди. Мы плелись сзади. Вот наконец и станция. «Козлик» с Васей и елкой ждал рядом. Мама пошла и купила на всех билеты, понимая, что ни брат, ни сестра на это уже не способны. Дядя Володя пожал парню руку, втащил елку на платформу. Пошатываясь, он стоял у края, то ли держа елку, то ли держась за нее. Тетя Лена тоже ухватилась за елку, чтобы устоять на ногах. Сашка подпирал мать с другой стороны. Мама, папа и я стояли немного в стороне. Но когда подошла электричка, мы очутились в одном вагоне. Соседка Петровых села

в соседний вагон. Одно купе заняли тетя Лена, Сашка и дядя Володя, обтянутая шпагатом елка встала у окна. Мы обосновались в соседнем купе. Около часа ехали спокойно и молча, без происшествий.

Оставалось до Москвы станции три. И тут вошли два контролера и два милиционера. Мама сказала, что билеты на всех у нее. Контролеры отштамповали билеты, но милиционеры заинтересовались елкой. «Чья?» — спросили они. Дело в том, что вырубать елки без разрешения было тогда запрещено. Дядя Володя встрепенулся: «Моя. Но я вот с сестрами еду с похорон отца. Мы около гроба елку держали». Мент потянул елку к себе: «Доказать можешь?» Дядя Володя полез в боковой карман и достал справку от врача похоронного бюро, где стояли слова, что место захоронения гражданина Бубашкина А. Е. оставлено на усмотрение родственников. Я чувствовал, как напряглась мама. «Вот видите, — ткнул дядька пальцем в эту надпись. — А мы решили отца похоронить, где он родился, вот и сестра подтвердит», — он показал на тетю Лену. Мент посмотрел на пьяненькую тетю Лену, которая дремала на плече у сына Сашки. Ухмыльнулся, махнул рукой, сказал напарнику: «Ладно, пускай едут». И они вышли из вагона следом за контролерами.

Конечной станцией был Рижский вокзал.

Мы вышли раньше, чем дядя Володя и тетя Лена, но мама осталась на платформе, ожидая брата и сестру. Те вышли, дядя Володя тащил елку. Мама сказала, остановив брата: «Ну ты прохиндей, Володька!» Тот глупо улыбнулся: «Ты чего, Танька! Ты же мне сестра! То, что отец умер, нам повезло! Как иначе я бы елку провез!» В ответ мама развернулась и изо всей силы молча ударила брата ладонью по щеке. Взяла отца под руку, меня за руку, и мы пошли в метро.

---

---

## Ольга АНДРЕЕВА

\* \* \*

Когда рождается поэма — в жаре, в пыли,  
несвоевременно, не в тему — в подол Земли,  
нелужная, бледнее тени — ты знаешь все,  
но легкий ветер вдохновенья тебя несет.  
И лягз, и хмурые водилы, и СО<sub>2</sub>,  
и полстраны уже забыло, что есть слова,  
связующие стылый космос и глаз лучи —  
ты говоришь, темно и косно — но не молчишь.

Кого здесь тронут ямбы, тропы, твой легкий стих —  
в местах, где есть еще дороги — но нет пути,  
где выпускают из подкорки и боль, и страх,  
где соль земли несется с горки в семи ручьях,  
подальше от скульптурной группы там, наверху,  
от их спектаклей, сбитых грубо? Поверь стиху,  
не бойся, говори — умеешь, не прячь глаза,  
ты знал всегда немного меньше, чем мог сказать.

Пусть проза пишется неспешно, к мазку мазок —  
а стих летит во тьме крошечной без тормозов,  
водораздел строки, вершина, словораздел —  
и вниз ликующей стремниной, ты сам хотел.  
И бабочкой порхает серфинг по злой волне,  
и строки хрупкие не стерты, слышны вполне,  
когда отпустит — в небе звездном споеет гобой —  
она возьмет тебя в свой космос, так будь собой.

### **МАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИ**

С этой красной пожароопасной планетой  
постепенно от нас отдаляется лето.  
Кстати, кто-нибудь знает, а сколько парсеков  
от меня до глядящего вдаль человека?

---

Ольга Андреева — поэт. Родилась в 1963 году в г. Николаеве. Член Союза российских писателей, Южнорусского Союза писателей и Союза писателей XXI века. Автор восьми поэтических сборников. Публиковалась в альманахах «Соты», «Вещество», «ПаровозЪ», «Белый Ворон», в журналах «Нева», «Новая Юность», «Дети Ра», «Крещатик», «Зинзивер», «Аргатак», «Зарубежные Задворки», «Южное сияние» (Одесса), «Ковчег» (Ростов-на-Дону), «День и ночь» (Красноярск) и др. Лауреат конкурса «45 калибр» (2013, 2015). Дипломант Тютчевского конкурса (2013). Финалист Прокошинской премии (2014). Член жюри конкурсов «Провинция у моря» (2016) и «45 калибр» (2017 и 2018). Живет и работает в Ростове-на-Дону.



Красноватой звездой заболели закаты.  
У луны свет янтарный, слегка бесноватый.  
Так близки — но сближенье коварнее дали,  
потому что похожее не совпадает,  
потому что последняя капля терпенья  
излилась в красноватое излученье.  
То ли что-то из воздуха просится в душу,  
то ли что-то в душе, задыхаясь, — наружу.  
Пять столетий подряд в нас бродил этот вирус —  
жаль, мы жить не умели и словом давились.  
Даже если решимся, споем в стиле ретро —  
мы — побочный продукт эволюции ветра...  
Что в нас вечного? Разве что эта тревога,  
что мешает уснуть нам, не верящим в Бога...  
Но под каждым течением — антитечение,  
и за каждым решением — муки сомнения.  
Я привыкну к себе. Это трудности роста.  
Обрывать пуповину — кому это просто?  
Бог войны заскучал в марсианской пустыне,  
по земным плоскогорьям скитается ныне.  
Оттого-то жара насаждает седая —  
видно, и у него что-то не совпадает.  
Громычала гроза, ливень как ни старался —  
не сумел погасить полыханье на Марсе.  
Красно-желтые лилии<sup>1</sup> стали кострами,  
на восток семена уносили мистрали...

## ПЛОЩАДЬ 2-Й ПЯТИЛЕТКИ

В чудесном месте — и в такое время!  
Последней лаской бередит октябрь,  
плывет покой над хосписом. Смиренье  
и взвешенность в струящихся сетях.

Как трудно удержаться от иллюзий.  
Глазам не верю — верю своему  
слепому чувству. Кто-то тянет узел  
и плавно погружает мир во тьму.

Рыбак свою последнюю рыбалку  
налаживает в мятом камыше,  
шар золотой падет, как в лузу, в балку,  
за Темерник, и с милым в шалаше

нам будет рай. Но где шалаш, мой милый,  
и где ты сам? Как хорошо одной.  
За этот день октябрьский унылый  
прощу июльский первобытный зной.

<sup>1</sup> Бог Марс родился из красно-желтой лилии.

Стрекозы, да вороны, да листва,  
я, бабочки — совсем немногочленно.  
До доньшка испить, до естества  
прозрачный тонкий мир уже нетрудно.

Я наконец-то становлюсь спокойной,  
когда уже побиты все горшки,  
горят мосты, проиграны все войны  
и даже стихли за спиной смешки.

В нирване пробок, в декабре, с утра,  
в родимых неприветливых широтах  
припомню, как скользит твоя кора,  
а я не знаю, вяз ты или граб,  
по времени скользя, не знаю, кто ты.

\* \* \*

Затеряться озером в горах,  
отражая истово и честно  
боль восходов и закатов крах,  
иглы сосен,  
дробную челесту  
яркой птицы,  
весь ультрамарин  
до бездонной безнадежной жути,  
покоряясь вечности в минуте,  
избавляясь от слепых руин  
прошлого,  
грядущего не чая,  
жемчуга в глубинах не храня,  
в недрах — золото;  
и на исходе дня  
умирать светло и непечально.

\* \* \*

Воды — не твердь, не голь,  
не рябь, не топь, не выть —  
скольжение глаза вдоль,  
спасенье от травы,  
лекарство синевы,  
летальный сон глубин,  
и колыбель плотвы,  
и кладбище лавин,  
забытый код судьбы,  
среда метаморфоз  
от хордовых рыбин  
до радужных стрекоз.

Разуйся — и иди,  
покорный лишь тому,  
кто в зеркало глядит,  
сплетая свет и тьму.  
Кто в зеркало глядит?  
И видит ли насквозь  
и зазеркалье рыб,  
и заресничье звезд?  
Несет свое тепло  
сквозь вечный холод лет  
и поглощает плоть,  
но отражает свет,  
на равные углы  
деля прозрачный шар.  
В тени угрюмых глыб  
не медля, не спеша  
тот лодочник плывет,  
бесстрастный, как диод,  
сквозь абсолютный лед  
по вечной жизни вод.

\* \* \*

Чай — не водка. Много — вредно.  
Думать надо. Чай, не мальчик,  
девочка. И с ликом бледным  
(но прекрасным) скажешь — мало,  
чай, не выпалась, не знала,  
не сумела, не успела...  
Не простят. Что им за дело? —  
не доходишь до финала,  
выбываешь из обоймы,  
не умеешь по Карнеги —  
строго, вежливо, корректно...  
Чай — не водка. Много — вредно.

---

---

## Евгений ПОПОВ

\* \* \*

Вся наша лирика бесхозная  
В нервном свете сверхдержав  
Качается фигурой грозною,  
Как отслуживший дирижабль,

Величественно и торжественно  
И всем приметам вопреки,  
Покачивается чуть женственно.  
Так по-мужски глядит быки,

Чтоб выбрать цель в тоске предсмертной  
И протаранить чей-то торс.  
Поберегись же, вождь инертный  
Как бы ты ни был тостокож!

Плывет такая винтокрылая...  
А вот взорвался водород.  
Эпоха рухнула унылая,  
И обернулся вдруг народ.

\* \* \*

Сначала крест как первая звезда,  
Потом — по состоянию погоды:  
То блюдце месяца,  
То мировые воды,  
То классика седая борода.

И каждому мерещится свое:  
Кому-то куртуазная картина,  
Кому-то воркование втроем,  
А этому — расквашенная глина.

Ведь дождь с утра развесили опять,  
И радостно листва его приемлет.  
Земля раскинулась и тихо дремлет,  
И вече на пеньке блестит опят.

---

Евгений Александрович Попов — поэт и прозаик, автор книг «Птицы в городе», «Сильное небо», «Западно-восточный ветер», «Памятник тяжелой волне», «Открытое дерево», «Четырехгорка», «Генкины паруса». Живет в Санкт-Петербурге.

Я есть хочу. И завтрак на столе.  
Мы видим лес задумчивый и мокрый  
И наблюдаем за смешной сорокой.  
Открыта книга на Па-Де-Кале.  
Разгуливает осень на дворе.

\* \* \*

Избушка смотрит в лес,  
Ей хочется туда.  
Там сосны до небес  
И темная вода.

Там зверское житье,  
Там лапы да грибы,  
И каждому свое  
От матушки-судьбы.

Туда и человек  
Приходит на разбой.  
Охотник-дровосек  
Любуется собой.

У каждого рычаг,  
Лицензии багор.  
Он весь идет в лучах,  
Егоросвятогор!

Он вылечен давно,  
Во рту он носит мозг.  
Он человек кино.  
Он глаз сменил на мост.

Из гулкого себя  
Он достает алмаз.  
Он вроде голубя,  
Он повелитель масс.

Мы тоже из тюрьмы.  
Мы тоже не слабы.  
И мы с тобой, и мы  
Уходим по грибы.

Сначала виден крест,  
Как первая звезда.  
Потом увидим перст.  
Потом заест среда.

\* \* \*

Идите вы к предприниматери,  
Потом клубитесь облаками!  
Оратаи, а не оратели  
Успешнее в природохране.

Живем в футбольной мироздании,  
В колесах этих оборзения  
Идет людей перегорание,  
Больное, как перехотение.

В тотализаторах гадания  
И в подтрибунных помещениях  
Нужду справляет игромания  
В простом примере упрощения.

Всем хочется другой истории,  
Но кассовые ожидания...  
А там другие категории —  
И тут согласны все заранее.

\* \* \*

Как быстро летит птица,  
Этот потомок ящеров угловатых!  
Мы смотрим на улицу, уплетая пиццу,  
Здесь сегодня много гастарбайтеров бородато-усатых.

Все меняется в мире...  
Вот, пишут, русских становится больше.  
Друг смеется: эту статистику надо читать в сортире,  
А к действительности надо подходить как к Польше.

Вот лежит асфальт, как ни странно, не меньше века,  
В нем растения делают дырки.  
А сосед говорит, что у зенитовского хавбека  
Все финты стандартны, как под копирку.

\* \* \*

И опять все на месте. Какое счастье!  
Оттремело, отгрохало, отругалось,  
И на темном востоке, провожая ненастье,  
Линза радуги образовалась.

И мы смотрим в эти крутые ворота,  
Догоняем детство, ныряем с места,  
Как с Эвереста,  
Согласно природе и гостям,  
Когда становится особенно невыносимо и тесно.

Все щебечет, блестит, цветет и слышит друг друга,  
Этим счастьем простым мир величественно увенчан.  
А у птиц порхающих, бегающих и поющих  
Ножки тонкие, как у женщин.

\* \* \*

Не дождешься дождя,  
Да и ждут-то не все,  
У кого только сад-огород.  
Этот хочет вождя,  
Этот — наоборот.  
Леша хочет ходить по росе.

Хорошо бы по утренней, где коростель  
Каждый май все зовет и зовет.  
Леше хочется очень покинуть постель  
И шагать, все вперед и вперед.

Вот, напрячься бы, встать и далече лететь,  
Хоть по ветру, хоть против него,  
И стараньем и скоростью переболеть  
И устать от дорог и тревог.

А пока Леша смотрит на тучу в окне,  
И пока эта туча течет,  
Так ему хорошо и комфортно вполне,  
Разве что отлежалось плечо.

И синица тинь-тинь,  
И бубенчик дин-дон,  
И отважен кружащийся лист.  
На столе улыбается черствый батон,  
По экрану бежит футболист.

Уильям ШЕКСПИР

## ИЗБРАННЫЕ СОНЕТЫ

### СОНЕТ 20

Лик женственный рука и кисть природы  
Твой красками писала, чувства Мастер.  
Лукавство женской суетной породы  
Душе твоей не свойственно, по счастью.  
И взором, ярче, чем у женских глаз, ты  
Все то, куда ни взглянешь, освещаешь.  
Оттенки все Разумному подвластны,  
Мужчин тревожишь, женщин восхищаешь.  
Для женщины природа создавала  
Тебя, но, впав в безумье неудачи,  
Ничтожность обстоятельств дописала —  
То, что не нужно для моей задачи.

Но если женщинами ты любим,  
Мне — жар души, а увлеченья — им.

### СОНЕТ 30

Я на собранье дум уединённых  
Вспоминанья прошлого позвал  
И снова стон печали не сдержал:  
Ведь я друзей утратил драгоценных.  
Они ушли в безвестный мрак ночей.  
Их образ исчезает, тмится взгляд.  
И я не мог не выплакать очей,  
Когда так много пережил утрат.  
Любовью отмененная печаль  
Вернулась — рассказать о ней нет сил.  
И горя избежать смогу едва ль,  
Плачу за то, за что уже платил.

Но вспомню о тебе я, милый друг, —  
Любовь воскреснет, и пройдет недуг.



### СОНЕТ 50

Как трудно следовать своим путем!  
Цель ближе, и конец не отдален.  
Где ждет покой, подскажет окоем:  
«Ты милями от друга отделен!»  
Мой конь инстинктом знает: не спешу  
Туда, где ясно виден край пути.  
Скорбь расставания, как груз, ношу, —  
Двойную тяжесть должен он везти.  
Я то и дело вскачь его гоню,  
Когда меня берет за горло гнев,  
Кривой шпорой раню бок коню —  
Бедняга стоном отвечает мне.

Стон болью отзывается в груди:  
Была нам радость, горе впереди.

### СОНЕТ 66

Спасительную смерть зову, молю.  
Как пережить, что честный гол и нищ  
И празднуют подобные нулю,  
Святую веру выгнав из жилищ?  
Златую честь ославить помогли,  
Неправдой совершенство гонят прочь,  
И добродетель девушки — в пыли.  
И силу ломит колченогий вождь.  
Искусству закрывают власти рот,  
Как Доктор, Дурь следит за мастерством.  
Простая Правда глупостью слывет.  
Добро в плену, руководимо Злом.

Но коль уйду туда, где тишина,  
Моя любовь останется одна.

### СОНЕТ 96

Кто ставит молодость тебе в упрек,  
А кто приветствует твой буйный нрав...  
Пока твои ошибки — как урок,  
Покамест ты, и ошибаясь, прав.  
На пальце Королевы камень скромный  
Заслужит уваженье и почет.

Твои ошибки истине подобны,  
Их в правду обращает жизни ход.  
Бывает и у Волка милый взор.  
Но если ты воспользуешься властью,  
Ты можешь завести в глубокий бор  
Толпу твоих поклонников, к несчастью.

Пойми, я говорю тебе с любовью:  
Не дай врагам причины для злословья.

### **СОНЕТ 98**

Во дни, когда вас нет уже со мной,  
Пришел Апрель, даря природе юность,  
Принес он столько свежести молодой,  
Что и Сатурн забыл свою угрюмость.  
Ни пенье птиц, ни аромат соцветий  
Меня не побудили сочинить  
Веселую историю о лете.  
Но я цветы не стану рвать — казнить.  
И мне не интересна бледность Лилий,  
И я не славлю Розы багряницу.  
Цветам вы первообразами были,  
И у видений милых — ваши лица.

Зима в душе: вас нет среди цветенья.  
Меня в игру позвали ваши тени.

### **СОНЕТ 99**

Фиалка, где взяла твое дыханье,  
Как не из губ и от дыханья друга?  
Ведь тот же царский пурпур процветанья  
Из вен его окрасил тело грубо.  
И Лилию я был готов проклясть  
За царственную сильную ладонь,  
И майоран, как первородства власть,  
С венца его кудрей крадет бутон.  
Две Розы в терниях — лик первой ал  
Стыдом, а та в отчаянье бела.  
Ни бел, ни ал, их третий обокрал,  
Но мстящий рак доест его дотла.

И вновь я вижу, как цветы земли  
Лик и дыханье друга унесли.

### СОНЕТ 100

Где, Муза, ты и почему забыла,  
Имея власть вещам добавить свет,  
О песне той, что придавала силу,  
Потратив ярость на пустой предмет?  
Встань, Муза, благородно возмести  
Дни, у безделья взятые взаем.  
Спой уху, что твои напевы чтит,  
Мысль передаст отточенным пером.  
Лицо любимой ты запечатлей  
Скорей, пока штриховкой на чело  
Морщины Время ей не нанесло.  
Временщиков Сатирой одолей.

Успей быстрее, чем Время точит нож,  
Лишь так спасенье от него найдешь.

### СОНЕТ 102

По-прежнему любовь во мне живет,  
Но привлекать к ней не хочу вниманье.  
Тот на продажу чувство отдает,  
Кто требует у публики признанья.  
Да, пеньем я любил встречать весну,  
Но по-другому дышит день весенний.  
Как Филомела<sup>1</sup>, флейту оттолкну, —  
Ведь лето переходит в наступленье.  
И ночь скрывает плачущие тени,  
И тяжесть горькой музыки в ветвях.  
Но не о том твердят на всех углах,  
А мне не до хвалебных песнопений.

Приходится язык мне придержать,  
Чтоб горестями вас не раздражать.

### СОНЕТ 105

Любовь мою кумиром не зови:  
Не идолом она в сей мир нисходит,  
Тогда как песни и хвалы мои  
Звучат к одной и от нее исходят.

---

<sup>1</sup> В греческом мифе Терей отрезал Филомеле язык, чтобы она не могла рассказать о его злодеяниях. Но Филомела вышила свою историю на полотне. Чтобы спасти Филомелу от преследования Терей, Зевс превратил ее в соловья.

Любовь со мной всегда и ежечасно,  
В ней неизменно доброе сиянье.  
Так и стихи мои однообразны —  
Единое рисуют постоянно.  
О Светлом, Добром, Истинном — мой спор,  
Смысл разными словами излагая,  
Для них открыл я вымысла простор,  
Три темы чудным знаньем сопрягаю.

Врозь жили Свет и Истина с Добром,  
Но вот вошли и вот сидят втроем.

### **СОНЕТ 121**

Уж лучше низким быть, чем им казаться  
И за небывшее держать ответ.  
Без радости веселью предаваться  
Считаете вы правильным? Я — нет.  
Приветствует меня прелюбодей —  
Моей азартной крови шлет намек,  
И соглядатаи души моей  
Блудливым оком ищут в ней порок.  
Они к моим ошибкам и грехам  
Приписывают и свои химеры.  
Но я есть я. А что если я прям?  
А их пути извилисты и серы.

А впрочем, оправданья не нужны,  
Ведь верят люди: все кругом грешны.

### **СОНЕТ 130**

Ее глаза не солнечны ничуть,  
Коралл поярче будет этих губ,  
И вовсе не белее снега грудь,  
И волос, точно проволока, груб.  
Дамасских роз я помню аромат.  
Не спорит с ними цвет ее ланит.  
И тонкие духи сильнее манят,  
Чем запах кожи, что слегка горчит.  
Отрадно мне словам ее внимать,  
Хотя, по правде, музыка — милей.  
Богини, видимо, должны летать,  
А женщина шагает по земле.

Но я люблю ее такой, как есть.  
И не нужна для несравненной лести.

### СОНЕТ 135

Она ушла... На все твоя есть Воля:  
Меня отвергнуть, Вильяма принять.  
По пустякам себе бы не позволил  
Я просьбой вновь тебя обременять.  
Прошу тебя, чья Воля так космична,  
Сокрыть меня за Волею своей.  
Других ты признаешь в своем величье.  
Моим стремленьям дашь ли светлых дней?  
Потоки благодатные дождей  
Не переполнят тихой глади моря.  
Позволь, чтоб волей скромною моею  
Я щедрую твою усилил Волю.

Недобрых и просящих не гони —  
В одном Веленье нас соедини.

### Перевод Нины САПРЫГИНОЙ

*Перевод осуществлен по изданиям: Шекспир У. Сонеты. На англ. яз. с параллельным русским текстом. Сост. А. Н. Горбунов. — Коммент А. Аникста. — М.: Радуга, 1984, а также с факсимильного издания Первого Кварто сонетов: The Sonnets, Quarto 1. Shake-Speares Sonnets. Neuer before Imprinted. At London, By G. Eld for T. T. and are to be solde by William Aspley. 1609.*

---

Нина Вадимовна Сапрыгина родилась и живет в Одессе (Украина). Окончила филологический факультет Одесского государственного университета имени И. И. Мечникова. Работала ассистентом кафедры русского языка в том же университете. Защитила кандидатскую диссертацию по специальности «Русский язык» (1993). Сейчас работает доцентом кафедры социальной и прикладной психологии Одесского национального университета имени И. И. Мечникова. Автор четырех научных монографий и свыше 90 научных публикаций по проблемам семантики текста, психолингвистики и литературоведения. Стаж педагогической работы в университете — более 20 лет. Публиковалась в коллективных сборниках поэзии. С 2009 года углубленно занимается изучением творчества Шекспира. Переводить сонеты Шекспира начала в 2017 году.

# АТОМНЫЙ ПОВОРОТ И ТЕОЛОГИЯ АТОМНОЙ БОМБЫ

## Метаисторическое богословие звезды Полярной

Эпоха модерна началась в октябре 1517 года вместе с европейской Реформацией и закончилась в августе 1945 года, когда над Хиросимой и Нагасаки один за другим прогремели два взрыва атомных бомб. Это ослепительное ядерное двоеточие, вспыхнувшее над Страной восходящего солнца выглядело слишком многообещающим. Смертоносная взрывная судорога потрясла и разломила устои мирового порядка. Дрогнули и стали оседать его несущие конструкции. Начиналась эпоха постмодерна.

Напрасно стараются те, кто пытается доказать, будто авторы постмодернистской культуры, учредители цивилизации постмодерна — модные ныне философы, филологи, лингвисты, литераторы и прочие гуманитарии, имя которым легион. Их интеллектуальные фантазии, метафизические домыслы и языковые ребусы, норовящие спутать все существующие философские карты, свести на нет все достижения мировой мысли, обесценить все ценности классической культуры, — слишком легковесный материал, чтобы поколебать и тем более сокрушить тысячелетние устои планетарной культуры и цивилизации. Радужные словесные пузыри бессильны перед этими устоями. Чтобы их поколебать и тем более обрушить, потребовался более серьезный материал. И он нашелся.

В середине XX века три «джентльмена с неблагородными физиономиями», три геополитических деструктора провели грандиозную историческую процедуру слома культуры и цивилизации модерна. Сталин начал ее, Гитлер продолжил, а Трумэн завершил радикальный разрыв связи времен. Их усилиями эпоха модерна, еще сохранявшая связи с классической эпохой «Афин—Рима—Иерусалима», закончилась, и мир вступил на новую стезю, где за атомным поворотом его поджидала сумрачная будущность великой постмодернистской аномии, не обещающей никому ничего

---

Владислав Аркадьевич Бачинин — доктор социологических наук, профессор, Окончил философский факультет ЛГУ и аспирантуру Института философии РАН. Автор более 700 опубликованных работ по теологии, философии и социологии культуры, в том числе более 50 книг, среди которых: «Достоевский: метафизика преступления» (2001), «Малая христианская энциклопедия». Т. I—IV (2003—2007); «Девиантология и теология: от Библии к Достоевскому» (Saarbrücken, Deutschland, 2012), «Теология, социология, антропология литературы (Вокруг Достоевского)» (2012), «Мистерия гуманитарной аномии. Духовная война интеллектуалов» (2014), «Протестантская этика и дух остмодернизма» (в соавт.) (2015), «500 лет спустя, или 95 тезисов о Реформации, модерности и великой христианской депрессии» (2016), «Европейская Реформация как духовная война. Теология генезиса modernity» (2017). Постоянный автор журнала «Нева». Победитель конкурса философских трактатов на тему «Возможна ли нравственность, независимая от религии?», проведенного Российской академией наук (Институт философии). Живет в Санкт-Петербурге.

хорошего. Открылась колея ядерной эскалации, имеющая опасный наклон и позволяющая безостановочно скользить в бездну атомного протоапокалипсиса. Трагизм этого открытия состоял в том, что современные цивилизации и культуры, государства и народы, политики, интеллектуалы, ученые, философы, писатели, художники, музыканты оказались бессильны остановить это скольжение по наклонной.

Атомный поворот заявил о себе не брэнчанием словесных бирюлек гуманитарных говорунов, а самым нешуточным образом. Громовыми ядерными раскатами он начал отсчет времени существования новой исторической реальности, выстраивающейся в соответствии с хоррор-жанром библейской апокалиптики. Взгляд на кризисно-катастрофическое настоящее сквозь призму Откровения Иоанна Богослова стал превращаться едва ли не в одну из насущных потребностей человеческого духа, пытавшегося осмыслить суть происходящего.

Впрочем, в бурном потоке неуправляемой постмодернистской говорильни был свой смысл. Чтобы пояснить его, сошлюсь на один фильм о Второй мировой войне, в котором была такая сцена: в недрах тихой городской улочки перед неким предателем вырастает фигура вооруженного мстителя. Предатель, понявший, что пришло возмездие, вдруг начинает быстро и непрерывно говорить. Слова сыплются из него в таком изобилии, что мститель столбенеет. Изумление отображается у него на лице. И тогда предатель, заметив это, объясняет свое поведение. Оказывается, что он следует чьей-то психологической рекомендации: мол, когда к тебе вплотную приблизилась твоя смерть, то лучший способ избежать животного ужаса — это начать непрерывно говорить. Поток слов заполнит твое сознание и, подобно стене, отгородит тебя от невыносимых чувств страха и ужаса.

Полагаю, что в феномене постмодернистской философско-филологической болтовни, засыпавшей словесным мусором практически всю территорию современной культуры, присутствует этот защитно-эскапистский мотив. В данном случае налицо форма бегства человеческих душ, сознающих весь ужас придвинувшейся вплотную глобальной смертельной угрозы, планетарной термоядерной катастрофы. Душа, не знающая истинного Спасителя, прячет в словах свой глубинный хоррор перед невиданным злом. Слова действуют почти наркотически, производя эффект амнезии, и душа забывается хотя и не слишком сладкими, но вполне удовлетворительными снами-транквилизаторами.

Однако действенность этой словесно-наркотической блокады на душу, деморализованную, запуганную до смерти, но не признающуюся себе в этом, имеет свои пределы. В условиях перепроизводства словесного хлама, когда сильные порывы «мусорного ветра» вздымают клубы ядовитых идей и вредоносных доктрин, начинается другая катастрофа — духовно-экологическая. Души, заполненные злом, начинают либо живо распадаться, либо поддаваться искушениям суицида, либо гибнуть от малейшей внешней причины.

Связывать все эти экзистенциальные катаклизмы с атомным поворотом мы не привыкли. В России это направление мысли никогда не поддерживалось властью, не культивировалось официальной идеологией, чуждой идее «благоговения перед жизнью». Но стоит лишь погрузиться в японскую литературу второй половины XX века, как картина резко изменится. Японское сознание, травмированное предельным опытом ядерного ужаса, до сих пор живет им и, похоже, избавиться от него не может. Более того, оно и не желает избавляться, поскольку в нем живет мысль о том, что этот травматически-катастрофический опыт способен оказать отрезвляющее действие на народы и государства, слишком заигравшиеся в ядерные игры.

XX век сумел эффектно продемонстрировать избыточную смертоносность силы мирового зла, облекшегося в формы атомного оружия. Трудно вообразить что-либо

более чудовищное, чем это зло, как бы говорящее всем и каждому, что оно так просто не уйдет с исторической сцены, загроможденной реликтивными конструкциями большевизма-советизма, останками нацизма и фантомными картинами ядерных развалин японских городов. Финал мировой мистерии под названием «ГУЛАГ-холокост-Хиросима, или Конец модерности» на глазах нынешних поколений легко, быстро и беспрепятственно превратился в увертюру к новой, уже сугубо ядерной мистерии «Термоядерный апофеоз: пришествие постмодерности». В период исторической паузы между геополитическими кошмарами на той же самой политической сцене чья-то безжалостная рука, руководимая темной, злой, демонизированной волей, вывесила на самое видное место обновленное, усовершенствованное, старательно заряженное атомное ружье. И по сценическим законам, уж коли оно появилось, то до конца представления ему суждено выстрелить. А это означает, что непременно явятся исторические антигерои, готовые взвести атомный курок, способные шантажировать мир смертельной угрозой и не имеющие внутри себя никаких моральных препятствий, которые могли бы помешать им нажать на спусковой крючок. Равным образом должны существовать и те, в кого попадет заряд. И их, судя по всему, будет очень много, бесконечно много, едва ли не все человечество.

Атомные антигерои, посланцы inferнального мира — не виртуальные фигуры вымышленных политических персонажей. Они живут среди обычных людей, но от всех остальных отличаются тем, что заняты непрерывным тренингом по оттачиванию дьявольских навыков по применению дьявольского оружия. Они с маниакальной привязанностью ухаживают за атомным ружьем, содержат его в исправности и в полной боевой готовности, регулярно вносят в его конструкцию изменения, повышающие его убойную мощь.

У писателя Сигизмунда Кржижановского (1887—1950), не без основания называемого «славянским Кафкой», есть новелла «Желтый уголь». В ней ученые первой половины XX века отыскивали богатейший источник энергии. Он имел сугубо антропологическую природу: это была энергия человеческой злобы, запасы которой оказались столь велики, что совершенно избавили человечество от энергетического кризиса.

Отдавая должное богатой фантазии писателя, следует, однако, учесть, что у вымышленного сюжета имеется прочная библейская основа. Из Книги Бытие мы узнаем, что еще в эдемском саду дьяволу удалось разрушить целостность ядра человеческой сущности, расщепить ее, высвободить из ее недр ядерную энергию человеческого греха и направить ее в братоубийственное русло Каиновой злобы. На крови Авеля был замешан тот строительный материал, из которого соорудился вначале фундамент, а затем воздвиглись и стены здания Каиновой цивилизации.

Книга Бытие и «Желтый уголь» наводят на один и тот же многовекторный вопрос: разве истребительную силу лагерей ГУЛАГа, печей Освенцима и ядерного оружия не роднит их общая антропологическая генеалогия? Разве их не произвела дьявольская энергия человеческой злобы, доведенная до предельной концентрации и направленная людьми против самих себя? Разве разыгравшаяся в XX веке мировая оргия самоуничтожения уменьшила запасы и силу злобы, агрессивности и жестокости? Чего стоит хотя бы тот факт, что за пять десятилетий, прошедших после 1945 года, на земле было произведено более двух тысяч ядерных взрывов. То есть практически каждые десять дней планета вздрагивала от очередной апокалиптической репетиции. «Подземный гул эпохи» стал неустрашимой принадлежностью повседневности. Человечество, оказавшееся заложником сразу двух зол, собственной поврежденной грехом природы и немислимых запасов ядерного оружия, способного несколько раз уничтожить все население земли, сжалось в страхе и трепете от тревожного ожидания тер-



моядерного пролога к библейскому апокалипсису. Радикально изменились характер мироощущения и строй мыслей миллиардов землян, почувствовавших и осознавших, что их хрупкие жилища стоят у подножия мировой Силоамской башни, которая в любой момент может рухнуть и похоронить их под своими обломками. Но большинство из них либо ничего не знают о грозном предупреждении Господа, либо не желают слышать слов, прозвучавших две тысячи лет тому назад: «Или те восемнадцать, на которых обрушилась башня в Силоаме и убила их, — думаете ли вы, что они были виновнее, чем все остальные люди, живущие в Иерусалиме? Нет, говорю вам! Но если не покаетесь, то все так же погибнете!» (Лк. 13,4).

Тогда же появился и пророческий текст, говорящий: «Затрубил третий ангел — и упала с неба большая, как факел горящая звезда. Пала она на треть рек и на источники вод. Имя звезды было Полынь. И стала треть вод как полынь, и многие люди умерли от этих вод, потому что горькими стали они» (Откр. 8,10–11). Иоанн Богослов, несмотря на использование глаголов прошедшего времени «затрубил», «упала», «стала», «умерли», ведет речь о будущем. Контекст пророческого откровения избавляет от всяких сомнений на этот счет. Но для нас, живущих спустя двадцать веков, это будущее уже частично стало настоящим 6 и 9 августа 1945 года, когда две большие, горящие, как факел, звезды упали на Хиросиму и Нагасаки.

Пророчество апостола начало сбываться, хотя и по частям, но самым буквальным образом на сценических площадках японских городов. Мир получил наглядный урок апокалиптики, существенно приблизивший человечество к пониманию сути грядущего финала глобальной истории. К библейскому, пока еще книжному Апокалипсису прибавилось практически-эмпирическое, наглядное подтверждение того, что для большей части жителей земли предфинальная стадия мировой истории станет не тихой, закатной порой расставания с земной жизнью, а громовым обвалом всего и вся.

Текст Иоанна Богослова — это метаисторический Божий сценарий будущего мирового финала. Апостол не обозначил времен и сроков полного исполнения всего того, что открыл ему Бог. Они остались ему неведомы, как неизвестны и нам. Христианское здравомыслие предостерегает нас от попыток каким-либо образом уточнять эти сроки. Нам вполне достаточно того совершенно особого, ранее неизвестного, экстремального, предельного, катастрофического опыта зла, который уже имеется в распоряжении человечества со времени изобретения ядерного оружия. Избавиться от порождаемых им апокалиптических ассоциаций крайне затруднительно. Уж слишком многое из написанного в Книге Откровения напрямую перекликается с кошмарными жизненными впечатлениями людей, живущих во времена двух тысяч атомных взрывов, способных мгновенно превращать в горящие факелы и ядерный пепел все живое: деревья и травы, диких зверей и домашних животных, мужчин и женщин, стариков и старушек, детей и младенцев.

Этот пепел стучит в человеческие сердца и вызывает к теологическому осмыслению и атомного поворота, и того нового предельного опыта, который прежде человеку не был известен. В классический апокалиптический интертекст бесцеремонно вторгается современный раздел, окрашенный в огненно-багровые тона грозящей ядерной сверхкатастрофы и выглядящий как предупреждение о приближающемся летальном исходе.

### **Экзистенциальная суть огненных испытаний**

Эпоха поздней модерности и ранней постмодерности — время, когда нарастающая активность мирового зла, принявшего ядерное обличье, с необходимостью произ-

вела на свет специфическое ответвление богословия греха и зла — теологию атомной бомбы. Последняя не оставляет камня на камне от старых либеральных, прогрессистских иллюзий, чьи остаточные формы еще бродят по разным площадкам современного богословского дискурса.

Ныне на место первого пункта теологической повестки дня напрашивается вопрос о сути гигантского геополитического цунами, великого атомного потопа, грозящего залить землю огнем подобно тому, как она когда-то, в библейские времена, была залита потоками вод.

Идея испытания в пламени огненного ужаса родилась не в головах политиков и физиков XX века. Ее крохотные эмбрионы можно отыскать в глубокой древности. Один из них явился в библейском образе раскаленной печи вавилонского царя Навуходоносора, бросившего в пламя трех пленных юношей-евреев за их верность Богу. Затем эта идея объявилась в пророческих видениях Иоанна Богослова. Прошло две тысячи лет, и она перетекла с библейских страниц в позднейшую модерность с печами Освенцима и огненными смерчами над Хиросимой и Нагасаки.

Чтобы понять, как это стало возможным, совсем нелишне вспомнить давний, весьма характерный поворот в отношении человека к Богу, придавший практикам диффамации Господа легитимный характер. В этом событии, как это ни странно, также оказался замешан образ печи. Речь идет о ключевом эпизоде творческой биографии родоначальника секулярной философии Рене Декарта. Ему, как французскому офицеру, участнику одной из военных кампаний на севере Европы, довелось очутиться внутри реальной печи, правда, не раскаленной, а остывающей и хранящей в себе большой запас домашнего тепла. Когда продрогший на холоде и забравшийся в большую домашнюю печь южанин Декарт/Картезий отогрелся в ее темной утробе, то в его голове начался знаменитый *картезианский* поворот европейской мысли, решительно отказавшейся от всего, что ее связывало с триединым Богом и христианской верой, отдавшей предпочтение фаустовско-мефистофелевской духовной траектории своего будущего существования. Важно зафиксировать этот поворотный момент, произошедший в голове образованного, мыслящего европейского человека, который еще недавно считал себя христианином, но не удержался на высоком духовном поприще. Его философская мысль двинулась в путь, в конце которого ее поджидало самоубийственное состояние невиданного гуманитарного легкомыслия, попустительского отношения к метафизическому злу, а затем и к не заставившим себя долго ждать дьявольским печам Освенцима и огню атомных взрывов. Все это стало прямыми результатами долгого прощания с Богом. Однако за иллюзиями обретения свободы от всего трансцендентного не замедлила обнаружиться разоблачительная правда о докторе Фаустусе, заключившем сделку с дьяволом, ставшем ученым и инженером, конструктором лагерных печей и атомным «бомбоделом», не пожелавшем быть образом и подобием Божьим и потому превратившемся в образ и подобие дьявола.

Глобальное огненное испытание достойно выдержали очень немногие. У большинства произошло выгорание их слабой веры, духовности, нравственности, совести, разумения, элементарного здравомыслия. Культура второй половины XX века пережила поражение за поражением, которые по своей силе, глубине, масштабности явили собой нечто большее, чем обычные, преходящие кризисы. Многие негативные метаморфозы стали свидетельствовать о своей необратимости. Так, живое существо с ранами на теле вполне может исцелиться, но если у него переломлен хребет и раздроблен череп, то подобные травмы для него несовместимы с жизнью, то есть смертельны.

Культура прошлых веков вплоть до начала XX столетия умела преодолевать свои кризисы. Но вообразив, что Бог для нее умер, и превратив эту дьявольскую фантазию

в экзистенциальный постулат, в эпицентр своей картины мира, она получила смертельную внутреннюю травму, лишившую ее способности сопротивляться атакам стихии демонического. Вначале XX, а затем и XXI век стали для нее временем тяжелой и затяжной агонии, а сама она превратилась большей частью, в «мусор», о котором писал Т. Адорно: «После Освенцима любая культура вместе с любой ее уничтожительной критикой — всего лишь мусор... Тот, кто ратует за сохранение культуры, пусть даже виновной во всех грехах, пусть даже убогой, тот превращается в ее сообщника и клеветника; тот, кто отказывается от культуры, непосредственно приближает наступление эпохи варварства; и именно в этом качестве культура и разоблачила самое себя»<sup>1</sup>.

Антиномично-парадоксальным оценкам Адорно, констатирующим тупиковое состояние культуры, созвучна мысль поэта Уистена Хью Одена о поэзии, которая «ничего не меняет». Смысл этих слов может быть расширен, и тогда возникает печальная констатация, касающаяся не только поэзии, но и всей литературы в целом, искусства, философии, которые также ничего не меняют.

В свое время у России были прекрасные поэты уровня Тютчева, был провидец Достоевский, но страна продолжала и продолжает двигаться своим гибельным путем. Великолепная немецкая культура, Бах и Бетховен, Гёте и Шиллер, Кант и Гегель не предотвратили холокоста и мирового позора нацистской Германии. Политическая культура тех, кто олицетворяли американскую демократию и воплощали в жизнь ее морально-правовые императивы, не предотвратила ядерных бомбежек Хиросимы и Нагасаки.

Глубочайшие разочарования в духовной силе культуры серьезно подорвали веру в ее очистительную и возвышающую силу. Но с другой стороны, они заставили мыслящих людей планеты еще пристальнее всматриваться, еще напряженнее вдумываться в сущность произошедшего глобального духовного фиаско, еще настойчивее искать глубинные причины тех роковых событий, тяжесть которых переломила культуру ее духовный хребет.

Существует распространенный языковый оборот о «теологии после Освенцима». Однако не менее, если не более, важно говорить о теологии после Хиросимы, поскольку печей Освенцима в их прежнем качестве уже нет, они успели превратиться в музейные экспонаты, а атомная бомба, сконструированная доктором Фаустусом, никуда не исчезла, не переместилась в музейное пространство и продолжает висеть сатанинским ядерным дамочковым мечом над головами миллиардов потенциальных Йовов.

### Геополитическая территория предельного опыта

Подобно тому как зрелый, мыслящий человек на протяжении своей сознательной жизни регулярно принимается думать о собственной неизбежной смерти, так и человечество в целом всегда размышляло и продолжает размышлять о грядущем конце мировой истории. Внутри библейско-христианского дискурса сложилось эсхатологическое направление, сосредоточившееся на вопросах вселенского финала и постфинальной трансцендентной перспективы. Юрген Мольтман так писал об этом: «Если оглянуться на историю эсхатологии, то библейским образом она представляется в виде великого Божьего суда над добрыми и злыми, заканчивающемся небесами для одних и адом для других. Является ли Страшный суд окончательным Божьим решением человеческой истории? Другие же мечтают о последней битве в войне между Христом и антихристом или Богом и дьяволом, должной произойти в день Армагеддона, неваж-

<sup>1</sup> Адорно Т. Негативная диалектика. М. С. 327.

но, будет ли она происходить при помощи божественного огня или атомных бомб»<sup>2</sup>. Данное суждение симптоматично тем, что в богословский эсхатологический текст встраивается как бы сама собой мысль об атомных бомбах. И это примета времени ранней постмодерности, знак того, что человечество уже перевалило через роковой исторический хребет и пребывает внутри атомной, то есть предфинальной, предапокалиптической эры. Грезящийся ужас ядерного Армагеддона стал для него тем навязчивым переживанием, посредством которого апокалиптика, эсхатология и геополитическая теология соединились в одно целое. «В Хиросиме, — продолжал свое рассуждение Мольтман, — человечество потеряло свою атомную, а в Чернобыле свою экологическую невинность»<sup>3</sup>. Но одновременно с невинностью его покинула и наивность, плохая помощница для тех, кто вступил на территорию предельного опыта. Этот опыт неуклонно накапливается там, где людьми движет стремление постичь *меру, формы и характер* участия в ядерном сценарии не только человеческого фактора (в какой степени он участвует в реализации Божьего апокалиптического замысла), но и фактора дьявольского. Хиросима, Нагасаки, Чернобыль, Фукусима — эти анклавы предельного опыта продемонстрировали не просто убийственную мощь, но дьявольскую суть ядерной составляющей мирового технического прогресса, показывающего, что катастрофы такого рода имеют все основания для того, чтобы их рассматривать как репетиции предфинальных «последних времен», осуществляемые хотя и по Божьему попущению, но отнюдь не Богом. Подобно тому как Бог пустил дьяволу обрушиться на Иова все мыслимые и немыслимые страдания, так же Он, судя по всему, попускает духу зла играть роль устроителя ядерных катастроф. При этом у Бога и архиврага разные цели. Господь испытывает людей, готовит их к неизбежному и предупреждает: «Если не покаетесь, то все так же погибнете!» (Лк. 13, 4). Дьявол же просто бесчинствует, разрушает ради разрушения, убивает ради убийств. А человек, участвующий во всем этом, если он еще не утратил способность к здравомыслию, вынужден размышлять и делать выводы. «После Хиросимы и Чернобыля все трезвомыслящие люди знают, что наше время ограничено и что мы живем в такие „последние времена“, в которые в любой момент становится возможным конец не только человечества, но и всех развитых форм жизни на земле»<sup>4</sup>.

Те катастрофы, которыми ознаменовалось развитие мировой ядерной энергетики, сводят на нет экономические преимущества атомной энергии. Обнаружилась слишком большая цена, которую человечеству приходится платить за такое электричество.

Ядерная апокалиптика — это дискурс, движимый верой в то, что «последние времена» непременно наступят, что времени придется предстать перед судом вечности, что земная история человечества оборвется высшим приговором Бога, упраздняющим ее. Человеческий разум а своих теологических комментариях к этой пророческой картине пытается время от времени добавлять такие штрихи, которые позволяли бы ему отчетливее видеть и яснее понимать, что главную особенность постмодерности следует искать не в философских и лингвистических измышлениях современных парадоксалистов, руководствующихся принципами интеллектуальной беспринципности и моральной вседозволенности, но в том, что она реально беременна ядерной сверхкатастрофой, что ее затевают человекообразные существа, похожие не на гётевского романтического Фауста в шляпе с пером и шпагой на поясе, а на мелкотравчатого, ничтожного и озлобленного на всех за свое духовное ничтожество подпольного господина из «Записок из подполья» Достоевского, заявляющего: «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить».

<sup>2</sup> Мольтман Ю. Пришествие Бога. Христианская эсхатология — М.: Изд. ББИ, 2017. С. X.

<sup>3</sup> Там же. С. 3.

<sup>4</sup> Там же. С. 9.

Самые зрелые формы катастрофического дискурса, концентрирующего предельный опыт пограничных ситуаций, представлены в библейско-христианских теодицеях от Книги Иова до книг Карла Барта, примиряющих человека с Богом и не позволяющих катастрофам аннигилировать индивидуальный дух и поглотить живую боголюбивую душу.

Но в секулярных дискурсах фаустовско-мефистофелевских квазитеодицей высокой и закатной модерности уже отсутствует эта мудрая зрелость, и о примирении с Богом нет речи. Вместо этого либо преобладает богоборческое ожесточение холодной и злой секулярной рассудочности, либо же звучат слезные lamentации растрепанной и расхристанной постмодернистской души, изрядно ослабевшей под бременем страстей человеческих, во всем отчаявшейся и ни на что уже не рассчитывающей. Здесь ожидание внешней катастрофы следует за уже состоявшейся катастрофой внутренней, экзистенциальной. Возникает гибельный унисон двух типов умонастроений, свидетельствующий о безысходной покорности души миру и о ее готовности провалиться в небытие вместе с ним. Внутри нее нет сил и ресурсов, чтобы поддерживать высокий духовный тонус классической теодицеи. Все, на что она способна, — это твердить ницшевскую мантру о том, что Бог «мертв», и рисовать в своем воображении разные варианты натюрмортов, антропомортов и теомортов, изображающих либо омертвевшую природу, либо духовно умершего человека, либо «мертвого» Бога.

### Два направления атомного дискурса

Автором термина «атомная бомба» часто называют Андрея Белого из-за принадлежащих ему стихов:

Мир рвался в опытах Кюри  
Атомной, лопнувшей бомбой  
На электронные струи  
Невоплощенной гекатомбой.

Атомный поворот стал самым радикальным из всех поворотов мировой истории, заставившим интеллектуалов задуматься над проблемами разрушительных потенциалов, таящихся в каждом очередном научном открытии, в каждой появляющейся технической новинке. Он инициирует переоценку перспектив общественно-исторического развития, побуждает вновь и вновь говорить о коренной злокачественности человеческой природы, об апокалиптическом приближении «конца истории», об исчезновении у людей сознания и чувств безопасности, об окончательном крушении высоких нравственных идеалов, а с ними и надежд на полную победу добра над злом.

С атомным поворотом состоялось вхождение человечества в самую, судя по всему, свирепую фазу своей истории, с ужасами которой ничто не сопоставимо. Мировая история фактически разорвалась на два хронологических куска — до Хиросимы и после Хиросимы.

Если в Откровении Иоанна Богослова неизбежность мирового финала предстает в футуристических картинах пророческих видений, то в реальности атомного поворота предфинальные, предапокалиптические ужасы стали облекаться в материальные, осязаемые, видимые и слышимые формы настоящего. XX век основательно потрудился, чтобы приподнять покрывало, за которым скрывалась тайна реального апокалипсиса. Он обеспечил процесс общего приближения человеческого разума к суще-

ству давнего библейского пророчества, материализующегося у всех на глазах, принимающего такой вид, в который секулярное сознание ни за что не хочет верить, так он заперделен. Но если автором и режиссером библейского апокалипсиса выступает Бог, готовый творить Свой справедливый суд, то авторами ядерной увертюры к Божьему финалу норовят стать сами люди, мотивированные отнюдь не Богом. Ядерный, рукотворный протоапокалипсис — это сатанинский проект фаустовского человека, возникший и реализующийся под прямым водительством Мефистофеля, духа тьмы и зла, коварного вдохновителя-provokatora и «научного руководителя» всей атомной фантазмагии. Под его неусыпным provokatorским напором в таинственное лоно материи, сотворенной Богом, вторглись железные синхрофазотронные клещи новых фаустов. Они безжалостно разорвали атомное ядро и подготовили невиданную трагедию, обещающую стать возмездием как за всевластие аморальных политиков, так и за чудовищно грубую, богопротивную бесцеремонность секулярного рассудка, выдаваемую за благородную фаустовскую страсть к познанию. Потому, в отличие от апокалиптической реальности Откровения Иоанна Богослова как книги заслуженного Божьего гнева и справедливого отмщения, адресованного терпящему поражение злу, рукотворный ядерный протоапокалипсис нашей эпохи — это временный земной триумф зла, которое вообразило, что Бог «умер» и оно может безнаказанно демонстрировать свою темную, гибельную силу.

В пику полшуточному в наших глазах вопросу старинной схоластики о том, сколько ангелов может уместиться на кончике иглы, напрашивается устрашающе серьезный вопрос нашего времени о том, сколько демонов умещается внутри ядерной бомбы? А внутри всех ядерных бомб на земле? А внутри всех ядерных и неядерных взрывных устройств всего мира? Не исключено, что их общее количество многократно превышает число людей, проживающих на планете. Похоже, что эти демоны позволили людям заключить себя в металлические казематы не для того, чтобы пребывать там бесконечно долго. Многомиллиардная дьявольская армада с нетерпением ожидает, когда наступит время «Ч» и прозвучит команда вырваться из заточения с огнем, грохотом и готовностью разрушать и убивать все живое.

Атомный дискурс не имеет целостного характера и распадается на два противоположных направления. Первое, находящееся в подчинении у Божьего духа, может быть условно обозначено как *теология атомной бомбы*. Оно предполагает, что за очевидными явлениями, процессами, событиями всегда скрыта их глубинная, сущностная подоплека сверхчувственного, трансцендентного характера. Так, за всей социокультурной шелухой постмодерна кроется логика совершившегося атомного поворота, свидетельствующего о том, что человечество прерывисто, но неуклонно сползает в предфинальную, катастрофическую протоапокалиптику. За погружением в безумие самоуничтожения обнаруживается действующая сила грозного бича Божьего, творящего возмездие. Таким образом, словосочетанием *теология атомной бомбы* обозначается аналитическая область критической мысли, питающейся опытом библейско-христианской интеллектуальной традиции и нацеленной на постижение высшего уровня детерминации, на исследование и объяснение того, как в мире, где господствует Бог, стало возможным существование и распространение демонической реальности, описываемой при помощи понятий атомного поворота и ядерного оружия массового поражения.

Второе направление, движимое мирским, секулярным духом, имеет природу фаустовско-мефистофелевской апологетики атомного поворота, оправдывающей убийственную силу ядерного оружия. Вписанная в историю мирового духовного кризиса, являющаяся его порождением, проявлением и продолжением, она складывается из

многочисленных информационных потоков, насыщенных политико-идеологической софистикой секулярного рассудка, романтизирующего военный ландшафт эпохи поздней модерности и ранней постмодерности. Она же изображает этот ландшафт как «шахматную доску», как игровое пространство постоянно идущих репетиций предстоящей мировой войны. При этом ему предпринимаются гигантские усилия идеологического характера, старательно маскирующие inferнальную природу ядерного демона.

Налицо три главных способа описаний тех отношений Бога с человеком, которые вводят нас в теологию атомной бомбы. Первый — это *сверхрациональный язык* упреждающего библейского Откровения, через которое Бог открывает человеку всю меру его неправоты перед Ним и всю степень опасности для жизни и судьбы человеческого рода стратегий систематического пренебрежения Божьими предписаниями.

Второй — это *рациональные языки* теологии, философии, социогуманитарных наук, посредством которых верующий разум исследует, а неверующий рассудок только лишь пытается понять природу массового духовного слома, приведшего к катастрофизму атомного поворота, к радикальному изменению баланса мировых сил в пользу зла.

Чтобы понять, как это стало возможным, мало одних философско-технических, философско-политических, историософских рассуждений, а необходима теологическая рефлексия, обладающая опытом обращения с трансцендентными факторами, действующими внутри исторического процесса. Здесь требуются разработки дискурсивных подступов к новообразующимся анклавам предельного опыта взаимодействий человеческих умов, сердец, душ с демоническими силами зла, принявшими ядерное обличье и составившими настоящий заговор против человечества. И здесь наибольшая нагрузка и ответственность ложатся на теологию, способную воссоздать совокупную панораму человеческих преступлений против Господа и ответных Божьих наказаний за них. С учетом опыта мировой истории, но прежде всего на материале позднейшей модерности XX века и новейшей постмодерности XXI века теология способна продемонстрировать, как действует воздающий бич Божий, принадлежащий отнюдь не умершему, а живому Богу-Отцу, грозному в своем справедливом гневе на тех, кто заявляет: «Бог мертв, и потому будем творить беззакония, есть и пить, наслаждаться жизнью, распутничать в свое удовольствие, устроим вначале сексуальную революцию, а затем революцию гомосексуальную, зажжем мир с четырех сторон, окунем его в хаос, зальем кровью, поскольку все равно умрем».

И, наконец, третьим способом описания отношений человека с Богом владеют *нерациональные* художественно-образные языки прозы, поэзии, музыки, изобразительных искусств, театра, а начиная с XX века и кинематографа. С их помощью описываются разные грани феноменов богоотрицания и расплаты за опрометчивое неразумие людей, отказывающихся выстраивать должные отношения с Творцом-Миродержцем, в чьей полной власти они находятся.

Те, кто полагают, что атомная бомба — это всего лишь физическое зло, и не более того, заблуждаются. Вместе с материальными субстратами зла в жизнь человечества вторгается сверхфизическое зло небывалой мощи. Обладающее явно выраженной трансценденцией дьявольского, то есть разрушительного, смертоносного характера, оно несет в себе ошеломляющий парадокс. Это *парадокс зла, способного взорвать мир зла и тем самым уничтожить себя вместе с мировым порядком*. Секулярный рассудок теряется перед этой самоубийственной загадкой мира. И только дьявол ухмыляется, довольный успехом затеянной им предапокалиптической интриги глобального суицида, безумием сотен миллионов людей, готовых стереть себя с лица земли, положить конец мировой истории, цивилизации, культуре.

### Экстремальная теология

Приближающееся превращение библейской апокалиптической мистерии в геополитическую реальность настойчиво требует теологических рефлексий. И намечающиеся рациональные контуры экстремальной теологии, или теологии атомной бомбы, — один из ответов на этот запрос. Ее формирующий дискурс предстает как

1) *теология апокалиптических ожиданий*, приобретающих характер предчувствия тотальной мировой военно-политической катастрофы, способной грянуть не завтра, а уже сегодня, в любую минуту нынешнего дня;

2) *теология всеобщего экзистенциального хоррора*, общей смертельной тоски, разливающихся в воздухе, который буквально «пахнет смертью» в местах уже совершившихся ядерных взрывов и техногенных катастроф. Действенность этих переживаний усугубляют достоверные знания о том, что гигантские скопления ядерного оружия невероятной мощи разбросаны по всей планете, летают по воздуху, проникают в космос и пребывают не законсервированными на неопределенное время, а в состоянии повышенной боевой готовности;

3) *теология грозящей исторической фатальности*, когда в одной предельной точке геополитического экстремума способны сойтись вероятности одномоментных вспышек всех возможных и невозможных, вероятных и невероятных кризисов, катаклизмов, катастроф;

4) *теология предельного и запредельного опыта*, являющегося достоянием современного человека, вынужденного иметь дело с почти фантастическими формами и критическими массами экстремального зла, сосредоточенного в inferнально-демоническом «подполье» мировой цивилизации и грозящего вырваться оттуда для жестокой расправы над человечеством;

5) *теология тотального духовного кризиса*, повсеместно наступающего индивидуальное и массовое сознание, заставляющего его постигать смертоносную новизну всей суммы современных мировых обстоятельств, направленных против Бога и Его заповедей, жизни и человека, культуры и цивилизации;

6) *теология воздаяния*, исследующая предфинальную фазу трагедии секулярной, фаустовско-мефистофелевской души, страшно виновной перед Господом, проявившей сатанинское нечестие, решившейся на «убийство» Бога и готовящей собственное самоубийство. Эта душа не желает слышать о богословском дискурсе, защищающем грозного, но справедливого Бога-ревнителя, Который не молчит, не бездействует, а дает Свой ответ, демонстрирует бич Божий, оружие Божьего возмездия, созданное по Божьему попущению самими же людьми для их самоуничтожения.

Библейская оптика, имеющаяся в распоряжении экстремальной теологии, вкупе с приобретенным катастрофически-травматическим опытом XX—XXI веков, подтверждает самые тревожные ожидания: «Уже положен топор у корня деревьев, и всякое дерево, не приносящее хорошего плода, срубают и бросают в огонь» (Лк. 3, 9). К этой библейской метафоре топора примыкает чеховская метафора ружья, на этот раз атомного, висящего на геополитической сцене и готового выстрелить в любой момент. А вместе они указывают на одно и то же — огромную опасность, нависшую над самонадеянными, гордыми, дерзкими, но крайне незадачливыми грешниками, жестоко провинившимися перед Богом и подставившими свои непутевые головы под пребывающие в полной боевой готовности атомный топор и атомное ружье,

Полтора столетия тому назад у Достоевского, в его «Братьях Карамазовых» болтливый черт из главы «Кошмар Ивана Федоровича» нарисовал образ космического топора, заброшенного людьми в межзвездное пространство и летающего там. Современ-



никам писателя он казался чистейшей фантазмагорией, и никто не мог и вообразить, что спустя сотню лет он обратится в реальнейшую из реалий. Ныне же стальных баллистических топоров, способных летать в космосе, начиненных смертью, занесенных над головами народов всего мира, стало слишком много, так что уже ни у кого нет сомнений в их готовности одновременно раскроить головы миллиардам людей. И тут, уже в который раз, в теологию греха напрашивается ядерно-баллистический раздел, побуждающий к размышлениям о «небе оптовых смертей» (О. Мандельштам).

Образ карамазовского топора, картины дантовского ада, чудовища демонизированной вселенной Босха, планетарный «Атомный крест» Сальвадора Дали все глубже вторгаются в мироощущение современного человека, все настойчивее будоражат его экзистенциальное воображение, лишают спокойствия его ум, охваченный перманентной тревогой.

Надо отдать должное библейско-теологическому взгляду на все это. Он несравнимо глубже театрально-сценических и литературно-живописных взглядов, поскольку позволяет понимать самую суть происходящего, сознавать реальную возможность атомного воздаяния, в результате которого древо человеческого рода, переставшее приносить добрые плоды, изъеденное смертными грехами и, прежде всего, грехом хулы на Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа, уже заслужило самый строгий вердикт и потому может быть срублено атомным топором и брошено в ядерный огонь.

«Убийство» Бога-Отца, диффамации Бога-Сына и Бога-Св. Духа освободили культурное пространство от абсолютных библейских императивов, от всеобщих ценностей и смыслов, составлявших несущую основу мировой цивилизации. И та стала превращаться в аморфное, размякшее, рыхлое, духовно слабое нечто, неспособное противостоять наседающему злу. Ее нынешним обитателям все равно, перековывать ли мечи на орала или орала на мечи, убивать или не убивать, красть или не красть, прелюбодействовать или не прелюбодействовать, лгать или не лгать. Более того, им уже почти все равно, быть или не быть, жить или не жить. Слишком многое говорит о том, что времена гамлетовских колебаний остались в прошлом и большая, но не лучшая часть человечества уже фактически определилась, предпочтя бытию небытие, духовной жизни духовную смерть. Небытие, победившее в головах и сердцах миллиардов людей, сокрушившее содержимое этих голов, превратившее в руины их веру, надежду, любовь, здравомыслие, готово приняться и за физическое уничтожение тех, кто привык оскорблять Бога своим нечестием, кто относится к каждодневным надругательствам над Ним как к норме.

Люди, одержимые демонической гордыней, повсеместно попирающие Божьи законы, глубоко заблуждаются, думая, что смогут творить свои беззакония бесконечно, что к ответу их никто не призовет, что Бог «мертв», а они — хозяева земли и неба и потому могут делать все, что им заблагорассудится. Но Бог жив и ведет счет человеческим злодеяниям. Он никогда никого не освобождал от ответственности за содеянное. Так что чем чудовищнее совершенные преступления, тем страшнее чаша Божьего гнева, весомее проклятие и неизбежнее возмездие.

Но все это совсем не означает, что незачем мыть полы на гибнущем корабле. Понимая суть и направленность макроисторической динамики, мы просто обязаны продолжать мыслить, верить и помнить урок Иова. Он и на краю бездны не похулил Бога, как советовал ему самый близкий человек — жена. Он сохранил веру, а вера сохранила его.

# АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН И ВАРЛАМ ШАЛАМОВ

## Свет живой истины и трагический мрак мертвой правды

### 1.

Тема «Солженицын и Шаламов» все еще остается настолько взрывоопасной, что возникает такое ощущение, как будто, приступая к ней, ты сразу оказываешься на заминированном поле, усыпанном раскаленными осколками уже разорвавшихся мин, и каждый твой шаг босиком по нему связан с угрозой если не мгновенного взрыва, то неизбежных кровавых порезов ног.

И возникающая острая **боль** в меньшей степени связана с именем **Александра Солженицына** (1918–2008), «одной из самых могучих фигур за всю историю России» (В. Распутин), великого христианского писателя<sup>1</sup> (ставшего великим не только благодаря редкому природному дару, но и титаническому, многолетнему, каждодневному трудничеству, огромной силе воли, неисчерпаемой энергии, поразительной целеустремленности), «светоносца» (А. Ахматова) и духовного труженика, художественное и публицистическое слово которого пробуждает мысль и силу духа, заложенную в самой природе человека, возрождает веру в духовный смысл нашего бытия и в то же время обращенное к совести человека, врачует беспокойную душу читателя-единомышленника (воспринимающего жизнь и как драгоценный дар, и как необходимый долг) и этим вызывает у него чувство глубокой **радости** и искренней благодарности.

---

Вячеслав Иванович Влащенко — литературовед, методист. Автор трех книг («Проблема литературной преемственности на уроках внеклассного чтения в старших классах» (Л., 1988), «Уроки литературы в выпускном классе» (в соавторстве с Г. Н. Иониным; СПб., 2009), «Современное прочтение романа М. Ю. Лермонтова „Герой нашего времени“» (СПб., 2014) и более 120 публикаций о русской литературе XIX–XX веков в сборниках трудов ИМЛИ («Московский пушкинист». Вып. V, 1998; Вып. X, 2002; Вып. XII, 2009), ИРЛИ (Пушкинский Дом), СПбГУ, РГПУ им. А. И. Герцена; в журналах «Social Sciences» (2015, № 2), «Вопросы литературы» (1998, № 6; 2004, № 4; 2014, № 6), «Нева» (2005, № 12; 2014, № 10; 2016, № 3, 4; 2017, № 3), «Литература в школе», «Русская словесность», «Литература», «Начальная школа».

---

<sup>1</sup> Называя Солженицына таковым еще в 1970 году, в своей первой из восьми статей о писателе, А. Шмеман прежде всего имеет в виду то «восприятие мира, человека и жизни, которое в истории человеческой культуры родилось и выросло из библейски-христианского откровения о них и только из него <...> триединая интуиция сотворенности, падшести и возрожденности <...> именно эта интуиция лежит в основе творчества Солженицына» (Шмеман А., прот. Собрание статей. 1947–1983. М., 2009. С. 767).

**Но**, к горькому сожалению, бесчисленное количество раз злорадно и сознательно оболганного, оклеветанного в многочисленных статьях и книгах вчерашних и сегодняшних «образованцев» и «наших плюралистов» всех мастей (напоминающих «либеральную саранчу» из «Красного колеса») как в своей стране, так и на «демократическом» Западе<sup>2</sup>, «критиков» и «разоблачителей», так неумно, неистово **ненавидящих** его<sup>3</sup>, начиная с 1962 года (когда в «Новом мире» был опубликован «**Один день Ивана Денисовича**») и достигнув пика в 1974 году (когда Солженицына насильно выслали из страны), ненавидящих по настоящее время; ненавидящих **писателя**<sup>4</sup>, который «лицетворяет Россию, ее прошлое, настоящее и будущее» (В. Страда) и является «служителем Духа в русском народе» (А. Зубов), писателя, у которого «на России и религии зиждется все его творчество» (Н. Струве), писателя, творчество которого есть «некое чудо совести, правды и свободы» (А. Шмеман); ненавидящих **человека**, который еще в 70-е годы обратился с нравственным призывом «**Жить не по лжи!**» и встать на путь искреннего раскаяния и очищения, строгого самоограничения и глубокого духовного развития, обратился ко всей стране и каждому совестливому человеку. И этот призыв остается актуальным и сегодня, останется таковым и всегда. По сути, смысл этого призыва раскрывается в словах архиепископа Иоанна (в миру Д. Шаховского; 1902—1989): «Если скрылась от нас, зашла солнечная воля Божья, надо направлять свой путь „по звездам“ (по заповедям) и „по месяцу“ (совести)»<sup>5</sup>.

О себе, о своем мировоззрении и гармоническом мироощущении, очень точно и ясно Солженицын сказал в «**Нобелевской лекции**» (1972), сказал как о художнике, который

знает над собой силу высшую и радостно работает маленьким подмастерьем под небом Бога, хотя еще строже его ответственность за все написанное, нарисованное, за воспринимающие души. Зато: не им этот мир создан, не им управляется, нет сомненья в его основах, художнику дано лишь острее других ощутить гармонию мира, красоту и безобразие человеческого вклада в него — и остро передать это людям. И в неудачах и даже на дне существования — в нищете, в тюрьме, в болезнях — ощущение устойчивой гармонии не может покинуть его<sup>6</sup>.

Можно говорить о совершенно разных причинах «открытой и ползучей ненависти» (Л. Чуковская) слепых и глухих к истине людей. Александр Твардовский (1910—1971) в своем дневнике в 1967 году пишет о «ненависти начальства и открытых его против-

<sup>2</sup> «Две мировые силы — одновременно, сплющивая меня! Вот это и есть: промеж двух жерновов. Смолоть до конца! <...> Не рассчитали противники, как остойчив мой характер, я — гнанный зверь. Этот шквал я переставал спокойно. <...> Ну что ж — пожили в славе, поживем и в поношении, для души полезно» (Солженицын А. И. Угодило зернышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания // Новый мир. 2001. № 4. С. 111, 118).

<sup>3</sup> Биограф писателя Л. Сараскина, отмечая, что «Солженицын — одна из самых оклеветанных фигур своей эпохи», говорит о «ненависти, идущей одновременно с разных сторон»: и западных либералов (оскорбленных «его взглядами, мировоззрением, моральным и религиозным подтекстом сочинений»), и русских националистов («не стал идеологом „Великой России“, Империи»), и коммунистов (откуда раздаются «голоса самой неистовой, порой истеричной критики, пытающейся опровергнуть цифры, смыслы, цели „Архипелага ГУЛАГ“» (Сараскина Л. И. Солженицын и медиа в пространстве советской и постсоветской культуры. М., 2014. С. 12, 13, 418, 424).

<sup>4</sup> Американский политолог Д. Махони, автор книги «Александр Солженицын: От идеологии вверх» (2001), утверждает, что «трудно представить себе другого выдающегося писателя, чьи мысли и личность за последние тридцать лет подвергались бы столь же злостному извращению и поношению» (Солженицын: Мыслитель, историк, художник. Западная критика, 1974—2008. М., 2010. С. 8).

<sup>5</sup> Иоанн, архиепископ Сан-Францисский. Избранное. Петрозаводск, 1992. С. 342.

<sup>6</sup> Солженицын А. И. Публицистика: В 3 т. Ярославль, 1995. Т. 1. С. 8.

ников в литературном мире, а также затаенном злорадстве тех литераторов, что не прощают ему его таланта, удачи, иной природы его личности»<sup>7</sup>. И Н. Струве (1931–2016), французский русист, издатель и друг Солженицына, в 1980 году на вопрос: «Чем объясняется такое неблагодарное, а потому и неблагородное отношение соотечественников к писателю, изменившему своим словом сознание современников в мировом масштабе?» — дает психологическое объяснение: «Всякое художественное явление, резко из ряда вон выходящее, вызывает зависть некоторых, обиды близких и друзей, безотчетное раздражение обывателя. Внимательный разбор антисолженицынской литературы обнаруживает, что она почти вся замешана на психологической почве»<sup>8</sup>.

Выдающийся богослов XX века Александр Шмеман (1921–1983) в своей последней статье о Солженицыне в 1979 году дает более глубокое объяснение ненависти «соотечественников», их «очевидной неспособности или нежелания услышать <...> самое главное в нем»: «...воспринимают инстинктивно его творчество как опасное, разрушительное для себя, своих убеждений, своего миропонимания»<sup>9</sup>. Это А. Шмеман связывает и с «необъяснимой ненавистью именно к христианским корням культуры», с «богоотступничеством культуры»<sup>10</sup>.

Сам Солженицын эту ненависть лично к себе в блистательном эссе «**Наши плюралисты**» (1982) связывает с ненавистью либеральной интеллигенции к православию, к России и русскому народу, с отрицанием «*плюралистами*» Божьей истины и утверждением множественности истин, что ведет к «*потере различий между положениями истинными и ложными, между несомненным Добром и несомненным Злом*»<sup>11</sup>.

А на Западе, по мнению американского литературоведа Э. Эриксона, главной причиной ненависти и «отрицательного восприятия Солженицына в очень большой степени стали идеологические предубеждения, основанные на установках западного светского либерализма»<sup>12</sup>.

Мучительная **боль** (о которой было сказано в начале статьи) в гораздо большей степени вызвана именем **Варлама Шаламова** (1907–1982), вероятно, самого мрачного и безысходного писателя в русской литературе, создателя не столько «*новой*», сколько «**мертвой прозы**» (именно в этом и состоит ее «художественная новизна»<sup>13</sup>), «великого мученика» (А. Немзер) и талантливого писателя, «**жесточкого писателя**» (Л. Тимофеев) с трагической судьбой, сумевшего воплотить в слове свой бесконечно страшный опыт и создавшего скорбные, беспросветные «Колымские рассказы»<sup>14</sup>; **человека**,

<sup>7</sup> Твардовский А. Т. Новомирский дневник: В 2 т. Т. 2: 1967–1970. М., 2009. С. 44.

<sup>8</sup> Струве Н. А. Православие и культура. М., 2000. С. 76–77.

<sup>9</sup> Шмеман А., прот. Указ. соч. С. 814.

<sup>10</sup> Там же. С. 771.

<sup>11</sup> Солженицын А. И. Публицистика. Т. 1. С. 408.

<sup>12</sup> Солженицын: Мыслитель, историк, художник. С. 198–199.

<sup>13</sup> Проза Шаламова, по мнению И. Роднянской, «при ее чрезвычайной смысловой и гражданской силе, остается по преимуществу эстетическим актом, рожденным ввиду личной потребности...» (Роднянская И. Лирико-патетическое начало в «Архипелаге ГУЛАГ» // Жизнь и творчество Александра Солженицына: на пути к «Красному колесу». М., 2013. С. 338).

<sup>14</sup> Ср. разные высказывания и оценки: «Гениальный художник <...> его проза действительно нова и принципиально не похожа на все, что было в мировой литературе до сих пор», и составляет «духовное сокровище России» (Тимофеев Л. Поэтика лагерной прозы // Октябрь. 1991. № 3. С. 182, 195); «...это высокоинтеллектуальное повествование о духе победившем» (Жаравина Л. В. «И верю, был я в будущем»: Варлам Шаламов в перспективе XXI века. М., 2014. С. 64, 143); «Шаламов — гениальный несостоявшийся писатель. <...> Подлое время нам оставило черновики, наброски, заготовки <...> Пяток, десяток, не больше, готовых вещей. Совершенных! Все прочее в движении, в процессе...» (Солоух С. Время Шаламова // Октябрь. 2006. № 3. С. 179 — 181); «Неизвестно, достиг бы Шаламов как писатель тех вершин, что достиг, если бы его миновала горькая чаша лагерной одиссеи,

очень рано отречься от Бога и поэтому, наверное, никогда не произносившего спасительную молитву преподобного Иоанна Златоуста: «Господи, избави мя вечных мук»; человека с поврежденным сознанием и искалеченной психикой, с надорвавшейся и обессиленной душой, но в которой все-таки до последнего сохранялся слабый, угасающий свет последних усилий по созданию стихов. Кажется, что Шаламов еще в одном из своих лучших рассказов — «Шерри-бренди» (1958) — описал не только смерть Мандельштама, но и будущую собственную смерть:

В те минуты, когда жизнь возвращалась в его тело и его полуоткрытые мутные глаза вдруг начинали видеть, веки вздрагивать и пальцы шевелиться, возвращались и мысли, о которых он не думал, что они — последние.

Жизнь входила сама как самовластная хозяйка: он не звал ее, и все же она входила в его тело, в его мозг, входила, как стихи, как вдохновение. И значение этого слова впервые открылось ему во всей полноте. Стихи были той животворящей силой, которой он жил. Именно так. Он не жил ради стихов, он жил стихами<sup>15</sup>.

И в этом видна высокая человеческая трагедия художника, в душе которого место Бога занимали стихи, место религии занимала поэзия. Как отмечает О. Волков (1909—1996), автор книги «Погружение во тьму», на Колыме Шаламов «выстоял, у него хватило сил, чтобы остаться человеком — вопреки ожесточавшим и принижавшим условиям. Однако ценой веры в возможность торжества добра, ценой отчуждения от людей»<sup>16</sup>. По словам И. Шайтанова, «Шаламов вернулся физически и духовно потрясенным. Он прожил оставшуюся жизнь с лагерным ужасом — в памяти и в душе <...> Шаламов — Kafka лагерной жизни, подобно австрийскому писателю, явивший ужас бытия в середине XX века. В этом его величие как писателя и человека»<sup>17</sup>.

В состоянии непомерной гордыни в 1971 году Шаламов делает запись: «Если бы я умер — причислили бы к лику святых» (5, 319). И. Сиротинская уже через много лет после его смерти, явно идеализируя писателя (при наличии в ее книге и других, более ранних и реальных, его характеристик<sup>18</sup>) и обесценивая слово, утверждает: «Я могу сказать — он был лучшим из людей XX века. Он был святым — неподкупным, твердым, честным — до мелочи — благородным, гениальным прозаиком, великим поэтом»<sup>19</sup>. Однако отметим, что на библейском языке «святой» значит тот, который принадлежит Богу, посвящен Богу, служит Богу.

Б. Лесняк (1917—2004), товарищ Шаламова по Колыме, в воспоминаниях, вызывающих доверие, отмечает:

Характер у Варлама Тихоновича, конечно, отцовский — талантлив, честолюбив, тщеславен, эгоистичен. Я затрудняюсь сказать, чего больше. К этим чертам еще можно прибавить злопамятность, зависть к славе, мстительность. <...> Были в его послелагерной жизни периоды, когда он считал, что славу и бессмертие, к которым он с детства стремился, принесет ему проза — его «Колымские рассказы» в первую очередь. Порой он отдавал приоритет своей лире. Варлам был очень чувствителен к славе и безрассудно ревнив<sup>20</sup>.

---

со столь яркой, грозной, вопиющей, непривычному уху и глазу фактурой» (Лесняк Б. Дорога и судьба Варлама Шаламова // Открытая политика. 1999. № 1—2. С. 96).

<sup>15</sup> Шаламов В. Т. Собр. соч.: В 6 т. М., 2004—2005. Т. 1. С. 102.

<sup>16</sup> Волков О. Наша боль и вина // Шаламовский сборник. Вып. 3. Вологда, 2002. С. 43.

<sup>17</sup> Цит. по кн.: Есипов В. В. Провинциальные споры в конце XX века. Вологда, 1999. С. 231.

<sup>18</sup> «Честолюбец — цепкий, стремящийся укрепиться в жизни, вырваться к славе, бессмертию. Эгоцентрик. Жалкий, злой калека, непоправимо раздавленная душа. <...> Он жаждет славы, денег — золотого дождя» (Сиротинская И. П. Мой друг Варлам Шаламов. М., 2006. С. 7, 51).

<sup>19</sup> Там же. С. 167.

<sup>20</sup> Лесняк Б. Указ. соч. С. 94, 95.

Может быть, самые пронзительные слова к столетию Шаламова сказал **А. Немзер**, воспринимающий его «колымскую» прозу в большей степени как страшный исторический документ, а не произведение искусства. На вопрос, поставленный еще в начале 90-х годов прошлого века Л. Тимофеевым, о том, «вправе ли мы <...> толковать о творческой манере, о художественных открытиях» Шаламова<sup>21</sup>, автор статьи фактически дает отрицательный ответ:

Читать Варлама Шаламова страшно, не читать — **стыдно**, а обсуждать — стыдно втройне <...> Подходить к «Колымским рассказам» и другим созданиям Шаламова с религиозными, философскими, литературными мерами **нельзя**. Просто нельзя. По крайней мере нам. Нас там не было. <...> Жить по Шаламову **невозможно**. Игнорировать его судьбу и личность, его роковое знание, напоенное мукой, болью и страхом, отчаянием <...> тоже невозможно. <...> И так же невозможно писать о Шаламове — встраивать его многолетний изматывающий душу стон в культурные контексты, отыскивать исторические традиции и фиксировать творческое развитие эстетических и мировоззренческих принципов искусства...<sup>22</sup>

С этой точки зрения, три книги о Шаламове волгоградского филолога Л. Жарвиной<sup>23</sup> являются искусной литературной игрой с текстами писателя и с возможным читателем-филологом (что является ярким примером проявления постмодернизма в современном литературоведении). Удивительно, но о литературной «игре» один раз проговаривается и Шаламов в черновом варианте письма своему товарищу по Колыме А. Кременскому (1908—1981):

20 век принес сотрясение, потрясение в литературу. Ей перестали верить, и писателю оставалось для того, чтобы оставаться писателем, **притворяться** не литературой, а жизнью — мемуаром, рассказом, вжатым в жизнь плотнее, чем это сделано у Достоевского в «Записках из Мертвого дома». Вот **психологические корни** моих «Колымских рассказов» (6, 579).

Кажется, что в лучших рассказах Шаламова отражены два человека — художник, вдохновенно сочиняющий, и бывший каторжник, который мучительно вспоминает свое существование в аду, вспоминает не только события, конкретные ситуации и конкретных людей, но и свои ощущения, состояние своего тела, души, сознания, вспоминает прежде всего зло в самых разных своих проявлениях.

«Нас там не было», как пишет А. Немзер. Мы оказываемся всего лишь читателями<sup>24</sup>. Поэтому нам может быть стыдно возражать или спорить с Шаламовым, проведшим долгие годы на Колыме<sup>25</sup>. Но мы можем и должны обращаться к опыту тех, кто **там был** и, по сути, говорит иное, опровергающее главные постулаты писателя. На-

<sup>21</sup> Тимофеев Л. Указ. соч. С. 182.

<sup>22</sup> Немзер А. Дальнейшее — молчанье. К столетию Варлама Шаламова // Время новостей. 2007. № 112. 29 июня. С. 10.

<sup>23</sup> «„Со dna библейского колодца“: о прозе Варлама Шаламова» (Волгоград, 2007); «„У времени на дне“: эстетика и поэтика Варлама Шаламова» (М., 2010); «„И верю, был я в будущем“: Варлам Шаламов в перспективе XXI века» (М., 2014).

<sup>24</sup> См. осмысление последней фразы первого текста «По снегу», открывающего «Колымские рассказы» («А на тракторах и лошадях ездят не писатели, а читатели»), в книге: Михеев М. Ю. Андрей Платонов и другие. Языки русской литературы XX века. М., 2015. С. 476—480.

<sup>25</sup> И Д. Быков утверждает: «...его выводы не подлежат обсуждению, а чтобы спорить с ним — надо как минимум обладать сравнимым опытом. <...> Жутко звучит, если вдуматься: единственный писатель в мировой литературе, которому нельзя возразить» (Быков Д. Л. Имеющий право (2007) // Быков Д. Л. На пустом месте. СПб., 2011. С. 130, 131).

пример, Б. Лесняк пишет о том, что у каждого свой лагерный опыт и поэтому естественны и неизбежны разные оценки этого опыта. К тому же сам Шаламов неоднократно утверждал, что он «летописец собственной души, не более», что его «Колымские рассказы» — это не воспоминания, а «**новая проза**», «проза, выстраданная, как документ» (5, 157), «Достоверность протокола, очерка, подведенная к высшей степени художественности» (6, 493), «рассказы эти показывают человека в исключительных обстоятельствах, когда все отрицательное обнажено безгранично» (6, 580)<sup>26</sup>.

Моя задача, в результате полугодовой плотной работы, прочтения более трехсот статей и книг, полного погружения в материал и написания своего текста в основном в ночные часы, — подвести некоторые итоги изучения заявленной в этой статье темы в современной критике и литературоведении и сказать свое посильное и, надеюсь, живое, осмысленное слово о писателях (каждый из которых создал свой литературный памятник всем замученным и убитым в советских каторжных лагерях), слово, которое может стать действенным и вызвать внутренний отклик у читателей, вызвать ответное эхо. Необходимо сразу пояснить, что один из главных посылов данной статьи заключается ни в коем случае не в том, чтобы упрекать, укорять или осуждать одного из двух писателей, но — только попытаться **понять и объяснить** его трагедию, при искреннем к нему **сочувствии и сострадании**. Читателю данной статьи можно дать совет: для облегчения первого прочтения этой работы не обращать внимания на многочисленные сноски, читать только основной текст.

Будем постоянно помнить ту глубокую правду о человеке, о религии и революции, которую вслед за открытиями и прозрениями Достоевского высказал и Солженицын как совестливый и самостоятельный искатель Истины:

...линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого человека. И кто уничтожит кусок своего сердца?..

В течение жизни одного сердца линия эта перемещается на нем, то теснимая радостным злом, то освобождая пространство расцветающему добру. Один и тот же человек бывает в свои разные возрасты, в разных жизненных положениях — совсем разным человеком. То к дьяволу близко. То к святому. <... >

Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями, — она проходит через каждое человеческое сердце — и через все человеческие сердца. Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами. Даже в сердце, объятom злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце — неискоренный уголок зла.

С тех пор я понял правду всех религий мира: они борются со злом в человеке (в каждом человеке). Нельзя изгнать вовсе зло из мира, но можно в каждом человеке его потеснить.

С тех пор я понял ложь всех революций истории: они уничтожают только современных им носителей зла (а не разбирая впопыхах — и носителей добра), — само же зло, еще увеличенным, берут себе в наследство<sup>27</sup>.

В христианской литературе встречается утверждение о том, что **смерть человека**, особенно художника (наделенного Богом редким творческим даром слова), то, как он уходит из земного мира, часто оказывается закономерным и неизбежным **итогом** всего его жизненного и творческого пути, наполняется высшим смыслом, является результатом не только воздействия внешних событий, ударов судьбы, но и внутренних, глубинных процессов, происходящих в душе человека.

<sup>26</sup> Шаламов многократно — в трактате «О прозе», в письмах к Ю. Шрейдеру и другим адресатам, в дневниках и записных книжках — излагал свою теорию «новой прозы».

<sup>27</sup> Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918–1956: опыт художественного исследования: В 3 т. Екатеринбург, 2008. Т. 1. С. 160; Т. 2. С. 500.

Свой арест, тюрьму, лагерь и затем страшную болезнь Солженицын воспринимал так, как многие христиане воспринимают любое свое несчастье, любую свою беду — как возмездие, кару за многие грехи, проявившиеся в конкретных поступках, чувствах и мыслях, за грехи, требующие своего искупления, о чем он и написал поразительные строки в «Архипелаге»:

Душа твоя, сухая прежде, от страдания *сочает*. Хотя бы не ближних, по-христиански, но близких ты теперь научаешься любить. <...>

Вот благодарное и неисчерпаемое направление для твоих мыслей: пересмотри свою прежнюю жизнь. Вспомни все, что ты делал плохого и постыдного, и думай — нельзя ли исправить теперь?

Да, ты посажен в тюрьму зряшно, перед государством и его законами тебе раскаиваться не в чем.

Но — перед совестью своей? Но — перед отдельными другими людьми?..

<...> я убедился, что никакая кара в этой земной жизни не приходит к нам незаслуженно. По видимости, она может прийти не за то, в чем мы на самом деле виноваты. Но если перебрать жизнь и вдуматься глубоко — мы всегда отыщем то наше преступление, за которое теперь нас настиг удар. <...>

На седьмом году заключения я довольно перебрал свою жизнь и понял, за что мне все: и тюрьма, и довеском — злокачественная опухоль. Я б не роптал, если б и эта кара не была сочтена достаточной.

Кара? Но — чья?

Ну придумайте — чья? <...>

Согнутой моей, едва не подломившейся спиной дано было мне вынести из тюремных лет этот опыт: как человек становится злым и как — добрым. В упоении молодыми успехами я ощущал себя непогрешимым и оттого был жесток. В переизбытке власти я был убийца и насильник. В самые злые моменты я был уверен, что делаю хорошо, оснащен был стройными доводами. На гниющей тюремной сололке я ощутил в себе первое шевеление добра (Т. 2. С. 496—500).

Но тогда неужели и колымские лагеря, многочисленные болезни, глухота, слепота и одиночество в последние годы, полубезумное предсмертное состояние, страшная старость и смерть — все это жестокая кара Шаламову?

Все горестные события христиане принимают с благодарностью, так как посылаются им для их спасения. Святые отцы церкви говорят о **Божием попущении**: а) попущении спасительном и вразумляющем; б) попущении, означающем отвержение человеком Бога и ведущем к полному наказанию. Человек, получивший от Бога свободу выбора и сам сделавший этот выбор, гордый человек, отказавшийся от помощи и защиты Бога, оказывается на территории дьявола, оказывается во власти **дьявола**, целью которого является месть Богу и гибель человеческой души.

**Солженицын** прожил долгую и, несмотря на все тяжелые испытания, **счастливую** жизнь<sup>28</sup>, которая в итоге в своем **восхождении** приобрела «цельность и полноту». Он умирает в глубокой старости, мужественно и смиренно принимая неизбежное<sup>29</sup>, спо-

<sup>28</sup> Как отмечает биограф писателя, «о характере Солженицына убедительнее всех, кажется, сказала Е. Ц. Чуковская, Люша: „Солженицын — счастливый человек! Единственный счастливый человек, которого я видела за свою жизнь. Во всех своих несчастьях он сумел укрепиться, устоять, найти себя, отыскать смысл в своей судьбе“» (Сараскина Л. И. Солженицын. М., 2009. С. 921).

<sup>29</sup> В одной из «Крохоток», написанных в 90-е годы — «Старение», — мы читаем: «Сколько написано об ужасе смерти, но и: какое же естественное она звено, если не насильственна. <...> Так насколько же легче, какая открытость, если к смерти медленно подводит нас преклонный возраст. Старение — вовсе не наказание Божье, в нем своя благодать, и свои теплые краски <...>. Ясное старение — это путь не вниз, а вверх. Только не пошли, Бог, старости в нищете и холоде» (Солженицын А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 1. М., 2007. С. 562).



койно и светло, по-христиански относясь к смерти, но в тревоге за будущее России и молясь за нее<sup>30</sup>; умирает, до конца сохранив ясный ум, способность и желание творить (весь последний день работал и в ночь с 3 на 4 августа 2008 года тихо ушел из жизни, как уходят праведники); умирает в кругу любящей семьи (сначала пережив «*семейное крушение*»<sup>31</sup> и во второй половине жизни обретя любящую и понимающую жену, Наталию Дмитриевну, «*Алю*», как будто посланную ему Богом и ставшую ангелом-хранителем сорока последних лет его жизни и неустанной помощницей во всех его делах<sup>32</sup>), построив свой Дом, в изгнании вырастив трех достойных сыновей, русских людей, и оставив людям великую художественную литературу, продолжающую духовно-нравственные традиции русской классики, и мудрую, пророческую публицистику; умирает, предельно честно выполнив свой христианский долг исполнением евангельских заповедей и реализовав высшее назначение художника: «*Глаголом жги сердца людей*»<sup>33</sup>. Всегда считавший, что искусство писателя — прежде всего духовное призвание, Солженицын всем своим творчеством пробуждает в душе своих читателей «*духовную жажду*» услышать «*Бога глас*» и стремление противостоять злу во всех своих проявлениях, пробуждает спасительные в тревожные времена «*чувства добрые*»: жалость, любовь и сострадание к ближнему и «*милость к падишим*».

Невыносимо больно читать о последних годах, месяцах и днях жизни **Шаламова** (по слову И. Золотусского, «антипода» Солженицына). Он умирает, уже давно утратив веру в Бога и в доброту человека<sup>34</sup>, в наличие справедливости и высшее назначение литературы («*Я не верю в литературу*» — 5, 351), в духовный смысл искусства и благо самой жизни («*Разумного основания у жизни нет — вот что доказывает наше время*» — 6, 490), умирает в гибельном одиночестве обиды на всех людей, на весь мир, умирает в больнице для душевнобольных, уже давно разорвав все отношения со многими людьми<sup>35</sup> («*...общение с живыми людьми причиняет боль*» — 6, 475), в том

<sup>30</sup> В 1994 году, вернувшись на родину, Солженицын сложил молитву о России, которую произносил каждый день: «Отче наш Всемилостивый! / Россиюшку Твою многострадную / не покинь в ошеломлении нынешнем, / в ее израненности, обнищании / и в смутности духа. / Господи Вседержитель!» (1, 571). А в 2003 году на вопрос: «Какое ваше самое большое желание?» — он отвечает так: «Чтобы русский народ <...> не пал духом, не пресекался в существовании на Земле — но сумел бы воспрянуть. Чтобы в мире сохранились русский язык и культура» (Между двумя юбилеями (1998–2003): Писатели, критики и литературоведы о творчестве А. И. Солженицына: Альманах. М., 2005. С. 56).

<sup>31</sup> В 1967 году Солженицын писал своей первой жене, Н. Решетовской: «Ужасно вот что — постоянное давление недовольства или обиды с твоей стороны. Вместо радостного соучастия — какая-то чужая жизнь. <...> Я не могу, приезжая домой, постоянно встречать здесь мрак» (Сараскина Л. И. Солженицын. С. 612).

<sup>32</sup> «Не решусь сказать, у какого русского писателя была рядом такая сотруженица и столь тонкий чуткий критик и советник. Сам я в жизни не встречал человека с таким ярким редакторским талантом, как моя жена, незаменимо посланная мне в моем замкнутом уединении...» (Солженицын А. И. Угодило зернышко промеж двух жерновов // Новый мир. 2000. № 9. С. 117).

<sup>33</sup> По словам Н. Струве, «Солженицын прошел через ситуацию пушкинского „Пророка“. <...> Стал большим писателем через реальное физическое умирание. <...> В буквальном, конкретном смысле, телесном, психофизическом, духовном, Солженицын пережил то, что так таинственно изобразил Пушкин в „Пророке“. <...> Этот центральный момент позволяет объяснить свет и силу его творчества» (Струве Н. Явление Солженицына. Попытка синтеза // Между двумя юбилеями. С. 263, 264).

<sup>34</sup> Шаламов в письмах к Ю. Шрейдеру в 1968 году писал: «Как только я слышу слово „добро“ — я беру шапку и ухожу» (6, 538); «Человек — существо бесконечно ничтожное, унизительно подлое, трусливое <...> Пределы подлости в человеке безграничны» (6, 541, 542). И в записных книжках Шаламова читаем: «Мы исходим из положения, что человек хорош, пока не доказано, что он плох. Все это чепуха. Напротив, вы всех считайте за подлецов сначала, и допускайте, что можно доверить подлецу» (5, 355).

<sup>35</sup> Пасынок Шаламова С. Неклюдов, с 1956-го до 1968 год живший с ним в одной комнате, вспоминает: «Я не раз наблюдал, как у него — и всегда по его инициативе — рвались отношения с окружающими.

числе и с единственной дочерью Еленой (1935–1990), которая, заполняя официальные анкеты, писала, что ее отец умер, а в 1979 году в ответ на телефонный звонок И. Сиротинской с просьбой посетить умирающего отца сказала: «Я не знаю этого человека»<sup>36</sup>, с Галиной Гудзь (1910–1986), своей первой женой (1934–1956), после чего, по словам дочери, «у мамы в жизни не осталось ничего»<sup>37</sup>, с писательницей Ольгой Неклюдовой (1909–1989), второй женой (с которой был вместе в период с 1956-го по 1965 год и в письме к которой искренне признавался: «У меня очень мало развито чувство благодарности. <...> Очень мало развито чувство дружбы. Я очень легко рву с людьми» — 6, 230)<sup>38</sup>, с Борисом Лесняком и Георгием Демидовым (1908–1987), своими колымскими товарищами по несчастью, наконец, с Борисом Пастернаком (1890–1960), которого сначала боготворил и с которым переписывался в 1952–1956 годах, и Надеждой Мандельштам (1899–1980), с которой был дружен в середине 60-х годов.

Разрушительные чувства — раздражение к одним (Г. Демидову, Б. Лесняку, Ю. Шрейдеру и др.) и ненависть к другим (например, к А. Солженицыну) — неизбежно возникают потому, что на его «тропу», на его «едва проходимую узкую тропку» по «снежной целине» (см. рассказ «По снегу», открывающий первый цикл «Колымские рассказы»), на его «темно-серую горную тропу» встает другой со своей «правдой» и оставляет «чужой след», и тогда его «собственная тропа» оказывается «безнадежно испорчена» (см. рассказ «Тропа», открывающий цикл «Воскрешение лиственницы»).

«Страшная жизнь, раздробившая прекрасного, талантливого, страстного человека на кусочки» (И. Сиротинская), трагическая, мучительная и безрелигиозная жизнь Шаламова, «непоправимо искалеченного лагерем», заканчивается беззащитной, безобразной и ужасной старостью: «Он глух, слеп, тело его с трудом держит равновесие. Язык с трудом повинуется <...> Лагерные привычки вернулись к нему. На еду кидался жадно — чтоб никто не опередил»<sup>39</sup>. И врач Е. Захарова вспоминает: «Это инвалидный дом! <...> Это грязь, смрад, разлагающиеся полуживые люди вокруг <...> Обездвиженный, слепой, почти глухой, дергающийся человек — такая вот раковина, и внутри нее живой писатель, поэт»<sup>40</sup>.

---

Он страстно увлекался людьми и столь же быстро разочаровывался в них» (Неклюдов С. Варлам Шаламов: 1950–1960-е годы // Варлам Шаламов в контексте мировой литературы и советской истории. М., 2013. С. 19). В 1979 году Шаламов делает запись: «...обрезав все отношения с миром, шесть лет я сижу в совершенном одиночестве и ни одного рассказа не выпускаю из стола...» (5, 355).

<sup>36</sup> Сиротинская И. П. Указ. соч. С. 40.

<sup>37</sup> «Мне казалось, что самый хороший отец — это мой. И мне дико и порой страшно и непонятно видеть, что этот хороший человек — единственный из маминых знакомых <...> совершенно забыл то хорошее, что мама для него сделала...» — писала дочь своему отцу (6, 93).

<sup>38</sup> Свое негативное отношение к семье Шаламов в письме И. Сиротинской выразил предельно резко: «Если уж в мире укрепилась такая омерзительная общественная формула, такой социальный организм, как семья <...> то единственный рецепт семейного счастья — это жить врозь <...> Лучший коллектив — двое, трое — это ад <...> рождение зла, зависти, вражды, предательства, насилия. Трое, даже если третий ребенок, это блоки, интриги, союзы, антисоюзы. В коллективе более трех — человек перестает быть человеком, приближаясь к биологическим законам стадности...» (6, 474, 475). А вот записи, сделанные в 1972 году: «Дети — источник лжи, компромиссов, напряженности. Поэтому государственное воспитание детей в фаланге Фурье имеет тысячу высоких нравственных начал» (5, 334); «Дети ничего не должны родителям, а родители детям» (5, 349). И еще: «Ни у одного поколения нет долга перед другим! — яростно размахивая руками, утверждал он. — Родился ребенок — в детский дом его!» (Сиротинская И. П. Указ. соч. С. 9).

<sup>39</sup> Сиротинская И. П. Указ. соч. С. 51, 47, 50.

<sup>40</sup> Захарова Е. Забытый в доме скорби // Варлам Шаламов в контексте мировой литературы и советской истории. С. 24.

Последней душевной травмой в жизни Шаламова оказалось насильственное перемещение его из дома для престарелых и инвалидов в «психушку» (Е. Шкловский), где через три дня он и умер от воспаления легких.

Если вертикальный вектор жизненного и творческого пути Солженицына (и его многих героев) имеет восходящую направленность к свету, к Богу, то вектор Шаламова (убежденного в том, что в человеке и в жизни доминирует зло) оказался направленным в бездну тьмы и смерти.

## 2.

Истоки **духовной и душевной трагедии** Шаламова находятся **в детстве**, когда формируется характер и личность человека, в значительной степени и предопределяющие его судьбу.

В своих воспоминаниях «Моя жизнь — несколько моих жизней» Шаламов с горечью пишет о **детской обиде**, «*большой душевной травме*», нанесенной ему учителем русского языка Ширяевым, которому он в 1915 году впервые показал одно из своих ранних стихотворений и который, ссылаясь на Пушкина («*Пушкин, дескать, так бы не писал*»), подверг это стихотворение «*холодному огню критики*» всего лишь из-за «*элементарного поэтического приема инверсии*» (4, 298, 299).

Сильнейшая **детская обида** потрясенного юного поэта сразу распространяется и на всех взрослых людей («*Стихи я писать не перестал, но к взрослым перестал обращаться со своими стихами и не показывал их никому целых двадцать лет — до 1927 года, до Н. Н. Асеева*» — 4, 297), и даже на Пушкина («*Травма же, полученная от школьного учителя, вызвала недоверие к Пушкину ранее всего. Ибо ведь я чувствовал свою правоту. Мне подсказала жизнь, и жизнь оказалась сильнее Пушкина, от имени которого осмелился со мной говорить школьный учитель*» — 4, 299), и как будто на всю русскую классическую литературу, особенно на «*моралиста*», учителя жизни Л. Толстого, о не любви к которому, «*знаменосцу*» «*описательного романа*» (6, 537), «*рядовому писателю*» (6, 580), Шаламов многократно говорил, как будто совершенно забывая о великом писателе-психологе, глубоком исследователе «*диалектики души*» человека.

Первый же разговор со взрослым о своих стихах вызвал незабываемую детскую обиду: «*Всю свою жизнь я вспоминаю косое желтое **солнце** из окна на плитках портрета, звук, свет из-за плеча учителя*». Это вспомнил Шаламов и через много лет, когда увидел в Третьяковской галерее картину Н. Ге «*Что есть истина*»: «*Таким был желтый солнечный свет на каменном квадратике пола, так же луч солнца задевал лысый череп одного из людей*» (4, 299).

И здесь читатель может вспомнить описание на первых страницах романа Достоевского «**Преступление и наказание**» квартиры старухи-процентщицы, которую задумал убить Раскольников и еще в состоянии «*нерешительности*» отправился на «*пробу*»: «*Небольшая комната, в которую прошел молодой человек, с желтыми обоями, геранями и кисейными занавесками на окнах, была в эту минуту ярко освещена **заходящим солнцем**. „И тогда, стало быть, так же будет солнце светить!..“ — как бы невзначай мелькнуло в уме Раскольникова...»*

Подобно тому как для Раскольникова после ужасного убийства старухи и Лизаветы солнце как будто надолго скрылось за горизонтом, и он оказался в непроглядной тьме **внутреннего ада** («*Мрачное ощущение мучительного, бесконечного уединения и отчуждения вдруг сознательно сказались душе его*»; «*чувство глубочайшего омерзения*»; «*злостное презрение*»; «*чувство бесконечного отвращения*»; возникает ненависть даже к самым близким людям — к матери и сестре), так **детские обиды** Шаламова, кажется, навсегда

исказили все восприятие им мира и людей, убили в нем детскую веру и в земного школьного учителя, и в собственного отца-священника («Я не любил своего отца»), и в небесного Учителя, а беззащитная душа ребенка оказалась во власти дьявольских чувств обиды и жалости к себе, гордыни и эгоизма, зависти и ненависти. Символом отхода Шаламова от веры в Бога, церкви, отца-священника стало сознательное изменение им своего имени: Варлаам вместо церковного Варлаам<sup>41</sup>.

Это **безверие** и доминирующие чувства **обиды** и **злости** (кажется, распространяющиеся на всех людей и на детство в целом, родной город Вологду и на весь мир, на церковь и религию, на Бога) окончательно укрепились в аду сталинских лагерей и, только усиливаясь, уже не отпускали все тридцать лет послеколымской жизни, утяжеленной многочисленными и мучительными болезнями плоти, психики, сознания<sup>42</sup>. Великие слова Спасителя о том, что «Царство Божие внутри вас есть» (Лк. 17:21), подразумевает, что и «дьявольское царство» может быть в душе человека.

Обостренная ранимость, крайняя обидчивость, чрезмерная уверенность в своей безусловной правоте во всем, категорическое неприятие всего иного, ему чуждого, — все эти черты сложного и противоречивого характера Шаламова проявлялись в нем еще с детства.

Острую, на первый взгляд странную обиду на всех близких людей Шаламов, кажется, пронес через всю свою жизнь:

Случилось так, что в жизни моей не было человека, который открыл бы мне поэзию — русскую поэзию. Этим человеком мог бы стать брат, отец, мать, дядя, школьный учитель, который прочел бы со мной живым языком живые стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Мне не открыл поэзии никто. Мама моя могла бы это сделать <...>. Мама моя знала бесконечное количество стихов <...> я думаю, что стихи играли в ее жизни роль очень большую и вполне реальную (4, 299, 300).

Но самая тяжелая душевная травма, видимо, была вызвана прежде всего **недостатком любви**, недостаточной любовью к нему **матери** и **отца** уже в раннем детстве, когда, как показал Л. Толстой в повести «Детство», ребенок испытывает «*беспредельную потребность любви*», и это катастрофическим образом сказалось на всей его дальнейшей жизни и трагической судьбе.

«Я хотел быть в детстве калеккой, больным <...>. Чтобы меня любили», — это страшное признание Шаламова вспоминает И. Сиротинская и отмечает, что уже через много лет и в старом, больном, искалеченном человеке, прошедшем через колымские лагеря, как будто продолжал жить «маленький, беззащитный мальчик, жаждущий тепла, забот, сердечного участия»<sup>43</sup>. «Я хотел бы, чтобы ты была моей матерью», — говорит он молодой женщине, матери троих детей, сотруднице ЦГАЛИ, впервые пришед-

<sup>41</sup> На одной из улиц Вологды, недалеко от Софийского кафедрального собора, поясняет в своей автобиографической повести Шаламов, «стоит деревянная церковь — ценность зодчества, равная Кижам, — церковь святого Валаама Хутынского, покровителя Вологды. В честь этого святого назван и я, родившийся в 1907 году. Только я по своей воле превратил свое имя — Варлаам — в Варлама. По звуковым соображениям новое имя казалось мне более удачным <...> Наречение меня в честь покровителя Вологды тоже дань декоративности <...> которая всегда жила в отце» (4, 14–15).

<sup>42</sup> По мнению Ю. Шрейдера, «если даже представить, что случай позволил бы ему избежать самых тяжелых лагерей, он все равно осуществил бы свое призвание написать о самом страшном, о самом трагическом» (Шрейдер Ю. Предопределенная судьба // Литературное обозрение. 1989. № 1. С. 58). О мироподобии лагеря сам Шаламов в «Вишере» пишет так: «...лагерь не противопоставление ада раю, а слепок нашей жизни, и ничем другим быть не может <...> В нем нет ничего, чего не было бы на воле, в его устройстве, социальном и духовном» (4, 262).

<sup>43</sup> Сиротинская И. П. Указ. соч. С. 18, 7.

шей к нему домой 2 марта 1966 года и, став самым близким человеком, в течение почти десяти лет заботливо поддерживавшей и помогавшей ему и в бытовой жизни, и в творческой работе, а затем все-таки покинувшей его, оставив в самый тяжелый период его жизни наедине со своими болезнями и своими проблемами<sup>44</sup>.

В русской классической литературе XIX века, может быть, ярче всех ощущение счастливого детства и чувство гармонического единения ребенка со всем миром благодаря прежде всего любви матери, которая, подобно Богу, защищает своего ребенка от всех опасностей и зла в разных своих проявлениях, выразил **Л. Толстой** в повести «**Детство**»:

Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений. <...> бывало, придешь на верх и станешь перед иконами, в своем ваточном халатце, какое чудесное чувство испытываешь, говоря: «Спаси, Господи, папеньку и маменьку». Повторяя молитвы, которые в первый раз лепетали детские уста мои за любимой матерью, любовь к ней и любовь к Богу как-то странно сливались в одно чувство (Гл. XV. Детство).

У Шаламова, несмотря на внешне благополучную пору, еще в детстве больше любившего не людей, а животных и вещи, казавшиеся ему живыми, почти совсем нет светлых и радостных детских воспоминаний, но отчетливо сохранились в памяти ранимые переживания, связанные с тяжелыми потерями: улюлюкающая толпа, озверевшие люди на улицах Вологды забивают до смерти забежавшую в город **белку** («Я видел эти страшные картины в детстве не один раз»); смерть **козы** Тоньки, которая «наелась какой-то дряни, заболела и умерла»; «Третья тяжелая потеря моего детства — это смерть **лодки**. Я очень любил лодку <...> осенью я уехал в Москву и попрощался с лодкой. Днище ее прогнило, краска облупилась. Лодка молчала, лежала ни привычном своем месте. Она умерла позже своих хозяев, так и не побывав больше на реке, на воде» (4, 302). А самой тяжелой потерей уже в 1965 году для него стала гибель любимой **кошки** Мухи: «Ближе ее не было у меня существования никогда. Ближе жены...»<sup>45</sup>; «И все-таки лучше всего была жизнь с Мухой, с кошкой. Лучшие этих лет не было. И все казалось пустяками, если Муха здорова и дома»<sup>46</sup> (5, 293).

В русской классической литературе, может быть, острее всех детскую обиду ребенка на нелюбовь и непонимание взрослых выразил **Лермонтов** в романе «**Герой нашего времени**», в монологе-исповеди Печорина перед княжной Мери<sup>47</sup>. И Шаламов, видимо, еще в детстве, подобно Печорину, стал «скрытен», «злопамятен» («Я умею мстить»), «завистлив», «выучился ненавидеть» («Варлам Тихонович очень злой», — в разговоре с И. Сиротинской сказала Н. Мандельштам<sup>48</sup>). В «Записных книжках» Шаламова мы читаем:

<sup>44</sup> О ней в 1972 году Шаламов пишет: «Ирина и ее роль в моей жизни — Красная Шапочка и Волк. <...> Ее любовь и верность укрепили меня даже не в жизни, а в чем-то более важном, чем жизнь — умении достойно завершить свой путь. Ее самоотверженность была условием моего покоя, моего рабочего взлета» (5, 335). А в комментариях к переписке с ним И. Сиротинская поясняет: «Я не могла пожертвовать своей семьей, избавить В. Т. от страшной, беззащитной старости. <...> Тяжело было его оставить, и немислимо тяжело взять на себя его житейские проблемы, непосильно <...> Я не думала, что он любил меня так глубоко, я думала — поэзия заменит утрату, да еще если будет домработница — все будет хорошо» (6, 443—445).

<sup>45</sup> Сиротинская И. П. Указ. соч. С. 11.

<sup>46</sup> Как пишет Шаламов в «Четвертой Вологде», «кошка была единственным домашним животным, которого никогда не было в нашей семье. Ее независимый характер не устраивал отца» (4, 45).

<sup>47</sup> См. подробнее: Влащенко В. И. Современное прочтение романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». СПб., 2014. С. 135—148.

<sup>48</sup> Сиротинская И. П. Указ. соч. С. 35.

Уже после, зрелым человеком, я сообразил, что я просто опоздал родиться — места в семье мне не осталось. Все было решено еще где-то на Аляске: сын Сергей — Нимрод, охотник лучший из лучших <...> — Нашей семье грех жаловаться на Бога, — разъярялся отец за столом, — Валерий — художник, сестра Галя — певица, Сергей — это Нимрод семьи, ее физическая сила. Бессребреничество израсходовано на мать. Наташа — неудачница (5, 350, 351).

Свою мать, которая была «человеком крайне нервной организации <...> плакала, слушающая всякую музыку», которую «заставили насильно вести хозяйство, где пятеро детей, — вместо того чтобы слушать музыку, читать стихи», свою мать Шаламов все-таки не столько упрекал, сколько жалел<sup>49</sup> и просил: «Да маме и некогда было со мной...» (4, 299, 317, 300).

Уже в детстве Шаламов **не любил** своего отца («...отец не любил стихов, боялся их темной власти, далекой от разума, а главное — от здравого смысла» — 4, 15), а в зрелые годы вспоминал его как семейного тирана<sup>50</sup>, как страстного любителя охоты и рыбной ловли («Охота с ружьем не разрешается православному духовенству <...> В Америке, на Алеутских островах, где отец был православным миссионером, более десяти лет охотился, его страсть находила выход» — 4, 317). Шаламов «ненавидел с самого раннего детства» (4, 45) хозяйственную работу по дому, которой целый день занималась мать и которую она очень не любила, **ненавидел** охоту («...горжусь, что за всю свою жизнь не убил ни одной птицы, ни одного зверя» — 4, 302), **ненавидел** перочинный нож, которым отец добил пойманную щуку. Он вспоминает слова матери, сказанные ею после смерти отца в 1933 году: «Ты всегда был не такой, как все. Все смеялись над тобой, и отец твой тоже. Что ты не зорил гнезд, не стрелял из рогатки. Мне было за тебя **стыдно**» (4, 317). В черновиках «Четвертой Вологды» мы читаем:

Весь мой конфликт с отцом уходит в самые ранние годы, еще дошкольные, когда овладение грамотой в три года показалось отцу дерзостью непозволительной, а со стороны матери — ненужным педагогическим экспериментом. Материнский педагогический эксперимент был в том, что мне не давали игрушек — только кубики с буквами, из которых я складывал слова, играя у ног матери на кухне во время ее круглосуточной стряпни. В душе моей детской рождалось чувство жалости за мать красавицу, умницу, погруженную в горшки, ухваты, опару. <...> Только убивать ни животных, ни птиц он меня не мог научить. Это главная причина, поссорившая меня с отцом (7, 423, 424).

Шаламов вспоминает один разговор со слепым отцом:

Отец сидел целые дни в кресле — спал днем. Я пытался его будить — врачи сказали, что ему не надо спать. Однажды он повернулся ко мне лицом и с презрением к моей недогадливости сказал: «Дурак. Во сне-то я вижу». И этот разговор я не смогу забыть никогда (4, 304).

<sup>49</sup> В рассказе «Крест» (1959) Шаламов создает иной портрет матери, жены «слепого священника»: «...жена его была когда-то такая полная, толстая, что собственный сын, которому было лет шесть, капризничал и плакал, твердя: „Я не хочу с тобой идти, мне стыдно. Ты такая толстая“» (1, 483).

<sup>50</sup> И. Сиротинская в своей книге комментирует это так: «И не таким уж страшным деспотом был отец — он не заставил ни одного из сыновей избрать духовную карьеру <...> не препятствовал свободному времяпрепровождению сыновей и дочерей, не навязывал знакомых. Да и кухонные занятия матери — обычная и неизбежная вещь в небогатой семье <...> Не так уж задавлена была мать отцовской волей, если смогла потом удержать рухнувшие своды вселенной над своей семьей» (Сиротинская И. П. Указ. соч. С. 16, 17).

Шаламов не объясняет, почему же он не мог забыть. Чувствовал ли свою вину перед отцом и раскаивался или все-таки от пронзительной обиды за слово «дурак» и откровенно выраженное презрение отца не чувствовал?

Уже в детстве в душе Шаламова, находящегося в «глубоком конфликте с семьей», место Бога («Сам я лишен религиозного чувства» — 4, 304) и место отца и матери занимали книги, стихи, страстная любовь к которым подменила любовь к близким людям. Из зависти к старшему брату Сергею (успешному во всем любимцу родителей) и нелюбви к отцу (который ослеп в 1920 году, после гибели Сергея в Красной армии от взрыва гранаты<sup>51</sup>) родились страшные поэтические строки: «Зови, зови глухую тьму — / И тьма придет, / Завидуя брату своему, / И брат умрет» (3, 439). Петербургский исследователь А. Большев так комментирует эти стихи:

...ничего страшнее автор «Колымских рассказов» не написал <...> ужас автора связан с собственными темными чувствами и желаниями, которые так страшно осуществились, ужас связан с осознанием собственной вины. Шаламов заглянул в бездну еще до Колымы <...> Может быть, в глубине души Шаламов полагал, что каждый человек (и он сам в том числе) заслуживает наказание? Не потому ли он и выжил в чудовищных и нечеловеческих условиях, что ему проще было адаптироваться к колымскому беспределу? <...> Шаламов в глубине души носил знание об этом зле<sup>52</sup>.

И Д. Быков утверждает: «...его мир до всякого лагеря был безрадостен, аскетичен <...> со своей правдой о человеке Шаламов пришел в лагерь, а не вышел из него. <...> Шаламов поставил под сомнение всех, кроме себя, — но в конце концов изобразил ад собственного безумия»<sup>53</sup>.

Отрицательное воздействие отца (священника-прогрессиста, представителя течения обновленчества в церкви<sup>54</sup>, с энтузиазмом принявшего советскую власть и отступившего от истинной веры, искушаемого страстью к охоте и общественной деятельности и как будто наказанного слепотой, когда Варламу было 13 лет), разрушительное воздействие на душу своего сына, еще ребенка, можно назвать «сыноубийством», в духовном смысле этого слова, так как он убил в сыне веру в Бога: «Да, я буду жить, но только не так, как жил ты, а прямо противоположно твоему совету. Ты верил в Бога — я в него верить не буду, давно не верю и никогда не научусь» (4, 142). Уже через много лет в записной книжке Шаламов как будто подписывает приговор отцу-священнику: «Молитва отца была молитвой атеиста» (5, 303).

«Я умею мстить», — признается он в своих «Воспоминаниях» (4, 316). И автобиографическая книга «Четвертая Вологда» (1971), в которой Шаламов не столько «спас от забвения годы своего детства» (И. Сиротинской), сколько с жестокой беспощадностью изобразил отца как чудовищного самодура, и рассказ «Крест» (1959), в котором рассказано о том, что «единственным делом» слепого священника стали козы, а когда кормить их стало нечем, разрубил топором «наперстный крест с маленькой скульптурной фигуркой Иисуса Христа», — оба произведения в значительной степени являются мстью отцу, у которого на самом деле была «языческая сущность» (4, 44), мстью церкви и религии, в духовном смысле являются отцеубийством и убийством Бога.

В душе ребенка, если он не чувствует к себе любовь-жалость со стороны близких людей, если сталкивается с несправедливостью, проявлением зла по отношению к себе,

<sup>51</sup> «Ослеп священник вскоре после смерти сына — красноармейца химической роты, убитого на Северном флоте. Глаукома, „желтая вода“, резко обострилась, и священник потерял зрение» («Крест»; 1, 483).

<sup>52</sup> Большев А. Указ. соч. С. 191, 192.

<sup>53</sup> Быков Д. Л. Указ. соч. С. 135, 138.

<sup>54</sup> «Именно это движение несло дорогую сердцу отца реформу — служба на русском языке, второбрачие духовенства, борьба белого духовенства с черным монашеством» (4, 100).

в душе ребенка, как показал **Л. Толстой** в повести «**Отрочество**», образуется не просто некая пустота, вакуум, рождается не просто ответная нелюбовь, но страшная **ненависть**, из чего возникает «душевное расстройство» и такое «состояние духа», когда человек способен совершить «самое ужасное преступление», состояние, которое очень точно автор называет «**затмением**»: «— Никто вы не любите меня, не понимаете, как я несчастлив! Все вы **гадки, отвратительны**, — прибавил я с каким-то исступлением, обращаясь ко всему обществу» (Гл. XIV. Затмение).

Подобную «правду» о человеке, убийственную, «**мертвую правду**», неоднократно после Колымы выскажет Шаламов в своих рассказах, воспоминаниях, письмах.

Из истории русской литературы XIX века мы знаем о поэтическом выражении нелюбви (ненависти) **Некрасова** к своему отцу, олицетворяющему крепостническое государство в раннем стихотворении «**Родина**» (1846), но незадолго до смерти, в 1877 году, поэт признается и кается:

Здесь я должен сказать несколько слов, как бы они ни были поняты: это дело моей совести. Я должен, по народному выражению, снять с души мой грех. В произведениях моей ранней молодости встречаются стихи, в которых я резко отзывался о моем отце. Это было несправедливо, вытекало из юношеского сознания, что отец мой крепостник, а я либеральный поэт...<sup>55</sup>

Подобного человеческого раскаяния в жизни Шаламова, видимо, не было (не говоря уже о высоте христианского исповедального покаяния).

**Солженицын**, в отличие от Шаламова, своих родителей — отца, Исаакия Семеновича (1891—1918), и мать, Таисию Захаровну (1894—1944), ставших первыми интеллигентами среди крестьян рода Солженицыных и Щербаков, — бесконечно любил и в своей эпопее «**Красное колесо**» художественно воплотил в образах Сани Лаженицына и Ксении Томчак, рассказал о случайной и счастливой их встрече в апреле 1917 года в Москве («...кажется, что не познакомились, а узнали, опознали друг друга»), о чуде их зарождающейся любви. Комментарий к этому мы прочитаем в книге Л. Сараскиной:

Первую встречу отца и матери Солженицын рисует красками такого бурного счастья, так переполняющей радости, такого ликующего восторга, что для выдумки (то есть художественного вымысла) здесь будто и не остается места. Только мать и могла, спустя годы, передать сыну это блаженное сияние бытия...<sup>56</sup>

По словам биографа писателя, «любовно и бережно восстанавливал Солженицын детство, отрочество и юность своей матери. Таисия Щербак (Ксения Томчак), героиня ярчайших глав „Красного колеса“, окружена нежным восхищением автора...»<sup>57</sup> С нежной любовью и горьким чувством своей вины перед матерью Солженицын вспоминал:

Плеврит, туберкулез — и через силу вставали — 38, 39, трясло, ломало — имея бюллетень, шла на работу, чтобы только вечером попасть на съезд и заработать что-нибудь еще для сына. Она соткала мне беззаботное счастливое детство, которое сейчас приятно вспомнить, она создала все материальные условия для моего духовного развития<sup>58</sup>.

<sup>55</sup> См. подробнее: Влащенко В. И. «Жестокая дума» Некрасова // Литература в школе. 2001. № 6. С. 2—8.

<sup>56</sup> Сараскина Л. И. Солженицын. С. 69.

<sup>57</sup> Там же. С. 64.

<sup>58</sup> Там же. С. 228.



Александр Солженицын родился через полгода после нелепой смерти отца (несчастного случая на охоте), только что вернувшегося без единой царапины с фронта Первой мировой войны, но «из сохранившихся документальных свидетельств, из рассказов матери <...> из расспросов уцелевших родных <...> автор „Красного Колеса“ по крупницам составит портрет героя, Сани Лаженицына, в котором любовно и романтически запечатлеет отца»<sup>59</sup>.

Отца Исаакия (названного по православному обычаю по святцам на день крещения в честь преподобного Исаакия Далматского, византийского святого, именем которого назван собор в центре Петербурга) его родители и все родные в семье называли Саней. Именно поэтому мать будущего писателя своего единственного сына, родившегося в день памяти преподобного мученика Стефана Нового, назвала не Степаном, а Александром, Саней, по только что умершему отцу. Как поясняет биограф писателя, «в декабре 1934 г. шестнадцатилетний Солженицын получает паспорт с неверно указанным отчеством: „Исаевич“ вместо „Исаакиевич“»<sup>60</sup>.

В ответ на вопрос журналиста о самом раннем детском воспоминании Солженицын рассказывает эпизод из своего детства, произошедший в церкви Св. Пантелеймона в Кисловодске, когда ему было «три года с небольшим»:

Я в церкви. Много народа, свечи. Я с матерью. А потом что-то произошло. Служба вдруг обрывается. Я хочу увидеть, в чем же дело. Мать меня поднимает на вытянутые руки, и я возвышаюсь над толпой. И вижу, как проходят серединой церкви отменные остроконечные шапки кавалерии Буденного, одного из отборных отрядов революционной армии, но такие шишаки носили и чекисты. Это было — отнятие церковных ценностей в пользу советской власти<sup>61</sup>.

Это воспоминание как будто освещает всю дальнейшую жизнь Солженицына и объясняет многое: и его глубокую веру, и его борьбу с советской властью, и его страстные обличения зла советской идеологии. Отдельные детали приведенного текста приобретают символическое значение: мать, церковь (Бог), народ как соборное единение людей в церкви перед ликом Христа, толпа как быстрая трансформация (вырождение) народа в результате насилия «революционной армии», отымающей не только материальные церковные, но и духовные ценности, что умертвляло души людей. И в «Величественном письме Патриарху Пимену» (1972) Солженицын вспоминает:

...Я услышал Ваше послание <...> Я услышал это — и поднялось передо мной мое раннее детство, проведенное во многих церковных службах, и то необычайное по свежести и чистоте изначальное впечатление, которого потом не могли стереть никакие жернова и никакие умственные теории<sup>62</sup>.

А в отрочестве, живя с матерью в Ростове-на-Дону, будущий писатель в течение многих лет «каждый день, возвращаясь из школы <...> проходил мимо длинной очереди женщин, которые ждали на холоде часами. <...> Женщины были женами заключенных, они ждали в очереди с передачами»<sup>63</sup>.

Именно о таких очередях с пронзительной болью и безысходной скорбью написала Анна Ахматова в своем «Реквиеме». Уже в девятилетнем возрасте Солженицын

<sup>59</sup> Там же. С. 46.

<sup>60</sup> Там же. С. 81.

<sup>61</sup> Интервью журналу «Ле Пуэн» (декабрь 1975) // Публицистика. Т. 2. С. 318.

<sup>62</sup> Публицистика. Т. 1. С. 133.

<sup>63</sup> Публицистика Т. 2. С. 318–319.

знал, что будет писателем, а в свои 18 лет «задумал большую книгу о революции <...> И потом никогда от этого замысла не пришлось отказываться»<sup>64</sup>.

Прожив безрелигиозную юность и молодость<sup>65</sup>, пройдя через ад войны, лагерей и смертельной болезни, уже в зрелые годы Солженицын возвращается к светлой вере, о чем и написал в 1952 году в стихотворении «**Живая вода**», включенном затем в книгу «Архипелаг ГУЛАГ»: «И теперь, возвращенною мерою / Надчерпнувши воды живой, — Бог Вселенной! я снова верую! / И с отречшимся был Ты со мной...» (Т. 2. С. 499). А через десять лет, уже в 1963 году, была написана «**Молитва**» (которой завершается первый цикл «Крохоток»), с ощущением Божественного промысла и присутствия Господа в своей судьбе: «Как легко мне жить с Тобой, Господи! / Как легко мне верить в Тебя!» (1, 554).

### 3.

В критической литературе по теме «Солженицын и Шаламов» можно выделить две основные группы отдельных статей — «нейтральных» исследователей (М. Геллер, В. Френкель, Ю. Шур и др.<sup>66</sup>) и шаламоведов (В. Есипов, Е. Михайлик, И. Сиротинская и др.<sup>67</sup>) — и две группы оценочных суждений: страстных «разоблачителей» Солженицына<sup>68</sup> и его исследователей-единомышленников, которые высоко оценивают и произведения Шаламова<sup>69</sup>.

Известный историк **М. Геллер** (1922—1997) еще в своих работах 70-х годов прошлого века — в статьях и книге «Концентрационный мир и советская литература» (Лондон, 1974) — первый серьезно поставил проблему «Солженицын и Шаламов» и отметил принципиальное **расхождение** между «великими писателями»: «Солженицын возражает против основного вывода, сделанного после многолетних лет колымских лаге-

<sup>64</sup> Речь в Гарварде на ассамблее выпускников университета 8 июня 1978 // Публицистика. Т. 1. С. 321.

<sup>65</sup> В 30-е годы «ужаса и духовной пустыни», рассказывает Солженицын в 1998 году, «я потерял веру, стал атеистом, и душа моя опустела. Мне презренно и отвратительно читать сейчас свои записи юношеского и студенческого времени. Но поскольку православие было заложено в меня с детства, мне было легче вернуться к нему в тюрьме. Я вернулся в старое, привычное. И вера эта поддерживала меня всю жизнь и поддерживает повседневно» (Солженицын А. И. Собр. соч.: В 9 т. М., 2005. Т. 8. С. 442).

<sup>66</sup> См.: Гаврилов В. А. Своеобразие творческого метода в прозе А. Солженицына и В. Шаламова // Актуальные проблемы современного литературоведения. М., 1997. С. 24–26; Автократова Т. Творческая дискуссия А. И. Солженицына с В. Т. Шаламовым // Художественная литература, критика и публицистика в системе двух культур. Вып. 5. Тюмень, 2005. С. 72–78; Компанец В. Своеобразие художественного раскрытия «лагерной темы» в русской прозе XX века // II Международный симпозиум и русская словесность в мировом культурном контексте. М., 2008. С. 113–115.

<sup>67</sup> См.: Жаравина Л. Христианские постулаты в творчестве А. Солженицына и В. Шаламова: свет Фавора и мрак Синая // Мир России в зеркале новейшей художественной литературы. Саратов, 2004; Ганущак Н. Шаламов и Солженицын: взаимосвязь и противостояние // К столетию со дня рождения В. Шаламова. М., 2007. С. 189–197.

<sup>68</sup> См.: Войнович В. Н. Портрет на фоне мифа. М., 2002. С. 76–78; Островский А. В. Солженицын. Прощание с мифом. М., 2004. С. 458–459; Сарнов Б. М. Феномен Солженицына. М., 2012. С. 175–182, 454–455; Свиридова А. Дитя ада // Алфавит. 2002. № 12. С. 10.

<sup>69</sup> См.: Шнеерсон М. Александр Солженицын. Очерки творчества. Посев, 1984. С. 120–121; Чалмаев В. А. Александр Солженицын: Жизнь и творчество. М., 1994. С. 46, 53–59; Нива Ж. Солженицын. М., 1992. С. 89–90; Нива Ж. Возвращение в Европу: Статьи о русской литературе. М., 1999. С. 79, 211–213, 222; Нива Ж. Александр Солженицын. Борец и писатель. СПб., 2014. С. 121; Голубков М. М. Александр Солженицын. М., 2001. С. 26–28. Урманов А. В. Творчество Александра Солженицына. М., 2003. С. 18, 218.

рей: „лагерь — отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего нужного, полезного оттуда никто не вынесет“<sup>70</sup>.

Затем поэт и эссеист **В. Френкель** в статье, написанной в 1982 году и опубликованной в нашей стране в 1990 году, верно отмечает многие отличительные особенности художественных миров Шаламова и Солженицына, но объясняет это прежде всего тем, что «лагерный опыт Шаламова больше, страшнее, чем опыт Солженицына», что первый из них «свидетельствует о той бездне, где свидетель — только он»<sup>71</sup>. Автор статьи не столько противопоставляет, сколько пытается «**примирить**» двух «больших» писателей тем утверждением, что у каждого из них своя «правда», а это дает возможность полнее раскрыть и глубже понять жуткую страницу отечественной истории. И поэт Г. Шурмак (1925—2007) считает, что спор Шаламова и Солженицына не является «духовным», что «оба классика» навсегда «останутся в истории: соратниками, братьями по духу, по борьбе за счастье России»<sup>72</sup>. Подобная точка зрения выражена в статьях С. Григорьянца («...их объединяет <...> осознание вплотную придвинувшейся катастрофы») и А. Ланде<sup>74</sup>.

Хотя значительно раньше **Анна Шур** предложила более глубокое осмысление этой темы, утверждая, что неодинаковое отношение к лагерю у «пессимиста» Шаламова и «оптимиста» Солженицына связано не только с разным лагерным опытом, но и является результатом разных **нравственных убеждений** и наличием или отсутствием **религиозной веры**<sup>75</sup>.

В конце 90-х годов, после публикации писем и записных книжек Шаламова, совершенно иное решение заявленной проблемы, полностью игнорируя все, написанное об этом прежде, предложили биографы Шаламова — московский архивист И. Сиrotинская и вологодский журналист В. Есипов.

В 6-м томе собрания сочинений Шаламова опубликовано его 15 писем к Солженицыну (1962—1966), в которых, в частности, дана высокая оценка таким его произведениям, как рассказ «Для пользы дела» (6, 289—290), пьеса «Свеча на ветру» (6, 295), роман «В круге первом» (6, 313—315)<sup>76</sup>. Выделим из них три наиболее содержательных письма.

Свое первое и самое большое письмо Шаламов написал Солженицыну в ноябре 1962 года, сразу после прочтения «Одного дня Ивана Денисовича» в 11-м номере «Нового мира». В письме выражено очень сильное эмоциональное впечатление и дана наивысшая оценка этого произведения:

Повесть — как стихи — в ней все совершенно, все целесообразно. Каждая строка, каждая сцена, каждая характеристика настолько лаконична, умна, тонка и глубока <...> глубоко и очень тонко показанная крестьянская психология Шухова <...>. Необычайно правдивой фигурой в повести <...> я считаю Алешу, сектанта <...>. Тонко и верно показано увлечение работой Шухова и других бригадников, когда они

<sup>70</sup> Геллер М. Я. Александр Солженицын. Лондон, 1989. С. 56 (Статьи о Солженицыне, написанные в 70-е годы, вошли в эту книгу).

<sup>71</sup> Френкель В. В круге последнем: Варлам Шаламов и Александр Солженицын // Даугава. 1990. № 4. С. 79, 82.

<sup>72</sup> Шурмак Гр. «Наш спор — не духовный...» // Русская мысль. Париж, 1999. 16—22 сентября. С. 13.

<sup>73</sup> Григорьянц С. Он представил нечеловеческий мир // Досье на цензуру. № 7—8. С. 265.

<sup>74</sup> Ланде А. К столетию Варлама Шаламова // Посев. 2007. № 6. С. 30—34.

<sup>75</sup> Шур А. В. Т. Шаламов и А. И. Солженицын (Сравнительный анализ некоторых произведений) // Новый журнал. Нью-Йорк. 1984. № 155. С. 92—101.

<sup>76</sup> Свой поэтический сборник «Шелест листьев» (М., 1964) Шаламов подарил Солженицыну с надписью: «В знак бесконечного восхищения Вашей художественной, общественной и нравственной победой».

кладут стену. <...> Возможно, это такого рода увлечение работой и спасает людей (6, 277, 278, 279, 282).

Отмечена и «единственная фальшь» повести в ложной реакции кавторанга на вахте, когда он возмущается действиями охранников: «В 1951 году кавторанг так кричать не мог, каким бы новичком он ни был» (6, 282).

Шаламов аргументированно утверждает, что в повести изображен «лагерь „легкий“, не совсем настоящий» (то есть не колымский. — В. В.), в котором нет блатарей, изображен «Особлагерь, который много слабее настоящего лагеря» (где «почти вся психология рабочей каторги, внутренней ее жизни определялась блатарями»), и приводит многочисленные бытовые отличия колымского лагеря 1938 года, который «есть вершина всего страшного, отвратительного, растлевающего» (6, 277, 278, 284).

А в конце письма Шаламов снова подчеркивает, что «все в повести этой верно, все правда», и категорично выражает свое однозначное отношение к лагерю: «Помните самое главное: лагерь отрицательная школа с первого до последнего дня для кого угодно» (6, 288)<sup>77</sup>.

В двух письмах, написанных, видимо, в конце 1964 года, Шаламов спорит с Солженицыным по очень важным вопросам и выражает свое отношение к творческой интеллигенции («Поэты и писатели выстрадали всей своей трагической судьбой право на героизацию» — 6, 300) и к «современным „бытописателям“, вроде Шелеста и Алдан-Семенова» (6, 301), которые тоже писали о сталинских лагерях, но главное не то, «правду» или «неправду» они пишут, главное в том, талант или бездарность об этом пишет: «Все они лжецы как раз потому — что они бездарны. На свете есть тысячи правд (и правд-истин, правд-справедливостей) и есть только одна правда таланта» (6, 302). Кроме того, Шаламов выражает свою принципиальную позицию в отношении к физическому труду и в вопросе о том, как лагерь воздействует на человека:

«Что касается авторов нескольких сочинений на тему „люди остаются людьми“, то знакомиться с этими произведениями не было нужды, поскольку главная мысль выражена в заголовке. **В лагерных условиях люди никогда не остаются людьми...**» (6, 302); «Желание обязательно изобразить „устоявших“. Это тоже вид растления духовного» (6, 310); «...для каждого колымского арестанта, день или год проработавшего на Колыме в любом управлении, должен быть делом чести и совести главный вопрос. Можно ли славить физический труд из-под палки <...> Лагерь может воспитывать только отвращение к труду <...> я ненавидел этот труд всеми порами тела, всеми фибрами души, каждую минуту» (6, 308, 309).

Из писем к другим адресатам необходимо выделить послание 1972 года А. Кременскому, в котором Шаламов говорит о своем полном несогласии с Солженицыным во всем:

В вопросах искусства, связи искусства и жизни у меня нет согласия с Солженицыным. У меня иные представления, иные формулы, каноны, кумиры и критерии. Учителя, вкусы, происхождение материала, метод работы, выводы — все другое. Солженицын — весь в литературных мотивах классики второй половины 19 века, писателей, растоптавших пушкинское знамя... и в толковании лагеря я не согласен с «Иваном Денисовичем» решительно, Солженицын лагерь не знает и не понимает (6, 577).

<sup>77</sup> Резкое дальнейшее изменение отношения Шаламова к Солженицыну и его первому опубликованному произведению отражает запись, сделанная в 1969 году: «Я не принадлежу к поклонникам Солженицына. „Один день Ивана Денисовича“, на мой взгляд, имел много просчетов, фальшив, о лагере как о благодатной школе никуда не годится» (Шаламов В. Т. Собр. соч.: В 6 т. + 7, дополнительный. Т. 7. М., 2013. С. 397).

Большое место Солженицын занимает в записных книжках Шаламова, куда тот, видимо безмерно страдая от бессознательной **зависти**, не осознавая свои чувства как виды зависти, выплескивает свой **гнев** и **ярость**, **злобу** и **ненависть**, свое **презрение** к нему:

«Мир Солженицына — это мир подсчетов, расчетов» (5, 289); «У Солженицына та же трусость, что и у Пастернака. Бойся переехать границу, что его не пустят назад. <...> Солженицын боялся встречи с Западом, а не переезда границы» (5, 321); «Деятельность Солженицына — это деятельность дельца, направленная узко на личные успехи со всеми провокационными аксессуарами подобной деятельности» (5, 322); «Восемнадцатого декабря умер Твардовский. При слухах о его инфаркте думал, что Твардовский применил точно солженицынский прием, распутив слухи о собственном раке, но оказалось, что он действительно умер»<sup>78</sup>; «Я никогда не мог представить, что после XX съезда партии появится человек, который собирает воспоминания в личных целях» (5, 367).

Он не хочет поверить в то, что кто-то может оказаться сильнее его и в «нечеловеческих условиях» сохранить веру в любовь и дружбу, веру в добро, и с самонадеянной уверенностью выражает свое мнимое **превосходство** над (как ему кажется) очень ограниченным **человеком**:

«Солженицын для „Чайковского“ слишком мало понимает искусство, для Гамлета слишком глуп, а для Порфирия Петровича бездарен» (5, 311); «Солженицын — это провокатор, который получает заработанное свое» (5, 329); «Я считаю Солженицына не лакировщиком, а человеком, который не достоин прикоснуться к такому вопросу, как Колыма» (5, 364); «И еще одна претензия есть к Вам, как представителю „прогрессивного человечества“, от имени которого Вы так денно и ночью кричите о религии громко: „Я — верю в Бога! Я — религиозный человек!“» (5, 367).

Он с гордой убежденностью выражает свое превосходство над, с его точки зрения, слабым, бездарным **писателем**:

«В моих рассказах праведников больше, чем в рассказах Солженицына» (5, 289); «Почему я не считаю возможным личное мое сотрудничество с Солженицыным? Прежде всего потому, что я надеюсь сказать свое личное слово в русской прозе, а не появиться в тени такого, в общем-то, дельца, как Солженицын. Свои собственные работы в прозе я считаю неизмеримо более важными для страны, чем все стихи и романы Солженицына» (5, 363); «В одном пальце Пастернака больше таланта, чем во всех романах, пьесах, киносценариях, рассказах, повестях и стихах Солженицына» (5, 364); «За два века такого слабого произведения [«Август Четырнадцатого» — В. В.] не было, наверное, в мировой литературе <...> Все, что пишет Солженицын, по своей литературной природе совершенно реакционно» (5, 365).

Шаламов, в колымском аду, в краях «вечной мерзлоты», навсегда утративший веру в человека, в добро, в Бога, видимо искренно убежденный в своей правоте, в истинности «лично ощущения», своего понимания и своей оценки другого (а другой — всегда «подлец», всегда «делец»), убежденный в своем праве судить другого («...главное человеческое право — право судить» — 6, 330), как будто навсегда подписывает ему приговор, без права обжалования, без всякой надежды на реабилитацию, и таким об-

<sup>78</sup> Шаламов В. Из записных книжек // Знамя. 1995. № 6. С. 158. Этой записи почему-то нет в 5-м томе собрания сочинений. Видимо, составитель И. Сиротинская сознательно вычеркнула эти чудовищные слова.

разом жестоко мстит Солженицыну. Шаламов сам вершит «Страшный суд», исключая возможность какого-либо «воскресения из мертвых».

Отдельно надо сказать о Солженицыне-поэте. Шаламов видит в нем несчастного графомана: «Тайна Солженицына заключается в том, что это безнадежный стихотворный графоман с соответствующим психическим складом этой страшной болезни, создавшей огромное количество непригодной стихотворной продукции» (5, 364). Но сам Солженицын свое создание «стихотворной продукции» в лагерях объясняет очень просто, не претендуя на звание поэта: «По лагерной уловке я свои мысли укладывал в рифмованные строчки, чтобы запомнить»<sup>79</sup>. И американский профессор политологии Дж. Понтузо отмечает: «Он сумел свой разум оградить от телесных тягот, а чтобы легче запомнить придуманное, стал сочинять в рифму. И вот таким поразительным образом он сумел сохранить в уме тысячи — а быть может и сотни тысяч — стихов, которые в итоге сложились в монументальные три тома «Архипелага...»<sup>80</sup> А в главе «Поэзия под плитой, правда под камнем» Солженицын вспоминает:

А очищенная от мути голова мне нужна была для того, что я уже два года как писал поэму. Очень она вознаграждала меня, помогая не замечать, что делали с моим телом. Иногда в понуренной колонне, под крики автоматчиков, я испытывал такой напор строк и образов, будто несло меня над колонной по воздуху, — скорей туда, на объект, где-нибудь в уголке записать. В такие минуты я был и свободен и счастлив. <...>

Так я писал. Зимой — в обогревалке, весной и летом — на лесах, на самой каменной кладке: в промежутке между тем, как я исчерпал одни носилки раствора и мне еще не поднесли других: клал бумажку на кирпичи и огрызком карандаша (таясь от соседей) записывал строчки, набежавшие, пока я вышлепывал прошлые носилки. Я жил как во сне, в столовой сидел над священной баландой и не всегда чувствовал ее вкус, не слышал окружающих — все лазил по своим строкам и подгонял их, как кирпичи на стене (Т. 3. С. 93, 98).

**И. Сиротинская** и **В. Есипов**, биографы и комментаторы Шаламова, целиком разделяя его позицию, с легкой готовностью повторяют многие его суждения, используя их в качестве дубинки против Солженицына, и добавляют свое об «олигархе от литературы», добавляют несправедливое, ненавистное, агрессивное. Приведем некоторые высказывания «публикаторши»:

Один — поэт, философ, и другой — публицист, общественный деятель, они не могли найти общего языка. <...> А. И. оттягивал знакомство В. Т. с Л. Копелевым. Ему самому Копелев помог найти пути в «Новый мир», в конечном счете — на Запад. И делиться удачей вряд ли хотелось. На Западе важно было оказаться первым и как бы единственным. И А. И. всячески уговаривает В. Т. не посылать на Запад свои рассказы<sup>81</sup>.

А. И. Солженицын, безусловно, великий стратег и тактик, а Шаламов — всего лишь великий писатель. <...> В разных войнах они участвовали: Солженицын — с советской бюрократией, Шаламов — с мировым злом. И с Хиросимой, и с Освенцимом, и с растлением людей <...> Нет, никогда, нигде и ничего доброго не сделал Солженицын для мученика<sup>82</sup>.

<sup>79</sup> Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. Т 2. С. 499.

<sup>80</sup> Солженицын: Мыслитель, историк, художник. С. 226.

<sup>81</sup> Сиротинская И. П. В. Шаламов и А. Солженицын // Шаламовский сборник. Вып. 2. Вологда, 1997. С. 73, 75.

<sup>82</sup> Сиротинская И. Александр Солженицын о Варламе Шаламове // Новый мир. 1999. № 9. С. 236–237.

И В. Есипов в очерке Солженицына «С Варламом Шаламовым» увидел «откровенное стремление унижить и растоптать Шаламова как литературного соперника, принизить значение сделанного им — все исключительно во имя собственного самоутверждения, дабы ни у кого не возникало малейших сомнений в правоте взятой им на себя исторической миссии»<sup>83</sup>, а в своей книге о Шаламове утверждает следующее:

У Солженицына была возможность в пору его фавора легко организовать и личную встречу Твардовского и Шаламова <...> Но до такой степени великодушия «солнечному» счастливицу-эгоцентрику никогда подниматься не удавалось — он был занят только собой, своими планами, в которые всегда входило стремление считать себя «первым и единственным» в лагерной теме в литературе и в таком же качестве преподнести себя на Западе<sup>84</sup>.

К сожалению, в одном ряду с этими «разоблачителями» оказался известный лингвист и семиотик **Вяч. Вс. Иванов** (1929—2017), который, противопоставляя Шаламова и Солженицына и выделяя главную, с его точки зрения, причину их расхождения, целиком стоит на стороне первого:

Они разошлись, потому что Шаламов считал, что человек в лагере не выдерживает, человек в лагере погибает. А Солженицын пытался доказать и писал об этом в «Архипелаге» <...> человек в лагере сохраняется, сохраняет там любовь к труду. Все это Шаламов считал лакировкой со стороны того литературного дельца, которым, думаю, с полным основанием он считал Солженицына. Так что для меня было понятно, что их расхождение основывалось на очень принципиальном подходе к этой главной проблеме <...> Если люди погибают во всех смыслах — пройдя через мучение пыток и лагеря, то литература не имеет права не писать об этом. И попытки, как это делал Солженицын, скрыть этот факт, построить искусственную литературу на отрицании этого бесспорного факта — это вызывало у Шаламова, как и у меня, резкое отторжение»<sup>85</sup>.

Литературовед из Австралии **Е. Михайлик**, сравнивая «Один день Ивана Денисовича» Солженицына с рассказом Шаламова «Тишина», написанном в 1966 году и включенным в цикл «Воскрешение лиственницы», приходит к выводу о «художественной пропасти» между этими писателями и тем самым разделяет распространенное в либерально-демократической среде современной интеллигенции представление о том, что Шаламов — великий художник XX века, а Солженицын — всего лишь публицист и общественный деятель<sup>86</sup>. В другой работе она вслед за Шаламовым обвиняет Солженицына в том, что тот в слепоте своей гордыни претендует на роль учителя и пророка, самозваного судьи, хотя сам во всем «обязан ненавидимому им институту»<sup>87</sup>.

В отличие от других шаламоведов, **Ю. Шрейдер** (1927—1990), друг писателя и ученый, отмечая целый ряд «фундаментальных противоречий» в эстетической и нравственной позиции Шаламова, выраженной в его прозе, письмах, статьях и заметках, утверждает, что «пути, проложенные Шаламовым и Солженицыным, не отрицают, но дополняют друг друга», что «речь идет о двух путях литературного процесса, каждый

<sup>83</sup> Есипов В. В. Провинциальные споры в конце XX века. Вологда, 1999. С. 210.

<sup>84</sup> Есипов В. В. Шаламов. М., 2012. С. 250—251.

<sup>85</sup> Иванов Вяч. Вс. Поэзия Шаламова // Варлам Шаламов в контексте мировой литературы и советской истории. М., 2013. С. 33.

<sup>86</sup> Михайлик Е. Кот, бегущий между Солженицыным и Шаламовым // Шаламовский сборник. Вып. 3. Вологда, 2002. С. 101—114.

<sup>87</sup> Михайлик Е. Не отражается и не отбрасывает тени: «закрытое общество» и лагерная литература // Новое литературное обозрение. 2009. № 6 (100). С. 365.

из которых необходим для сохранения и развития великой традиции русской литературы». Он имеет в виду «линию Пушкина» и «литературную традицию Л. Толстого» и подчеркивает, что Шаламов «поставил перед собой чисто литературную задачу создания новой прозы, основанной на документальном свидетельстве»<sup>88</sup>. И литературовед из Сургута говорит об «одной истине в двух измерениях», о двух «равновеликих именах в русской литературе XX века»<sup>89</sup>.

**Л. Жаравина** (несмотря на многократные заявления самого Шаламова о своем атеизме) сопоставляет «религиозность Шаламова и Солженицына» и пишет об «очевидной относительности оппозиции» этих писателей и соотносит «ад» Солженицына с «новозаветной сотериологией», а Колыму Шаламова с «ветхозаветным Шеолом»<sup>90</sup>.

Петербургский исследователь **И. Сухих** в интересной и содержательной статье «Жить после Колымы» (Звезда. 2001. № 6), написанной в академической манере, без выражения личностного отношения, без нравственных и художественных оценок (предполагающих не суд, а только соотношение с духовной истиной, наличие чего для многих людей в нашем «плюралистическом», «постмодернистском» мире просто исключается), в статье, позднее вошедшей в работу «**Двадцать книг XX века**», акцентирует внимание на «**расхождениях**» между «двумя летописцами лагерного мира» и без определения иерархии этих отличий, «слишком великих и принципиальных», без четкого отделения ядра от многих и разных граней, выделяет, по крайней мере, одиннадцать расхождений между Шаламовым и Солженицыным<sup>91</sup>. В статье угадывается большая симпатия автора к Шаламову, что подтверждается и тем, что в его книгу не вошли произведения Солженицына.

#### 4.

Очерк «**С Варламом Шаламовым**» Солженицын написал в 1986 году, а опубликовал только в 1999 году (Новый мир, № 4), с небольшими добавлениями записей 1995 года в качестве реакции на публикацию фрагментов дневников Шаламова в «Знамени» (1995. № 6)<sup>92</sup> и добавлением записи 1998 года как ответ на «*прямые наветы*» в статье И. Сиротинской в «Шаламовском сборнике» (Вып. 2). Начинается очерк так:

Мы с ним оба были верные «сыны Гулага», я хоть по сроку и испытаниям меньше его, но по духу, по отданности, никак не слабей. Это — очень стягивало нас, как магнитом. И когда в 1956 я читал в самиздате стихи его, неведомого:

Я знаю сам, что это — не игра,  
Что это — смерть. Но даже жизни ради,  
Как Архимед, не выроню пера,  
Не скомкаю развернутой тетради, —

<sup>88</sup> Шрейдер Ю. Правда Солженицына и правда Шаламова // Время и мы. Нью-Йорк. 1993. № 121. С. 204–217.

<sup>89</sup> Ганущак Н. В. Творчество Варлама Шаламова в контексте литературной традиции. Тюмень, 2013. С. 107–113.

<sup>90</sup> Жаравина Л. В. «У времени на дне». С. 30, 31.

<sup>91</sup> См.: Сухих И. Н. Двадцать книг XX века. Эссе. СПб., 2004. С. 421–425.

<sup>92</sup> На эту публикацию Л. Чуковская так откликается в своем дневнике: «Прочла Шаламова „Записи“. Выпады против Солженицына мелкие, самолюбивые и прямо завистливые. Между тем „Архипелаг“ — великая проза, новая не только новым материалом, но и новым искусством. Оттого читаешь. „Колымские рассказы“ Шаламова нельзя читать. Это нагромождение ужасов — еще один, еще один. Ценнейший вклад в наши познания о сталинских лагерях. Реликвия. И только» (Чуковская Л. Указ. соч. С. 138).



да ведь это ж просто обо мне! о моей тайне — и он соучастник<sup>93</sup>.

Воспоминания Солженицына представляют собой спокойный, сдержанный, с искренним состраданием к «собрату» («Пополнил он ряд самых трагических фигур нашей литературы») рассказ о **взаимоотношениях** с Шаламовым: сначала радостное и «родственное» **сближение**, естественное чувство единства, общности — по судьбе, по духу, по призванию художника, нечастые встречи (первая — в ноябре 1962 года, в редакции журнала «Новый мир»), оживленная переписка<sup>94</sup>, начавшаяся с «*длинного, пылкого письма*» в Рязань, в котором Шаламов дал самую высокую оценку «Одному дню Ивана Денисовича» и «*делился общими лагерно-литературными чувствами*», затем **споры** и значительные **расхождения** по многим вопросам, предложение Солженицына в конце августа 1964-го о совместной работе над «Архипелагом», на что был получен «*быстрый и категорический отказ*»<sup>95</sup>. И через некоторое время (последняя встреча приходится на лето 1965-го, а еще в 1968 году в письме Я. Гродзенскому Шаламов просил: «*Если увидишь Солженицына — передавай привет*»; 6, 351) последовал неизбежный горький **разрыв** всех отношений: «*...очень мы разные перья. <...> да разве можно было совместить наши мироощущения? Мне — соединиться с его ожесточенным пессимизмом и атеизмом? А — политические взгляды? <...> За пределами лагерной темы, на русскую и советскую историю в целом — у нас были взгляды, конечно, слишком разные*»<sup>96</sup>.

**Психологический перелом** в отношениях двух писателей произошел после поездки Шаламова в сентябре 1963 года в Солотчу, куда его пригласил Солженицын, увидев, в каких условиях он живет в Москве:

А я как раз в тот (1963) год, получив свободу от школы, провел чудесную весну в Солотче в разливное время в отдельном домике в лесу, и на осень ехал туда же, отдаться писанию «Ракового корпуса». И так мне **жалко** было Варлама, что он лишен и тишины и воздуха, я пригласил его приехать и **поработать** у меня недельку. И он охотно приехал. <...> Приглашая его, я судил по себе: мне бы только дали работать в тишине и в чистом воздухе, с утра до вечера, лишь бы не мешали, — и я думал, что и он нуждался лишь в том. А, оказалось, он понимал так, что вторую половину дня или хотя бы к вечеру мы будем подолгу **разговаривать**<sup>97</sup>. Он предполагал

<sup>93</sup> И еще раньше, в «Архипелаге», Солженицын писал о том же: «В 1956 году в Самиздате, уже тогда существовавшем, я прочел первый сборник стихов Варлама Шаламова и задрожал, как от встречи с братом <...> Он тоже писал о лагере! — ото всех таясь, с тем же одиноким безответным кликом в темноту...» (Т. 3. С. 99).

<sup>94</sup> Солженицын в письме Шаламову 21 марта 1964 года писал: «И я твердо верю, что мы доживем до того дня, когда „Колымские рассказы“ и „Колымские тетради“ также будут напечатаны. Я твердо в это верю, и тогда-то узнают, кто такой есть Варлам Шаламов» (Гродзенский С. Я. Воспоминания об Александре Солженицыне и Варламе Шаламове. М., 2016. С. 4).

<sup>95</sup> О том же читаем в «Послесловии» к «Архипелагу»: «Эту книгу писать бы не мне одному, а раздать бы главы знающим людям <...> И кому предлагал я взять отдельные главы, — не взяли, а заменили рассказом, устным или письменным, в мое распоряжение. Варламу Шаламову предлагал я всю книгу вместе писать — отклонил и он» (Т. 3. С. 498).

<sup>96</sup> Солженицын А. С Варламом Шаламовым // Новый мир. 1999. № 4. С. 166, 167.

<sup>97</sup> Л. Чуковская после девяти лет знакомства с Солженицыным вспоминает: «Вечная торопливость <...> неистовая спешка к средоточию и глубине <...> Живя бок о бок — иногда на даче, а иногда и в городе — разговаривали мы, однако, не часто и не подолгу: Солженицына тянуло к труду» (Чуковская Л. «Мастерская человечих воскрешений...» // Досье на цензуру. 1999. № 7—8. С. 196, 197). Для нас достоверно и суждение П. Басинского: «У него было исключительное чувство драгоценности времени <...> дорожил каждой минутой жизни <...> ни минуты лишней для просто разговора...» (Басинский П. Улыбка исполина // Москва. 2008. № 9. С. 4).

между нами длинные литературные разговоры, он весьма нуждался в таком общении — да и очень интересные у него суждения. Но я вообще не люблю «разговаривать о литературе»; предпочитаю молча писать и впитывать, молча писать свое. Да при моем постоянном тоннельном прорыве сквозь хребты, 16-часовой неразгибности в день, — я совершенно не готов был так проводить время. Уклонился раз, два, три, самое большое могу разговаривать только к ночи полчаса. Он — может быть **обиделся**, может быть и нет, — но понял нашу **несовместимость**, и через два дня круто сказал, что — уезжает. <...> Открытой размолвки между нами этот неудачный опыт не вызвал — но и не сблизил никак<sup>98</sup>.

А вот как об этом в 1997 году пишет «верный друг» Шаламова и открытая «ненавистница» Солженицына И. Сиротинская:

И тогда, в 60-е годы, растущее отчуждение от «дельца», как он называл А. И., уже ясно чувствовалось. Он рассказал мне о неудавшихся беседах в Солотче осенью 1963 г. — куда он ездил в гости к А. И. Выявилась какая-то биологическая, **психологическая несовместимость** бывших друзей при таком длительном контакте. Вместо ожидаемых В. Т. бесед о «самом главном» — какие-то мелкие разговоры. Может быть, А. И. просто не был так расточителен в беседах и переписке, как В. Т., берег, копил все впрок, в свои рукописи, а В. Т. был щедр и прямодушен в общении, ощущая неистощимость своих духовных и интеллектуальных сил<sup>99</sup>.

Наконец, выслушаем еще одно мнение, рассказ пасынка Шаламова, С. Неклюдова, ставшего известным ученым-фольклористом:

Я помню его первые впечатления от произведений Солженицына, как он поминутно входит в комнату и вслух читает то «Ивана Денисовича», то «Случай в Кречетовке», просто дрожа от восхищения. Однако дальше обнаружилось поразительное **несовпадение характеров, темпераментов**, хотя в первые месяцы отношения были очень близкими, но потом — резкая **ссора**. Когда В. Т. приехал из Солотчи, куда его пригласил для совместного **отдыха** (? — В. В.) Солженицын, у него были белые от **ярости** глаза: тот образ жизни, тот ритм, тот тип отношений, которые были предложены Александром Исаевичем, оказались для него абсолютно неприемлемыми<sup>100</sup>.

А сам Шаламов в письме к Солженицыну, написанному вскоре после публикации книги «Бодался теленок с дубом» (1975), но и так и оставшемуся в черновом варианте в записных книжках Шаламова, так объясняет свой отъезд из Солотчи:

И умер для Вас я не в Москве, а в Солотче, где гостил у Вас и, впрочем, всего два дня, я бежал в Москву тогда от Вас, сославшись на внезапную болезнь. <...> Что меня поразило в Вас — Вы писали так жадно, как будто век не ели <...> Оказывается, главная цель приглашения меня в Солотчу не просто работать, не скрасить мой отдых, а «узнать Ваш секрет» <...> (5, 366).

На наш взгляд, здесь проявляется очень важная **психологическая** причина произошедшего — детская **обида** и бессознательная **зависть** Шаламова, очень большого человека («Я просто болен, болен тяжело душевно», — признается он себе в записной книжке 28 октября 1970 г.; 5, 307),

<sup>98</sup> Солженицын А. И. С Варламом Шаламовым. С. 165–166.

<sup>99</sup> Сиротинская И. В. Шаламов и А. Солженицын. С. 74.

<sup>100</sup> Неклюдов С. Указ. соч. С. 19.

Это **зависть** к Солженицыну, к которому после публикации целого ряда произведений пришла как будто незаслуженная мировая слава (присуждение Нобелевской премии), к писателю, для которого работать, писать, творить — такая же потребность, как еда для голодного человека, к писателю, способному просто физически так увлеченно писать по 16 часов в сутки, **зависть**, проявлявшаяся, видимо, не столько на уровне сознания, сколько на уровне **чувства**, эмоционального состояния<sup>101</sup>, зависть как «**боль**» (Аристотель), вызванную невероятной работоспособностью другого, зависть, мгновенно перерастающую в «**ненависть**» (Декарт), которая разрушает человека изнутри, зависть, проявившаяся и на уровне реального поведения (внезапный отъезд из Солотчи)<sup>102</sup>.

После оглушительного успеха «Ивана Денисовича» и при полном отсутствии публикаций рассказов Шаламова «**раздражение**», «**зависть**» и «**обида**» у него постепенно переросли в «**озлобление**» и «**ненависть**»<sup>103</sup>, о чем узнал Солженицын из дневников, опубликованных в 1995 году: «*И я поражен. Изо всего нашего знакомства, ни из одной встречи, никаким предчувствием я не мог предположить такое: что Шаламов меня возненавидел <...> Теперь видно: озлобление его ко мне — настойчиво росло, все возвращается. Уже — и как я придумал...*» Но Солженицын не обвиняет, не судит, а по-христиански жалеет и прощает «брата по перу»: «*Уж так круто-тяжко сошлось Варламу к его ужасному концу. В одинокие предсмертные годы не выдержал душой неудач и несчастий*»<sup>104</sup>. Ненависть Шаламова в бессознательной глубине своей, видимо, была вызвана еще и тем, что он инстинктивно воспринимал творчество Солженицына, если использовать слова А. Шмемана, именно «как опасное, разрушительное для себя, своих убеждений, своего миропонимания».

Эта ненависть сродни той ненависти всей бригады к сектанту, о которой рассказывает автор в рассказе «**Тишина**» (1966) из цикла «Воскрешение лиственницы»:

<sup>101</sup> О прямо противоположном эмоциональном воздействии Солженицына-человека пишет А. Ахматова: «Вчера (28-го) у меня (у Маруси в Москве) был Рязанский (Солженицын). Впечатление ясности, простоты, большого человеческого достоинства. С ним легко с первой минуты» (Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966). М., 1996. С. 253). И А. Шмеман при первой же встрече с Солженицыным в Швейцарии, «горной встрече» в конце мая 1974 года, был удивлен и даже потрясен очень многим в нем: «Напор и энергия. <...> Невероятное нравственное здоровье. Простота. <...> Целеустремленность человека, сделавшего выбор. Этим выбором определяется то, что он слушает, а что пропускает мимо ушей. Слушает, берет, хватает то, что ему нужно. На остальное — закрывается. <...> Несомненное сознание своей миссии, но именно из этой несомненности — подлинное смирение. Никакого всезнайства. Скорее — интуитивное понимание. <...> Это отметание всего второстепенного, сосредоточенность на главном. <...> Живя с ним (даже только два дня), чувствуешь себя маленьким, скованным благополучием, ненужными заботами и интересами. Рядом с тобой — человек, принявший все бремя служения, целиком отдавший себя, ничем не пользующийся для себя. Это поразительно. <...> Ничего от „интеллигента“. Не вширь, а вглубь и ввысь <...> Удивительные по свету и радости, действительно — „горные“ дни. <...> Будут ли у меня в жизни еще такие дни, такая встреча — вся в простоте, абсолютной простоте, так что я ни разу не подумал: что нужно сказать? Рядом с ним невозможно никакая фальшь...» (Шмеман А., прот. Дневники: 1973–1983. 3-е изд. М., 2009. С. 100–103).

<sup>102</sup> См. о сущности, истоках и видах зависти: Ильин Е. П. Психология зависти, враждебности, тщеславия. СПб., 2014. С. 17–22, 46–58, 152–167. Как показали многие философы и психологи, чтобы противостоять собственной зависти, естественной и свойственной почти каждому человеку, зависти, из которой вырастают злоба и ненависть, необходимо прежде всего **осознавать** ее в себе как страшный и опасный порок и постараться «задушить ее как злого демона» (Е. Ильин).

<sup>103</sup> Как вспоминает С. Гродзенский, ученик Солженицына и сын друга Шаламова, Я. Гродзенского (1906–1971), в 70-е годы «Шаламов на каждое упоминание имени Солженицына всегда реагировал активно, со страстью и почти всякий раз негативно» (Гродзенский С. Я. Указ. соч. С. 9).

<sup>104</sup> Солженицын А. С Варламом Шаламовым. С. 168, 169.

Мы были человеческими отбросами <...> Мы ненавидели начальство, ненавидели друг друга, а больше всего ненавидели сектанта — за песни, за гимны, за псалмы <...> Сектант пел, пел хриплым остуженным голосом — негромко, но пел какие-то гимны, псалмы, стихи. Песни были бесконечны.

И вдруг произошло чудо: «ночной обед», дополнительное питание для самой слабой и голодной бригады. А затем — неожиданная смерть сектанта:

Белая мгла окружала забой, освещенный лишь светом костра конвоира. Сидевший рядом со мной сектант встал и пошел мимо конвоира в туман, в небо <...> Потом раздался выстрел, сухой винтовочный щелчок — сектант еще не исчез во мгле, второй выстрел <...> И, холодея от догадки, я понял, что этот ночной обед дал силы сектанту для самоубийства. Это была та порция каши, которой недоставало моему напарнику, чтобы решиться умереть, — иногда человеку надо спешить, чтобы не потерять воли на смерть.

Обычно исследователи на веру и некритически воспринимают все объяснения рассказчика в текстах Шаламова, но в данном случае понимание поступка сектанта как самоубийства — это понимание поврежденного, атеистического сознания. Сектант уходит «в небо», чтобы сохранить живой свою душу, свою веру, Бога в душе. А **ненависть** к нему вырастает из бессознательной **зависти** тех, кого сделали «человеческими отбросами», из зависти к его способности и здесь петь гимны и псалмы, а не проклинать и ненавидеть Бога, судьбу, мир, всех людей. Рассказчик же рад смерти сектанта, рад возникшей после этого тишине: «Как всегда, мы окружили печку. Только гимнов сегодня некому было петь. И, пожалуй, я даже был рад, что теперь — тишина». Эта тишина и означает духовную смерть рассказчика.

Второй ключевой момент в очерке Солженицына — это его естественная и эмоциональная реакция на неожиданное для всех письмо Шаламова в газету:

А потом вдруг — его тягостное отречение от «Колымских рассказов» в «Литгазете» в феврале 1972 <...> «я — честный советский гражданин» <...> «проблематика „Колымских рассказов“ давно снята жизнью»... От дела всей своей жизни — так громко отрекся... Меня — это крепко ударило. Кто? Шаламов? сдает наше лагерное? Непредставимо, как это: признать, что Колыма — «снята жизнью»?! И помещено-то в газете было почему-то в черной рамке, как если бы Шаламов умер.

По сути, это письмо-отречение (вызвавшее всеобщее осуждение и глубокое разочарование в узнике-герое у многих людей<sup>105</sup>, предположивших, что его заставили это сделать) означало духовную смерть автора «Колымских рассказов»<sup>106</sup>. Видимо, не случайно, что после этого он в течение 1972 и 1973 годов написал только по четыре рассказа, и на этом его «лагерная эпопея» закончилась. Однако, как вспоминает И. Сиротинская, Шаламов вопреки всему говорил: «Для такого поступка мужества надо поболее, чем для интервью западному журналисту»<sup>107</sup>.

<sup>105</sup> Даже И. Сиротинская призналась: «Чтобы спасти книгу, Шаламов пишет письмо в „Литературную газету“. <...> Для меня это было крушение героя» (Сиротинская И. П. Мой друг Варлам Шаламов. С. 42).

<sup>106</sup> Анатолий Марченко в письме академику П. Капице 1 марта 1980 года писал о том, что Шаламов «не только достойно жил — и, к счастью, выжил — на Колыме, но и создал нерукотворный памятник ее жертвам — „Колымские рассказы“. А в 70-е годы отрекся от них: „Проблематика «Колымских рассказов» снята жизнью!» Предал себя, предал дело своей жизни, предал сотни, нет — тысячи мучеников... Чего ради? Не могу понять. Говорят, что поманили публикацией сборника его стихов» (Сахаровский сборник. М., 2011. С. 108).

<sup>107</sup> Сиротинская И. П. Мой друг Варлам Шаламов. С. 43.

От власти в знак благодарности он получил новую комнату, обещанное издание книги стихов «Московские облака», был принят в Союз писателей и «до 1978 года получал литфондовские путевки в Коктебель и Ялту <...> Комфортабельная писательская жизнь произвела на него самое сильное и приятное впечатление»<sup>108</sup>. Шаламоведы В. Есипов и Ю. Шрейдер этот шаг «честного советского писателя», как Шаламов написал о себе в письме, безоговорочно оправдывают: «Это не было отречением — то, что он в этом письме написал. Это был некий жест, сделанный, чтобы сохранить возможность публиковаться. Он <...> просто не хотел участвовать в играх с его именем — в играх политического свойства»<sup>109</sup>; «...он радовался, что ему удалось добиться этой публикации»<sup>110</sup>.

Очень странное, как будто неадекватное объяснение Шаламова своего письма мы находим в его записи, сделанной предположительно в конце февраля 1972 года:

Смешно думать, что от меня можно добиться какой-то подписи. Под пистолетом. Заявление мое, его язык, стиль принадлежат мне самому. Я отлично знаю, что мне за любую мою «деятельность» <...> ничего не будет в смысле санкций. Тут сто причин. Первое, что я больной человек. Второе, что государство с уважением и пониманием относится к положению человека, много лет сидевшего в тюрьме, делает скидки. Третье, репутация моя тоже хорошо известна. За двадцать лет я не написал, не подписал ни одного заявления в адрес государства, связываться со мной, да еще в мои 65 лет — не стоит. Четвертое, и самое главное, для государства я представляю собой настолько ничтожную величину, что отвлекаться на мои проблемы государство не будет...<sup>111</sup>

В своем очерке Солженицын высоко оценивает стихи Шаламова («*Стихи его уж очень-очень были мне к сердцу. <...> Стихи Шаламова всегда мне нравились больше, чем проза его*») и высказывает конкретные критические суждения о его «лагерных» рассказах: в них нет отдельных характеров («*все — на одну колодку*»); «*расплывается композиция*» рассказов, что, видимо, является «*результатом его изнеможения от многолетнего лагерного измота*»; не согласен с главной мыслью Шаламова о том, что «*до конца уничтожаются все черты личности и прошлой жизни*».

Кроме того, Солженицын пишет о своем согласии или несогласии с конкретными литературными суждениями Шаламова и споре с ним о правильном произношении слова «зэк» или «зэка»<sup>112</sup>. И в автобиографической книге «**Бодался теленок с дубом**» Солженицын неоднократно пишет о Шаламове, о его стихах и рассказах:

Варлам Шаламов раскрыл листочки по самой ранней весне: уже съезду он поверил, и пустил свои стихи первыми ранними самиздатскими тропами уже тогда. Я прочел их летом 1956 и задрожал: вот он, брат! из тайных братьев, о которых я знал, не сомневался.

Сильное преимущество подпольного писателя — в свободе его пера <...> Но жесткой художественной критики <...> писатель-подпольщик не получает. <...> Проза Шаламова тоже, по-моему, пострадала от долголетней замкнутости его работы. Она могла бы быть совершеннее — на том же круге материала и при том же авторском взгляде. <...>

Для меня, конечно, и фигура самого Шаламова и стихи его не укладывались в область «просто поэзии», — они были из горячей памяти и сердечной боли; это был мой неизвестный и далекий брат по лагерю; эти стихи он писал, как и я, еле таская

<sup>108</sup> Там же. С. 45.

<sup>109</sup> Шрейдер Ю. Предопределенная судьба // Литературное обозрение. 1989. № 1. С. 58.

<sup>110</sup> Шрейдер Ю. Шаламов о литературе // Вопросы литературы. 1989. № 5. С. 229.

<sup>111</sup> Шаламовский сборник. Вып. 1. Вологда, 1994. С. 104.

<sup>112</sup> В «Архипелаге» Солженицын убедительно доказывает свою правоту. См.: Т. 2, ч. 3, гл. 19. С. 408—409.

ноги, и наизусть, пуще всего таясь от обысков. Из тотального уничтожения всего пишущего в лагерях только и выползло нас меньше пятака<sup>113</sup>.

Уже в начале своей книги «**Архипелаг ГУЛАГ**» Солженицын с благодарностью упоминает имя Шаламова среди тех, кто написал о лагерях:

Когда я начинал эту книгу в 1958 году, мне не известны были ничьи мемуары или художественные произведения о лагерях. За годы работы до 1967 мне постепенно стали известны «Колымские рассказы» Варлама Шаламова и воспоминания Д. Витковского, Е. Гинзбург, О. Адамовой-Слиозберг, на которые я и ссылаюсь по ходу изложения как на литературные факты, известные всем (так и будет же в конце концов) (Т. 1. С. 10–11)

А во втором томе автор поясняет, почему «*почти исключил Колыму из охвата этой книги*»: «*Колыма в Архипелаге — отдельный материк, она достойна своих отдельных повествований. Да Колыме и „повезло“: там выжил Варлам Шаламов и уже написал много*» (Т. 2. С. 101). Из-за того, что Шаламов запретил Солженицыну прямо использовать свои материалы при написании книги<sup>114</sup>, тот только иногда ссылается на рассказы Шаламова и предлагает читателю самому обратиться к ним<sup>115</sup>. В седьмой главе третьей части, подробно описывая «*туземный быт*» людей в «*истребительно-трудовых лагерях*», Солженицын подчеркивает свое уважение к Шаламову, говорит об одинаковой общей оценке лагерей и о некоторых «*точках расхождения*» с ним:

...Я узнал шестьдесят лагерных рассказов Шаламова и его исследование о блатных. Я хочу здесь заявить, что, кроме нескольких частных пунктов, между нами никогда не возникало разнотолка в изъяснении Архипелага. Всю туземную жизнь мы оценили в общем одинаково. Лагерный опыт Шаламова был горше и дольше моего, и я с уважением признаю, что именно ему, а не мне досталось коснуться того дна озверения и отчаяния, к которому тянул нас весь лагерный быт.

Это, однако, не запрещает мне возразить ему в точках нашего расхождения. Одна из этих точек — лагерная санчасть. О каждом лагерном установлении говорит Шаламов с ненавистью и желчью (и прав!) — и только для санчасти он делает всегда пристрастное исключение. Он поддерживает, если не создает, легенду о благодетельной лагерной санчасти <...> Как всякая лагерная ветвь, и санчасть тоже: дьяволом рождена, дьяволовой кровью и налита (Т. 2. С. 171, 174).

Но принципиальный спор Солженицына с Шаламовым, спор о сущностных основах бытия, происходит в четвертой части «**Душа и колючая проволока**», смысловом центре всей книги, где поставлен важнейший вопрос: какова судьба души в неволе и что поможет душе? В четвертой части первая глава «**Восхождение**» заканчивается словами: «*Я — достаточно там посидел, я душу там взрастил и говорю непреклонно: —*

<sup>113</sup> Солженицын А. И. Бодался теленок с дубом. 2-е изд. М., 1996. С. 16–18, 57.

<sup>114</sup> «Через Храбровицкого сообщил Солженицыну, что я не разрешаю использовать ни один факт из моих работ для его работ» (5, 302).

<sup>115</sup> «Может быть, в „Колымских рассказах“ читатель верней ощутит безжалостность духа Архипелага и грань человеческого отчаяния» (Т.2. С. 6); «И три раза в месяц губительные, разорительные бани. (Чтобы не повторять, я не стану писать о них здесь: есть обстоятельный рассказ — исследование у Шаламова, есть рассказ у Домбровского.)» (Т. 2. С. 165); «Сучья война достойна была бы отдельной главы в этой книге, но для этого пришлось бы поискать еще много материала. Отошлем читателя к исследованию Варлама Шаламова „Очерки преступного мира“, хотя и там неполно» (Т. 3. С. 218).

Благословение тебе, тюрьма, что ты была в моей жизни!» А во второй главе «Или рас-  
тление?» следует продолжение:

Многие лагерники мне возразят и скажут, что никакого «восхождения» они не заметили, чушь, а растление — на каждом шагу. Настойчивее и значительнее других (потому что у него это уже все написано) возразит **Шаламов**:

«В лагерной обстановке люди никогда не остаются людьми <...> Все человеческие чувства — любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность — ушли от нас с мясом мускулов <...> Осталась только злоба — самое долговечное человеческое чувство». «Мы поняли, что правда и ложь — родные сестры». «Дружба не зарождается ни в нужде, ни в беде». «...Лагерь — отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего нужного, полезного никто оттуда не вынесет». <...>

Лагерная жизнь устроена так, что зависть со всех сторон клюет душу, даже и самую защищенную от нее. <...> Еще ты постоянно сжат страхом <...>. В этих злых чувствах и напряженных мелочных расчетах — когда же и на чем тебе возвышаться? <...>

Шаламов говорит: духовно обеднены все, кто сидел в лагерях. А я как вспомню или как встречу бывшего зека — так личность.

Шаламов и сам в другом месте пишет: ведь не стану же я доносить на других! ведь не стану же я бригадиром, чтобы заставлять работать других.

А отчего это, Варлам Тихонович? Почему это вы вдруг не станете стукачом или бригадиром, раз никто в лагере не может избежать этой наклонной горки растления? Раз правда и ложь — родные сестры? Значит, за какой-то сук вы уцепились? В какой-то камень вы упнулись — и дальше не поползли? Может, злоба все-таки — не самое долговечное чувство? Своей личностью и своими стихами не опровергаете ли вы собственную концепцию?

А как сохраняются в лагере (уж мы прикасались не раз) истые религиозные люди? На протяжении этой книги мы уже замечали их уверенное шествие через Архипелаг — какой-то молчаливый крестный ход с невидимыми свечами. Как от пулемета падают среди них — и следующие заступают, и опять идут. Твердость, не виданная в XX веке! <...>

А как объяснить, что некоторые люди именно в лагере обратились к вере, укрепились ею и выжили нерастленными? <...> никакой лагерь не может растлить тех, у кого есть устоявшееся ядро, а не та жалкая идеология <...> Растлеваются те, кто до лагеря не обогащен был никакой нравственностью, никаким духовным воспитанием. <...> Растлеваются в лагере те, кто уже и на воле растлевался или был к тому подготовлен. Потому что и на воле растлеваются, да отменной лагерников иногда. <...>

И может быть, Варлам Тихонович, дружба в нужде и беде вообще-то между людьми возникает, и даже в крайней беде <...> Да, лагеря были рассчитаны и направлены на растление. Но это не значит, что каждого им удавалось смять. Как в природе нигде никогда не идет процесс окисления без восстановления (одно окисляется, а другое в это самое время восстанавливается), так и в лагере (да и повсюду в жизни) не идет растление без восхождения. Они — рядом» (Т. 2. С. 502—504, 506—509).

В этом споре о человеческой природе и соотношении добра и зла в душе человека безусловную правоту Солженицына объективно подтверждают художественные и документальные книги, дневники тех людей, кто прошел через ад сталинских (О. Волков, Е. Гинзбург, И. Гронский, Г. Демидов, Ю. Домбровский, Б. Лесняк, Е. Федоров и др.) и немецких концлагерей (Дж. Агамбен, В. Кресс, П. Леви, В. Франкл и др.), кто пережил ленинградскую блокаду (О. Берггольц, Л. Гинзбург, В. Глинка, Д. Лихачев и др.).

## 5.

Солженицын и Шаламов прожили долгую жизнь — 89 и 75 лет соответственно, но духовно по-разному прошли все шесть основных этапов человеческой жизни: детство — отрочество — юность — молодость — зрелость — старость. Оба уже в детстве осознали свое высшее назначение — стать писателями, художниками слова, но одного вел по жизни **Бог**, защищал, спасал, помогал открыть и сказать слово **истины** о человеке, созданном по образу и подобию Божию, слово **правды** о заключенных, о необходимости и высшем смысле страданий, о собственной греховности и закономерной неизбежности наказания, сказать слово **правды** о русском народе и России, о народных праведниках из крестьян (образы Матрены и Ивана Денисовича), а другого опекал **дьявол**, цель которого — погубить человеческие души, отравить их завистью, злобой и ненавистью, «*чувствами бесплодными, не творящими искусство*» (А. Солженицын), и помочь писателю лишенным жалости словом выразить «мертвую», убийственную и жестокую «**правду**» о человеке-звере, в минуты «затмения» противопоставить спасительной **Истине** губительную **ложь** о животной, звериной сущности человека и бессмысленности жизни, о тотальной власти зла и бессилии добра, **ложь** о русском крестьянине, душа и внутренний мир которого были недоступны пониманию писателя-интеллигента, неспособного «писать мужика изнутри» (А. Солженицын), **ложь** о русском народе («*В народе нет никаких праведников, и не было никогда*» — 7, 410) и о России («*Выступила на свет подлинная Расея, со всей ее злобностью, жадностью, ненавистью ко всему*» — 7, 424), помочь подтвердить ложную идею о том, что «Бог умер», Бога нет, ибо «ложь есть неузнавание образа Божия (в себе и в других)»<sup>116</sup>. Ложь Шаламова рождается из души, погруженной во тьму обиды и зависти, злобы и ненависти, из гордыни и желания мести, из «окамененного нечувствия»<sup>117</sup> своих грехов.

**Солженицын** достойно прошел свой жизненный и творческий путь духовного **восхождения** к истине, к Богу:

**детство**, с его гармоническим мироощущением, благодаря прежде всего материнской любви и бессознательной вере в Бога, с той ясностью и чистотой души, тем светом, той целостностью души, чувством глубокой связи всего со всем, чувством полного слияния с миром и жизнью, чувством Божественной красоты и Божественной сущности всего, которые возможны только в детстве;

атеистические **отрочество, юность и молодость** («*Я был оморочен коммунизмом <...> захвачен заразой мировой революции*») преодолел с минимальными для души потерями благодаря осознанию своего призвания стать писателем и высокой идее служения отечеству, России, и в качестве воина, защитника Родины;

эпоха **зрелости** в жизни Солженицына начинается в 27 лет, начинается с ареста на фронте в 1945 году, а затем тюрьмы<sup>118</sup> и лагеря<sup>119</sup>, с раздумий и совестливых стра-

<sup>116</sup> Иоанн, архиепископ Сан-Францисский. Указ. соч. С. 338.

<sup>117</sup> «Убоимся окамененного нечувствия грехов наших; убоимся гордости своей сердечной...» (Протоиерей Григорий Дьяченко. Вера, Надежда, Любовь. Катехизическое поучение: В 3 т. М., 1993. Т. 1. С. 381).

<sup>118</sup> «Из тюремной протяженности оглядываясь на свое следствие, я не имел основания им гордиться. Я, конечно, мог держаться тверже и, вероятно, мог извернуться находчивей. Затмение ума и упадок духа сопутствовали мне в первые недели. Только потому воспоминания эти не грызут меня раскаянием, что, слава Богу, избежал я кого-нибудь посадить. А близко было» (Архипелаг ГУЛАГ. Т. 1. С. 131).

<sup>119</sup> «Лишь поздним лагерным опытом, наторевший, я оглянулся и понял, как мелко, как ничтожно я начинал свой срок. В офицерской шкуре привыкнув к незаслуженно высокому положению среди окружающих, я и в лагере все лез на какие-то должности и тотчас же падал с них. <...> И я вывожу



даний<sup>120</sup>, с очищения души через искреннее раскаяние в своих грехах<sup>121</sup>, которое настагает, как удар молнии, раскалывающей деревья (крохотка «Молния» заканчивается словами: «Так и нас, иногo: когда уже постигает удар кары-совести, то черезo все нутро напpострел, и черезo всю жизнь вдоль. И кто еще oстается после того, а кто и нет» — 1, 558); эпоха **мудрой зрелости** начинается со смирения перед карой за эти грехи, с прозрения и духовного воскресения<sup>122</sup>, обретения истинной, осознанной и выстраданной веры в Бога («Благословение тебе, тюрьма!»);

в глубокой **старости** Солженицын, великий художник и мыслитель, испытывая чувство позора за Россию 90-х годов (крохотка «Позор» начинается так: «Какое это мучительное чувство: испытывать позор за свою Родину <...> До какого разора и нищеты доведена народная жизнь, не в силах взяться» — 1, 563) и молясь за спасение России («Отче наш Всемилостивый! <...> Из глубин Беды — / вызволи народ свой неукладный» — 1, 571), праведником уходит из земной жизни.

Душа **Шаламова**, лишённого «счастливой поры детства», кажется, навсегда остановилась в своем духовном развитии на стадии **отрочества**, когда, как показал Л. Толстой, ребенок утрачивает непосредственную детскую веру и у него возникает «бездна мыслей», когда перед ним встают неразрешимые, непосильные для него философские вопросы о смысле жизни и цели человеческого бытия, о смерти и месте человека в мироздании; когда в нем пробуждаются природные, плотские инстинкты и резко усиливается проявление таких опасных пороков, как гордыня и зависть, самолюбие и тщеславие, эгоизм и стремление к освобождению от всех запретов; когда в «пустыне отрочества» ребенок в состоянии духовной слепоты (скептического или даже нигилистического отношения к высшим духовным ценностям), в состоянии «затмения» оказывается во власти дьявольских чувств злобы и ненависти, убивающих любовь; когда человек может сказать: «Я понял, что Бога нет, что нет смысла в самой жизни»; когда без Бога борьба в человеке между телом и душой неизбежно заканчивается победой животных, звериных инстинктов, победой **зла**, победой **дьявола**; когда в душе умирают вера, надежда, любовь и воцаряется ад.

И Шаламов, обладавший художественным даром, «подлинным поэтическим даром» (Вяч. Вс. Иванов), искал спасение в **стихах** и в детские годы, и в аду колымских лагерей, и в последующие десятилетия<sup>123</sup>. В одном из своих последних рассказов — «**Афин-**

---

в конце обязательства — „Ветров“. Эти шесть букв выкаляются в моей памяти позорными трещинами. <...> А тут меня по спецнаряду министерства выдернули на шарашку. Так и обошлось. Ни разу мне не пришлось подписаться „Ветров“. Но и сегодня я поеживаюсь, встречая эту фамилию» (Т. 2. С. 290, 296).

<sup>120</sup> «Какие легкие свободные мысли! Мы как будто вознесены на Синайские высоты, и тут из пламени является нам истина. Да не об этом ли и Пушкин мечтал: „Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать!“ Вот мы и страдаем, и мыслим, и ничего другого в нашей жизни нет. И как легко оказалось этого идеала достичь...» (Т. 1. С. 207).

<sup>121</sup> «Я метал подчиненным беспспорные приказы, убежденный, что лучше тех приказов и быть не может. Даже на фронте, где всех нас, кажется, равняла смерть, моя власть возвышала меня. <...> Заставлял солдат горбить, копать мне особые землянки на каждом новом месте и накатывать туда бревешки потолще, чтобы было мне удобно и безопасно» (Т. 1. С. 156—157).

<sup>122</sup> «„Архипелаг ГУЛАГ“ — вино русской совести, взбродившее на русском терпении и покаянии. Здесь нет злобы <...> Есть гнев, сын большой любви, есть сарказм и его дочь — беззлобная, русская, даже веселая ирония. Она у Солженицына и форма плача о человеке» (Иоанн, архиепископ Сан-Францисский. Указ. соч. С. 336).

<sup>123</sup> В начале 70-х годов в незаконченном эссе «Поэт изнутри» Шаламов отмечает: «Я писал стихи всегда <...> делал попытку фиксировать свои жизненные впечатления, суждения в какой-то поэтической форме. Уйти от них было выше моих сил. <...> Потребность стихосложения была не-

**ские ночи»** (1973) — Шаламов рассказывает о том, как у него и других фельдшеров больницы возникает органическая потребность в стихах:

Острее мысли о еде, о пище является новое чувство, новая потребность, вовсе забытая Томасом Мором в его грубой классификации четырех чувств.

Пятым чувством является потребность в стихах.

У каждого грамотного фельдшера, сослуживца по аду, оказывается блокнот, куда записываются случайными разноцветными чернилами чужие стихи — не цитаты из Гегеля или Евангелия, а именно стихи.

В поэзии Шаламов видел не только «чудо» и форму «общений с Богом» (5, 167), но даже и проявление дьявольского начала. В 1973 году в письме к И. Сиротинской он писал: «Стихи — это боль, мука, но и всегда — игра. Стихи убивают людей, которые относятся к ним серьезно <...> Стихи — это античеловеческое мероприятие, скорее от дьявола, чем от Бога» (6, 502). И в письме к Ю. Шрейдеру мы читаем: «...стихи — это дар Дьявола, а не Бога...» (6, 553).

А жестокая, безжалостная, «мертвая» **проза** Шаламова (прежде всего его «Колымские рассказы»<sup>124</sup>), подобно лиственницам на Севере из рассказа «**Сухим пайком**» («...крученые деревья и на дрова не годились — своим сопротивлением топору они могли измучить любого рабочего. Так они мстили всему миру за свою изломанную Севером жизнь»), оказывается его **местью** людям и всему миру (устроенному как лагерь, подобному аду), литературе и искусству, прежде всего русской классической литературе с ее нравственно-духовными ценностями<sup>125</sup>. Шаламов своими произведениями судит человека, судит весь мир, свое время, ибо, как он пишет в своих «Воспоминаниях», «писатели — судьи времени <...> Художественное изображение — это суд, который творит писатель над миром, который окружает его» (4, 307).

В минуты **гордыни** Шаламов пишет о себе и своих стихах: «Два года назад я считал себя лучшим человеком России» (5, 299); «Я новатор завтрашнего дня» (5, 348); «Это лучшие стихи сейчас в России, более того — единственные стихи, истинное искусство» (6, 457)<sup>126</sup>.

В минуты **гордыни** и отчасти «затмения» Шаламов, отвечая на вопрос: «Имеют ли мои рассказы чисто литературные особенности, которые им дают место в русской прозе?» (6, 484), дает конкретные ответы и пишет о создании им «новой прозы» в русской литературе XX века:

«Новая русская проза — вот первое их значение для автора» (6, 580); «Рассказы мои совершенны» (4, 438); «Очерк документальный доведен до крайней степе-

---

роятная <...> Во время работы на прииске <...> ни одного стихотворения за эти десять лет не написалось <...> Но едва я получил передышку даже ничтожную, я пытался как-то отметить это в стихотворной форме. <...> А в 1949 году я уже работал фельдшером, и меня, как графомана, нельзя было удержать от писания стихов» (5, 164–165).

<sup>124</sup> «„Колымские рассказы“ — вне искусства, и все же они обладают художественной и документальной силой одновременно» (6, 493); «Фотография лагерей уничтожения и дана в „Колымских рассказах“ <...> я не предлагаю художественного описания. Я предлагаю просто новую форму фиксации фактов» (6, 583).

<sup>125</sup> «Крах гуманистических идей, историческое преступление, приводящее к сталинским лагерям, к печам Освенцима, — доказали, что искусство и литература — нуль» (6, 490).

<sup>126</sup> Это о своей книге «Дорога и судьба», опубликованной в 1967 году. А об удивительном русском поэте 60-х годов в «Записных книжках» Шаламова есть только одна строчка: «27.1.71. Умер поэт Николай Рубцов от водки» (5, 315).

ни художественности» (5, 323); «Ни одной строки, ни одной фразы в «КР», которая была бы «литературной — не существует» (5, 154); «Рассказы мои представляют успешную, сознательную борьбу с тем, что называется жанром рассказа <...> Каждый мой рассказ — это абсолютная достоверность<...> Не документальная проза, а проза, пережитая как документ, без искажений „Записок из Мертвого дома“. Достоверность протокола, очерка, подведенная к высшей степени художественности...» (6, 484, 486, 493).

И это принимали на веру и много раз повторяли шаламоведы в своих статьях, диссертациях, книгах и заявляли о величии писателя и его новых открытиях. А Е. Михайлик даже говорит о шаламовской «революции в литературе», которая, по ее мнению, «оказалась настолько успешной, что прошла незамеченной»<sup>127</sup>. И Л. Жаравина, отмечая, что «автор был в равной степени озабочен проблемами метафизического порядка («преодоление зла, торжество добра» — 5, 148), так и вполне конкретными частными вопросами мастерства: «художественным освоением документальной маски» (5, 341), принципами организации повествования, словесной структурой текста, способами достижения композиционной целостности, интонационного единства и т. п.», утверждает, что писатель успешно решает поставленные проблемы, что это «уникальный художественный гений», создавший произведения с «глубинным духовным началом»<sup>128</sup>.

Но в минуты тревожных **сомнений** и предельной **искренности** Шаламов в записных книжках и письмах пишет и другое:

«Дальний Север <...> изуродовал и сузил мои поэтические интересы и возможности» (5, 82); «По поводу своих стихов я никогда не получил ни одного письма от ценителей и любителей — настолько это ничтожный малоценный товар» (5, 341); «Неописанная, невыполненная часть моей работы огромна. Это описание состояния, процесса — как легко человеку забыть о том, что он человек <...>. Все не описано, — да и самые лучшие Колымские рассказы — все это лишь поверхность, именно потому, что доступно описано» (5, 322, 323); «Я 20 лет жизни потратил на северные скитания. Багаж мой мал, случаен, я — недоучка, навечно, невежда. Значительность чисто случайна, о литературных достоинствах мне и думать нельзя. Но мне есть что сказать, и мне кажется, что на мир я гляжу своими глазами» (6, 219); «Север изуродовал, обеднил, сузил, обезобразил мое искусство...» (6, 361); «...пытаюсь поставить вопрос о новой прозе. Я не пишу воспоминаний и рассказов тоже не пишу. Вернее, пытаюсь написать не рассказ, а то, что было бы не литературой» (6, 400); «Я ненавижу литературу» (6, 403).

В минуты **мучительных размышлений** и реальной, критической оценки своих произведений, когда, по свидетельству И. Сиротинской, в 70-е годы он изредка говорил, видимо, имея в виду прежде всего литературную форму: «*Да что рассказы — нет в них ничего особенного*»<sup>129</sup>, — в такие минуты Шаламов записывает:

Много, слишком много сомнений испытываю я. <...> Нужна ли будет кому-либо эта **скорбная повесть**? Повесть не о духе победившем, но **о духе растоптанном**. Не утверждение жизни и веры, подобно «Запискам из Мертвого дома», но **безнадежность и распад**. <...> Мой опыт разделен миллионами людей. Не подлежит сомнению, что среди этих миллионов есть те, чей глаз зорче, и страсть сильнее, и память

<sup>127</sup> Михайлик Е. Незамеченная революция // Антропология революции. М., 2009. С. 202.

<sup>128</sup> Жаравина Л. В. «У времени на дне». С. 6.

<sup>129</sup> Сиротинская И. П. Мой друг Варлам Шаламов. С. 15.

лучше, и талант богаче. Они пишут о том же самом и, бесспорно, расскажут ярче, чем я. <...>

В человеке гораздо больше **животного**, чем кажется нам. Он много примитивнее, чем нам кажется <...> В обстановке же, когда тысячелетняя цивилизация слетает, как шелуха, и **звериное биологическое** начало выступает в полном обнажении, остатки культуры используются для реальной и грубой борьбы за жизнь в ее непосредственной, примитивной форме.

Как рассказать об этом? Как заставить понять, что мышление, чувства, действия человека просты и грубы, что его **словарь сужен**, а чувства его притуплены? <...>

Как показать, что **духовная смерть** наступает раньше физической смерти? И как показать **процесс распада** физического наряду с распадом духовным? <...>

На каком языке говорить с читателем? Если стремиться к подлинности, к правде — **язык** будет **беден, скуден**. <...> Я думал обо всем покорно, тупо. <...> я не боялся смерти и спокойно думал о ней. Больше, чем мысль о смерти, меня занимала мысль об обеде, о холоде, о тяжести работы — словом, мысль о жизни. Да и мысль ли это была? Это было какое-то инстинктивное, примитивное мышление. Как вернуть себя в это **состояние** и каким языком об этом рассказать? Обогащение языка — это обеднение рассказа в смысле фактичности, правдивости. <...> Я буду стараться дать **последовательность ощущений** — и только в этом вижу возможность сохранить правдивость изложения (4, 439—443).

Шаламов, стараясь быть предельно искренним и правдивым, рассказывает сознательно обедненным языком, без «литературных украшений», рассказывает так, как будто «узкую тропку» протаптывает «по снежной целине» («По снегу», 1956), рассказывает о духовно мертвом мире физически еще живых людей в сталинских лагерях, идущих по «смертной тропе», рассказывает об аде Колымы:

— где царствует смерть и проявляется только «второй, ночной облик мира», в котором существует «дьявольская гармония» природы, а дневной мир жизни остался «за горами, за морями», остался в прошлом и теперь кажется несчастным заключенным «каким-то сном, выдумкой», где исчезает «человеческое сознание» и возникает полное «равнодушие» ко всему, кроме еды, и человек живет только «страстным, самозабвенным ощущением, которое давала пища» («Ночью», 1954);

— где люди «дошли до последней границы, за которой уже ничего человеческого нет в человеке, а есть только недоверие, злоба и ложь», где «каждый за себя» и есть «полное безразличие <...> к любой перемене в своей судьбе», где «уменьше красть — это главная добродетель во всех ее видах» («Одиночный замер», 1955);

— где блатные после «тюремной карточной битвы» из-за свитера убивают заключенного Горюнова, а у его напарника (повествователя рассказа) это не вызывает никаких эмоций, никаких человеческих чувств, но только одну короткую мысль: «Теперь надо было искать другого партнера для пилки дров» («На представку», 1956);

— где человек существует только благодаря «великому инстинкту жизни» и понимает «самое главное, что человек стал человеком не потому, что он божье создание <...> а потому, что он был физически крепче, выносливее всех животных, а позднее потому, что заставил свое духовное начало служить началу физическому» («Дождь», 1958);

— где «все человеческие чувства» очень быстро уходят «за время продолжительного голодания» и остается только «злоба — самое долговечное человеческое чувство», где «великое равнодушие» овладевает всеми и приходит понимание того, что «правда и ложь — родные сестры», где все «были отравлены Севером навсегда» («Сухим пайком», 1959).

И эти идеи рассказов первого и лучшего цикла в книге, отражающие **ядро** всей «колымской эпопеи» (при наличии и других идей и мотивов), много раз варьируются

в рассказах последующих циклов, в которых периодически появляются разные персонажи с одинаковыми фамилиями, одни и те же реплики приписываются разным людям, сюжеты одних рассказов отрывками появляются в других, в которых автор-повествователь предстает в персонажах-двойниках (Андреев, Голубев, Крист, Сазонов), и «одни и те же события и люди подаются с разных — порой противоположных — точек зрения»<sup>130</sup>.

И тогда получается антипсихологическая **«мертвая проза»**<sup>131</sup>, бесстрастно рассказывающая о «царстве мертвых, царстве смерти»<sup>132</sup>. И тогда действительно как будто обнаруживается «художественная пропасть» (Е. Михайлик) между произведениями Шаламова (которые В. Есипов называет «великолепной прозой»<sup>133</sup>) и Солженицына, но только с противоположным знаком, пропасть между **«мертвыми»** рассказами Шаламова<sup>134</sup>, в которых за редким исключением нет живых людей со своим внутренним миром, своим прошлым и своей биографией, *«нет описаний, нет характеров, нет портретов, нет развития характеров»* (6, 314), в которых в результате разрушительного воздействия лагеря на сознание и мышление автора (рассказчика)<sup>135</sup> и героев его произведений происходит «сбой на грамматическом уровне» и «спотыкающаяся, неловкая, затрудненная речь организует столь же неуклюжее, неровное повествование»<sup>136</sup>, и **«живой прозой»** Солженицына, *«живой водой»* христианского писателя.

И эта «пропасть» подтверждается уже тем фактом, что о первом же опубликованном рассказе Солженицына, написанном «великолепным народным, просторечным языком» (С. Артамонов), рассказе, который К. Чуковский назвал «литературным чудом» и в котором дан «лагерь глазами мужика» (А. Берзер), который был воспринят как «подлинная энциклопедия жизни советского каторжного лагеря начала 50-х годов» (П. Спивковский) и появление которого «было величайшим событием социальной жизни России» (А. Белинков), в котором животному, «шаламовскому» полюсу в лице *«шакала»* Фетюкова противопоставлен идеальный, духовный полюс в образе **Алешки-баптиста** (*«...прославляй Бога за такую участь»; «Молиться надо о духовном: чтоб Господь с нашего сердца снять злую снимал <...> Ты радуйся, что ты в тюрьме! Здесь тебе есть время о душе подумать!»*), который О. Павловым осмыслен как «христианская проповедь»,

<sup>130</sup> Михайлик Е. В контексте литературы и истории // Шаламовский сборник. Вып. 2. С. 124.

<sup>131</sup> «Ко всей существующей лагерной литературе Шаламов в „Колымских рассказах“ — антипод. <...> Он пишет так, как если бы был мертвым» (Синявский А. Срез материала // Шаламовский сборник. Вып. 1. Вологда, 1994. С. 227, 228).

<sup>132</sup> Шкловский Е. А. Варлам Шаламов. М., 1991. С. 32.

<sup>133</sup> Есипов В. Шаламов. М., 2012. С. 64.

<sup>134</sup> О. Ивинская в письме к Шаламову дала им такую оценку: «...рассказы не хорошие и не плохие, они просто странные» (6, 219).

<sup>135</sup> Ср. следующие высказывания: «Его [рассказчика. — В. В.] сознание так же подвержено распаду, как и любой другой структурный или значащий элемент текста. Он существует в обстоятельствах рассказа — а потому вся исходящая от него информация является сомнительной...» (Михайлик Е. Кот, бегущий между Солженицыным и Шаламовым. С. 113); «Может быть, Шаламов единственный, кто в лагерях уничтожения возвысился до исследования себя самого, низведенного до уровня животного. Последнее, что осталось в нем, — злость. Но едва условия чуть улучшились, возникло полусознание и равнодушие, которое ему сопутствовало» (Шурмак Гр. «Наш спор — не духовный...» // Русская мысль. Париж, 1999. 9—15 сентября. С. 13); «Шаламов, вероятно, осознавал, что он — тот единственный побежденный, погибший, жертва в своем чистейшем проявлении, которая оставляет миру свое свидетельство о массовой гибели» (Апанович Ф. Система рассказчиков в «Колымских рассказах» Варлама Шаламова // Варлам Шаламов в контексте мировой литературы и советской истории. С. 231).

<sup>136</sup> Михайлик Е. В контексте литературы и истории. С. 109.

как «христианское послание миру», как «молитва о русском человеке»<sup>137</sup>, об этом рассказе вышло уже четыре книги статей критиков и литературоведов<sup>138</sup>.

«Новую прозу» с теми задачами, которые сформулировал Шаламов, в определенной степени создал именно Солженицын. Это не только его «художественные исследования», две эпопеи — «Архипелаг ГУЛАГ» и «Красное колесо» (где, по словам П. Фокина, «художественное исследование располагается на стыке науки и литературы»<sup>139</sup>), а сам жанр предполагает возможность вариативного прочтения этих произведений разными категориями читателей — чтения выборочных страниц и глав, раскрывающих отдельные сюжетные линии), — в первой из которых автор предстает и «летописцем собственной души», и летописцем истории лагерной системы, а во второй — истории Февральской революции, но и, казалось бы, чисто художественная проза (рассказы, повесть «Раковый корпус» и роман «В круге первом»), где автор органично соединяет документальное и художественное, реальные события и ситуации с художественным вымыслом, когда в литературных героях легко угадываются реальные лица. Художественное творчество Солженицына является, по словам И. Виноградова, «почти документальным свидетельством о жизни», и «установка на свидетельскую достоверность рассказанного <...> поистине господствует в художественных изображениях Солженицына»<sup>140</sup>

В «Колымских рассказах» Шаламов, в отличие от Лермонтова, Толстого, Достоевского, Солженицына, не исследует внутренний процесс борьбы между добром и злом в душе человека, а только дает фрагментарное изображение отдельных состояний души в «нечеловеческих условиях», показывает множественные проявления зла в поступках своих героев и очень редкие проявления человеческого, нравственного, доброго.

Например, в рассказе «**Тифозный карантин**» (1959), которым заканчивается первый цикл, автор рассказывает о том, как в тайге, на золотых приисках человек неизбежно становится «живым товаром», «бесправным рабом», быстро превращающимся в «арестантский шлак», в живого мертвеца, как человек выживает только благодаря «звериной хитрости» и «звериному инстинкту», как, кроме «равнодушной злобы», ничего не остается в его душе и внезапная смерть оказывается только «благодетельной случайностью». Сначала кажется, что и Андреев, главный герой рассказа, «был представителем мертвецов». Но нет. Его душа была еще живой, и он многое хорошо понимал:

Именно здесь он понял, что не имеет страха и жизнью не дорожит. Понял и то, что он испытан великой пробой и остался в живых. Что страшный приисковый опыт суждено ему применить для своей пользы. Он понял, что, как ни мизерны возможности выбора, свободной воли арестанта, они все же есть; эти возможности — реальность, они могут спасти жизнь при случае. <...>

Именно здесь, на этих циклопических нарах, понял Андреев, что он кое-что стоит, что он может уважать себя. Вот он здесь еще живой и никого не предал и не продал ни на следствии и в лагере.

<sup>137</sup> Павлов О. Революция Солженицына: «Один день Ивана Денисовича» как христианское послание миру // Международная научная конференция «„Ивану Денисовичу“ — полвека». М., 2013. С. 220—224.

<sup>138</sup> «Один день Ивана Денисовича» А. И. Солженицына: Художественный мир. Поэтика. Культурный контекст. Благовещенск, 2003; «Ивану Денисовичу» полвека: Юбилейный сборник (1962—2012). М., 2012; «Дорогой Иван Денисович!..»: Письма читателей: 1962—1964. М., 2012; Международная научная конференция «„Ивану Денисовичу“ — полвека». М., 2013.

<sup>139</sup> Фокин П. Александр Солженицын. Искусство вне игры // Между двумя юбилеями. С. 522.

<sup>140</sup> Виноградов И. И. Солженицын-художник (1993) // Виноградов И. И. Духовные искания русской литературы. М., 2005. С. 650.

<...> что-то сильнее смерти не давало ему умереть. Любовь? Злоба? Нет. Человек живет в силу тех же самых причин, почему живет дерево, камень, собака. Вот это понял, и не только понял, а почувствовал хорошо Андреев именно здесь, на городской транзитке, во время тифозного карантина.

Благодаря природному инстинкту жизни Андреев выживает, спасается в этом «*тифозном карантине*»: «*Это был грозовой молниенный свет, указавший дорогу к спасению*». Андреев (за которым стоит автор) почувствовал себя частью природы, может быть, благодаря и поэтическому дару. И он не просто выжил:

На всю свою жизнь запомнил Андреев эту рыженькую Лидию Ивановну, тысячу раз благословлял ее, вспоминая всегда с нежностью и теплотой. За что? За то, что она подчеркнула слово *они* в этой фразе, единственной, которую Андреев слышал от нее. За доброе слово, сказанное вовремя. Дошли ли до нее эти благословения?

Наверное, благодаря именно таким рассказам Ф. Вигдорова имела право в письме к Шаламову, которое распространялось в самиздате, сказать:

Я прочитала ваши рассказы. Они самые жестокие из всех, что мне приходилось читать. Самые горькие и беспощадные. Там люди без прошлого, без биографии, без воспоминаний. Там говорится, что беда не объединяет людей. Что там человек думает только о себе, о том, чтобы выжить. Но почему же закрываешь рукопись с верой в честь, добро, человеческое достоинство? Это таинственно, я этого объяснить не могу, я не знаю, как это получается. Но это — так<sup>141</sup>.

При чтении «**Колымских рассказов**» как будто обнаруживаются в композиции всего цикла определенные закономерности, требующие проверки и подтверждения, для чего необходимо отдельное исследование:

соотношение «добра» и «зла» в каждом из пяти циклов последовательно меняется в сторону увеличения зла, причем в «Очерках преступного мира» существует только зло и беспросветная тьма, поэтому логичнее было бы расположить этот цикл в конце книги;

количественное соотношение разных жанров — рассказ, очерковый рассказ и очерк<sup>142</sup> — от цикла к циклу неуклонно меняется в сторону увеличения очерков (что уже отмечено многими исследователями); соответственно меняется и соотношение художественного вымысла и документальной достоверности (а это уже серьезная проблема для современных шаламоведов);

«средний» художественный уровень произведений в каждом цикле постепенно снижается при увеличении среднего объема одного текста<sup>143</sup>, и связано это, видимо, с обострением болезней автора (болезни тела, души и сознания).

<sup>141</sup> Геллер М. Последняя надежда // Шаламовский сборник. Вып. 1. С. 221.

<sup>142</sup> Многие исследователи основным жанром «лагерной эпопеи» Шаламова считают новеллу, что нам представляется неубедительным. Например, И. Сухих утверждает: «Новелла — жанровая доминанта «новой прозы», эстетическое ядро „Колымских рассказов“. В. Шаламова можно назвать одним из самых значительных русских новеллистов XX века» (Сухих И. Н. Структура и смысл: Теория литературы для всех. СПб., 2016. С. 504).

<sup>143</sup> Уточним: по нашим подсчетам, средний объем одного текста в цикле «Колымские рассказы» — 5 с., «Левый берег» — 6,6 с., «Артист лопаты» — 8 с., «Воскрешение лиственницы» — 5,3 с., «Перчатка, или КР-2» — 8 с. По мнению Вяч. Вс. Иванова, «лучшие его рассказы не больше страницы-двух. Но это не миниатюры, а куски кровотокающей действительности» (Иванов Вяч. Вс. Авва-

Подводя определенные итоги осмысления основных расхождений между Солженицыным и Шаламовым и выстраивая необходимую иерархию, можно говорить о существенных различиях этих писателей на разных уровнях человеческого бытия:

– религиозно-духовном (религиозное, христианское мировоззрение одного и атеистическое, пессимистическое – другого, что предопределяет противоположное решение проблемы добра и зла в человеке и в мире, проблемы смысла жизни);

– философско-идеологическом уровне сознания (с одной стороны, страстное обличение коммунистической идеологии, с другой – верность идеалам революции и симпатия к революционерам-террористам; разные взгляды на русскую и советскую историю);

– нравственно-психологическом уровне состояния души (например, утверждения о принципиально разном влиянии тюрьмы и лагеря на человека; разное отношение к родителям, к семье и детям);

– социальном уровне (в частности, противоположное отношение к интеллигенции и крестьянству, к физическому труду);

– эстетическом уровне (разное отношение к искусству и литературе, к русскому языку и фольклору, к словарю Владимира Даля, к использованию иностранных слов в русском языке; разные художественные методы в творчестве и существенные отличия в поэтике, в стиле).

Символом художественного слова Шаламова является мертвое слово «сентенция», которое вдруг пришло «из глубины мозга» после целого ряда вернувшихся чувств – равнодушие, страх, зависть («любовь не вернулась ко мне») – как будто воскресшего героя (до этого сохранившего только злобу) в рассказе «Сентенция» (1965), которым заканчивается цикл «Левый берег»:

Я прокричал это слово, встав на нары, обращаясь к небу, к бесконечности:

– Сентенция! Сентенция!

И захохотал.

– Сентенция! – орал я прямо в северное небо, в двойную зарю, орал, еще не понимая значения этого родившегося во мне слова. А если это слово возвратилось, обретено вновь – тем лучше, тем лучше! Великая радость переполняла мое существо.

Но это не Божье, не библейское слово. Оно из словаря в массе своей атеистической интеллигенции и, вопреки утверждению Л. Жаравиной, не является «молитвенным словом», «символом восстановления личности»<sup>144</sup>, ибо в художественном мире Шаламова, по словам самого писателя, «возвращение к жизни безнадежно и не отличается от смерти» (6, 491). В «Колымских рассказах» читатель найдет много разных и часто беспощадных к человеку «сентенций», а одна из главных озвучена в рассказе «Дождь» (1958): «*Слушайте, – кричал он, слушайте! Я долго думал! И понял, что смысла жизни нет... Нет...*»

А **живое слово** Солженицына звучит как колокол Углича из блистательных «Крохоток», написанных в конце 90-х годов:

И какой же дивный гул возникает в храме, сколь многозначно это слитие глубоких тонов, из старины – к нам, неразумно поспешливым и замутненным душам <...>

кумова доля // Избр. труды по семиотике и истории литературы. Т. III. Статьи о русской литературе. М., 2000. С. 743).

<sup>144</sup> Жаравина Л. В. «У времени на дне». С. 13. А в восприятии Е. Волковой этот рассказ является «гимном памяти, слову, жизни» (Волкова Е. Цельность и вариативность книг-циклов // Шаламовский сборник. Вып. 2. С. 143).



Те раскатные колокольные удары — клич великой Беды — и предвестили Смуту Первую. Досталось и мне, вот, сейчас ударить в страдальный колокол — где-то в дле-нии, в тлении Смуты Третьей. И как избавиться от сравненья: провидческая тревога народная — лишь досадная помеха трону и непробивной боярщине, что четыреста лет назад, что теперь (1, 559).

И в заключение отметим, что подобно тому как в русских народных сказках для воскресения главного героя необходимы мертвая и живая вода, так и современному читателю для необходимых очистительных страданий, для раскаяния и христианского смирения, для преобразования собственной души необходимы и «**мертвая проза**» Шаламова, с ее жестокой правдой о превращении в аду колымских лагерей человека в животное, в зверя (исключение — «*религиозники*»), и «**живая проза**» Солженицына, сохраняющая в душе человека веру, надежду, любовь и несущая свет божественной Истины, художественное и публицистическое слово великого христианского писателя<sup>145</sup>, слово, противостоящее деградации и вырождению человека в современном мире. Как отметил В. Распутин, «он так много сказал, и так хорошо, точно сказал, что теперь только слушать, внимать, понимать»<sup>146</sup>.

<sup>145</sup> «Духовный центр личности Солженицына, обеспечивающий столь очевидное и мощное единство его жизненной и творческой судьбы, лежит, несомненно, в области его религиозного мироощущения, миропонимания и самосознания» (Виноградов И. И. Указ. соч. С. 645).

<sup>146</sup> Распутин В. Г. Неустанный ревнитель // Солженицынские тетради: Материалы и исследования. Вып. 5. М., 2016. С. 266.

---

---

Андрей КРАСНОВ

# ИЗ НЕИЗВЕСТНОЙ ИСТОРИИ КРАСНОГО СЕЛА (Как была обретена красносельская святыня)

*Бывшая императорская военная резиденция Красное Село и его окрестности имеют богатейшую и интереснейшую историю, не менее значительную, чем у других императорских резиденций близ Петербурга. Однако в силу ряда субъективных причин эта история, к сожалению, до сих пор была очень мало исследована. Образно говоря, опубликованные сведения представляли собой лишь верхушку айсберга, основная масса которого скрыта в морской бездне. Более того, многие из известных сведений искажены и обросли мифами, затмевающими истину. Открыть подводную часть айсберга и очистить его верхушку — решение этих задач необходимо. Первым шагом на данном пути может стать готовящаяся к изданию книга «Неизвестная история Красного Села и его окрестностей (маневры, достопримечательности, выдающиеся люди)». Ее материал основан только на документах, ранее неизвестных. Предлагаем вашему вниманию один из фрагментов книги — об истории обретения красносельской святыни, Явленного Образа.*

В 1800 году Красное Село обрело свою святыню — чудотворную икону с изображением Святого Симеона Богоприимца, держащего на руках младенца Иисуса Христа. Явленный Образ, как его называли, был помещен в Троицкую церковь Красного Села, затем находился в Александро-Невской церкви, а в 2016 году был перенесен в новую церковь, построенную на месте его явления, — в церковь Чудотворной иконы Святого Симеона Богоприимца. «К иконе этой <...> не охладело благоговейное усердие и не оскудело число притекающих православных христиан с верою и надеждою получить от нея какое либо исцеление или утешение»<sup>1</sup>.

Приведенные в исторической литературе сведения об истории обретения красносельской святыни являются краткими, далеко не полными и содержащими ошибки. Литературные сведения о Явленном Образе содержатся в следующих трех источниках: 1) Публикация приказа Павла I в «Русской старине» 1882 года издания; 2) Статья А. Румянцева в сборнике 1884 года; 3) Книга П. Дмитриева 1908 года. Сообщения всех про-

---

Андрей Александрович Краснов — петербургский исследователь. Опубликовал более 30 научных статей по истории и культуре Петербурга, Петербургской и Выборгской губерний, автор книги «Кутузов в Выборге (по неизвестным ранее письмам полководца)» (СПб.: «Журнал “Нева”», 2015).

<sup>1</sup> Дмитриев Петр, диакон. Очерк Красносельской Троицкой церкви и ея прихода ко дню 175-летнего юбилея. СПб., 1908. С.15.

чих историков позаимствованы из работ А. Румянцева и П. Дмитриева, без добавления чего-либо нового; никто после 1908 года не обращался к архивным данным.

Начнем с критического обзора исторической литературы. В журнале «Русская старина» 1882 года (том 33, январь) опубликованы некоторые повеления и указы императора Павла I; один из них — от 15 мая 1800 года. В тот день из Павловска к военному губернатору Петербурга П. А. Палену был направлен приказ от Государя. Написанный на немецком языке, он в переводе на русский язык имел такое содержание:

Господин генерал от кавалерии фон-дер-Пален. Из донесения одного чиновника императрице я узнал о следующем происшествии в Красном Селе. В одном месте там провалилась земля и вскоре образовавшееся отверстие наполнилось водою; это привлекло множество народу, не только живущаго в этой местности, но также из Гатчино и С.-Петербурга; который вечером разошелся, а на следующий день снова собрался, при этом на воде оказался плавающий образ, который и был отнесен народом в церковь в Красном Селе. Обо всем этом приказываю вам собрать подробныя сведения, и не теряя времени с умом принять соответственныя меры и обо всем мне донести. К вам благосклонный

Павел.  
15 Мая 1800 года.  
Павловск<sup>2</sup>.

Таким образом, 15 мая 1800 года Павел I не принимал решения относительно Образа, а только приказывал Палену собрать сведения, принять надлежащие меры и донести. Однако в публикациях по истории красносельской Троицкой церкви А. Румянцева и П. Дмитриева утверждается иное. В статье А. Румянцева 1884 года говорится: «Икона св. Симеона Богоприимца с Предвечным младенцем, поступившая сюда по повелению Императора Павла I, данному 15 мая 1800 года генералу от кавалерии фон-дер-Палену (см. Русская Старина, 1881 г., январь, стр. 193)»<sup>3</sup>. Автор статьи 1884 года удивительно невнимательно прочитал помещенный в «Русской старине» приказ и сильно исказил его смысл.

В книге П. Дмитриева 1908 года издания читаем: «Из надписи, учиненной на левой стороне сего образа видно, что онный поступил в церковь 15 мая 1800 года, по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелению ИМПЕРАТОРА ПАВЛА I, данному Генерал от Кавалерии фон-дер-ПАЛЕНУ (см. Русская Старина 1881 г. Январь, стр. 193)»<sup>4</sup>. П. Дмитриев переписал ошибку своего предшественника, даже вместе с опечаткой (1881 год, а должно быть 1882 год), из чего следует, что он не удосужился посмотреть первоисточник — «Русскую старину» 1882 года. Дмитриев упоминает, впрочем, и о некой «надписи, учиненной на левой стороне сего образа», почему-то сославшись тут же на «Русскую старину», которую не читал. Если надпись на стороне Образа содержала то же, что и в статье Румянцева, то это значит, что надпись была сделана по прочтении статьи 1884 года кем-то из служителей Троицкой церкви. Отметим и курьез: фамилия «Пален» набрана в книге 1908 года издания прописными буквами, использовавшимися только при наборе имен царствующих особ.

Все последующие историки, как и П. Дмитриев, и не подумали обратиться к первоисточнику и один за другим штамповали ошибку 1884 года — о том, что ико-

<sup>2</sup> Император Павел Петрович. 1800—1801. Высочайшия повеления и указы с.-петербургским военным губернаторам // Русская Старина. Т. XXXIII. 1882. Январь. С. 193.

<sup>3</sup> Румянцев Александр, свящ. Троицкая церковь в Красном Селе // Историко-статистические сведения о Санкт-Петербургской епархии. Выпуск осьмой. СПб., 1884. С. 414.

<sup>4</sup> Дмитриев Петр. Указ. соч. С. 13.

на поступила в храм 15 мая 1800 года якобы по повелению Павла I, данному Палену<sup>5</sup>. А ведь когда речь идет об истории одной из православных святынь, то такие огрехи недопустимы...

П. Дмитриев в своей книге далее, после фразы об «учиненной надписи», сообщает следующее: «В архиве церкви точных данных о сем образе не имеется; но частным образом и по некоторым бумагам известно, что образ сей найден был 11 Мая 1800 года в 7 час. утра на правой стороне дороги, выезжая из Павловской слободы в С.-Петербург, вблизи оной слободы, у подошвы бугра, на пашне крестьянина Василия Кислякова, где тогда земля, поднявшись на сажень, вследствие сильного напора ключа воды, разметалась весьма большими глыбами по сторонам, образовала большую и глубокую водоемину. В этой то водоемине и был найден этот образ.

Народ, увидев в воде образ, принял это за особое к ним от Бога милосердие и об этом дал знать местному приходскому духовенству, которое без спроса и ведома Епархиального Начальства, взяло образ и с торжественным крестным ходом, при многочисленном стечении всего прихода, водворило в церковь. Разумеется, по действующим законоположениям и по резолюции Митрополита Амвросия, священники лишены были мест и запрещены в священнослужении, а церковь и приход поручены другим; но так как эти священники находились в имении ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ ФЕОДОРОВНЫ, то Консистория от 16 Мая 1800 года за № 1285, предлагала на обсуждение ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ чрез Павловское Городовое Правление „где по сему делу попы следованны и судимы быть должны и о принятии мер к прекращению злоупотребления и разглашения об образе“. На это правление тогда же уведомило Консисторию, что требование оной всеподданнейше доложено было ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ и по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелению образ приказано оставить в Красносельской церкви, а о прочем ответствие Консистория получит от г. Генерал-Прокурора. В чем состояло это ответствие неизвестно, также как и кто именно были тогда Священники, сведений в церковном архиве нет»<sup>6</sup>.

П. Дмитриев не заметил противоречия между двумя собственными сообщениями — о том, что Образ «водворило в церковь» местное духовенство 11 мая или на следующий день, и о том, что «онный поступил в церковь 15 мая... по... повелению... ПАВЛА I». Фраза «священники лишены были мест и запрещены в священнослужении» начинается с вводного слова «разумеется», то есть подразумевается, предполагается в мыслях, оставаясь невысказанным. Дмитриев так решил на основании документа с запросом Консистории от 16 мая: «где по сему делу попы следованны и судимы быть должны», хотя ниже написал, что на этот запрос «ответствие неизвестно, также как и кто именно были тогда Священники». Следовательно, то, что он счел «разумеющимся», таковым не является.

<sup>5</sup> Пыляев М. И. Забытое прошлое окрестностей Петербурга. СПб., 1996. С. 352 (текст из первого, 1889 года, издания). С. 459 (текст из газетной публикации 1898 года). Максинков Т. Красносельский Свято-Троицкий храм // Русский паломник. Т. XXIII. СПб., 1908. № 50. С. 810. Юркова З. В. Архитектурно-ландшафтный анализ планировки ансамбля Красного Села и Дудергофа // Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга. Исследования и материалы. Выпуск 4. СПб., 1997. С. 188. Юркова З. В. Архитектурно-ландшафтный анализ планировки ансамбля Красного Села и Дудергофа // Очерки истории Красного Села и Дудергофа. СПб., 2007. С. 52. Берташ А. В. Соборная церковь Пресвятой Троицы в Красном Селе // Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга. Исследования и материалы. Выпуск 5. СПб., 2000. С. 83. Берташ А. В. Троицы Пресвятой церкви (Красное Село) // Три века Санкт-Петербурга. Т. I. Осьмнадцатое столетие. Книга вторая. Н-Я. СПб., 2001. С. 427; 2-е изд., испр. СПб.-М., 2003. С. 427. Берташ А. В., свящ. Действующие храмы Красного Села // Очерки истории Красного Села и Дудергофа. СПб., 2007. С. 175.

<sup>6</sup> Дмитриев П. Указ. соч. С. 13–14.

В 2006 году, почти через сто лет после выхода в свет книги Дмитриева, один из публицистов назвал эту книгу «документом, недостаточно обследованным», но «обследовать», то есть провести проверку, не попытался. По его словам, «начальство, как водится, обиделось, наказало священников и собиралось сделать то же с иконой»<sup>7</sup>.

Завершив критический обзор литературы, расскажем, по архивным документам, «в чем состояло ответствие» генерал-прокурора, неизвестное П. Дмитриеву, были ли «наказаны» тогдашние красносельские священники и «кто именно» они были (архивные сведения, ранее не публиковавшиеся, выделены в дальнейшем тексте курсивом).

20 мая 1800 года генерал-прокурор П. Х. Обольянинов отправил петербургскому архиепископу (которого П. Дмитриев неверно назвал «митрополитом») вышеупомянутое «ответствие». Сохранился его черновик со множеством исправлений (зачеркнутых слов). Вот текст этого черновика:

*Павловское городовое правление уведомило меня, что консистория вашего преосвя  
Сп: бургская дошло до сведения моего сообщила ему, что послушаю найденного павловскими крестьянами близ слободы образа сретения Господня, ваше Преосвященство изволите положить на Церковно-служителей Софийскаго уезда церкви живоначальныя Троицы, что в селе красном, запрещение в служении зато, что они образ сей вынуд из источника, с освященником воды оный и отнесли в церковь молебны, требует уведомления, где судимы они быть должны. Я быв известен о самых обстоятельствах где происшествия сего, долгом моим поставляю сообщить вашему преосвященству, что оно уже сделалось сведомым Ея величеству Государыне Императрице и от Ея величества донесено и Государю Императору, соизволившему принять сие с благоволением; а потому засим кажется и немогут церковно служители подвергнуты быть ни суду ни запрещению, но в прочем все сие тем более что по учиненному на месте следствию ни умысла предоставляю благоусмотрению ваш преосв с их стороны, ни необыкновенных церемоний при взятии образа, кроме водоосвящения не было. Что ж касается до того где по делу сему быть следованы и быть кому оные могут подсудимы, то должны в. в. известно, что насие отзываются тем, что по делам духовным все духовенство в росии церковным, без посредственно подлежит ведается в Синоде и консисториях они суду Епархиальной консистории, а по светским подвержены отчету городского Правления мирским и земским в гражданских правительствах. В красном же селе ведомы они по сей части Павловскому городовому правлению в непосредственном управлении Ея И. величества состоящему.*

*Павловск.*

*Маия 20 1800*

*Его высокопр. Архиепископу Амвросию.*

Следовательно, утверждение П. Дмитриева о том, что «священники лишены были мест и запрещены в священнослужении, а церковь и приход поручены другим», является неверным. Амвросий лишь предполагал так поступить, но не сделал этого, а обратился с запросом к императрице Марии Федоровне. Павловская слобода, возле которой был найден Образ, входила в состав Красного Села, принадлежавшего императрице и находившегося в ведении правления города Павловска. Поэтому запрос был послан через Павловское городовое правление. Мария Федоровна сообщила о случившемся Павлу I, а тот велел Палену провести расследование. Узнав результаты расследования, император «принял с благоволением» помещение Образа в церковь.

Заметим, что Государь Павел был глубоко религиозным человеком. Так, за два года до события в Красном Селе, 9 июня 1798 года, Императорская фамилия, прибывшая к этому дню в Тихвин, участвовала в перенесении знаменитой чудотворной Тихвин-

<sup>7</sup> Гужиева Н. В. Церкви Красного Села и Дудергофа. Красное Село, 2006. С. 27.

ской иконы Божьей Матери из одного храма в другой. Тихвинскую икону несли Павел Петрович и его старший сын Александр Павлович. Рядом с ними шли Мария Федоровна и Константин Павлович. Явление нового чудотворного образа в имении его супруги глубоко взволновало Павла. Но сначала он, что совершенно правильно, велел «собрать подробныя сведения» и ему «обо всем донести».

Оценить же законность действий священников надлежало генерал-прокурору. П. Х. Оболянинов счел, что «*кажется и не могут церковно служители подвергнуты быть ни суду ни запрещению*», о чем и уведомил Амвросия.

На следующий день, 21 мая, Амвросий послал Оболянинову ответное письмо:

*Высокопревосходительный Господин!  
Милостивый государь мой!*

*На отношение вашего высокопревосходительства от 20<sup>го</sup> числа сего мая, последовавшее по поводу сообщения от Санктпетербургской Консистории в Павловское Городовое правление, имею честь уведомить, что священники Села Краснаго послучаю зделанной ими церемонии с найденным близ онаго образом по силе законов подлежали суду и запрещению, есть либ при следствии оказались виновными в умысле ложно очудотворить оный; но когда уже ваше высокопревосходительство, быв известны о самых обстоятельствах происшествия сего, уведомляете меня, что оно уже зделалось сведомым ГОСУДАРЫНЕ ИМПЕРАТРИЦЕ и от ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА донесено ГОСУДА-РЮ ИМПЕРАТОРУ соизволившему принять сие с благоволением; потому те с<вя>щенники, как еще суду и запрещению яко необследованные подвергнуты небыли, так яко уже по учиненному на месте следствию в умысле с их стороны виновными непризнанные, более ничем судимы небудут. О чем известя ваше высокопревосходительство с совершенным высокопочитанием честь имею быть:*

*вашего высокопревосходительства  
Милостиваго Государя моего  
Всепокорный слуга  
Амвросий Архиеп<ис>к<о>n С.пбургский*

*№ 119<sup>я</sup>.*

*Маия 21<sup>го</sup> дня  
1800 года*

*Его высокопревосх<sup>ств</sup> Г<sup>вх</sup> Генералу  
Прокурору и кавалеру Оболянинову.*

В данном письме Амвросий сообщает о том, что «*те священники... еще суду и запрещению... подвергнуты небыли... судимы небудут*». Теперь уже окончательно можно сказать, что их не «наказали» и оставили служить в красносельской Троицкой церкви.

Перенесение иконы от места ее явления с крестным ходом в церковь не стало считаться самовольным поступком и нарушением церковных правил. Примечательна в связи с этим фраза из одного из рапортов управляющего Красносельской вотчиной императрицы Федора Алопеуса: «*...в селениях оной [вотчины] в истекшем мае мце [1800 г.] ничего особаго внимания достойнаго не случилось, порядок и тишина везде наблюдается...*» Странно, что управляющий не счел «*достойным внимания*» явление Образа; по видимому, он написал так потому, что обычно рапортовал о пожарах, прибытии воинских команд и других событиях, расстраивавших обычный порядок. Поскольку же перенесение иконы было принято императором «*с благоволением*», то управляющий не стал включать сообщение об Образе среди отчетов о том, что нарушало «*порядок и тишину*».

А священнослужители, заслуга которых состоит в том, что они обрели (а может быть, и спасли) красносельскую святыню, должны войти в историю Русской православной церкви. Назовем их имена: старший священник Стефан Феодоров, младший

священник Николай Яковлев и дьякон Яков Иванов. В таком составе они (все трое) служили в красносельской Троицкой церкви в 1798–1801 годах. В 1801 году о всех троих была сделана такая запись:

*По формулярной за 1800<sup>и</sup> год ведомости показаны: священники Стефан Федоров 78<sup>и</sup> Николай Яковлев 37<sup>и</sup> диакон Яков Иванов 37<sup>и</sup> лет, в чтении искусны, к чтению полученных способны, катихизис таинства и обязательства знают, по ноте петь умеют, состояния доброго. Учились в семинарии Стефан риторике, Николай философии, а дьякон поэзии природою. Священник Стефан священнической сын находился при церкви Села красного дьячком и дьяконом, а в 1759<sup>и</sup> году по выбору прихожан произведен во священника. Священник Николай священнической же сын находился диаконом в Воцком погосте в селе Александрове и города Софии в Софийском соборе, в 1794<sup>и</sup> посщен во священника в Воцкой погост, а из онаго в село Красное переведен он Яковлев в 798<sup>и</sup> году Июля 3 дня по Высочайшему Ея Императорскаго Величества на представление покойнаго преосвященнаго митрополита [Гавриила] соизволению. Диакон Яков диаконом сын находился в Боровицком Духове мнтре псаломщиком, в 1786<sup>и</sup> посщен в город что ныне село Рожествено во диакона, а в 790<sup>и</sup> году определен в село Красное. В семействе имеют как по исповедной за 1800<sup>и</sup> год росписи показано: священник Стефан жену, священник Николай жену и детей Симеона 4<sup>и</sup> Татьяну 5<sup>и</sup> Веру 2<sup>и</sup> лет Марью 1<sup>ю</sup> года, диакон жену дочерей Марью 4<sup>и</sup> Параскеву 2<sup>и</sup> лет.*

Теперь расскажем о каждом из троих священнослужителей в отдельности.

Стефан Феодоров родился в семье священника, учился в Духовной семинарии (специализируясь на риторике), после чего стал служить в красносельской Троицкой церкви сначала дьячком, потом дьяконом. Точные даты его рождения и начала службы в Красном Селе назвать нельзя, ибо имеющиеся сведения противоречивы. По формуляру 1800 года, ему было 78 лет, то есть он родился в 1722 году. Но в 1799 году Феодоров писал о себе, что «*проступил*» за 70 лет, а в Красном Селе находится 50 лет, то есть ему было немногим более 70 лет, а с 1749 года он служил в Троицкой церкви. Видимо, 70 и 50 — это округленное число лет. В 1805 году Феодоров был более точен, упомянув о «*54-х летней моей приздешной цер<к>ви службе*», то есть с 1751 года. Наиболее вероятно, что он родился около 1728 года, а в возрасте 23 лет стал дьячком в Красном Селе (в 1751 году).

В 1759 году Феодоров «*по выбору прихожан произведен во священника*». В этом сане он служил в Троицкой церкви не менее 49 лет, так как в 1808 году еще был жив и оставался тамошним священником.

В 1800 году Феодоров проживал вдвоем с женой; о его детях в росписи того года не говорилось. Но в сентябре 1805 года он не упоминал о жене (видимо, она скончалась между 1800 и 1805 годами), а писал, что проживает вместе с дочерью и тремя внуками: «*Имею присебе подвух кратном нещастном замужестве овдовешую стремя малолетными детми родную мою дочь попоследнем муже титулярную советницу Елизавету Черскую в весма бедном состоянии*».

С 1763 года Феодоров жил в доме «*в Братошинской слободе против церкви*», но к 1805 году дом этот «*пришел в весма ветхое положение*». Престарелый священник обратился тогда к красносельским властям: «*вместо котораго [дома] и вознамерился я выстроить вновь другой идабы ипосмерти моей упомянутая дочь моя смалолетними ея детми могла во оном безкакого либо притеснения иметь жительство и садом пользоваться*». Разрешение на постройку было дано, и к октябрю 1807 года новый дом построен. 23 декабря 1807 года императрица Мария Федоровна дала согласие на владение им дочерью священника после его смерти.

Вместе со Стефаном Феодоровым в течение одиннадцати лет служил дьякон Яков Иванов. Он родился в 1763 году в семье дьякона, учился в семинарии (его специализа-

ция — поэзия) и начал службу псаломщиком в Свято-Духовом монастыре близ города Боровичи Новгородской губернии. С 1786 года он служил дьяконом в Рождестве Петербургской губернии, а с 1790-го по 1801 год — в Красном Селе. В 1798 году тяжело заболел (и в том же году скончался) второй красносельский священник Василий Петров. Местное начальство полагало назначить на его место Иванова, *«которой в его сане тринадцатой год находится беспорочно <...> прихожане ж его дьякона принять восвященники желают»*. Однако по резолюции митрополита Гавриила на смену Петрову определили не Иванова, а священника Николая Яковлева из Новгородского уезда. По-видимому, с того времени у Иванова и возникла неприязнь к Яковлеву, приведшая к конфликту между ними прямо в церкви 3 августа 1801 года. После этого инцидента оба они (в ноябре 1801 года) были переведены из Красного Села в другие места. Иванова назначили во Введенскую церковь на Петербургской стороне Санкт-Петербурга. В феврале 1811 года Иванов служил во Введенской церкви уже в сане священника, а также являлся депутатом.

В 1800 году семья Иванова состояла из его жены и двух дочерей — четырехлетней Марьи и двухлетней Параскевы. В Красном Селе дьякон Яков проживал в собственном доме рядом с Троицкой церковью, с ее северной стороны.

Наконец — о Николае Яковлеве. Он, как и Иванов, родился в 1763 году, но в семье не дьякона, а священника. В семинарии Яковлев особо занимался философией. По окончании учения он служил дьяконом в селе Александрове Воцкого погоста Новгородского уезда, а затем — в Софийском соборе города Софии Петербургской губернии. В 1794 году снова вернулся в Воцкий погост, но уже в сане священника. 3 июля 1798 года по резолюции митрополита Гавриила был, как уже говорилось, определен в красносельскую Троицкую церковь.

Через год, в июле 1799 г., Красносельской вотчины староста Иван Митрофанов и *«прочие старшины и приходские люди»* письменно отозвались, что священником Яковлевым *«мы нижеподписавшиеся прихожане весьма довольны»*. Новый священник сумел расположить к себе крестьян — прихожан церкви, но вызывал недовольство у других священнослужителей — старшего священника Стефана Феодорова и дьякона Якова Иванова, а также и у управляющего Красным Селом Федора Алопеуса. Иванов, как мы уже отмечали, по-видимому, изначально невзлюбил Яковлева, а других раздражали его беспокойный характер и претензии на приобретение в Красном Селе собственного дома. 3 августа 1801 г. в самой Троицкой церкви произошел конфликт между Яковлевым и Ивановым.

Управитель Федор Алопеус *«описывает происшествие сие следующим образом, что диакон Иванов пришед пред всенощным в церковь увидел священника Николая служащего посреди церкви у образа мирские молебны, вошел в олтарь и надев стихарь вышел священнику на помощь. Но сей неприличным для церкви образом с огорчением спрашивал, как он осмелился без благословения оной надеть? жалуясь притом народу что во вред своего здравия служит всегда один...»*

А вот как рассказал о произошедшем сам Яковлев: *«...августа 3 числа не пред всенощным бдением, а после вечерни подлинно он Яковлев пришедшим богомольцам молебны служил не посреди церкви, а у праваго крылоса, где образ стоит святого Симеона богоприимца. И во время начатия второго молебна диакон пришедши в церковь и взошед в олтарь надел на себя стихарь и вышел к нему священнику на помощь. Которому диакону сказал он священник со всякою благопристойностию, что он не меняет его в служении, чрез что он священник лишается здоровья и притом выговорил, что не следовало бы ему диакону стихаря надевать без благословения священническаго. На что диакон с великим озартом вскричал ему священнику, что ты своим благословением то мне зубы разбил. Что слышал и псаломщик Артемий Антонов. Озартным же и неприличным образом для*



церкви божией на него диакона как прописано в его показании он священник не кричал и народу, что якобы он диакон занимается торгами не говорил...» Иванов в своем показании оправдывался тем, что «он взял уже благословение у другого священника...»

Такая неприличная для храма сцена разыгралась «у праваго крылоса, где образ *стоит святого Симеона богоприимца*»... За год до того священнослужители Николай и Яков с благоговением несли Образ Симеона в храм, возглавляя крестный ход. Повторим, что в этом их заслуга перед Русской православной церковью. Они заслужили о себе добрую память. И не так важно, что ими порой овладевали не подобающие их сану страсти. Об исторических личностях (а данных священнослужителей теперь можно считать таковыми) нужно судить в первую очередь по тому, какой они оставили след в истории...

Высшее духовенство правильно рассудило, что оба участника конфликта не должны оставаться в Красном Селе. В ноябре 1801 года Санкт-Петербургская духовная консистория решила перевести Яковлева «на имеющуюся при Шлюссельбургском соборе *священническую ваканцию*». Но вскоре, не позже мая 1802 года, Яковлев получил место не в Шлиссельбурге, а в Рыбачьей слободе на левом берегу Невы. Там он стал священником в церкви Покрова и оставался им еще в 1805 году.

В Красном Селе священник Николай более полутора лет «скитался по наемным квартирам», пока не купил дом у вдовы умершего священника Василия Петрова, сына Краснопевкова. В доме этом ему довелось прожить лишь несколько месяцев.

В 1800 году у Яковлева и его жены было четверо детей: сын — четырехлетний Симеон и три дочери — Татьяна пяти лет, Вера двух лет и Марья одного года. Крестной матерью родившейся в сентябре 1798 года Веры была сама императрица Мария Федоровна. Об этом мы узнаем из письма Николая к Государыне:

*Ваше Императорское Величество!*

*Всемилолюбивейшая Государыня и Императрица.*

*Во Всевысочайшее присутствие Вашего Императорского Величества в селе Красном прошедшаго 1798 Года Сентября 30 дня на случай новорожденной моей дщери именуемой Веры, открылось особенное благоволение Вашего Императорского Величества соизволить указать оную породить водою и духом; почему и ныне повергая себя пред стопы Вашего Императорского Величества всеподданнейше прошу благоволить соизволить указать о достоинии равномернаго ж щастия в крещении и новорожденную сего 1800 года месяца марта 23 дня дщерь мою Марию.*

*Вашего Императорского Величества  
Всепопданнейший раб и богомолец*

*от 29 Марта  
1800 года.*

*Села Краснаго цркви живоначальныя Трцы священник  
Николай Иаковлев.*

Отец Веры ошибся, написав, что ее крещение состоялось 30 сентября; в действительности оно произошло на один или два дня раньше, ибо Мария Федоровна находилась в Красном Селе 28 и 29 сентября 1798 года. Сведений о ее пребывании там в 1800 году нет; похоже, что императрица не соизволила крестить Марью, но, что точно, она велела выдать отцу новорожденной сто рублей.

Насколько велика была эта сумма, можно судить по следующим сведениям: в 1797 году при красносельской Троицкой церкви находилось два священника с денежным жалованьем по 50 рублей в год, один дьякон (30 рублей в год), два дьячка (по 12 рублей), просвирия (10 рублей). Но помимо денежного жалованья они получали еще и хлебное. Священниками тогда были Стефан Феодоров и Василий Петров (предшественник Николая Яковлева), дьяконом — Яков Иванов.

Рассказав о священнослужителях, принесших Образ Симеона в храм, перейдем к самому Образу. По Евангелию от Луки, младенец Иисус Христос в сороковой день после рождения был принесен родителями в Храм. Туда по вдохновению пришел и старец Симеон, которому «было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня». Симеон взял младенца Иисуса на руки и сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром; ибо видели очи мои спасение Твое...» Встреча (сретение) Симеона с Христом — Сретение Господне — один из двенадцатых христианских праздников, приходящийся на 2 февраля (15-е по новому стилю). Согласно канону христианской живописи, в образах Сретения обычно изображаются Симеон с Иисусом, родители Иисуса и Анна Пророчица («она в то время, подойдя, славил Господа и говорила о нем всем»). Симеона показывают склонившимся в левую от зрителя сторону и опустившим лицо к младенцу, лежащему на его протянутых руках.

Красносельский же Образ необычен и не отвечает традиционному канону. Здесь изображены только Симеон с Иисусом, причем Симеон показан не во весь рост, а по пояс. Он не склонился, а несколько наклонил голову и не в левую, а в правую от зрителя сторону. Младенца Симеон держит перед грудью, правой рукой поддерживая его снизу, а левой — сбоку. Младенец не лежит, а сидит со свитком ученья в руках. Данная композиция напоминает знаменитую икону Богоматери Одигитрии с младенцем, но вместо Богоматери находится Симеон. Необычное, своеобразное решение красносельской иконы говорит о том, что ее автор не следовал жесткому канону и, по-видимому, не являлся иконописцем, работавшим при крупном иконописном центре, а, скорее всего, был провинциальным сельским живописцем. Исполненный без высокого профессионализма, но трогательный в своей простоте и вызывающий чувство благоговения Образ стал особенно угоден Богу и был явлен в Красном Селе, получившим свою святыню.

Икона написана в архаичном, допетровском стиле — вполне возможно, не в XVIII веке, а ранее. Она очень потемнела от времени, невелика по размеру — высотой около 19 см.

23 августа 1802 года императрица Мария Федоровна вместе с сыном — Александром I посетила красносельскую Троицкую церковь, где «соизволила слушать молебен, отправленный по ЕЯ повелению явленной иконе С<вято>го Симиона Богоприимца и по благо<го>вейному почитанию Божия Угодника к святой его иконе соизволила привесить имевшийся тогда у ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА на руке бриллиантовый перстень»...

О дальнейшей истории Явленного Образа и о многом другом вы, уважаемый читатель, можете узнать в книге «Неизвестная история Красного Села и его окрестностей».



Сергей СТРАШНОВ

## «ЗАЖЖЕТСЯ ИСКУССТВОМ МОЯ НЕСТЕРПИМАЯ БЫЛЬ»

Задержание, следствие, этапирование, «прописка» в камере и на зоне для всех, кроме рецидивистов, — это потрясение основ, патология, ликвидация нормы. Но с 1930-х «аресты стали привычной деталью повседневной жизни»<sup>1</sup>, бытовой практикой. Прежде всего для оказавшихся в длительном заключении, где добропорядочный гражданин постепенно к ненормальному адаптировался.

Несколько иначе, по убеждению исследователя, воспринимались каждодневные и массовые репрессии теми, кто находился по ту сторону колючей проволоки: «Нужно сказать, что по мере отказа властей от концепции „перековки“ и по мере систематизации цензуры лагеря постепенно становились предметом, закрытым для обсуждения, а в послевоенное время — запретным»<sup>2</sup> — и далее о том же, втором, обыденном, мире: «Нам представляется, что присутствия ГУЛАГа в повседневности, в быту было недостаточно. Чтобы оказаться включенным в осознаваемую действительность на уровне общества, лагерь должен был стать художественным произведением, литературой»<sup>3</sup>.

---

Сергей Леонидович Страшнов — доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью Ивановского государственного университета. Родился в 1952 году. Автор учебных пособий и монографий по теории и истории поэзии, современных массовых коммуникаций, методике преподавания гуманитарных дисциплин: «Анализ поэтического произведения в жанровом аспекте» (1983), «Молодеет и лад баллад» (1991), «Русская поэзия XX века в выпускном классе» (1999, 2001), «Актуальные медиапонятия» (2012, 2017) и некоторых других, а также более 200 научных, литературно-критических и методических статей.

<sup>1</sup> Изморик В. С., Лебина Н. Б. Петербург советский: «новый человек» в старом пространстве. 1920—1930-е годы (Социально-архитектурное микроисторическое исследование). СПб.: Крига, 2010. С. 172.

<sup>2</sup> Михайлик Е. Не отражается и не отбрасывает тени: «закрытое» общество и лагерная литература // Новое литературное обозрение. № 100 (2009). С. 358.

<sup>3</sup> Там же. С. 359.

Безусловно: лишь в настоящем искусстве реальность обретает выразительную фокусировку, духовное содержание, историческую судьбу. В одном из писем 1958 года, развывая, возможно, известный афоризм А. Пушкина о том, что «история народа принадлежит поэту», А. Твардовский замечал: «Жизнь без искусства, т. е. правдивого отражения ее и закрепления ее преходящести, была бы попросту бессмысленна. Более того, жизнь, действительность не полностью и действительна до того, как она отразится в зеркале искусства, только с ним она, так сказать, получает полную свою действительность и приобретает устойчивость, стабильность, значимость на длительные сроки. Что был бы для самосознания многих поколений русских людей 1812 г. без „Войны и мира“? И что, например, для нас Семилетняя война 1756—63 гг., когда русские брали Кенигсберг и Берлин и чуть не поймали в плен разбитого ими Фридриха II? Почти — ничего».

Отсюда и наш подход — двоякий: нам необходимо учитывать не только, чем были стихи для слагавших их узников ГУЛАГа, но и чем они стали для читателей.

Почему выделяются именно стихи, догадаться нетрудно. Наверняка нет необходимости подробно доказывать, каким духоподъемным или психотерапевтическим средством они в неволе оказывались, — об этом и без того написано особенно много. К тому же другого способа, чтобы сохранить свой трагический опыт, заключенным было просто не дано. В отсутствие возможностей (даже элементарных — вроде тепла и бумаги) только ритмически организованные строки, способные откликаться на происходящее синхронно, обладающие лапидарностью и повышенным мнемотическим потенциалом, можно было вынести из преисподней живыми. Да и там уже они иногда передавались из уст в уста, поддерживая людей. И еще теплилась надежда на то, что потом, по словам О. Адамовой-Слиозберг, «может быть, кому-нибудь будет интересно прочесть их, как дневниковые записи, свидетельские показания бесконечно долгих лет заточенья, бесправия».

Разумеется, надо делать поправки на разные условия содержания: догулаговский режим на Соловках, где в лагерной газете конца 1920-х годов допускалась даже ирония, и колымские порядки, где в 1938-м расстреливали не только за невинные слова, но и по любому, опять же невинному часто, поводу, — несопоставимы. Однако при малейшем на то шансе творчество возобновлялось, и очертания его воспринимаются сегодня как сравнительно определенные, не исключающие типологизации.

Свидетельства на любом суде, а тем более на суде истории, предполагают наличие фактов. И поэты ГУЛАГа их предоставили, причем сразу, без пауз, хотя и не сказать, что по сравнению с мемуаристами и прозаиками — в избытке. Впрочем, в массиве интересных нас потаенных произведений можно отыскать и физиологические очерки, и — на удивление — даже повествовательные поэмы. Таковы «Колыма» Е. Владимировой и «Дороженька» А. Солженицына, частично посвященная репрессиям. Авторы рисовали запоминающиеся картины: например, в рассказе о несогнувшемся, несмотря на команды конвоиров, человеку из первой повести или о постоянном распорядке лагерного дня — из вступления ко второй. Не менее выразительная детализация встречается и в некоторых стихотворениях: у Л. Шерешевского, Т. Лещенко-Сухомлиной, Т. Усовой...

То есть отдельные оригинальные строки в общую энциклопедию тюремно-лагерного быта подобным образом добавлялись. Такие очерки стали физиологическими в буквальном смысле слова. Люди, вырванные из цивилизации, погруженные в первобытность, годами были беззащитно телесны, и немного, вероятно, найдется в мировой поэзии аналогов, воссоздающих муки голода и холода, каторжного труда и бредово-предсмертных состояний. Поневоле натуралистичны иногда даже те авторы, которые прошли школу символизма. Недаром большинство документализированных, этнографических текстов выглядят безыскусственными.

Из них изгнана не просто ложь, но и всякая художественная условность:

Мы едим жадно.  
В эти минуты  
в столовой молчание.  
Нет разговоров.  
Все ушли в еду.  
И когда ложка  
погружается в остывающую  
баланду,  
где плавают редкие хлопья  
подмороженного картофеля,  
тонкие листья капусты, —  
в эти минуты,  
если бы кто-нибудь сказал,  
что нас поведут  
расстреливать,  
и тут мы  
не оглянулись бы  
на говорящего.

Признание, бесспорно, шокирующее, но «такова ценность всякого искреннего „человеческого документа“», — как говорил А. Блок: Прочитанное стихотворение В. Василенко совпадает с некоторыми рассказами В. Шаламова (таким, скажем, как «Май»), но не только сюжетно — наблюдается и общая прозаизация стиха. Его фактологическую фактуру надо бы назвать верлибром, если бы не горькая ирония, возникающая в данном случае: свободным стихом в целом ряде текстов Василенко владеет лишенный свободы автор. И не он один.

Тягостная повторяемость происходящего настраивала на будничную манеру изложения. Конечно, и однообразие не бывает абсолютно ровным: в любом хоть что-нибудь всегда выделяется — у заключенных тоже время от времени возникали свои события. Ими в монотонном течении срока становились допрос, пребывание в больнице, новый приговор, неожиданная встреча... Но особой темой они оказывались редко — так же редко, как случались. Поэтому и детали повседневности, по обыкновению, подавались суммарно и перечислительно, нередко номинативно, в назывных предложениях. Используя классическую блоковскую кольцевую композицию, Ю. Стрижевский воспроизводит модель заколдованного круга:

Забор, запретка, вахта, вышка,  
Оскал собачий, автомат.  
Попал сюда, считай, что крышка,  
Отсюда труден путь назад.

А выжил, об заклад я биться  
Готов, что с этих самых пор  
Тебе до гроба будут сниться  
Запретка, вахта и забор.

Про поэтические формулы задолго до социалистической революции и ее последствий А. Н. Веселовский писал, что «это нервные узлы, прикосновение к которым

будит в нас ряды определенных образов, в одном более, в другом менее; по мере нашего развития, опыта и способности умножать и сочетать вызванные образом ассоциации»<sup>4</sup>. В показаниях гулаговских стихотворцев преобладали формулы отнюдь не поэтические — скорее слова-сигналы, образы-сгустки, но бывалым сидельцам они действительно напоминали о многом.

«Тюрьма». «Расстрел». «Отнять права».  
 «Сослать». «Повесить». «Заточенье».  
 «Пожизненное заключение»  
 Есть прокаженные слова! —

итожил Б. Четвериков.

Недостаточная колоритность большинства картин объясняется не только вынужденной собирательностью, но и неполнотой принципиальной. Так, в частности, стихотворная речь почти не впитывает блатной жаргон, а если он и просачивается, то в основном в упоминаниях или цитировании. Во всяком случае, его гораздо меньше, чем лексики церковнославянской. И это не удивительно: единственное, что могло по силе эмоциональной поддержки человека сравняться в тюрьме и в бараке со стихами, — это молитва. Неудивительно, что в составе гулаговского творчества значительную часть представляла поэзия религиозная: у Л. Карсавина и Л. Андреева, Е. Тагер и Н. Ануфриевой, А. Солодовникова и С. Бондарина.

Лишения не только описываются и фаталистически принимаются, перечень страданий и ощущение изгойства не только нагнетаются — многообразны попытки их преодоления. Прежде всего в формах забвения. Его приносят сами стихи, обрывки музыки по радио, сны, воспоминания о детях, семье, домашнем уюте, цветах и нездешних запахах, возлюбленных, родных местах — они повсюду, куда совершался воображаемый побег.

И в милых днях младенческого счастья,  
 В мечте молить, в зеленой тишине  
 Я нахожу желанное участие,  
 В котором жизнь отказывает мне... (Т. Гнедич) —

там можно было на какое-то время спрятаться, воспаря над окружающим или хотя бы отвлекаясь от него. Переживаемому противопоставляется пережитое, хронотоп наличный (инерционный, замкнутый, безмерный по срокам) вытесняется в сознании идиллией прошлого (реже — в виде грез — будущего): распахнутые пространства кажутся теперь отсюда, из камер и лагерей, сказочными. И все же иллюзии миражей освобождали ненадолго: немало красочных эскапистских стихотворений завершалось возвращением к тотально серой реальности (например, у В. Фирстова).

Опоры гораздо более устойчивые давало ставшее личным вечное: мифология, история, символы и памятники духовной культуры. Интертекстуальность гулаговской поэзии весьма высока, образность нередко стилизована под античную, восточную (О. Хайям), западноевропейскую (в частности, английскую). Постоянно воскрешаются, разумеется, имена Данте, русских классиков, многочисленны персонажи из минувших эпох. Интеллектуально-творческие ресурсы некоторых узников не могут не восхищать, если они оказывались способными по памяти переводить не только небольшие отрывки из гётевского «Фауста», но и объемные части байроновского «Дон Жуана».

<sup>4</sup> Веселовский А. Н. Историческая поэтика. М.: Высшая школа, 1989. С. 295.

В самой лагерной повседневности спасительной была жизнестойкость. Постоянное напряжение разрушительно, и руководствующихся инстинктом самосохранения людей действия, не слишком рефлектирующих, выручал юмор, но в потаенных лирических строчках редкий гость даже самоирония. Стихотворцы из ГУЛАГа в массе своей не герои, а мученики, но и позицией, по которой «Я — лишь свидетель времени» (Н. Надеждина), они тоже довольствуются отнюдь не всегда. А наиболее талантливые преодолевают материал творчески, воспринимая отношения жизни и поэзии как обогащающий процесс. В «Колымских тетрадах» В. Шаламов писал:

Мы вмешиваем быт в стихи,  
И оттого, наверно,  
В стихах так много чепухи,  
Житейской всякой скверны.

Но нам простятся все грехи,  
Когда поймем искусство  
В наш быт примешивать стихи,  
Обогащая чувство.

В поэзии, исконно предрасположенной к синтезу, а не к анализу, изживание условности не может быть продолжительным и беспредельным, и, кстати, даже лагерные стихи того же Шаламова заметно отличаются в этом отношении от последующей прозы. В них автор у него не переходит «на сторону материала» столь же явно и без остатка, но обязательно переосмысливает впечатления, помещенные в музыкальный культурно-исторический контекст, и вместе с другим большим писателем дожидается, когда «зажжется Искусством / Моя нестерпимая боль» (Ю. Домбровский).

А непрограммно, на сей раз пластически, художественное преображение происходит в другом стихотворении Домбровского — «Убит при попытке к бегству». Казалось бы, эпизод, обозначенный в заглавии, сам по себе просится, чтобы обернуться балладным развертыванием, стать фабулой последовательного изложения. Однако автор интерпретирует событие иначе. Уже исходно он обращается к уничтожившему человека конвою: «Мой дорогой, с чего ты так сияешь?», саркастически представляет полученный им в награду отпуск и драматически — позднейший надлом:

В ночной тайге кайлим мы мерзлоту.  
И часовой растерянно и прямо  
Глядит на неживую простоту,  
На пустоту и холод этой ямы.

А завершается многосоставное и многозначное стихотворение фантазмагорическим, не лишенным морализаторства, но безжалостным предсказанием:

И молча на меня глядит солдат,  
Своей солдатской участи не рад.  
И в яму он внимательно глядит,  
Но яма ничего не говорит.  
Она лишь усмехается и ждет  
Того, кто обязательно придет.

В отличие от прозаического рассказа, который, по убеждению В. Шаламова, должен быть «неотличим от документа», поэзия, как правило, исповедует другой принцип, когда эмпирика перетекает в обобщения<sup>5</sup>. Причем в трактовках 1930–1950-х годов почти всегда заметно сопротивление не просто казематно-каторжному материалу, а одичанию, деградации. И все-таки не столь уж часто при этом происходило восхождение к Искусству. Многие обращались к стихотворчеству исключительно в силу обстоятельств, поэтому по своей типовой стилистике их строчки похожи на миллионы дилетантских попыток, извечно порождаемых драматическими перипетиями судьбы (разлукой с близкими, пребыванием на чужбине, тяготами службы). Мотивы и образы (заточения, узилища, кары, тьмы, мрака и т. п.) — иногда независимо от образовательного уровня авторов — бедны, графарины и вряд ли осознаваемо зависимы от фольклорно-литературных традиций (тюремной песни или клишированной лирики народников): массовая поэзия ГУЛАГа автоматически вливается в квазиромантический поток. Даже выделяющиеся поначалу зарисовки затушевываются, по обыкновению, очевидными резюме (например, в стихотворении «Путь на свободу» А. Александрова).

Однако, помимо «поэтов обстоятельств», рецензент одной из антологий А. Кобенков находит в ней и «поэтов духа»<sup>6</sup>, которые воспринимают и постигают распространенные ситуации лично и неординарно. Такое чувствуется во всем — включая тривиальные как будто бы описания:

Гроб?  
Печь? Лазарет?.. — Миг — и начисто стерт  
След.  
Чтоб  
Гладкий паркет заливал роковой  
Свет (Д. Андреев).

Впрочем, не это по большому счету отличало значительных поэтов, вместе с миллионами сограждан попавших в беду: они оказались способными — среди бесчисленных потерь — к трагическим обретениям, признаниям и страшным, и бесстрашным. Победительный, самоуверенный, дерзкий П. Васильев в «ночь после суда», предчувствуя гибель, в протяжном, как песня, «Прощании с друзьями...» обращается к ним с растерянными-покаянными и пронзительными словами. А в другом тюремном стихотворении уже в 1932 году прозревает, до чего низводит людей тоталитарное государство:

Стал странен под раскрытым небом  
Деревьев пригнутый разбег,  
И все равно как будто не был,  
И если был — под этим небом  
С землей сравнялся человек.

В статье, посвященной блокадным дневникам, И. Паперно, ссылаясь на Б. Малиновского, предлагает понятие автоэтнографии, под которым понимается и «саморефлексия этнографа, работающего с чужими культурами», и «практика этнографического

<sup>5</sup> См. об этом: Сильман Т. Заметки о лирике. Л.: Советский писатель, 1977. С. 7–10.

<sup>6</sup> См.: Кобенков А. Дни позора и печали // Знамя. 2006. № 6. С. 213.



исследования собственного общества, требующая самодистанцирования и самообъективации»<sup>7</sup>. Гулаговские обстоятельства и свидетельства более любых других родственны тем, в каких выживали и какие оставляли после себя ленинградцы в записках, где автор мог иногда выступать «и как антрополог, описывающий мироощущение туземного населения, и как туземец, являющийся носителем мифологического сознания»<sup>8</sup>. Причем в нашем случае понятие автоэтнографии адекватно именно поэтической практике, несмотря на то, что его не стоит здесь толковать буквально: в стихах на переднем плане не биополитика, а духовная биография, самопознание и самовыражение — на грани удивления прежде всего собой, своими неведомыми и нераскрытыми прежде ресурсами.

Психологизм лирический нельзя смешивать с исповедальностью и сводить его к достоверности воссоздания страданий или, напротив, апатии — он всегда предполагает некую объективацию, взгляд на себя со стороны. Наиболее распространенные варианты психологизма в стихах гулаговских — это контрасты: настоящего с прошлым, когда привычное получает новые измерения и значимость (как, например, у Л. Шерешевского: «Ты научишься воздух и волю ценить, / Каждый шаг свой и каждое слово...»), и с будущим, при гипотетическом возвращении из ада (у Н. Гаген-Торн, этнографа, кстати, по профессии, появились такие строки: «Как странно тем прийти домой, / Кто видел Смерти свет!»). Да и О. Берггольц, чтобы сохранить душу, произносила в камере самозаклинания.

Пожалуй, особенно сильно поэтическая автоэтнография проявляется в творчестве Д. Андреева и А. Барковой: они точнее и выразительнее большинства не только в уже упомянутых констатациях, но и в откровениях, хотя контрасты у них как раз не слишком резкие. Ни для Барковой, ни для Андреева их собственные трагические судьбы, а тем более бытовые невзгоды не могли представлять неожиданность: ее подготовили к ним московская нищета, бездомность и отверженность 20-х — начала 30-х годов, его — «ленинградский апокалипсис», запечатленный в одноименной поэме. Мрачная предыстория и сообщала, в частности, их подпольной эволюции единство. И все равно доминанта творчества, которую следует определить как позицию неуступчивости, не исключала подвижности.

Кощунственно было бы говорить, что эти поэты нашли себя именно в неволе — опыт пребывания в любом заключении безусловно травматичен, но люди неординарные испытывали в замкнутых репрессивных пространствах и внутреннее освобождение — прежде всего от двоемыслия, страха, поверхностного понимания происходящего. Сближая в этом Д. Андреева и А. Баркову, исследователь потаенной поэзии Л. Н. Таганов пишет, что они совпадают «в желании представить внешний, видимый мир как нечто абсурдистское, как квазисуществование, и, напротив, подлинно существующим для них является одинокое „я“, затерянное в тюремных глубинах»<sup>9</sup>. В гибельных условиях оба поэта не просто сохраняли дар, но обогащали его.

Новые мысли и Андреев, и Баркова охотно реализовывали в исторических портретах и ролевой лирике, находя собственные изменения «в повтореньях судьбы мировой» (А. Баркова), но решительнее всего звучали, разумеется, прямые декларации. У Андреева они полны переворачивающих сознание риторических вопросов:

<sup>7</sup> Паперно И. «Осада человека»: Блокадные записки Ольги Фрейденберг в антропологической перспективе // Новое литературное обозрение. № 139 (2016). С. 188.

<sup>8</sup> Там же. С. 192.

<sup>9</sup> Таганов Л. Н. Творчество Анны Барковой и потаенная поэзия XX века // В сб.: «Серебряный век». Потаенная литература. Межвуз. сб. научн. трудов. Иваново: Иван. гос. ун-т, 1997. С. 182.

Если назначено встретить конец  
 Скоро, — теперь, — здесь —  
 Ради чего же этот прибой  
 Все возрастающих сил?

.....  
 Или тому, кто не довершит  
 Дело призванья — здесь,  
 Смерть — как распахнутые врата  
 К осуществленью — там?.

Будучи мистиком, он представляет преобразование биографического материала не только как художественное — в большей степени как религиозное. И недаром Г. С. Померанц связывал его откровения с видениями и озарениями<sup>10</sup>. И недаром сам поэт считал себя вестником «другого дня», и вещал он потомкам — соответственно — в стиле духовидческого:

Но не ропщи, как слепец, на судьбу,  
 На ратоборство гигантов не сетуй.  
 Только Звезду Полюнью в гробу  
 Души пробудятся *нашей* кометой!

Окруживший ее «великий ад» Баркова пронизает по-иному. Если врожденную прозорливость проявляют и предъявляют, то прозревают люди — через потрясения — спонтанно, изумляясь: «Так просто все. Была на колеснице, Ну, а теперь под колесом лежу». К подобным открытиям привыкнуть нельзя: они настигают, пробивая щит всегдашнего скепсиса, и через 20 лет, к концу второго лагерного срока: «Все незнакомо, странно, грозно, Полно волнующего зла».

Но и оно оказывается одолимым, потому что даже в аду возникает тайная «жизнь вторая». В элементарной, примитивно романтической антитезе заменяется (в слове «позорит») всего одна буква («и» на «я»), и образ переворачивается, оживает, обретает новизну:

Так ясные чистые зори  
 Фабричный позорят дым<sup>11</sup>.

Кислород в поздние стихи А. Барковой вдохнули стесняемая и унижаемая со всех сторон нечаемая поздняя любовь и вернувшаяся вместе с нею «незаконная дикая молодость». Ведь, подобно андреевскому Творцу, спасет душу, в понимании поэтессы, не «ЧТО-ТО», а непременно «КТО-ТО» — способный к самопожертвованию и эмпатии близкий человек.

В хрущевские годы неприкаянная Анна Александровна совершила еще одно, как она выражалась, «путешествие», но третий лагерный цикл у нее отсутствует, хотя в редких строчках, написанных после возвращения в Москву, тягостные воспоминания кое-

<sup>10</sup> См.: Померанц Г. С. Тюремная лирика Даниила Андреева // В сб.: Даниил Андреев: Pro et contra: Личность и творчество Д. Л. Андреева в оценке публицистов и исследователей. СПб.: Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 2010. С. 255–257.

<sup>11</sup> В книге француженки Катрин Бремо (см.: Бремо К. Анна Баркова: Голос из бездны. Иваново: Иван. гос. ун-т, 2011. С. 163) последняя строка процитирована с неточностями («фабричный позорил дым»), не замеченными ни автором, ни редактором, — видимо, как раз потому, что так привычнее.

где давали о себе знать. А вот у самых талантливых ее союзников, которых прошлое тем более не отпускало, именно на временном отдалении возникали настоящие шедевры: таковы «Где-то в поле возле Магадана» Н. Заболоцкого, «Гомер» В. Шаламова, «Меня убить хотели эти с...» Ю. Домбровского. Не уступают им некоторые произведения тех, кто остро переживал притеснения не только родственников и друзей, но кто всем существом был «с моим народом, Там, где мой народ, к несчастью, был» (А. Ахматова), — это прежде всего ахматовский «Реквием» и «В краю, куда их вывезли гуртом...» А. Твардовского.

Однако не раз в поэзии советского периода гулаговская тема становилась модной, чуть ли не выгодной и едва ли не проходной. Собственно, в конъюнктурную она ожидала превращалась на исходе «оттепели» и «перестройки». В 1963–1964-х появились «Ночь прокурора» А. Маркова, «Очень давнее воспоминание» С. Куняева, «Зима тридцать восьмого года» Р. Рождественского, частично и с оговорками основанные на детских впечатлениях, а четверть века спустя косяком пошли баллады о репрессиях: «Герой. Попытка баллады» И. Кабакова, «Баллада о матери» О. Шестинского, «Баллада о 37-м» В. Болохова, «Баллада о матерях» Т. Кузовлевой... Последние — все без исключения — вторичны, почти лишены личной ноты, и поэтому их фактура утрирована. Сочиняемые умозрительно, чрезвычайно условные по ситуациям, такие тексты сразу же выглядели как полюс, прямо противоположный «человеческим документам». И можно понять, почему бывший ээк М. Соболев презрительно бросил в конце 1980-х перестроившимся: «Где наша баллада, там ваша баллада».

Справедливости ради надо отметить, что поэты из числа узников и раньше ревниво оберегали свое право на выстраданную ими тему, нисколько не щадя авторитетов. Л. М. Садыги в письме Л. Таганову подчеркивает: Баркова «могла усмехаться лишь над „ватничком и ушаночкой“ Ахматовой»<sup>12</sup>. Коробило, вероятно, то же, что саму Ахматову (по рассказу Л. Чуковской) в главе «Друг детства» из поэмы «За далью — даль» Твардовского, — фальшь. Вот почему в данной статье нам важно было представить написанное не «о», а «в» — внутри и тогда, в застенках. Даже у мемуаров вернувшихся оттуда — все-таки другие оттенки.

А там стихи слагались прежде всего для себя: ритм гипнотически успокаивал, утешал, вызволял из потемок тяжких настроений и мыслей. Не исключались подчас и слушатели из своих, хотя особой популярностью среди них пользовались все-таки строки хрестоматийные, мелодраматические и фольклор. Зато постепенно просачиваясь после XX съезда через самиздат и хлынув на рубеже 1980–1990-х вместе с потоком «возвращенной литературы», поэзия узников ГУЛАГа собрала немалую аудиторию из тех, кто избежал трагической участи. Так проявлялись негативы истории, а сама она становилась для массового сознания действительной (в ключе, обозначенном Твардовским) и демифологизированной. Выстраданное стихотворное отображение гулаговской повседневности осуществляло и осуществляет безусловное просветительство, но им миссия потаенной словесности не ограничивается. Ошеломляя фактами, поэты, познавшие ад, явили миру судьбы не только отдельные — еще и общие, раскрыли не только мучения плоти — еще и высоты духа.

<sup>12</sup> Цит. по ст.: Таганов Л. Анна Баркова глазами своего первого биографа // Таганов Л. «Как дух наш горестный живуч...»: Статьи, эссе, воспоминания, заметки из литературного дневника, стихи. Иваново: Иван. гос. ун-т, 2010. С. 63–75. Садыги воспроизводит реакцию Барковой на стихотворение «Любовная» из цикла «Песенки», где А. Ахматова к тому же употребляет еще одно слово того же уменьшительно-ласкательного толка, упоминая «каторжаночку».

Елена ВОСКОБОЕВА

## ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ — ФЕЛЬЕТОНИСТ

Евгения Львовича Шварца знают как писателя, драматурга, поэта, киносценариста, публициста. Мало кто знаком с его сатирическими фельетонами, которые публиковались в газете «Всероссийская кочегарка» с 1923-го по 1925 год.

Весной 1923 года Шварц вместе со своим другом Михаилом Слонимским<sup>1</sup> приезжает к своему отцу, Льву Борисовичу, в гости. Шварц-старший в то время трудился хирургом в больнице соляного рудника им. Карла Либкнехта под Бахмутом<sup>2</sup>. Именно здесь они знакомятся с поэтом Николаем Олейниковым, который работал в газете «Всероссийская кочегарка»: «В редакции газеты „Кочегарка“ за секретарским столом сидел молодой белокурый, чуть скуластый человек. Он выслушал мои объяснения молча, вежливо, солидно, только глаза его светились как-то загадочно»<sup>3</sup>. Дружба литераторов продлилась вплоть до 1930-х годов<sup>4</sup>.

Н. М. Олейников с 1923 года также занимается организацией литературно-художественного журнала «Забой», к созданию которого и привлекаются Слонимский со Шварцем: Слонимский на тот момент был членом литературной группы «Серапионовы братья» и активно печатался, Шварц безрезультатно привлекался К. И. Чуковским к литературной деятельности. В Бахмуте Евгений Львович назначается секретарем «Забоя» и начинает печататься под различными псевдонимами. Первый номер журнала выходит в сентябре 1923 года, сразу завоевывает внимание читателей и получает широкую известность за пределами Дона.

---

Елена Владимировна Воскобоева — кандидат филологических наук, литературовед, специалист в области литературы XX века. Автор ряда публикаций по истории русской литературы. Автор-составитель сборников «Евгений Шварц. Стихотворения» (СПб., 2016), «Евгений Шварц. Стихотворения. Раешники» (СПб., 2018).

<sup>1</sup> Михаил Слонимский был для Шварца одним из самых близких людей: «Миша Слонимский для меня — вне суда, вне определения, вне описания. Он был со мной в те трудные, то темные, то ослепительные времена, когда выбирался я из полного безобразия и грязи — к свету. Грязь и безобразия — это конец Театральной мастерской, неуспех Холодовой, что и я принял, и она заставила меня пережить хуже любого личного несчастья. Потребность веры — и полная пустота в душе. Полное отсутствие заработка. Полная неуверенность в себе. <...> Отсюда — знакомство и дружба со Слонимским и Лунцем, да и почти всеми „серапионовыми братьями“» [Е. Шварц. Телефонная книжка. М.: Искусство, 1997. С. 404–405].

<sup>2</sup> Бахмут — ныне город Артемовск (назывался Бахмут до 1924 года), город в Донецкой области Украины.

<sup>3</sup> М. Слонимский. Книга воспоминаний. М.; Л., 1966. С. 179.

<sup>4</sup> Уже по возвращении в Ленинград Слонимский предложил Шварцу работать с ним в журнале «Ленинград» (1924), а Шварц и Константин Федин были свидетелями на свадьбе Слонимского в 1924 году.

Одновременно с этим он публикуется в газете, и всего за три года во «Всероссийской кочегарке» (меняющей названия на «Кочегарку» с января 1924-го и на «Всесоюзную кочегарку» с января по июнь 1925 года) Шварц опубликовал 119 текстов (рассказов, статей и сатирических фельетонов) под псевдонимами *Щур*, *Дядя Сарай*, *Блоха*, *Домовой*, *Леший*, *Чертяка*. Принадлежность именно Шварцу авторства этих псевдонимов возможно установить благодаря воспоминаниям М. Л. Слонимского и Эстер Паперной, сотрудницы этой же газеты в 1920-х годах: «Он подписывался псевдонимом „Щур“. Среди значений этого слова есть и певчая птица, и домовый, и уж не знаю, какое из них привлекло Шварца — первое или второе. Может быть, оба вместе. Певчая птица пела хвалу, а домовый пугал и вытягивал „за ушко да на солнышко“, как тогда говорились, всяких нерадивых работников, рвачей и прочих такого рода. Помнится, что Шварц писал также под псевдонимом „Дед Сарай“»<sup>5</sup>. Возможно, последний псевдоним не прижился, поскольку словосочетание «Дядя Сарай» в разговорной речи означает разиню и невнимательного, несообразительного человека, который прикидывается простаком. Под этим псевдонимом Шварц опубликовал единственный фельетон «Раешник о терчастях. „Вот так и Советская республика...“» (в № 8 [1008] от 10 января 1924 г.).

119 текстов — это 114 фельетонов-раешников и 5 текстов, написанных не в форме раешника: рассказ «Богоматий», фельетон «„Жертвы“ интервенции» и заметка «Наводнение в Ленинграде (от нашего корреспондента)», подписанные псевдонимом *Щур*; заметки *Домового* «Чем дорожат?» и *Лешего* «Церковным советом села...».

Тематика сатирических фельетонов разнообразна — от острополитических до бытовых. Для них Е. Л. Шварц выбирает особую форму повествования — раешник. Как известно, это форма русского народного стиха со смежными рифмами (происходит от ст.-слав. — рай «небо, счастье»). Раешник сочинялся для народного кукольного театра, часто представляя собой импровизацию. Отметим также, что раешником он написал свою первую детскую сказку «Рассказ старой балалайки», которая была опубликована в 1924 году в журнале «Воробей» и напечатана отдельной книгой в 1925 году.

Любопытно соотношение текстов, написанных разными псевдонимами: большая часть написана *Лешим* — 61 текст (что составляет 53,5 % от общего количества текстов), *Щур* является автором 33 текстов (28,9 %), *Домовой* — 17 текстов (14,9 % соответственно). По одному тексту принадлежит перу («копыту») *Дяди Сарая*, *Блохи* и *Чертяки*.

Если соотнести количество и авторство раешников по годам, обнаружится интересная особенность: в 1923 году Е. Л. Шварц написал 27 фельетонов в период с сентября по декабрь (в среднем около семи фельетонов в месяц); в 1924-м — 21 «полет» (при этом не писал в феврале, в период с апреля по июнь и в октябре; таким образом, за семь «рабочих» месяцев было опубликовано в среднем по три заметки); наконец, в 1925 году было опубликовано 66 текстов (не было публикаций только в апреле; итого в среднем за месяц Шварц печатал шесть фельетонов).

Несмотря на то, что в 1924 году было создано меньше всего текстов и среднее месячное количество тоже минимальное, именно в это время Шварц больше всего играл с рассказчиками в своих фельетонах: в период с января по декабрь его тексты были подписаны пятью псевдонимами (при этом в 1923 году он использовал только один — *Щур*, а в 1925 году — три: *Домовой*, *Леший* и *Чертяка*). *Леший*, начиная с декабря 1924-го, постепенно вытесняет остальных и занимает устойчивую позицию вплоть до последней публикации фельетона в декабре 1925 года. Также Шварц одновременно использовал несколько псевдонимов: так, в августе 1924-го — *Щур* и *Блоха*, в декабре 1924-го —

<sup>5</sup> Подробнее об этом см.: Мих. Слонимский. Вместе и рядом. Евгений Шварц // М. Слонимский. Книга воспоминаний. — М.: Л., 1966. — С. 182–183. Конечно, Шварц не использовал псевдоним «Дед Сарай»: в публикациях «Всероссийской кочегарки» за указанный период нет ни одной заметки или статьи, подписанных этим именем.

*Домовой и Леший*, в январе 1925-го к ним присоединяется *Чертяка*, а в феврале и июле 1925-го — опять *Домовой и Леший*.

Рассказчики фельетонов таким образом часто вступали в диалог, разыгрывая перед читателями целые спектакли. Они шутили друг над другом, иногда в весьма резкой форме. По манере рассказывания можно выявить явных антагонистов, например, Лешего как противника Домового:

Сидел я сегодня и думаю: «Ах ты, летает же Домовой по рудникам и шахтам, выводит все недостатки наружу, а мы что — людей всех хуже?» И стал я сразу таким веселым: «Дай, — думаю, — полечу по селам» («Прогулки лешего. „Сидел я сегодня и думаю...“» // «Кочегарка». № 287 [1287]. 14 декабря 1924 г.).

Или Чертяку — как противника Лешего и Домового:

И чего я в пекле жарюсь, глупец? Надоело слушать вопли грешные! Летают же по Донбассу лешие и домовые, даже в «Кочегарке» статьи печатают такие, что от смеха живот надорвешь. Читая их, черти в пекле поднимают такой галдеж, что ведьмы — и те уши затыкают. Вот я и смеаю: не полететь ли мне на село? («Полеты на село. „И чего я в пекле жарюсь, глупец?..“» // «Всесоюзная кочегарка». № 7 [1306]. 10 января 1925 г.).

Каждый из «авторов» обладал цельным характером, узнаваемым стилем. Публикации всегда сопровождалась иллюстрациями, изображающими того или иного персонажа. Из года в год один и тот же «автор» претерпевал некоторые изменения: так, у Домового постепенно появилось средство передвижения — метла, зато исчезла подзорная труба, а Леший отличался от Домового лишь отсутствием рожек на голове.

Так, например, Щуром описывается встреча с Домовым:

Дело было так... В прошлую субботу закончил я редакционную работу и пошел на чердак. Посмотрел — и прямо остолбенел. Сидит на полу домовый, довольно еще молодой, у отдушины поближе к свету, и читает старую газету. Мы с ним разговорились и сразу подружились («Полет по Донбассу [Наш раешник]. „Дело было так...“» // «Всероссийская кочегарка». № 167 [913]. 16 сентября 1923 г.).

Так мы узнаем, что Домовой приносил Щуру новости, а тот их публиковал в газете, позже Домовой сам стал автором «Кочегарки».

Портрет каждого из рассказчиков фельетонов также складывается постепенно от заметки к заметке: о Домовом мы узнаем, что он «всесторонне развитый», «боевой», любит читать газеты, летает, имеет «всеведущие взоры» (на рисунке, сопровождающем публикацию, обычно изображался с подзорной трубой), носит теплый нагрудник, воспитывает ребеночка — «славненького поросеночка», работает по НОТу и имеет самолюбивый, гордый характер.

Щур также умеет летать, важной особенностью его текстов также является ориентированность на устную речь (например, красочные обращения к читателям: «братья», «дети»), она имеет фольклорную основу (помимо раешника как формы текста, в фельетонах много ярких речевых оборотов, диалектизмов и народных фразеологизмов). По воспоминаниям И. Рахтанова, Шварц любил «традиционные образы, любил сюжеты, проверенные многовековым бытованием в фольклоре многих народов»<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Подробнее об этом см.: И. Рахтанов. «Выходил „Еж“...» // Мы знали Евгения Шварца. — М.; Л.: Искусство, 1966. — С. 135–136.

Действительно, в фельетонах-раешниках много отсылок и аллюзий на фольклорные и классические сюжеты и образы. Например, упоминание названия народной песни в сатирическом контексте: «*Решил я ему дать не второй, а вторичный приз — за „Волгу-матушку“, что сыплется из окон сельбудов вниз*» («Прогулки лешего. „Завы лихие, или Призы вторые“» // «Всесоюзная кочегарка». № 29 [1328]. 6 февраля 1925 г.); использование народного выражения «Следует рубль — возьмет два» (впервые прозвучавшего в песне «На Арсенальной улице») для изобличения деятельности старост в селах: «Выдавая крестьянам справки, откладывает Дмитриев себе „на булавки“: следует рубль, возьмет два. Вот такая ловкая голова» («Прогулки лешего по селам. „Ох и тяжко у нас...“» // «Кочегарка». № 198 [1497]. 1 сентября 1925 г.).

Классическая литература также послужила источником для формирования многих шварцевских фельетонов. Домовой, рассказчик следующего фельетона, показал себя достойным знатоком современных ему модернистских течений, в частности футуризма, спрятав в своем тексте аллюзии на стихотворения В. В. Маяковского и В. Хлебникова:

Лечу это, спускаюсь, а зав кричит:

— Я, брат, тоже улыбаюсь! Нечего мне ваших заметок бояться, хоть убей! Желаю улыбаться — и никаких гвоздей!

— Улыбаться, говорю, ты улыбайся, а насчет заметок не особенно забывайся.

Знавал я смеюнчиков таких, кончали они на печка-а-а-альный стих!..

(«Полеты по Донбассу. „Смеюнчики улыбаются, а кое-кто припарочки дожидается“» // «Кочегарка». № 264 [1264]. 18 ноября 1924 г.).

Фельетоны, публиковавшиеся в Бахмуте (Артемовске) и рассказывающие преимущественно о событиях, происходящих в районе Донбасса и соседних с ним, давали представление об определенной территориальной части Союза, но вопросы, которые поднимались рассказчиками, были актуальны для всей страны. В целом эти заметки носили сатирический характер, изобличали вышестоящих лиц (старост, начальников и пр.), негативно оценивали их деятельность, направленную не столько на поддержку благополучия простого народа, сколько на обогащение и наполнение собственных карманов. В ряде случаев «летающие» авторы подмечали аналогии отношения к людям с крепостными нравами:

Сижу я и читаю книжку, вдруг заходит знакомый мальчишка.

«Здравствуй, брат домовой, что за книжка перед тобой?»

«Это, — говорю, — сынишка, любопытная книжка<sup>7</sup>. Тут пишут о том, как мужик кряхтел под кнутом, как пороли его на конюшне, чтобы делался он послушной. Было это, брат, лет шестьдесят назад. Было, и назад не вернется».

А парнишка слушает и смеется:

«Ты, — говорит, — брат домовой, полети-ка ко мне домой. Там у нас такие делишки — хоть приписывай к этой книжке. Там у нас сейчас скандал на весь Донбасс. Там...»

Не стал я ждать продолжения и полетел в Грушинское управление.

Вот из тумана встает рудоремонтный завод.

Прилетел я, поглядел, задрожал и побледнел.

<sup>7</sup> «Любопытная книжка» — вероятно, отсылка к Манифесту Александра II об отмене крепостного права (19 февраля/3 марта 1861 года), со времени публикации которого к моменту создания фельетона (июль 1924 года) прошло около шестидесяти лет.

Ходит барин с кнутом и поглядывает кругом. Взгляд строг и дик, будто не барин, а бык. Голос жуткий — будто пес рычит из будки. И до того страшно орет, что упал я на живот и спрашиваю: «А который теперь год?»

А барин кричит, надрывается: «Всякий кучер забывается! Как выпорят тебя на конюшне — сразу станешь послушной».

Вылетел я из ворот: «Объясни мне, — кричу, — народ, кто это у вас такой, что порет народ честной?»

(«Полеты по Донбассу. „Сижу я и читаю книжку...“» // «Кочегарка». № 165 [1165]. 20 июля 1924 г.).

Сатирически изображалось и негативно оценивалось также состояние культурного мира: рассказчики, показывая себя отличными знатоками всех видов искусства, печалились, что мало снимают хорошего кино, что музыке обучают плохо, что обучение в школах сопровождается физическими наказаниями (хотя они были давно отменены), что в библиотеках не выдают книг и рабочие лишены возможности культурного обогащения.

Сегодня фельетоны Евгения Львовича Шварца — это не только сатирические заметки, но и богатый источник сведений о Союзе 1923—1925 годов: здесь много топонимов (которые сейчас либо переименованы, либо вовсе не существуют), отсылок и аналогий с историческими и литературными событиями и деятелями. Это также яркий словарь народных слов и выражений, дающих насыщенное представление о языковой культуре 1920-х годов.

Наконец, выступая публикатором этих заметок под разными псевдонимами, Е. Л. Шварц осуществлял единое творческое намерение: автор намеренно дистанцируется от происходящего, изображая все *чужим* (то есть названным другими именами — псевдонимами), но в то же время *своим* взглядом. Отсылка в печатном слове к культурному наследию и его носителям противопоставляет то, что было раньше (*прошлое*), и то, что происходит сейчас (*настоящее*). И чем больше автор понимает хаотичность и беспорядочность, алогичность и бессистемность происходящего в настоящем, тем чаще он обращается к образам и сюжетам прошлого:

Разливается гармошка,  
Взмок от пляски дерзкий чуб.  
«Веселись, душа — Матрешка,  
Для того у нас и клуб!»  
В уголочках шуры-муры.  
Почитать чтоб, а ни-ни...  
Да, такую вот культуру  
Странно видеть в наши дни.

(«Тожже культурный уголок» //  
«Кочегарка». № 284 [1583].  
11 декабря 1925 г.)<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Все фельетоны опубликованы в книге: Евгений Львович Шварц. Стихотворения. Раешники: Сборник / Сост., автор вступ. ст. и ком. Воскобоева Е. В. — СПб.: ИД «Петрополис», 2018.



---

 КНИЖНЫЙ ОСТРОВ
 

---

**Ирина Беляева. Творчество И. С. Тургенева: фаустовские контексты.****СПб.: Нестор-История, 2018. — 248 с.**

Не отменяя и не исключая привычного прочтения знакомых произведений Тургенева 1850-х — начала 1860-х годов: «Гамлет и Дон Кихот», «Рудин», «Фауст», «Ася», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», — Ирина Беляева предлагает взглянуть на них в другом ракурсе, в свете фаустовского кода. Натяжки нет: интерес Тургенева к «Фаусту» Гёте, к его философским идеям был глубоким и постоянным. Тургенева привлекало в «Фаусте» органичное литературное воплощение «современного человека», существа переходного времени, живущего в разладе с природой, обществом, собой. Доминирующей чертой фаустовского типа героя, как и современного Тургеневу человека, являлась внутренняя двойственность, порождающая целый комплекс религиозных, духовных, философских, этических, социальных, психологических вопросов. Герой Тургенева, как и герой Гёте, в своем познании мира одержим стремлением к обретению полноты бытия как «безмерного, где-то существующего счастья», достичь которого можно через любовь к женщине. Среди проблемного блока фаустовских тем, интересующих Тургенева, и «фаустовский сюжет» спасения, возрождения грешника; и бездушные «фаустовские» преобразования, превратившиеся у русского писателя в ряде его романов в идею постепенного социального строительства; и философские идеи Гёте о природной гармонии. И. Беляева выявляет темы, мотивы, сюжетные линии и ситуации, восходящие к обеим частям «Фауста» Гёте. Обнаруживает немало аллюзий, реминисценций, текстовых переключек в героях, сценах, диалогах. Приводит прямые цитаты. Обнаруживает в повести «Ася» немецкий подтекст. В «смутных исканиях» Рудина видит продолжение рефлексии Тургенева на тему современного века и современного человека. Предлагает новую трактовку романа «Накануне», в которой «смысловым фокусом» является тема Елены, конечной цели и исканий Фауста, соединяющей важнейшие для Тургенева ценности: Добро и Красоту. Что Красота — едва ли не единственная дорога к спасению, было заявлено Тургеневым задолго до Достоевского. Русским Фаустом видит И. Беляева героя романа «Дворянское гнездо» Федора Лаврецкого, романа, где Тургенев показывает реальную возможность соединения крайних идейных позиций в одном человеческом сердце и в одной человеческой жизни. И предлагает любое жизненное противоречие решать (в том числе между славянофилами и западниками) отказом от крайностей и идейным компромиссом. Немало страниц посвящено самому «фаустовскому» роману, роману «Отцы и дети». Генетическую близость Базарова и Фауста автор обнаруживает в отношении к природе, к науке, к любви, везде присутствует фаустовская двойственность: стремление за облака и крепкая связь с землей. Сближает их и то, что оба врача и сыновья врачей, оба живут в переходную эпоху: Фауст — при переходе от средневековья к Ренессансу, Базаров — от старой России к новой. Есть сходства в отношениях Фауст и ученик, Базаров и Аркадий; Фауст и Гретхен, Базаров и Фенечка; Фауст и Елена, Базаров и Одинцова. На проблему отцов и детей также предлагается взглянуть в свете фаустовской сверхзадачи обретения полноты бытия. Магическое обаяние романа, считает И. Беляева, связано не столько с вечным конфликтом «отцы и дети», а с художественно-философской вариацией любимой тургеневской мысли о внутреннем единстве природы и жизни, несмотря на действующие в ней силы разъединения. В книге много иллюстраций

к «Фаусту» Гёте, а на полях — цитаты из «Фауста» и произведений Тургенева, в которых автор усматривает параллели. Например, репродукцию «Гретхен в своей комнате за прялкой» сопровождает описание комнаты Фенечки («Отцы и дети»), которое в повседневно-причудливых деталях соотносится с незатейливым и ясным миром дома гётевской Гретхен. Но хотя тип героя, ключевая проблематика, основные сюжетные линии в прозе Тургенева восходят к «Фаусту», считать их подражательными, утверждает автор, нельзя, так как они, сохраняя универсальный смысл, творчески переработаны и переосмыслены Тургеневым сообразно русской жизни и русским реалиям. Так, тургеневские героини могут и «не совпадать» с логикой образа Маргариты у Гёте. Например, современная Гретхен Тургенева, Фенечка, — это состоявшаяся молодая мать, обретшая право на все, чего она была лишена у Гёте. И духовное возрождение погибшего человека, Федора Лаврецкого, происходит в земной жизни, а не как у Гёте за крышкой гроба. Фаустовский тип сюжета спасения был чрезвычайно востребован русской литературой, в ней герои решали главный для себя вопрос: спасение своей души, а вместе с этим мира и всего человечества. В отличие от героев европейских романов, нацеленных на внутренний рост или карьеру, герои русской литературы карьеру не отрицали, но не приносили ей в жертву душу. Тема Тургенев и Гёте не обойдена вниманием критиков, но, пожалуй, это первое исследование, где так подробно рассматриваются особое присутствие в мире Тургенева «Фауста» Гёте, притяжения и отталкивания идей немецкого и русского авторов.

**Вера Зубарева. «Слово о полку Игореве»: Новый перевод с комментарием. М.: Языки славянской культуры, 2018. — 100 с.: ил. — (Серия: *Studia philologica. Series minor*).**

«Слово о полку Игореве», в основе сюжета которого лежит неудачный поход русских князей на половцев, организованный новгород-северским князем Игорем Святославичем в 1185 году, — самое исследуемое и вместе с тем самое загадочное произведение Древней Руси. Тут спорят обо всем. В чем его смысл? Что значат некоторые слова? Да и вообще — не искусная ли это подделка под старину? Даже сейчас нет точного ответа на самые простые вопросы: когда оно было написано, кем, где, а главное, с какой целью. Вера Зубарева, поэт и писатель, преподаватель в Пенсильванском университете, представляет новый поэтический перевод «Слова...» и комментарии к нему, где подробно поясняется концептуальная новизна перевода. И связана она в первую очередь с интерпретацией Бояна, Игоря и Святослава, а также повествователя, которому В. Зубарева отводит роль еще одного персонажа. По ее мысли, и за княжеским песнотворцем Бояном, возвеличивающим при помощи накатанных приемов власть предрешающих, и за повествователем-бардом, порой пародирующим стиль Бояна, стоит Автор. Тот, кто складывает все вместе, определяет композицию, задает подтекст, проявляющийся в деталях, наделяет своих героев речами и поступками, руководствуясь художественным замыслом, проникнуть в который и стремится В. Зубарева. Так, она анализирует принятие решений героями с точки зрения их целей, ценностей, стратегий и психологии. Например, что побудило Автора сделать героем князя Игоря, не желающего задуматься над последствиями похода? В исследовательской литературе существует немало версий (они приведены в комментарии), В. Зубарева предлагает свою: собираясь в поход, Игорь не ставил перед собой задачи завоевания земель противника в целях собственного обогащения. «Он был достаточно богатым князем, хоть это не объяснение в данном случае — князья, устраивавшие набеги на соседские земли, были не беднее Игоря. Тем не менее алчность их не знала предела. Игорь же был

в корне другим. Стоит вспомнить хотя бы окончание первого дня битвы, когда войско Игоря одержало победу. Воины стали хватать золото и серебро, красных девок половецких, а Игорь взял только боевые знаки врагов, символы победы и власти. В этом — весь Игорь. Он понимает роль нематериальных ценностей и демонстрирует это на практике. Не приходится говорить о том, как велик соблазн у победителя на поле брани. Но Игоря не прельщает все то, что прельщает других воинов. Так вырисовывается его существенное отличие от них. Из всех князей, осужденных Святославом, только он, пожалуй, и способен был бы выступить в поход за идею. Именно такой поход и вынашивал Святослав, мечтавший об объединении Руси». И не народ, не князя и не Боян, а именно Святослав увидел в Игоре идеальный для Руси того времени тип правителя, пекущегося не о богатстве, а о славе, считает В. Зубарева, и поставил судьбу Игоря и Русской земли на одну ступень, сделав из него тем самым героя. Это Святослав после того, как гнев его на сына улегся, призывает князей вступить «в золотые стремени за обиду сего времени, за землю Русскую, за раны Игоревы». И это в то время как «тут немцы и венецианцы, / тут греки и моравы / поют славу Святославу, / корят князя Игоря, / что потопил богатство на дне Каялы — реки половецкой, / — просыпав русское золото». На призыв Святослава никто не откликается. «Для чего же тогда был брошен клич?» — задает вопрос В. Зубарева и отвечает: «Золотое Слово было направлено к слуху Игоря». С одной стороны — знак Игорю, что хула на него прекращена и ему воздана честь, с другой — в Золотом Слове Святослав не просто призывает князей объединиться и выступить на защиту Игоря, но исподволь подготавливает мнение об его исключительности. Среди прочих князей, разорителей Русской земли, отвоевывающих участки у собратьев и ослабляющих Русь, для осуществления своей идеи объединения Руси Святослав выбрал Игоря. Многие в «Слове» вызывают разные толкования. Например, является ли «Слово», где традиционно-библейская основа переплетается с языческими образами, произведением языческим или христианским? В комментариях В. Зубарева прослеживается, как языческие аллюзии в тексте складываются в некую систему и как христианская нота, слабо прорывающаяся тут и там, неожиданно разрешается мощным заключительным аккордом за веру. И возвращение Игоря воспринимается как возвращение блудного сына. «И это взрывает текст, потому что только в этот момент и осознаешь, в чем меседж автора, показавшего, что никаких христианских убеждений у князей и близко не было, что все они пропитаны языческой ментальностью стяжательства и молятся на золотого тельца. Формально они христиане, но, не усвоив сердцем христианских заповедей, они действуют ничуть не лучше, а порой даже и хуже язычников, не дававших обет Господу стоять на страже Его закона. Обирав ближнего своего, разоряя земли, они тем самым попирают основы христианства. Посему концовка „Слова“ направлена не на прошлые походы, а на будущее. Она не о том, как было, а о том, как должно быть. Здесь певец перенимает эстафету у правителя и вводит новое измерение — духовное — в миссию объединения, поднимая объединение княжеств до уровня духовного *единения*». Подтекст «Слова» и его скрытый меседж выносит его за рамки летописного жанра, утверждает В. Зубарева. «Это произведение иного плана, в котором разговор о судьбе и направлении государства, о выборе преемника и стратегии ведется на более искусном языке, чем язык Бояна. А если так, то Автор апеллирует явно не к простому читателю, ориентированному на княжьи песнотворцев... Все эти и другие идеи и легли в основу моего перевода „Слова“». Выстраивая мозаику из ментальностей, подтекстов и метафор, давая свою интерпретацию самым неясным местам «Слова», В. Зубарева сосредоточивается в конечном итоге на меседже, который оно несет. А меседж все так же актуален, как почти и тысячу лет назад: «О внуки Ярослава и Всеслава! / Забудь-

те раздоры прежние, / Не прокладывайте своими распрями / Путь поганым к земле нашей Русской! / Вложите мечи свои в ножны, / Ибо лишитесь славы предков своих»!

**Станислав Чернявский. Владимир Мономах. Византиец на русском престоле.  
М.: Эксмо, Яуза, 2017. — 352 с. — (Тайны Древней Руси).**

Время правления Владимира Мономаха (1113–1125) считается «золотым веком» Киевской Руси, ее расцвета. Владимир Мономах родился в 1052 году, в тринадцать лет начал постигать опыт государственного и военного управления, княжил в Смоленске, Чернигове, в 1078–1093 годах был верным подручником своего отца, великого князя Киевского Всеволода, и, отказавшись от завещанного ему отцом киевского престола в пользу двоюродного брата Святополка, помогал новому князю. Он участвовал в военных походах против чехов, Византии и в междоусобицах русских князей, отбивал нападения половцев и подавлял восстание вятичей. Киевский престол занял в шестьдесят лет и вошел в историю как один из великих правителей Руси. Но соответствует ли действительности ставший каноническим образ князя, чего больше принес он Руси — вреда или пользы? Или свой имидж, как сказали бы мы сегодня, он создал сам? В своем «Поучении», где завещал детям и их потомкам быть милосердными и справедливыми, призывал объединиться и прекратить междоусобные войны. В отредактированной им «Повести временных лет», где многие события пропущены, а другие выдвинуты на первый план без достаточных оснований. Отвечая на эти вопросы, историк Станислав Чернявский выстраивает цепочки отдаленных от нас тысячелетием событий, критически прочитывает древнерусские источники, обращается к трудам С. Соловьева, Л. Гумилева, Б. Рыбакова, И. Фроянова, А. Назаренко. И вводит нас в древнерусский мир, что было бесконечно сложнее схем, предлагаемых в вузах. Картина впечатляющая. Расстановка сил в тогдашней Европе: история союзов и противостояний, сложные изменчивые комбинации, войны и политические интриги, в которых участвуют византийцы, русичи, чехи, поляки, степняки, племена, канувшие в Лету. Внутренние усобицы, кровавые схватки русских князей, во многом вызванные лестничным правом, по которому власть передавалась не прямому потомку, а следующему по старшинству брату, младшему брату наследовал старший племянник при условии, что его отец посидел на киевском престоле. Запутанными отношения становились уже во втором, тем более в третьем поколении. При смене правителей происходила перетасовка князей, но раздел не земель, а власти. Князя меняли «место работы», перемещающиеся с ними бояре и дружинники являлись «кочующей администрацией» в волостях, а земельные угодья оставались во владении волостных общин, что могли и не принять присланного князя. Раскол элиты и смуты усугублялся «партийными» разногласиями между «западниками», искавшими поддержки у римского императора и даже у папы, «степняками», выступавшими за союз с кочевниками, и «грекофилами», ориентировавшимися на Византию. Но прагматические соображения не раз ломали все схемы. Так, «грекофил» Владимир делал вклады в западные монастыри, а «степняк» Святослав бил половцев. Яркие портреты князей. Отец Владимира, Всеволод, не высокообразованный правитель, как в «Поучении» Мономаха, а политик мелкий и подлый. Недальновидный Святополк, при котором сформировалась партия западников, начался поход венгров на Русь против прикарпатских князей, союзников Мономаха, а киевляне были опутаны сетью ростовщиков и за неуплату долгов выставались на рынки работорговли. Симпатичный автору князь Олег Гориславич, за которым в русской истории утвердилось дурное имя врага общерусского единства и князя, первым наведшего на Русь степняков, хотя половцев как наемников впервые привел

на Русь Мономах. Жизнь Олега — увлекательнейший авантюрный роман, где этот беспокойный князь выступает как антипод Мономаха, человек честный, верный заключенным союзам и дружбе со степняками. Однако это он отдаст Тмутаракань, в том числе Крым, византийскому императору (вернет их Россия только в XVIII веке) и пойдет отвоевывать отцовскую волость — Черниговщину. Но, конечно, главный герой — сам Мономах, личность довольно отталкивающая, воспринявшая черты двух культур — русской (по отцу) и византийской (по матери, дочери императора Византии Константина IX). Он предстает как циничный, коварный и хитрый политик, знающий, что такое политическая выгода, готовый сотрудничать хоть с половцами, хоть с католиками, лишь бы это шло на пользу его семьи. Убийца и интриган, он хладнокровно жертвует людьми и целыми народами, затевает бессмысленную войну с половцами, чтобы прославить себя, устраняет конкурентов и ведет захватывающую игру, в которой награда — власть. Совершая политические ошибки, он ловко дистанцируется от них, сваливая на других собственные просчеты и преступления. Он осторожен и осмотрителен, умело создает себе реноме нравственного лидера и защитника Руси и в итоге становится великим князем Киевским. Но невозможно убедить в своем величии людей, если ты ничего не сделал для них, и автор, создавший нелицеприятный портрет Мономаха, признает, что у него есть серьезные заслуги перед русским этносом. Ему удалось отразить первый натиск католического нашествия (пусть и в борьбе за место для своих сыновей на Руси). Став великим князем, он отстранил прежних княжеских советчиков, изгнал ростовщиков и издал «Устав о резах», покончивший с закабалением русичей. При нем в 1120 году с русских земель были полностью изгнаны печенеги, а на Руси не было крупных внутренних войн, и страна крепла. А еще С. Чернявский поставил точку в споре, можно ли объявлять Мономаха, в чьих жилах текла кровь русичей, шведов, греков, «чистокровным украинцем», как это сделали последователи львовского историка Грушевского. Да и у его потомков, сына Юрия Долгорукого, других московских князей, благодаря браку Мономаха с англосаксонской принцессой Гитой, изгнанной из родной страны норманнами, оказалась примешана кровь англосаксов.

**Борис Колоницкий. 1917: Семнадцать очерков по истории Российской революции. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017. — 144 с.: ил.**

Борис Колоницкий, специалист по истории Российской революции 1917 года, не стремится дать всеобъемлющую картину событий столетней давности. Отступаясь от советского мифотворчества (ведущая роль большевиков) и от современных конспирологических выкладок (заговоры масонов, англичан и иже с ними), он обращается к ряду дискуссионных аспектов из жизни России 1916–1918 годов. Многие покажутся парадоксальными. Например, роль женщин в февральских событиях. Это работницы текстильных фабрик, возбужденные выступлениями ораторов-социалистов, в канун Международного дня женщин-работниц забастовали, сняли с работы коллег-мужчин — иногда силой — и устремились на улицы, а оттуда по давней традиции толпа перетекла на Невский проспект. Стихийная забастовка, начатая в рабочих районах, превратилась в демонстрацию городского масштаба и через день стала общенациональным событием. Б. Колоницкий отмечает, как необычайно быстро «расплавилась» государственные институты, образовались и укрепились новые структуры, заявляющие о своем праве лишать людей свободы, а то и жизни. Как политизированные бывшие беспартийные сложились в особый политический класс, «комитетский», почувствовавший власть и не желавший ее отдавать. Много внимания уделяется Керенско-

му и Корнилову, нуждавшимся друг в друге и друг другу не доверявшим. И именно «дело Корнилова» стало прологом к Гражданской войне. И если немцы избежали революции благодаря соглашению между умеренными немецкими социал-демократами и генералитетом, то в России этого не произошло. В неожиданном свете предстает адмирал Колчак, один из тех, кто в 1917 году способствовал оформлению культа «борцов за свободу», прославляя лейтенанта Шмидта и возглавляя перезахоронение расстрелянных ранее руководителей восстания с крейсера «Очаков». Адмирал полагал, что так можно поднять дисциплину и боевой дух на флоте. После смерти Ленина, пишет автор, перессорившиеся «маршалы Ильича» доказывали свое право на первородство. Возможно, профессиональные «сыновья лейтенанта Шмидта» — пародия Ильфа и Петрова на устремления утилизировать действительную и вымышленную революционную родословную. Автор останавливается и на религиозной составляющей революции. «Вера в чудо политического, экономического и морального Воскресения страны и нации стала важнейшим элементом массового политического сознания». Священники украшали себя красными бантами, а верующие энтузиасты революции прикрепляли красные ленты к иконам, революцию сравнивали с Пасхой, а Пасху — с революцией. «Современники, радостно приветствовавшие революцию, воспринимали ее как тотальный нравственный переворот, как реакцию на „аморальность“ и „греховность“ старого режима». Проходящая через всю книгу тема — роль в крахе русской монархии массового сознания участников событий: общественное мнение, общественные настроения, источники формирующих их слухов, каналы распространения. «Буревестником» революции назван лидер кадетов П. Миллюков, в одной из своих думских речей перечисляя возбуждающие общественное недовольство действия правительства, всякий раз вопрошавший: «Что это, глупость или измена?» Радикальную критику власти продолжили правые: лидер черносотенцев В. Пуришкевич еще резче атаковал в Думе правительство и императрицу. Обе речи запретили к печати, но они перепечатывались и распространялись армейскими писарями и канцелярскими барышнями, добавлявшими свои выдумки. Автор пишет, как, под влиянием каких обстоятельств, событий сформировался образ «царя-дурака», «изменщицы-царицы», как и кем эксплуатировалась «распутинская тема», рождались слухи, подрывающие авторитет царской власти даже у убежденных сторонников монархии. Пишет о том, как эпидемия шпиономании, ксенофобия и воинственный национализм разъедали работавшую с переборами государственную машину огромной империи. Как в вездесущие «темные силы», о которых писали и в нелегальных листовках, и в ежедневных газетах, рассуждали в великосветских салонах и обличали с трибуны Государственной думы, попадали немцы, германские шпионы и прогерманские политики, царь и царица, Распутин и «распутинцы», предатели в высших эшелонах власти, банкиры, предприниматели, евреи. Дана объективная картина реальных трудностей военных лет: отечественная промышленность, которая не могла одновременно обеспечить и армию, и внутренний рынок; неслаженная инфраструктура, из-за чего продовольствие, бывшее в стране в избытке, не успевали доставлять в города, как следствие — «голодные бунты» женщин, погромы булочных, пекарен, лавок. И, конечно, «для развала Российской империи отечественные взяточники сделали не меньше, чем все заговорщики, вместе взятые». Обострившийся продовольственный кризис, воспринимавшийся как «голод», породил новое явление — «хвост»: очереди из разъяренных женщин, своего рода «фабрика слухов». «...Белошвейки и банщицы, горничные и пекари, бакалейщицы и приказчицы, швейцары и кухарки, мастеровые и дворники оказались втянутыми в большую политику — политика пришла на улицы, во дворы и в квартиры». По мысли автора, ход Большой истории часто определяют как действие, так и бездействие «маленького человека». Рассматривая прошлое в неожиданном ракурсе — сочетание реалий жизни

и общественных настроений, автор подводит к выводу, что во избежание революций необходима твердая единая власть, способная контролировать общественное мнение. Он предвидел, что его текст вызовет желание спорить.

**Армен Гаспарян. Ложь Посполита. СПб.: Питер, 2018. — 192 с.: ил. — (Серия «Книги Армена Гаспаряна»).**

Журналист, историк Армен Гаспарян считает, что русофобская политика Варшавы вызывает у нас непонимание и недоумение из-за того, что нам, воспитанным на советских постулатах о нерушимом братстве и дружбе народов, многие события XX века долгие годы оставались неизвестными. Принимая Польшу в братский союз социалистических стран, мы предпочитали не вспоминать о том, что происходило в 1920-е годы. И в социалистической Польше на государственном уровне русофобские настроения не поддерживались, хотя и были. А. Гаспарян рассказывает о «неудобных», больных вопросах истории, накопившихся за XX век. Например, о том, что Польша категорически отрицает: массовая гибель красноармейцев в польских лагерях в 1920-е годы, уничтожение храмов Русской православной церкви в эпоху Пилсудского, участие поляков в холокосте. Документы, свидетельства современников, цифры. Только в лагере в Тухоле погибли двадцать две тысячи пленных красноармейцев. А были лагеря и в Житомире, Барановичах, Вильно, Бобруйске, Гродно. Участь заключенных в них фактически не отличается от участи узников Аушвиц-Биркенау, Дахау, Освенцима, Заксенхаузена. Концлагеря как «фабрики смерти» впервые появились именно в Польше в 1920-е годы. Неизвестно, сколько красноармейцев попало в плен в результате волюнтаристского решения «Красного Наполеона», Тухачевского, начать неподготовленный «поход» на Варшаву весной 1920 года. Цифры сильно разнятся: от 157 тысяч человек до 216 тысяч. Кроме пленных красноармейцев, от голода, холода, болезней в лагерях гибли белогвардейцы и украинские националисты. Любые попытки России заговорить об этом на серьезном уровне тут же встречают сопротивление Польши. Уже в 1919 году Пилсудский провел насильственную кампанию по захвату православных храмов и монастырей. Церкви передавались в собственность Римско-католической церкви либо разрушались, даже памятники XII—XV веков. С 1919-го по 1929 год у РПЦ было отобрано 45 % храмов. Православные прихожане под жесточайшим давлением и угрозой выселения были вынуждены подписать заявление о добровольном переходе в католицизм, православных священников в лучшем случае изгоняли. Главным инструментом искоренения православия и русской традиции служила школа: русским детям Закон Божий преподавался только на польском языке, в учебниках истории Россия, ее прошлое и культура поливались грязью. (Как похоже сегодня на Украину.) В нашей стране об этом мало знали, и у нас православная церковь тогда подвергалась гонениям. За годы Второй мировой войны погибло не менее 2,8 миллиона польских евреев. Их убивали не только немцы, но свои же соседи-поляки, притом порой так жестоко, что власти скрывали ужасные расправы от своей общественности. Погромы продолжились и после окончания войны, в результате чего началась массовая эмиграция евреев из Польши. В зоне умолчания — причины провала Рижского мирного договора 1921 года, заключенного по итогам советско-польской войны. В 2017 году Польша потребовала от России как правопреемницы СССР выплатить причитающиеся по этому договору «всего лишь» 45,7 тонны золота, не заметив при этом, что в Рижском договоре фигурировала и Украина (СССР на момент заключения договора не существовал). Разобравшись, что вина в срыве договора лежит на тогдашнем польском руководстве, от которого требовалось выслать пятерых известных противников со-

ветской власти (в их числе Б. Савенков, Петлюра, Тютюнник) и не поддерживать антисоветские организации на территории Польше, чего сделано не было, эту тему нынешние польские власти с повестки дня сняли. Тактичные поляки предпочитают не вспоминать и план «Прометей», направленный на расчленение России по национальному признаку в надежде, что большая часть земель попадет в зависимость от Варшавы. Главными целями прометеизма были Украина и Грузия, что остается в силе до сих пор. Сегодня эта активная организация, филиалы которой находились и в Париже, Хельсинки, Харбине, никому не известна. А. Гаспарян развенчивает несостоятельность самой раскрученной темы во всей истории российско-польских отношений: заключение договора о ненападении между СССР и Германией, так называемый пакт Молотова—Риббентропа, рассматривая его в контексте тогдашней европейской политики. И хотя в 1990 году советское правительство признало вину за расстрел поляков в Катыни, вопросы, считает историк, остаются, и правомочны обе версии: расстрел могли осуществить как сотрудники НКВД, так и немцы. Подробно рассматривает он и историю, связанную с гибелью самолета под Смоленском в апреле 2010 года, также являющуюся предметом острых политических спекуляций. Подробно проанализировав обстоятельства Варшавского восстания 1944 года, он приходит к выводу, что упреки поляков в адрес СССР за провал восстания безосновательны. Советское командование о намеченном восстании, неподготовленной, материально не подкрепленной политической авантюре обосновавшегося в Лондоне польского правительства в изгнании, даже не предупредило. И предлагает вспомнить другое — восстановление польской столицы после Второй мировой войны. Как минимум, наполовину Варшава отстроена из советского цемента и кирпича; в Польшу шли финансовая помощь, продовольствие, стройматериалы, медикаменты, одежда, промышленное оборудование — все, в чем так нуждались после войны и мы сами. Аналогов подобной помощи с Запада другим странам нет. «Я вовсе не хочу, чтобы у читателей возникли какие-то антипольские настроения», — заключает А. Гаспарян. Но молчание, считает он, знак согласия с той напраслиной, что возводят на Россию. Быть может, польским властям, позиционирующим себя как главного русофоба в мире, стоит посмотреть на свою историю трезво.

Публикация подготовлена  
**Еленой ЗИНОВЬЕВОЙ**

Редакция благодарит за предоставленные книги  
Книжную Лавку Писателей  
(Санкт-Петербург. Невский пр., 66, т. (812) 640-44-06,  
[www.lavkapisateley.spb.ru](http://www.lavkapisateley.spb.ru))



Архимандрит Августин (НИКИТИН)

## НА ИОРДАН

### Часть 2

#### Иордан ветхозаветный

Древние библейские повествования не раз упоминают реку Иордан, берега которой, как раньше, так и теперь покрыты густым тростником. Наиболее раннее упоминание об Иордане связано с рассказом о Лоте, который выбрал как пастбища для своих стад «окрестность Иорданскую», она «вся орошалась водою, как сад Господень» (Быт. 13, 10).

По свидетельству пророка Иереми, берега Иордана были дикими, изобиловали дикими зверями, даже львами. Так писал он: «Вот восходит он, как лев от возвышения Иордана на укрепленные жилища...» (Иерем. 49, 19). Еще раньше, при жизни Моисея, как повествуется в «Числах», «И сказал Господь Моисею на равнинах Моавитских у Иордана, против Иерихона, говоря: объяви сынам израилевым и скажи им: когда перейдете через Иордан в землю ханаанскую, то прогоните от себя всех жителей земли...» (Числ. 33, 50–52). И далее: «И возьмите во владение землю, и поселитесь на ней, ибо Я вам даю землю сию во владение» (Числ. 33, 53).

В другом отрывке из Ветхого Завета сообщается, что после смерти Моисея, приведшего израильский народ к обетованной земле, перевести народ через Иордан было суждено другому пророку — Иисусу Навину, перед которым вода отступила. Это событие произошло недалеко от Иерихона, приблизительно в том же месте, где много веков спустя св. Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа. «На этом пространстве, между Иерихоном и Иорданом, должно поместить *Гилгал*, где воздвигли израильтяне жертвенник в память чудесного перехода через Иордан, — писал А. С. Норов (1835 г.). — Игумен Даниил в начале XII столетия видел тут монастырь и церковь во имя Архистратига, явившегося на этом месте Иисусу Навину перед взятием Иерихона. В этой церкви, говорит наш игумен, заключались те двенадцать камней, которые были взяты со дна Иордана двенадцатью коленами Израиля. Блаженному Иерониму также указывали на эти священные камни, прообразовавшие своим числом двенадцать апостолов... Не без вероятия можно предполагать, что израильтяне, водимые Иисусом Навином, перешли через Иордан в землю Обетованную, в самом том месте, где определено было свыше, креститься Спасителю мира; это место обозначено

---

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

но было Кивотом Завета, когда Иордан, подобно Чермному морю, раздвигся перед ним (Иисус Нав., гл. 3—4). Полагают, что двенадцать камней, взятых со дна Иордана двенадцатью коленами Израиля и поставленные в память этого события, суть те, к которым обратился Иоанн Креститель, когда сказал фарисеям и саддукеям: „Бог может из камней сих произвести чад Аврааму (Мф. 3, 9)“<sup>1</sup>. Далее А. С. Норов подчеркивает: «Весьма замечательно, что имя *Вифавары*, которая находилась по ту сторону Иордана, против места крещения Спасителя, происходит от еврейского слова, значущего: *место прехождения*»<sup>2</sup>.

Своеобразное мнение об этом ветхозаветном событии высказывает А. А. Уманец (1843 г.): «Стараться определить пунктуально место перехода израильтян, напрасно: известно, что воды Иордана против Иерихона, перед Ковчегом Завета, справа остановились стеной, слева стекли все вниз и обнажили русло реки до самого Мертвого моря, так что народ, будучи в количестве более двух миллионов душ, не имел надобности ограничиваться одним местом, а перешел опустевшее русло прямо с долины Моабской на долину Иерихонскую»<sup>3</sup>.

А вот что сообщается об этом в «Путеводителе по Иерусалиму» (СПб., 1863): «Многих занимало определение пункта, где перешел через Иордан народ израильский и где Иисус крестился от Иоанна? Решить это очень трудно, потому что берега, в течение 18 веков, не один раз меняли свое очертание, а с тем вместе передвигались и пункты бродов. Но, во всяком случае, переправа евреев была неподалеку от места, где подъезжают теперь купаться. „И воздвигошася от гор Аваримских и ополчишася на равнинах Моавитских, у Иордана *при Иерихоне*“ (Числ. 33, 48)<sup>4</sup>, т. е. как и приходится то место, где купаются. Сам Иисус Навин говорит, что, переходя Иордан, „людие стояху *прямо* Иерихону“ (Ис. Нав. 3, 17).

Затем, влево, покажется холм, сохранивший до сих пор библейское имя Галгáлы. Здесь стояли израильтяне станом, после переправы через реку. Иисус Навин, во время борьбы своей с хананеями, имел здесь главное местопребывание, выражаясь нашим языком, „главную квартиру“. Здесь же израильтяне праздновали первую пасху на земле обетованной. (Ис. Нав. 5, 10—11). Здесь же хранилась Скиния Завета, прежде, нежели была отправлена в Силом (Ис. Нав. 18, 1). Здесь Самуил провозгласил Саула царем (1 Царств, 11, 15). Этот же холм был свидетелем чудес Елисея. Русский игумен Даниил, бывший здесь в начале XII столетия, видел на сказанном холме монастырь и церковь во имя архистратига, явившегося Иисусу перед взятием Иерихона. В церкви Даниилу показывали 12 камней, взятых со дна Иордана 12-ю коленами Израиля»<sup>5</sup>.

Сходные сведения излагает епископ Сухумский Арсений (Изотов) (1894 г.): «Здесь на расстоянии верст двух от Иерихона на левом берегу почти иссохшего летом ручья указывают *Галгал*, где народ еврейский основал свой первый стан по переходе реки Иордана. Здесь Иисус Навин положил те двенадцать камней, которые повелел взять со дна реки при чудесном переходе через Иордан. Те камни сохранялись долго, и на месте их в седьмом веке упоминается церковь, которую видел и наш русский паломник игумен Даниил в 1106 году. Эта церковь была посвящена св. архистратигу Михаилу; но в настоящую пору здесь не видно ничего, кроме камней... Кроме того, Иисус На-

<sup>1</sup> Норов А. С. Путешествие по Святой Земле в 1835 году // Путешествия в Святую Землю. Записки русских паломников и путешественников XII—XX вв. М., 1994. С. 110—111.

<sup>2</sup> Норов А. С. Путешествие по Святой Земле в 1835 году. Ч. I. Изд. 3. СПб., 1854. С. 102.

<sup>3</sup> Уманец А. А. Поездка на Синай с приобщением отрывков о Египте и Святой Земле. Ч. 2. СПб., 1850. С. 334.

<sup>4</sup> «Ополчишася» значит «стали станом».

<sup>5</sup> Н. Б. Путеводитель по Иерусалиму. СПб., 1863. С. 208—210.

вин положил и другие двенадцать камней на самом дне реки, именно на том месте, где стояли ноги жрецов, воздвигавших кивот завета Господня (Ис. Нав. 4, 9)... Из Галгала Иисус Навин направлял свои походы против народов хананейских, и кивот завета оставался здесь около шести лет, т. е. до перенесения его в Силом. Самуил приходил сюда каждый год, чтобы судить народ; здесь же Саул был признан царем всего израильского народа»<sup>6</sup>.

Вот что пишет об этом месте отечественный паломник — архимандрит Евгений (1910 г.): «Покинув Иерихон, экипаж наш покатился по Иорданской долине. Через несколько времени мы достигли Галгала, где, по переходе через Иордан, израильтяне раскинули свои шатры и поставили жертвенник. Некогда на месте его существовали монастырь и церковь во имя Архистратига Михаила, явившегося здесь Иисусу Навину. Вблизи Галгала находится греческий монастырь Иоанна Крестителя, воздвигнутый в древние времена и в эпоху крестоносцев до основания разрушенный, но недавно вновь восстановленный. Он стоит как раз против места Крещения Иисуса Христа и служит живым воспоминанием Богоявления Господня и места перехода израильтян через Иордан при вступлении в землю Обетованную. Переход этот, по преданию, совершен был там, где впоследствии крестился у Иоанна Предтечи Искупитель мира»<sup>7</sup>.

### **К. Н. Льдов. Чудесная переправа**

Прекрасны воды Иордана;  
Их зыбь так девственно нежна,  
Когда сквозь облако тумана  
На них любуется луна.  
Прекрасны пламенные воды,  
Когда трепещет в них закат  
И опрокинутые своды  
Воздушно-пурпурных палат...  
Немая прелесть их чудесна,  
Они так чужды берегам...  
Что ж так томительно и тесно  
Завороженным их струям?  
Им скорбно грезится былое:  
Навин, ведущий свой народ.  
Ковчега шествие святое  
И чудо вспять потекших вод.  
Остановились верховья,  
Иссякло устье до земли, —  
И, возглашая славословья,  
Левиты в ложе их вошли.  
Вошли избранные по суше  
В обетованную страну, —  
И осенил восторг их души,  
Как иорданскую волну.

<sup>6</sup> Арсений (Изотов), епископ Сухумский. Святой град Иерусалим и другие святыя места Палестины. СПб., 1896. С. 197—198.

<sup>7</sup> Евгений, архим. Мое бытие. Воспоминания. СПб., 1911. С. 262.

И все слилося в то мгновенье  
 В мирах небесном и земном  
 В одно живое вдохновенье,  
 В один ликующий псалом<sup>8</sup>.

1885—1890

**Свящ. В. Певцов (1878 г.):** «Еще до пришествия на землю Христа Спасителя, Господь прославил Иордан многими чудными делами Своими и благодеяниями. Не раз эта река по Божьему повелению останавливалась перед святыми людьми и пророками, и открывала перед ними сухой путь по дну своему. Ее воды подавали здоровье страждущим от недугов. В Свящ. Писании рассказывается про один достопамятный случай такого исцеления (4 Царств. 5, 1—16).

Почти за 900 лет до Рождества Христова, в еврейской земле славился своей святой жизнью и чудесами пророк Елисей. К этому св. пророку раз приехал из чужой земли некоторый князь — попросить себе у человека божия исцеления от тяжкой, неизлечимой болезни (проказы). Имя князя было *Нееман*. Только что он остановился перед дверями дома Елисея, пророк Елисей послал к нему слугу своего с таким приказанием: „поди, окунись семь раз в Иордан, и болезнь твоя пройдет“. Нееман сперва огорчился было таким приказанием и сказал: „я думал, что угодник божий выйдет ко мне, помолится обо мне Богу и исцелит меня. А выкупаться я мог бы и дома у себя; разве реки в моей стране хуже Иордана?“ Но слуги князя начали просить своего господина, чтобы он послушался пророка: „ведь не трудное дело он приказывает тебе сделать“, — говорили они. Нееман наконец исполнил повеление человека божия: он отправился на Иордан, семь раз окунулся в нем, и болезнь его тут же прошла. Славя Господа за такую милость, Нееман возвратился к Елисею и давал ему богатые подарки, но пророк божий не принял их<sup>9</sup>.

Нееман, военачальник сирийский, «в знамение будущего освящения этой реки, был исцелен ее водами от проказы»; по сухому дну переходили Иордан пророки Илия и Елисей: «На этом же месте, — пишет епископ Сухумский Арсений (Изотов), — пророк Илия ударил воду своей милотью и перешел по суше на другой берег реки со спутником своим Елисеем, который, в свою очередь, на обратном пути здесь же разделил воды, ударив милотью Илииною»<sup>10</sup>.

На восточной стороне Иордана, на километр в глубину, одна из горных вершин называется горой пророка Илии: оттуда он был взят на небо в огненной колеснице, о чем сообщал игумен Даниил (1106 г.): «К востоку от реки, на расстоянии двух полетов стрелы, есть место, откуда Илья-пророк был восхищен на огненной колеснице на небо»<sup>11</sup>.

В записках Игнатия Смолнянина, относящихся к 1389—1404 годам, читаем: «За Иорданом же рекою келья великого Иоанна Предтечи: близ же тоя келья святого Ильи пророка. Оттуду же мало подале гора есть, от той горы святой пророк Илья на огненной колеснице на небо взят бысть: тамо же недалече место есть на Иордане реке, где

<sup>8</sup> Святая Земля в русской поэзии XVIII—XX вв. М., 2001. С. 239—240.

<sup>9</sup> Певцов В., свящ. О Святой Земле. Чтение 9. СПб., 1878. С. 16—17.

<sup>10</sup> Арсений (Изотов), епископ Сухумский. Святой град Иерусалим и другие святые места Палестины. СПб., 1896. С. 200.

<sup>11</sup> Житие и хождение Русской земли // Путешествия в Святую Землю. Записки русских паломников и путешественников XII—XX вв. М., 1994. С. 22

Елисей пророк ударил милотью Ильиною на Иордане, и вода иорданская расступилась сюду и сюду, Елисей же преиде посуху»<sup>12</sup>.

Все те же сведения, но в «высоком стиле» изложил писатель-паломник Евгений Марков, побывавший здесь в 1885 году.

Мы подъехали как раз к знаменитому историческому броду Веф-Фегор, через который Иисус Навин перевел племена израильские из страны моавитян в землю Ханаанскую. Это река чудес для всех веков и народов. Тут и небо, и земля, и вода — полны чудесами — свидетельствуют о них. Перед нами сейчас за этими густыми камышами и древесными чашами узенькой Иорданской долины стелятся опять такие же бесплодные пустыри, такой же пояс голых скалистых холмов, а за ними такие же, только еще более высокие горные кручи...

Это страна древних моавитян, это исторические горы Фазга и Нево, с которых Моисей показывал народу божьему землю обетованную, остановясь на ее роковом пороге, которого ему не дано было переступить... Там, среди этих туманных гор, что неподвижно купают теперь свои вершины в синем зное солнца, поднята к высям небесным никому неведомая пустынная могила великого израильского вождя. «И остановился Израиль на равнинах Моава, при Иордане, против Иерихона», повествует библейский летописец. «Взойди на вершину Фазги и взгляни глазами твоими к морю и к северу, и к югу, и к востоку и посмотри глазами твоими потому, что ты не перейдешь за Иордан», объявил Господь Моисею. «И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нево, на вершину Фазги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю до самого Дана. «И полуденную страну, и равнину долины Иерихона, города пальм, до Сигора». «И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню, и погребен на долине в земле Моавитской, против Веф-Фегора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня», с выразительной простотой и краткостью прибавляет летописец.

Илия, грозный пророк древности, отсюда восхищен был в колеснице огненной на небо своего Иеговы... Здесь пророк Елисей, ученик и наследник славы его, скрывавшийся в Галгалах, мантией его разделил воды Иордана и прошел посуху в землю Моавитскую<sup>13</sup>.

Подводя итог сказанному, приведем строки из паломнического дневника Саровской пустыни иеромонаха Мелетия (1794 г.): «Благословенный Иордан сколько ни знаменит есть по прехождению в нем посуху сынов Израилевых со Иисусом Навином, такожде Илии и Елисея, по очищению Нееманову от проказы и других чудесностях, воспоминаемых в Ветхом Завете, но всего более и преславнее просиял крещением в струях своих Сына Божия, при котором трисолнечное Божество открылось вселенной. Сын крещался плотию, Дух Святой в виде голубине осенял Его, Отец с небеси испустил глас: *сей есть Сын мой возлюбленный, о Нем же благоволих*»<sup>14</sup>.

Один из русских паломников побывал здесь в 1913 году; его повествование об Иордане вводит читателей в новозаветную эпоху. «Подходим к Иордану, где, по преданию, Иоанном Крестителем был совершен обряд Крещения над Иисусом Христом, — пишет Г. М. Добролюбов (1913 г.). — Народу же, в ожидании помышлявшем в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн отвечал: „Я крещу вас водой, но идет Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас

<sup>12</sup> Хождение Игнатия Смолнянина. 1389–1405 гг. // Православный Палестинский Сборник. Т. IV. Вып. 3. СПб., 1887. С. 22.

<sup>13</sup> Марков Евгений. Путешествие по Святой Земле. СПб., 1891. С. 235–236.

<sup>14</sup> Путешествие в Иерусалим Саровския общежительных пустыни иеромонаха Мелетия в 1793 и 1794 году. 2-е изд. М., 1800. С. 184.

Духом Святым и огнем“ (Ев. от Луки, гл. 3, ст. 16). Здесь открылась первая страница Нового Завета и перевернута последняя страница Ветхого»<sup>15</sup>.

### Иордан новозаветный

*Тогда исхождаше к нему Иерусалим и вся Иудея, и вся страна Иорданская, и крещашуся во Иордане от него, исповедающе грехи своя (Мф. 3, 5-6).*

Св. Иоанн Креститель проповедовал покаяние на Иордане и крестил приходящий к нему народ. Господь крестился от Иоанна в водах Иордана. Здесь просматривается очень интересная параллель в происшедших событиях: израильский народ, освобожденный от египетского плена Самим Богом, прежде чем достичь Обетованной земли и новой жизни, должен был принять символическое крещение в водах Иордана (Ис. Нав. 1, 2). Народ, приходящий к Иоанну Крестителю на Иордан, принимал символическое крещение в покаяние и надежду на лучшую жизнь (Матф. 3, 11). Крещение Господа Иисуса Христа от Иоанна не только подтвердило прообразовательный смысл вышеприведенных событий, но и утвердило таинство Крещения для всех христиан, желающих вступить в новую, прообразованную всем Ветхим Заветом жизнь. «Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна» (Матф. 11, 13), «Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа» (Иоан. 1, 17).

К Иоанну, находившемуся у реки Иордан в Вифаваре (Ин. 1, 28), пришел Иисус принять крещение. (Точное расположение Вифавары, возможно *Бейт-Авара*, не определено, с XVI века им считается место, где сейчас находится монастырь Святого Иоанна, в километре от современной Бейт-Авары.) Иоанн, много проповедовавший о скором пришествии Мессии, увидев Иисуса, был удивлен и сказал: «*мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?*» На это Иисус ответил, что «*надлежит нам исполнить всякую правду*», и принял крещение от Иоанна. Во время крещения «*отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!*» (Лк. 3, 21–22).

«Крещение Иоанново — омовение покаяния — становится с тех пор недостаточным: Христос будет крестить Духом и Огнем, — пишет современный палестиновед. — Иоанн, строго говоря, не „крестил“ — „погружал в воду“ (потому и зовется Иван Купала). И Христа также „погрузил“ в воду. Но уже символический крест на картине А. Иванова, устремленный к Пришедшему, раскрывает смысл будущего подлинного „крещения“ — распятия на Кресте. Славянские языки, в том числе и наш русский, тем и отличаются от других европейских, что в них слово «крещение» происходит от слова „крест“ (в других языках — от греческого слова „баптисма“, т. е. „погружение“»<sup>16</sup>.

**«Путник» Антонина из Плаценции (Пьяченца, Италия) (конец VI в.):** «Богоявление я провел на Иордане, где в эту ночь, на месте, где крестился Господь, совершаются такие чудеса: есть сооруженный обелиск, окруженный решеткой, и на том месте, где вода вошла в свое русло, поставлен в воде деревянный крест, и с той и с другой стороны спускаются до воды мраморные ступени»<sup>17</sup>.

<sup>15</sup> Добролюбов Г. М. Путевые заметки (по Святым местам Палестины) // Палестинский сборник, вып. 32 (95). СПб., 1993. С. 108–109.

<sup>16</sup> Лисовой Николай. Святая Земля: история и наследие. М.; СПб., 2015. С. 290.

<sup>17</sup> Путник Антонина из Плаценции конца VI века // Православный Палестинский Сборник. Т. XIII. Вып. 3. СПб., 1895. С. 31.

**Армянское описание святых мест (VII в.):** «Река Иордан, в которой Спаситель крестился, находится в 7 стадиях к востоку от Иерусалима. Там построена каменная церковь наподобие креста, 80 локтей в длину и 80 в ширину с тремя алтарями таинств, на которых совершается литургия»<sup>18</sup>.

**Повесть Епифания о Иерусалиме (1-я пол. IX в.):** «К востоку от Иерихона, в восьми милях — Иордан. Там небольшая крепость с большой церковью Святой Троицы. На берегу реки церковь Предтечи, и под сводом церкви камень, где стоял Предтеча, когда крестил Христа. На той стороне Иордана в одной миле — пещера Предтечи»<sup>19</sup>.

**Свящ. Игнатий (1766–1776 гг.):** «Мы приблизимся ко Иордану реке, к тому святому месту, где Христос крестился. И в том походе видехом варваров арабов ото всех стран на горах стоящих, яко песок морской. И как достигли сего святого места, начаша пить святую воду и довольно мыхомся»<sup>20</sup>.

**Иеромонах Мелетий (1794 г.):** «О месте, где крестился Спаситель наш, подлинно известия нет; однако мнят оному быти у монастыря Предтечева, который находился от нашего купалища вверх по Иордану верст в пяти. В древние времена, когда Предтечев монастырь существовал, хождение на Иордан было на самое Богоявление. Архиерей, в божественном храме совершив литургию, водоосвящение и погружение креста, отправлял во Иордане. Но ныне, по давнем разрушении монастыря, и ради (из-за) варварских насиллий, сего там не бывает, и самое хождение отнесено к Страстной неделе, поелику тогда все почти поклонники собираются во Иерусалим, дабы один был выход на реку, который в рассуждении проводников турецких недешев становится <...> В христианское владычество Палестиной, окрестность Иорданская, относительно же к месту крещения Спасителя, представляла много монастырей, которые все разорены. От левого же берега Иорданская пустыня, простирающаяся от одного места на восток, была водворение преславной в подвигах преподобной Марии Египетской, которая смертным есть пример исправления, бесплотным же ангелам удивление, в рассуждении жизни своей, во плоти им подобной»<sup>21</sup>.

В 1830 году место крещения Господня стремился отыскать **французский востоковед Мишо**, о чем он и сообщает в своих записках: «Все путешественники смотрели на устье Иордана с равнодушным чувством: каждый хотел увидеть, ступить на то место, где Христос воспринял крещение от руки Предтечи своего. Конвойный начальник арабов наших хотел скорее возвратиться в Иерихон; но я упросил его указать нам священное место Крещения Спасителя. И вот, всем путешественникам приказано сомкнуться в ряды, как будто бы изготовлялись мы к боевому порядку; потом мы потянулись вдоль Иордана, извивавшегося между двумя рядами ивовых деревьев и густого кустарника <...> Находясь в самом месте Крещения Спасителя, видишь перед собой к востоку гору Нево, с которой Бог указал Моисею землю обетованную, и которая была свидетельницей последних минут вдохновенного законодателя <...> Ни наука, ни предание не определяют с точностью места, где народ израильский перешел Иордан; но должно полагать, что это было недалеко от места, где Христос Спаситель крестился»<sup>22</sup>.

<sup>18</sup> Армянское описание святых мест VII-го века // Православный Палестинский Сборник. Т. IV. Вып. 2. СПб., 1886. С. 252.

<sup>19</sup> Повесть Епифания о Иерусалиме и сущих в нем мест // Православный Палестинский Сборник. Т. IV. Вып. 2. СПб., 1886. С. 30.

<sup>20</sup> Описание путешествия отца Игнатия в Царьград, Афонскую Гору, Святую Землю и Египет. 1766–1776 гг. // Православный Палестинский Сборник. Т. XII. Вып. 3. СПб., 1891.

<sup>21</sup> Путешествие в Иерусалим Саровския общежительныя пустыни иеромонаха Мелетия в 1793 и 1794 году. 2-е изд. М., 1800.

<sup>22</sup> А. Т. Очерки Иерусалима и святых окрестностей. Из переписки о Востоке Мишо и Пужула. СПб., 1837. С. 211–212.

В примечании к этим строкам издатель замечает: «Евангелист Иоанн говорит, что таинство Крещения совершалось по ту сторону Иордана. Место это называлось *Вифавар* — на еврейском языке значит *дом перехода*. Некоторые почитают Вифавар за то самое место, где израильтяне перешли Иордан под предводительством Иисуса Навина»<sup>23</sup>.

По поводу этого названия А. С. Норов пишет (1835 г.): «Весьма замечательно, что имя *Вифавары*, которая находилась по ту сторону Иордана, против места крещения Спасителя, происходит от еврейского слова, значащего: *место перехода*. Арабы называют место, где был построен монастырь св. Иоанна Крестителя, *Куср ель Иегуд*, т. е. *замок Иудеев*. Иоанн Мосх говорит, что Иоанн Креститель, во время своего пребывания в пустыне Иорданской, обитал в пещере, возле одного места, называемого *Сапсас*, по ту сторону реки, на расстоянии одной мили берега»<sup>24</sup>.

**А. С. Норов (1835 г.):** «Расстояние от Иерихона до Иордана, по сказанию Иосифа Флавия, простирается на 60 стадий; это более 10 верст. Мы выехали к рытвине, образованной высохшим потоком, и обнаженному холму, увенчанному развалившимися стенами. Это были остатки монастыря Иоанна Крестителя, и, вслед за ними, открылись густые кусты, рисующие берег Иордана. Полагают, что против сего монастыря было место крещения Спасителя, и что оно обозначено этим монастырем, построенным еще до Юстиниана, в незапамятное время, и к которому некогда подходил Иордан.

Сердце мое билось сильнее, когда мы приближались к луговому берегу, и наконец сошли с коней под тень густых ив и олеандров, при говоре листьев и невидимо журчащих за ними струй... Берег в этом месте обрывист; разнообразные ивы и тростники, сплетенные вместе с олеандрами и опушенные свежим плющом, свисали с обоих берегов над быстро несущимися водами благословенного Иордана. Воздух дышал утренними бальзамическими испарениями; этот ландшафт радовал душу. Вокруг нас — безмолвие обширной пустыни, ограниченной горами Иудеи и Аравии»<sup>25</sup>.

#### Из записок А. А. Уманца (1843 г.)

Часа через два с половиной пути от Иордана, мы спустились в долину, видимо затопляемую при половодьи. Здесь образовалась густая рошица лозника и другого кустарника; мы взяли через нее вправо и вдруг очутились у чистого берега Иордана, места, где получило свое начало великое таинство нашей религии, таинство Крещения. Здесь, говорит предание, в этом самом месте, Спаситель мира крещен был святым Его Предтечей, здесь отверзлись небеса, здесь слышались слова: «Сей есть Сын Мой возлюбленный!». Какое сердце не дрогнет, какая душа не взволнуется при виде этой святой реки, в этом самом месте, при мысли, о великом событии, здесь совершившемся!<sup>26</sup>

<...> Места крещения Спасителя некоторые ищут несколько выше или ниже по реке. Что касается до меня, то в бытность мою здесь я не омрачал себя подобным сомнением и поклонялся, как в самом месте великого события. А если бы оно было и не здесь, то на самом близком отсюда расстоянии; а потому и страна вокруг равно свята. Известно, что Спаситель, крестившись, тотчас пошел к горе Искушения, которая была прямо против места Его крещения; условие это вполне соответствует местности. Притом же св. Елена, основываясь на преданиях, в ее время еще свежих, признала это самое место местом крещения Спасителя и вблизи его построила мо-

<sup>23</sup> Там же. С. 212.

<sup>24</sup> Норов А. С. Путешествие по Святой Земле в 1835 году // Путешествия в Святую Землю. Записки русских паломников и путешественников XII—XX вв. М., 1994. С. 111.

<sup>25</sup> Норов А. С. Путешествие по Святой Земле в 1835 году. Ч. I. Изд. 3. СПб., 1854. С. 100—101.

<sup>26</sup> Уманец А. А. Поездка на Синай с приобщением отрывков о Египте и Святой Земле. Ч. 2. СПб., 1850. С. 334—335.



настырь во имя Иоанна Предтечи, который теперь в развалинах и отстоит отсюда на три четверти часа езды.

Некоторые находят это расстояние далеким и ищут монастыря в другом месте; но других развалин, которые бы носили то же имя, здесь нигде нет, хотя монастырей, воздвигнутых во имя других святых и служащих свидетельством поклонения этим местам, в окрестностях есть несколько. Притом иные полагают, и очень правдоподобно, что Иордан в этом месте изменил свое течение и подался на восток. Кроме того, добавлю еще, что секретарь и библиотекарь Иерусалимской патриархии, почтенный и ученый старец, отец Анфимий, на вопрос мой об этом предмете, повторил мне написанное им в записке его о пределах Патриаршего Иерусалимского престола, переведенной и приложенной Муравьевым к 4-му изданию своего путешествия, «что помянутый опустевший монастырь построен был на том месте, где св. Предтеча жил и крестил Спасителя»<sup>27</sup>.

**«Путеводитель по Иерусалиму» (СПб., 1863):** «О крещении Иисуса Христа осталось предание, относящее это событие к месту, где развалины древнего монастыря во имя Иоанна Крестителя <...> Лишь только выедете из кустов, направо мелькнут развалины монастыря Иоанна Предтечи. Он стоит теперь на сухом месте, а прежде, говорят, был у реки. Русло Иордана взяло новое направление»<sup>28</sup>.

**Свящ. В. Певцов (1878 г.):** «Место, где Спаситель принял крещение от Иоанна, полагают, то самое, на которое обыкновенно приходит караван богомольцев, — против Иерихона. Тут в прежние годы стоял монастырь в честь св. Крестителя Иоанна»<sup>29</sup>.

**Архимандрит Павел (Леднев) (1881 г.):** «Мы подъехали к Иордану в том месте, где православные на Богоявление совершают освящение воды, оно против Иерихона. Самое же место, где Господь наш Иисус Христос крестился, с точностью не определяют, но приблизительно полагают, что это великое таинство совершилось здесь же, против Иерихона, где крестил Иоанн Предтеча и прочих иудеев и куда к нему приходили посланные от Иерусалима иереи и левиты»<sup>30</sup>.

**А. Коптев (1887 г.):** «Достигнув середины чудного оазиса, мы немедленно сошли с ослов и направились пешком по дорожкам, протоптанным не десятками уже, а, вероятно, сотнями миллионов поклонников в период почти двух тысяч лет. Нас провели прямо к тому месту, где, по преданию, совершилось крещение Спасителя. Иордан в этом месте делает довольно крутой поворот при ширине до 15 сажен; берег плотно-песчано-глинистый и река стремится с необыкновенной быстротой»<sup>31</sup>.

**М. П. Соловьев (1891 г.):** «Место крещения Спасителя издавна указывалось версты за три к северу, где св. Елена построила церковь во имя Иоанна Предтечи, при императоре Анастасие (491—518); при церкви был устроен монастырь, содержавшийся иждивением казны. Разрушенный в VIII веке землетрясением, монастырь был восстановлен в XII веке, затем в мусульманские времена запустел, развалился и вновь возник из развалин при патриархе Никодиме. От этого монастыря к реке вела мраморная лестница, и место крещения было означено столбом с железным крестом наверху. Но хотя монастырь и восстановлен, наши поклонники идут не туда, а к тому изгибу реки, куда приехали и мы»<sup>32</sup>.

<sup>27</sup> Там же. С. 338—339.

<sup>28</sup> Н. Б. Путеводитель по Иерусалиму. СПб., 1863. С. 209.

<sup>29</sup> Певцов В., свящ. О Святой Земле. Чтение 9. СПб., 1878. С. 20.

<sup>30</sup> Павел (Леднев), архим. Краткое описание путешествия во св. град Иерусалим и прочие святые места. М., 1884. С. 69.

<sup>31</sup> Коптев А. Воспоминание о поездке в Константинополь, Каир и Иерусалим в 1887 году. СПб., 1888. С. 200.

<sup>32</sup> Соловьев М. П. По Святой Земле (1891 г.). СПб., 1897. С. 268.

**Прот. Павел Бобров (начало 1890-х гг.):** «Наконец увидел я воды иорданские. С этой минуты начинается мое истинное духовное наслаждение. То еду, то иду вдоль берега (против течения) святой реки <...> Вскоре достигли мы того места, где, по преданию, Христос крестился, потому здесь у паломников обычный стан и совершается освящение воды. Духовное настроение мое было такое, что мне хотелось плакать и молиться. Преклонился я Христу Спасителю; Он ходил здесь, призывая всех к Себе; Он был на Своем Иордане и со мною, — это чувствовал я душой. Точно неизвестно место крещения Спасителя, но зачем это знать? Вот Иордан, где небеса отверзлись и слышен был голос Бога Отца: *сей есть Сын Мой...*, и Дух Божий тут явился. Вот они — иорданские струи, в которые Христос Господь сподобил нас войти, по следам Его»<sup>33</sup>.

Русские паломники не стремились топографически точно определить это место; для них было важно сопереживание этому священному событию. Вот строки, принадлежащие перу известного в свое время писателя **Власа Дорошевича** (конец 1890-х гг.):

Из зарослей я вышел в маленькую прогалинку и увидел священную реку. По преданию, это то место, где происходило крещение. Иордан здесь делает излучину. Он выбегает из-за поворота, разливается среди нависших над ним деревьев, плещется об отлогий берег и вновь убегает, скрываясь в темной, густой зелени. Он производит впечатление глухой, маленькой речки, каких много в средней полосе России. В первую минуту кажется, что вода совсем не движется. Он весь мутный и молочно-белый, состоит из маленьких омутов. Всюду, куда ни поглядишь, вертятся маленькие воронки. От них тихо разбегаются струйки, бегут и с тихим плеском скрываются у корней, нависших над рекой, печальных, задумчивых ив.

Солнце, ярко сияющее, глядит в мутные воды священной реки, и они вспыхивают яркими, золотыми блестками. Тишина. Только тихий плеск и журчанье воды у корней береговых деревьев, — словно сотни маленьких ручейков, журчат там. Да птицы звонко перекликаются в густых зарослях. Глядишь, слушаешь эту тихую музыку — журчанье и плеск воды, и свист перекликающихся птиц, и кажется, что стоишь где-то на родине, в средней полосе России, на берегу маленькой лесной речки. Родным, близким и дорогим веет от этого пейзажа. Иордан производит сильное впечатление на паломников. От этой реки на них веет родным, близким сердцу пейзажем, и священная река кажется им еще более дорогой и бесконечно милой<sup>34</sup>.

**Арсений (Стадницкий), епископ Волоколамский (1900 г.):** «Вскоре мелькнула перед нами серебряная полоса реки, извинаясь лентой между густыми зарослями камыша, а через несколько минут мы уже остановились на берегу священной реки. Место Крещения Спасителя, как известно, не установлено точно и не отмечено каким-нибудь памятником<sup>35</sup>. Предание же приурочивает его к одному изгибу реки недалеко от впадения ее в Мертвое море. Подтверждением его может служить следующее соображение. Иоанн, сказано в Евангелии, крестил у Вифавары, т. е. на месте переправы через реку. Таких больших переправ, или бродов, через Иордан немного, и они, вероятно, не изменялись целые тысячелетия, как все в Палестине, где традиции сохраняются удивительно долго. В данном месте также переправа, а недалеко от нее — монастырь св. Иоанна Крестителя, существующий с глубокой древности (по преданию, со времени св. Елены). Сюда два раза в год — 6 января (ст. ст.) и на Страстной — при-

<sup>33</sup> Бобров Павел, прот. Письма паломника о святой горе Афонской, о граде Иерусалиме и других местах Востока. М., 1894. С. 74–76.

<sup>34</sup> Дорошевич В. В Земле обетованной. (Палестина). М., 1900. С. 219–221.

<sup>35</sup> Русский паломник XII века Даниил говорит, что на месте Крещения на берегу Иордана стоял теремец. Теперь от него не осталось и следа.

ходят из Иерусалима громадные караваны (крещенский доходит иногда до 1500 человек и более) русских паломников, чтобы омыться в струях священной реки»<sup>36</sup>.

**А. А. Дмитриевский (1906 г.):** «Место крещения Господня (Марк. 1, 4; Иоанн. 1, 28) с точностью ныне неизвестно. Но предание, идущее из древности, указывает это место вблизи монастыря св. Иоанна Предтечи, стоящего недалеко от реки Иордана, не более получаса ходу. В этом месте река Иордан делает довольно значительный изгиб, несколько замедляющий быстрое течение ее, и имеет берег с некоторым возвышением, удобным для спуска желающих омыться в прохладных струях священной реки. Место это называется иногда *Вифавара* или место переправы<sup>37</sup>, так как здесь удобно переходить реку Иордан вброд. Здесь на самом глубоком месте воды в реке не более, как по пояс взрослому мужчине»<sup>38</sup>.

**«Путеводитель по святым местам града Иерусалима» (Одесса. 1908):** «Место это, известное под именем „Паломнического брода“ и составляет тот пункт, который посещается огромным количеством христианских паломников. В этом месте ширина реки не более 15 сажен и летом в низкую воду здесь реку можно было бы перейти, если бы не чрезвычайная быстрота течения воды; вследствие чистоты и свежести воды, Иордан представляет здесь великолепную купель, которой, между прочим, и пользуются паломники. На этом месте Иордана, где, по преданию, принял крещение от Иоанна Господь, в глубокой древности был сооружен христианский храм, но теперь от него нет и следов»<sup>39</sup>.

**Александр, епископ Рязанский и Егорьевский (старообрядческий) (1914 г.):** «Наконец мы на Иордане, на месте, где, по преданию, крестился Иисус Христос. Здесь на берегу огорожено место плетнем, часть покрыта легкой крышей. Здесь иногда служатся литургия и молебны. Берег Иордана в этом месте не высок, но обрывистый, в нескольких местах прорыты для схода в воду ступеньки, скрепленные дощечками»<sup>40</sup>.

**Архиепископ Нестор (Анисимов) (1934 г.):** «На той стороне Иордана простиралась пустынная, совершенно безлюдная равнина, окаймленная у горизонта полосой Моавитских гор, с которых некогда спускались дикие племена моавитян, совершавших нападения на израильскую страну. На той же стороне, ныне на сухом берегу, находится арка, отмечающая то место, где некогда от руки Иоанна Предтечи принял Крещение Христос Спаситель. Далее тянется песчаная пустыня, в которой в древние времена скрывались великие подвижники. Здесь совершала свой великий подвиг покаяния святая преподобная Мария Египетская»<sup>41</sup>.

Интересные размышления о месте крещения Господня содержатся в записках представительницы русского зарубежья **Александры Гавриловой**. По окончании Второй мировой войны она неоднократно посещала Святую Землю; во время одной из своих паломнических поездок она побывала на Иордане.

<sup>36</sup> Арсений (Стадницкий), епископ Волоколамский. В стране священных воспоминаний. М.; СПб., 2014. С. 251.

<sup>37</sup> По греческому преданию, здесь совершился переход евреев через реку Иордан, и здесь был поставлен ими в благодарность за свой переход через полноводный Иордан памятник из 12 камней, взятых со дна реки Иордана (Иисус Нав. 3, 13–17; 4, 3–9).

<sup>38</sup> Дмитриевский А. А. Праздник Богоявления Господня на реке Иордане и в святом граде Иерусалиме. СПб., 1907. С. 11–12.

<sup>39</sup> Путеводитель по святым местам града Иерусалима. Одесса, 1908, С. 189–190.

<sup>40</sup> Кир Александра, епископа Рязанского и Егорьевского (старообрядческого), Дневник путешествия в Палестину. М., 1916. С. 65.

<sup>41</sup> Нестор (Анисимов), архиепископ. Святая Земля. (Иерусалим и Палестина). Гонконг—Киев—Тель-Авив, 2015. С. 77.

Приехали, я думаю, на самое лучшее место на Иордане: против монастыря Иоанна Крестителя, — пишет Александра Гаврилова. — Этот монастырь существует 1600 лет и всегда считали, что прямо против него — место Крещения Господня, но на другом берегу Иордана, где находилась Вифавара, где Иоанн Креститель крестил толпы народа, приходившие к нему из Иудеи и Галилеи: «Это происходило в Вифаваре, при Иордане, где крестил Иоанн» (Иоан. 1, 28) — говорится в Евангелии о крещении Агнца Божия.

Так вот почему на большинстве икон Крещения Господня, оно происходит на восточном берегу Иордана. Это не упущение иконописцев, а знание Евангелия и географии местности. А меня всегда смущала неодинаковость икон, и я была, скорее, склонна думать, что Крещение было на западном берегу «в Палестине». И только побывав в этих местах и расспрашивая, я уяснила этот вопрос. От места нашей остановки на Иордане, выше по течению, должен быть мост и там стоят часовые, должно быть, и палестинские, и трансйорданские. Но в Евангелии все время читаем, как Христос пошел «Заиорданской стороной», как Он перешел «об он пол Иордана» — на другой берег Иордана, как Он был в Десятиградии — Decapolis у римлян в тепешней Трансиордании<sup>42</sup>.

...В ходе раскопок в окрестностях Вифавары была обнаружена основа колонны, представляющая собой мраморную плиту в виде квадрата со стороной два метра. Археологические исследования в 1996 году в Вади-эль-Харрар (на восточном берегу Иордана) выявили византийский монастырский комплекс V—VI веков, состоящий из северной, западной и так называемой прямоугольной церковью и других строений. Северная церковь построена, согласно греческой надписи на мозаичном полу, при пресвитере Ротории<sup>43</sup>.

### Крещение Господне

И прогремела слава Иордана!  
 Явлением Крестителя пророка;  
 Он проповедовал Мессию; и слава  
 Летела во все концы востока.  
 Шумел Иерусалим и вся округа,  
 Народ рекою тек на Иордан,  
 И, исповедуясь, крестились у Пророка;  
 А он возносил молитвы к небесам.  
 То был посланником от Бога  
 Ему свыше глагол был дан;  
 О возвещении пред миром много  
 А имя ему было — Иоанн.  
 Народ, дивясь, преклонялся, верил;  
 Иоанн, проповедуя, был в духе,  
 Он прославлял Мессию и крестил  
 Во имя Отца и Сына и Св. Духа.  
 Меж тем Иоанн вещал, вспоминая  
 Явления Христа, пророка называл,  
 Во имя Агнца Божия благословляя;  
 Он веру в пришествие Христова укреплял.  
 Христос придет и гласа не возвысит, —  
 Исаия-пророк глашал и написал;

<sup>42</sup> Гаврилова Александра. Записки паломницы (1945—1947 гг.). Джорданвилль, 1968. С. 43.

<sup>43</sup> Снегирев Ростислав, прот. Вифавара // Православная Энциклопедия. Т. VIII. М., 2004. С. 586.

И власть Его вселенную объмет —  
Народу так пророк вещал.  
И было: дивный день, и вот в тиши —  
Христос между людей прошел на Иордан,  
Он рекл пророку; ты меня крести,  
А Иоанн с благоговением воззвал:  
«Мне надо бы креститься от Тебя» —  
«Оставь! Оставь! так должно — Крести Меня».  
Пророк крестит, о! Чудо из чудес  
И свет с небес, всех страх объял,  
И на главу Христа сошел Св. Дух с небес,  
И слышно, как Господь для всех вещал:  
Сей есть Сын возлюбленный Мой,  
О нем все Мое благоволение.

А. К.<sup>44</sup>

### **Крещение Господне**

Среди песков пустыни Иордана,  
Где высятся ряды угрюмых скал,  
Где бродит волк голодный и шакал, —  
Звучала речь святого Иоанна,  
Как к покаянию народному призыв.  
Толпы людей, как волн морских прилив,  
Стекались к убежищу Предтечи  
И слушали пророческие речи  
Отшельника. Постами изможден,  
Питаяся акридами и медом,  
И власяницею суровой облечен —  
Святой пророк являлся пред народом  
И в пламенных бичующих словах  
Учил его и обличал в грехах.  
И он избрал как символ очищенья  
Во Иордан святое погруженье.  
Уверовав в учение его,  
Шли многие креститься у него.  
И вот, когда минуло тридцать лет  
Спасителю, оставив Назарет,  
Пришел и Он. Пророк не знал Христа,  
Но нечто столь высокое в Нем было  
И светлое, что душу поразило  
Крестителя величием своим,  
Когда Христос явился перед ним  
У берегов цветущих Иордана!  
Любовь и страх объяли Иоанна.  
И он теперь, охваченный смущеньем,  
Ничтожным вдруг почувствовал себя  
Пред Иисусом. — «Надо от Тебя

<sup>44</sup> Сборник духовных стихотворений, посвященных в честь Спасителя. М., 1909. С. 11–12.

Креститься мне. О Господи, и Ты ли  
Пришел ко мне?» — в волнении твердили  
Его уста, его смиренный вид.  
Но отвечал Спаситель благодушно:  
— Оставь теперь, зане<sup>45</sup> так надлежит  
Нам истину исполнить! — и послушно  
Он Господа веленье совершил.  
Когда ж из волн Спаситель выходил,  
В сиянии открылся свод небесный,  
И голубем в лазури голубой  
Над Ним с небес спустился Дух Святой,  
И свыше глас послышался чудесный:  
«Сей есть Мой Сын возлюбленный, на Ком  
Покоится Мое благоволение!»<sup>46</sup>

*О. Чюмина*

---

<sup>45</sup> Потому что.

<sup>46</sup> Православная Русь, 1979, № 1. С. 9.

# Contents

## Prose and Poetry

- Irina Karpinos.** Poems • 3  
**Boris Ponomarev.** Plusquamfuturum, or Russia-2057. *Novel* • 7  
**Vladimir Shemshuchenko.** Poems • 105  
**Dmitry Tarasov.** „Mitya’s Love.“ *Short story* • 109  
**Mikhail Sinelnikov.** Poems • 128  
**Vladimir Kantor.** The Funeral of Grandfather Anton. *Short story* • 132  
**Olga Andreeva.** Poems • 144  
**Yevgeny Popov.** Poems • 148

## Translations

- William Shakespeare.** Selected Sonnets. *Translation by Nina Saprygina* • 152

## Publicistic Writings

- Vladislav Bachinin.** The Atomic Turn and the Theology of the Atomic Bomb • 158

## Criticism and Essays

- To the 100th Anniversary of A. I. Solzhenitsyn. Vyacheslav Vlashchenko.** Alexander Solzhenitsyn and Varlam Shalamov. *The Light of Living Truth and the Tragic Darkness of Dead Truth* • 170  
**Andrey Krasnov.** From the Unknown History of Krasnoye Selo. (*How the Krasnoselskaya Shrine Was Found*) • 210

## Petersburg Bookman

- Truth of Art and Truth of History.** *Sergey Strashnov.* „My Unbearable True Story Will Light Up as Art.“ **Territory of Memory.** *Elena Voskoboeva.* Yevgeny Schwartz — feuilletonist. **Book Island.** *Elena Zinovieva’s publication* • 219

## Pilgrim

- Archimandrite Augustine (Nikitin).** To Jordan. *Part 2* • 241

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал „Нева“»  
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18  
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9  
Телефон: (812) 314-50-52  
E-mail: nevaredaction@mail.ru; nevaredaction@yandex.ru

Сайт «Невы» в «Журнальном зале»: <http://magazines.russ.ru/neva>  
Ресурс в сети Интернет: <http://nevajournal.ru>

*Проект «Наследники и первопроходцы»  
реализован на средства гранта Санкт-Петербурга*

**Подписку** на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет агентство «Роспечать» по каталогу ОАО «Роспечать», подписной индекс 73276.

**Свежие номера журнала**, а также отдельные номера за последние годы можно приобрести:

**в Санкт-Петербурге** — в редакции журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23); **льготную подписку** можно осуществить непосредственно в редакции журнала (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23).

**За рубежом** подписку на журнал осуществляет АО «Международная книга» (117049, Москва, Большая Якиманка, 39, телефакс: (495) 230-21-17, 238-46-34).

**Оптовая и мелкооптовая продажа:** Санкт-Петербург, ООО «Журнал „Нева“», e-mail: officeneva@mail.ru

**Почтовую рассылку** отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства: <http://nevajournal.ru/book.html>

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34950 от 15 января 2009 г.  
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.  
Учредитель: ЗАО «Журнал „Нева“»

Подписано в печать 25.10.2018. Гарнитура «Октава».  
Формат 70×108 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.  
Тираж 1500 экз. Заказ № 503  
Издательство «Журнал „Нева“»

Отпечатано по технологии СтР  
в Первой Академической типографии «Наука»  
199034, Санкт-Петербург, 9-я линия В. О., 12/28